

3/1991

С. ЛАСКИН
Вечности заложник
Роман-воспоминание

Ф. СВЕТОВ
Тюрьма
Роман

Нева

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
М. ХАРИТОНОВ
«Вернусь
с того света...»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»
А. МАТЫШЕВ
Диктатор

В. СТАРЦЕВ
Политик
и человек





«Зимний вечер. Адмиралтейский проспект»
Рис. Ю. КУЛИКОВА

3/1991

Выходит
с апреля
1955
года



Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

В. ШЕФНЕР. Стихи	3
С. ЛАСКИН. ...Вечности заложник. Роман-воспоминание	4
М. БОРИСОВА. Стихи	39
Д. САМОЙЛОВ. Стихи	41
Ф. СВЕТОВ. Тюрма. Роман. Окончание	44
М. КАБАКОВ. Стихи	118
Т. ВОЛЬТСКАЯ. Стихи	119

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

М. ХАРИТОНОВ. «Вернусь с того света»	120
--	-----

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ

«АЛЬТЕРНАТИВА»

А. МАТЫШЕВ. Диктатор	134
В. СТАРЦЕВ. Политик и человек	148
Г. Х. фон ВРИГТ. Техносистема, национальное государство и природа	160

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Е. ЩЕГЛОВА. Оставаться собой	166
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

М. ЭЛЬЗОН. Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года.— И. РАК. Кантор В. К. Историческая справка.— М. ЗОЛОТОНОСОВ. Элиас Канет-

ти. Человек нашего столетия. — А. ХОДОВ. Бялый Г. Русский реализм от Тургенева к Чехову 173

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Б. ГУСЕВ. Разведчица 175

Парнас

О. ИЛЬНИЦКАЯ. В окаянные дни 181

Письма из прошлого

Вл. КУПЧЕНКО. «А все-таки — Север роднее» 182

Перечитывая старые письма

Б. СУРИС. Прощание с Тырсой 187

Петербург. Петроград. Ленинград

А. ИВАНОВ. Город зажигает огни 190

Совсем недавно. Совсем давно

Н. ЖЕРВЭ. Земли Новгородской во славу 196

Антресоли

Билл САТТОН. Средство от нарывов. *Перевод с английского А. Бранского* 198

Джордж С. КАУФМАН. Пожар. *Перевод с английского И. Богданова* 199

Эгон Эрвин Киш. Татуированный портрет. *Перевод с немецкого Л. Ф. Маковкина* 202

Письмо в редакцию 208

Главный редактор Б. Н. НИКОЛЬСКИЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. БИТОВ
И. И. ВИНОГРАДОВ
Е. И. ВИСТУНОВ
(заместитель
главного редактора)
Д. А. ГРАНИН
Б. Г. ДРУЯН
М. А. ДУДИН
В. В. КОНЕЦКИЙ
Н. М. КОНЯЕВ

Н. П. КРЫЩУК
С. А. ЛУРЬЕ
Е. Н. МОРЯКОВ
Е. В. НЕВЯКИН
(первый заместитель
главного редактора)
В. В. ФАДЕЕВ
(ответственный секретарь)
Т. Н. ФЕДОРОВА
В. В. ЧУБИНСКИЙ

Старший технический редактор Г. И. Огородник
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

© «Нева», 1991

Сдано в набор 27.11.90. Подписано к печати 04.02.91. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 25,96 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 762. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.)

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Вадим ШЕФНЕР



Дается жизнь не навсегда,
Жизнь — одноразовое чудо.
Мы все являемся сюда,
Чтобы навек отбыть отсюда.

И пусть, страшись неадешней тьмы,
Мы злимся на судьбу и тужим,—
Но если б вечно жили мы,
То нам, быть может, было б хуже.

Столыпинский вагон

Вагон — Юрьма, вагон — разлучник,
Непобедимая беда,
Он многих, даже самых лучших,
Отвез — вы знаете — куда.

Теперь, забыв про все вокзалы,
От магистралей вдалеке,
Он, одряхлевший и усталый,
Стоит в замшелом тупике.

Я вижу седину железа —
Наплывы ржавчины на нем...
— Ты будешь на куски разрезан,
Тебе пора в металлолом!

И слышу голос запредельный:
«Зря торжествуешь, пуэтозвон!
Вагончик болен не смертельно,
Ремонта ожидает он.

Знай: после всех благополучий
Нагрязнуть могут холода.
Помалкивай на всякий случай,
Чтоб не уехать кой-куда!»

Совет историку

Суди спокойней, беспристрастней —
И ты поймешь в конце концов:
Просчеты мудрецов опасней,
Чем заблуждения глупцов.



Принять на веру трудно то,
Чего нельзя измерить,—
Но лучше верить в ни во что,
Чем ни во что не верить.

Надежда

Путем дерзаний и провалов
Он шел — и, девственно-светла,
Ему надежда помогала,
Вела, в грядущее звала.

Идя за ней, он не боялся
Чужой душевной мерзлоты,
Над неудачами смеялся
И не стыдился нищеты.

И вот завершена работа.
Он признан! У него все есть!
Достиг он пышного почета,
В наградах вывалился весь.

Все есть! Навек взята вершина!
Есть секретарша, кабинет,
Есть дача, личная машина.
Все есть — и лишь надежды нет.

От прочного его уюта
Неслышной поступью своей
Ушла надежда почему-то,
Ушла куда-то.

Ей видней.

...ВЕЧНОСТИ ЗАЛОЖНИК

Роман-воспоминание

Памяти Геннадия Гора

Когда это началось?

В шестьдесят четвертом? Нет, пожалуй, весной шестьдесят пятого, уже более двадцати лет назад.

В журнале выходила первая повесть, пришли гранки, знакомые наставляли: пора позаботиться о книге.

Мои дела в издательстве тоже шли как по маслу и совершенно не были похожи на историв о замученных «начинающих». Рукопись прочли, поставили в план, а пока суд да дело, обязали меня «присмотреть» именитого писателя в Ленинграде («всегда желателен земляк, это убедительнее для отсутствия»), который согласился бы написать предисловие.

Редактор терпеливо объясняла издательские установки. Рекомендующий должен отметить как большое достоинство повести — отсутствие в ней конфликта «отцов и детей» («в настоящее время именно это очень важно»), а также подчеркнуть необходимую мысль о преемственности поколений.

Я послушно кивал. В ту пору я вообще никого не знал в литературном мире, а уж о том, чтобы отважиться диктовать будущему благодетелю свои условия — и подумать не мог.

Работал я врачом «Скорой», писал в свободное от дежурств время (иногда, впрочем, и на дежурствах), серьезно считая, что писательство — лучший отдых, нечто вроде разглядывания почтовых марок в альбомах моей тещи. Теперь-то я знаю, какая это ошибка!

И все же необходимого писателя следовало отыскать! Я стал расспрашивать докторов «Скорой», надеясь, что у кого-нибудь из коллег таковой найдется. И вдруг выяснилось, что, действительно, у одного сослуживца есть «девочка», а у той — «мальчик», который в свою очередь дружит с «девочкой», отец которой известный писатель. При этом утверждалось, что известный охотно помогает таким, как я, неизвестным.

Начались переговоры. И я получил приглашение в гости.

Следует признаться, что хотя я к этому времени уже написал повесть в несколько рассказов, но о художественной литературе имел самое скромное представление. Клас-сику, конечно, читал, что же касается «текущей», то она как-то текла мимо меня.

Теперь-то я вижу, что эта ситуация остается типичной и по сей день. Молодые направляются к немалодому, частенько не имея даже малейшего представления о его книгах, заранее уверенные в том, что у немалодого, а значит, и более опытного, вполне хватит опыта в уме не спрашивать о своих книгах. В конце-то концов, кому еще должен подсказать опыт, что он не Толстой и не Чехов, а значит, и читать его не так обяза-тельно.

Впрочем, это я сейчас говорю с иронией, а тогда едва не в последний день спохва-тился, что совершенно не представляю, о чем же пишет этот писатель. И кто знает, вдруг ему в голову придет спросить о собственных книгах?!

На следующее утро я направился в Публичную библиотеку и с пристальным интересом принялся рассматривать обложки будущего благодетеля.

На всех портретах писатель выглядел солидно. Высокий, лысый, в очках, стоял он на фоне книжных полок, огромное количество трепанных корешков виднелось за его спиной.

Насмотревшись, я наконец выбрал два самых коротких рассказа и добросовестно прочитал их. Оказалось, писатель работал в жанре фантастики, мало для меня ин-тересном. Впрочем, в оригинальности ума ему отказать было трудно. В одной из новелл его герой настолько был ошеломлен пейзажем неизвестного живописца, что, разволно-вавшись, вошел в изображенный лес и там проблуждал долгие годы, не мог отыскать дороги назад в реальный мир.

Журнальный вариант.

Как это было далеко от меня! Повесть, которую я нес на суд, хотя и не была автобио-графической, но написанное так или иначе касалось моей жизни, не зря главный персонаж был врачом. Сомнения — к тому ли иду?! — чуть потревожили меня, но выбора не оставалось.

В назначенное утро я заходя поехал на Петроградскую. Побродил около дома, осмотрел лестницу, точно готовился к возможному преследованию. Лифтом пренебрег, и дай Бог застрянешь в лифте.

Передохнув у высоких дверей, я позвонил. Время встречи было соблюдено точно. Аккуратность, как известно, вежливость королей.

Дверь распахнулась. На пороге возникла крупная женщина в длинной, до пола, шерстяной юбке, в кофте с закатанными рукавами, обнажившими сильные руки. Во всем ее облике чувствовалось нечто монументальное, укрупненное, сродни кубистиче-ским женщинам Пикассо.

— Вот и писатель! — воскликнула она и отступила в сторону, явно имея в виду меня. — Мы совсем заждались! Будем обедать!

Я моментально растерял все приготовленные слова, — меня разоблачили. Никогда по отношению к себе слово «писатель» я не применял, даже в мыслях предназначал другим. Я был врачом, а писатель жил здесь, в этой квартире, его величественное по-явление только ожидалось. И, кроме того, я, конечно, не предполагал обедать, у меня была иная задача.

— Нет, нет! — залепетал я. — Вы ошиблись! Я не писатель...

— Не писатель? — удивленно произнесла женщина. — А кто же?

— Вернее, я действительно написал повесть, а мои друзья через дочь писателя договорились...

Господи! И теперь не могу представить, как эта женщина разобралась в моих булькающих звуках.

— Совсем меня сбил, — сказала она. — Я же и говорю, писатель. Кто же ты будешь, если написал повесть? Проходи. Мы ждем, не садимся обедать.

Видно, не так просто было сдвинуть меня с места. Теперь я занудно пытался объяснить, что недавно ел и у меня уже нет сил обедать во второй раз. Женщина с яв-ным сомнением слушала.

— А где живешь? — вдруг спросила она.

— На Охте.

— Проголодался, пока ехал. Молодому можно и два раза! Выдержишь, не лопнешь! И тут в коридор вышел небольшой человек, в котором с трудом можно было отыскать сходство с упомянутыми фотографиями.

Конечно, лысина сияла, куда ее денешь. Очки тоже. Но вот портретной величе-ственности не было ни на каплю.

Теперь на меня глядел маленький, улыбающийся старичок, одна вторая соб-ственной жены. О, мастерство фотографа! Возможности инженерии стали воистину беспределны!

Даже лысина, которая хотя и была фактом, совсем мало напоминала тот фотоотпе-чаток. Там, на карточке, крупный лоб, продолжаясь, превращался в могучий череп, я же видел обычный лоб, словно бы очерченный полоской редкой серебристой по-росли. В коридоре стоял дедушка в стиранной серой рубаше, с крупными, как на сол-датских наволочках, белыми пуговицами. Брюки на нем висели. Острый угол гольфка выбился из-под ремня.

Дедушка с интересом изучал «новый объект» и, наконец, направился в мою сто-рону.

— Рад! Заходите! — заговорил он. — Сейчас будем обедать!

Я опять объяснял, что шел не обедать, да и как можно обременять заботами занятых людей, но он не слушал. Подхватил меня под руку и повел через кабинет в столовую.

— Что значит сыты?! — спрашивал с возмущением он. — Молодой писатель обязан быть голодным! Что же вы напишете путного, если вам не хочется есть?! А Бальзак?! А Некрасов?! Помните, корочки хлеба под газетой?! Литературой, мой друг, нельзя начинать заниматься сытым!

Я захихикал, пора было показать, что мы тоже не лыком шиты, понимаем юмор.

— А папку с собр-соч (не сразу и поймешь, что речь идет о моей повести) кидайте на письменный стол! Да не держите ее так крепко! Кому она пужна?! Станьте сво-бодным, молодой друг! — он проследил взглядом за отброшенной папкой и успоко-ил: — Вот теперь вы есть пролетарий умственного труда!

Столовая поразила меня. Нет, не изысканностью. Если уж вспоминать про мебель, то и тогда, и в последующие годы она здесь вечно кренчалась, скрипела, едва не вали-лась, но было в квартире нечто, отличающее это жилище от всех виданных мною раньше. И это «нечто» было живописью.

Нельзя сказать, что я раньше никогда не встречал интересных коллекций, случай то и дело забрасывал меня, врача «Скорой», в «солидные» дома, заполненные антиквари-

атом, посудой и бронзой, хрусталем и картинами в тяжелых золоченых рамах. Ничего подобного тут не было.

Холсты висели без рам, «голые». Гвозди загибались внутрь подрамников, материал бахромился, несколько картин были обиты рейкой. И тем не менее я не мог оторвать взгляда от живописи, оторопело глядел то на одно «странное» полотно, то на другое.

Молодому человеку конца восьмидесятых трудно понять молодого человека начала шестидесятых.

Что видел тогда мой одноклассник? Передвижников на втором этаже Русского музея. Массу помпезных работ — на первом, в Советском отделе, — все выставленное объявлялось шедеврами, было награждено премиями и оплачено несусветными деньгами.

Но странно! Искусство тогда словно бы завершалось в конце девятнадцатого века, а затем, сделав перерыв в несколько десятков куда-то исчезнувших лет, снова возникало в конце тридцатых. Где пребывала живопись двадцатых, было неясно. Впрочем спрашивать об исчезновении как бы не рекомендовалось.

Здесь, в квартире писателя, живопись была не похожа на доступную посетителям современных музеев. Именно таким мне и представлялся тайный запасник.

В первые секунды я даже не понимал предметов, видел пятна. Цвет заполнял сознание. И только позднее воспринимал холст как целое.

Я и сейчас, спустя много лет, словно бы заново вижу цветовой спектр тех стен. Розовощекую даму в голубом капоре, лицо в профиль, указательный палец правой руки высоко поднят. Двоих влюбленных в обнимку: он в пиратской черной косынке, она в ситцевом розовом платье в цветочек — изделия «Моспошива»: странное и парадоксальное соединение двух эпох. Упитанную загорелую девочку с острым колющим взглядом, женщину в зеленом испанском платье времен Эль Греко, но с лицом гипсовой скульптуры. Паяца в оранжевом колпаке. Краснолицего кудрявого мальчика — не ангела и не икону. Большое вертикальное полотно, супрематический натюрморт (слово пришло позднее!), плоскость с устойчивой черной трапецией. Затем неожиданный синий пейзаж, словно написанный ребенком, северные разноцветные всполохи, зеленый кустарник, превращающийся в чернеющий далекий лесок, река подковой, обрамляющая мыс, почти фиолетовая вода, на берегу человек, с колена стреляющий из ружья в пеструю огромную утку.

Теперь-то я знаю все имена этой коллекции: был здесь и холст Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, и его учеников Вячеслава Пакулина, Льва Британишского, Петра Соколова, были и живущие ныне художники, теперь широко известный Михаил Шемякин или таинственный и мало известный Геннадий Устюгов...

Я медленно переводил взгляд с одного непривычного полотна на другое, пока не остановился на том, вроде бы детском синем пейзаже с летящей уткой.

— Нравится?

Нельзя было не заметить вспыхнувшей гордости. Кажется, хозяин демонстрирует собственных детей.

Я признался:

— С такой живописью встречаюсь впервые.

— А где вы могли это видеть?! — не без гордости спросил хозяин. — Разве дороги к настоящему искусству открыты?!

Вошла жена, брякнула на стол сковородку, произнесла с сердцем:

— Хватит разговаривать! Будем обедать.

— Дарюшка, ты мешаешь, — вежливо попросил хозяин. Он был обижен столь грубым вторжением в его «тему».

Жена расшевелила жареную картошку, стала перекладывать в тарелки, сверху утамамовав гору мясными бомбошами.

— А кто у нас покупает мясо, не догадаетесь?! — спросила она так, как загадывают бабушки малолетним внукам, предполагая ответ в самом вопросе.

Старик распрямил плечи, стал похож на собственный портрет на форзаце книги.

— Лучше Николая Николаевича, — ласковый взгляд на мужа, — никто выбрать не может!

— Вот парадокс, — произнес старик так, словно и не было недавней обиды. — Мимо этой живописи вы не пройдете, она вас волнует, не так ли?

Я подтвердил.

— А давайте-ка помечтаем, — он подмигнул мне. — В один прекрасный день, то самое... что висит нынче в музеях, окажется... — И старик развел руками. — Одним словом, инакомыслие обернется мыслью, а то, что объявляется мыслью, — исчезнет.

И он рассмеялся, видимо, мысль и ему самому показалась невероятной, по крайней мере, достаточно фантастической.

Раздался телефонный звонок. Старик вздохнул, неохотно поднялся. Тапок обогнал его, завертелся у стенки.

Пока он шел к телефону, я снова разглядывал картины. Портреты буравили меня глазами. Раскормленная девочка с коричнево-красным загаром казалась иронично-

надменной. Грузил на низенькой табуретке сцепил крупные руки, пилился на нас черными острыми зрачками. Неведомый человек с красными кружками на щеках, в мундире павловского гвардейца был, наоборот, совершенно спокоен и отрешен от суеты этого мира.

В приоткрытую дверь было видно, как старик смешно переступает ногами, как пытается что-то втолковать позвонившему человеку и одновременно поймать отлепивший тапок.

— Наш редактор, — поняла жена. — Татьяна. Это надолго. — Заметила мое любопытство, показала на стены. — Мы всех знали. В молодости кто только у нас не был! Вот хотя бы... — Выбрала синий северный пейзаж с летящей уткой. — В один прекрасный день отец приводит парнишку. — Прищурилась, превратила глаза в щелки. — Чукча или ненец, одним словом, северянин. Корми, говорит, мать, это гений.

Я разглядывал картину. Действительно, в этом словно бы детском письме была недетская тайна.

— А мне все одно: гений — не гений, главное, не нахал, уважительный, симпатичный, тихий. А зовут, как наших: Панков Костя.

Помолчала.

— В тот год их с севера привезли учиться. Отец сразу от него был в восторге. Многие хороши, но этот, говорил, высшего класса!

Перевела взгляд на другую работу, не зная, что выбрать, на чем лучше остановиться.

— Кузьма Сергеевич, тот был постарше, многие из наших у него учились. И Александр Николаич, и Лев Романыч, и Вячеслав Владимирович — все здесь перебивали, все отца ценили.

В комнату влетела внучка — худенькая, беленькая, как одуванчик, обогнула стол, раскрыла передо мной тетрадку.

— Пятёрка!

— А бабушке отчего не покажешь? — укорил я.

— Бабушка читать не умеет.

— Вот дядя про тебя напишет в газету, — пригрозила беззлобно бабка. — Он не только читать, он и статью может.

— Ха-ха! — возмутилась внучка, но тут же исчезла.

Я опять поглядел из двери: старик вел переговоры, что-то втолковывал редактору по телефону.

Я спросил осторожно:

— А над чем теперь работает Николай Николаич?

Она перевел взгляд на дверь, точно не могла решиться выдать не свою тайну.

— Да как сказать... Он не работает, думает больше... — И пояснила: — Думанья спаруки не видно, но я понимаю, нет его в доме, чего ни спросишь — не слышит.

— О чем же книга?

— Как раз о нем, о Папкове, — качнулась к картине.

И шепотом, как по секрету:

— Вместе гуляют...

— Панков жив? — Я удивился.

— Не в том смысле... Сам-то убит в сорок первом... Но мой как бы вместе с Панковым гуляет в пространстве картины...

Взглянула — не понял? Опять пояснила:

— Стоит здесь около этого стула, но вообще-то его нет, он там, в пейзаже.

И она опять показала на стену.

— Рассказ читал в книге: художник уходит в картину?

— Хороший рассказ. — Что-то стало для меня проясняться.

— Рассказ гениальный! Так вот...

Заскрипел стул, старик занял свое законное место. Жена замолчала.

— Понимаете, дорогой коллега, — как бы продолжил прерванную мысль писатель, — художники, занявшие места в музеях, пытались соревноваться с природой, а в действительности, в лучшем случае, занимались «никчемным удваиванием вещей», как говорил один мой умный знакомый. Где же истина? В чем цель живописца? Отвечу!

Я чувствовал себя как на уроке, это было забавно.

— Отвечу, — повторил он. — Мастер не имеет права повторять природу в точности на своих холстах. Натура нужна, бесспорно. Но нужна для того, чтобы выразить лучше мысль, замысел свой.

Я кивнул, мол, понял.

— Не торопитесь кивать, — он будто бы рассердился. — Читайте, смотрите, думайте, раз уж взяли перо в руки... А с рукописью я быстро.

Фраза была как прощание. Сковорода опустела, чай был выпит. Я поднялся.

— Звоните, мой друг, не стесняйтесь.

Жена вытерла о фартук руки.

— Он напишет, — сказала так, словно хотела заверить в хорошем исходе. — Молодых отец любит.

Я вышел на улицу, побрел по проспекту. В глазах стояли картины. И лысый старик, вещавший о живописи, как школьный учитель на важном первом уроке.

Недели две я терпел, не решался набрать номер. Друзья, занимающиеся наукой и, естественно, имеющие почтенных шефов, убежденно говорили, что звонить рецензенту раньше, чем через месяц, попросту неудобно. Я с грустью отсчитывал уныло текущие сутки.

И вдруг меня разыскали. Общая цепь знакомых и незнакомых заново повторилась. «Девочка» — отыскала приятельницу, которая знала «мальчика», а «мальчик» другую «девочку», мою коллегу.

В тот день я дежурил.

Волнуясь, я бросился к телефону, и теперь знакомый голос предложил приехать в любое удобное для меня время. Но ни сегодня (дежурство!), ни завтра (какой разговор полусонному человеку) я ехать не мог, сговорились на послезавтра.

Появляться к очередному обеду мне не хотелось, я уже знал их обычаи, стал проситься на два часа раньше. Разрешили.

Конечно, примчался почти за три в теперь ходил вокруг дома, убивая время. «Как он отнесется?», «что скажет?» — это прокручивалось и повторялось.

Поймал я себя на той же мысли, когда нажимал на звонок. За дверями слышались шаги.

— А, проходи! — сказала хозяйка, радушно улыбаясь. — Сейчас блины будут, я затворила пораньше, к твоему приходу.

— Но я ненадолго!

Она уплыла в кухню.

Вошел писатель, широко распахнул объятия, но не обнял, затем открыл дверь кабинета.

— Все готово!

Поговорили для вежливости о погоде, пора было приступать к делу.

— Ну, что ж, — сказал наконец старик. — Поздравляю. Не худо... для первой книги. Активный герой, положительный, как принято называть, достаточно достоверный.

Какой-то подвох явно слышался в его фразах.

Впрочем, сомнения легко испарялись, когда писатель, приблизив к близоруким глазам листочки, стал зачитывать отзывы.

О, чарующая сила комплиментарных рецензий! Нектар славословий! Не можешь поверить, но веришь! Раз уж сказано, все прекрасно, то не станешь же ты сомневаться. Теперь-то я знаю: только в предисловиях к первой книге и на похоронах можно услышать такое количество превосходных оценок.

Он кончил читать, протянул отзыв. Все учел: и «преимущество поколений», и единство отцов и потомков.

— Спасибо!.. — бормотал я. — Это щедро! Я не заслужил!.. («Заслужил, заслужил!» — успокаивал внутренний голос.)

Дарья Анисимовна внесла блины, поставила банку с вареньем, потребовала прекратить «умные разговоры».

Писатель отхлебывал чаек, а я проигрывал в памяти только что услышанное о своей книге.

— Мой первый роман был удивительно слабым, — сказал старик так, что я поперхнулся. — Самый худой роман, — прибавил он. — Но успех был грандиозный! Приходили мешки писем. Судили вроде бы неглупые люди, требовали, чтобы я роман тут же продолжал. И, представляете, я едва не поддался, соблазн гарантированного успеха всегда велик...

— И что же дальше?

Он негусто помазал сметаной блин.

— Дальше?! — улыбнулся. — Я попробовал сказать нечто более важное людям. Мне показалось, что, свободно владея стилем, писатель может дать читателю больше.

Старик хмыкнул.

— Ни отавука, ни ветерка, ни звука! Меня словно забыли.

Я еще цвел лепестками его предыдущих хвалебных оценок, слушал вполуха, ничего серьезного в нашей беседе не предполагая. Он пресек мое благодушное взглядом.

— Думаю, вас ждет успех, — предупредил так, точно говорил о предстоящем провале. — Будьте готовы.

— Да в чем опасность?!

— Опасность есть! — Старик отклонился на спинку стула. — Клише, повторение будет приносить вам приличные деньги, не сомневайтесь. Но иногда неуспех большего стоит. — И старик многозначительно поглядел на свои стены. — Все эти люди могли без труда добиться успеха, но цена!.. Следовало поступиться принципами настоящего искусства.

Он вроде бы обличал меня. Но тогда к чему тот панегирик?! Я решил защищаться.

— Мой герой — врач. Я его не придумал. Это моя жизнь, если хотите. В подобных состояниях я бывал сотни раз.

Старик замахал руками.

— Конечно, конечно, не сомневаюсь! Я же написал, ваш герой убедителен и достоверен, но... я о другом. Как старший я призываю вас быть мудрее, философичнее, глубже... — Старик снова загадывал загадку. — Действовать, действовать — вот ваш принцип. А может, поразмышлять? Остановиться? Подумать?

Он так и не открывал карты.

— В вашей повести главный герой — врач, человек очень деятельный, так?

Я кивнул, все верно.

— В следующей вашей повести вы попытаетесь написать похожего человека, но сделаете его... — Он поискал на потолке ответа: — ...ну, скажем, директором леспромхоза. — И объяснил: — Опять писать врача скучно. Захочется сменить профессию персонажу. Так?

— Возможно...

Кажется, я дал маху! Старик засмеялся.

— Что и требовалось доказать! — воскликнул он. — И вам это не страшно?

Блины уже остывали, есть не хотелось.

— А мне страшно! — почти закричал он. — Такой директор сразу же начнет невыполнять планы, корчевать лес, истреблять природу. Экологическая катастрофа, о которой мы скоро поговорим, и есть результат действий ваших «положительных» героев. А ведь не так давно мир напугал некий купец Лопухин, который спилил пару десятков вишневых деревьев в саду Раневских, освободил место под дачи. Господи, да он ребенок! Никто не подумал, какой герой грядет! Что станет дальше?! А ведь там пустота, гибель, конец света!

Кажется, он почувствовал, что обижает меня, утешил.

— Нет, не сердитесь! Я теоретизирую, я вообще...

Он даже погладил меня по плечу, как ребенка.

— Вот что! — воскликнул старик, как бы прося мира. — В ближайшие дни я вас возьму к моим друзьям-живописцам! Это пожилые люди, и вы им будете полезны. Но и они вам нужны не меньше. Посмотрите, как живут, почувствуете, какие петлистые дороги готовил им век двадцатый. Впрочем, там тоже не все однозначно, разные были судьбы. Пойдете?

— Спасибо.

Он повернулся в сторону кухни и радостно крикнул:

— Дарьюшка! Нам еще по чашечке чая!

...Дружба с писателем стала и моей литературной судьбой, моим единственным университетом.

О скольких именах и книгах я, оказываясь, никогда ничего не слышал! Да и где я мог это узнать, если бы судьба не подарила мне такой встречи?!

Да, он обожал русскую философию, русское искусство рубежа веков, не только знал, но и мог процитировать наизусть целые абзацы из статей мыслителей, имена которых, казалось, уже бесследно слизнуло со стола истории жестокое время. Вернадский, Федоров, Шестов, Розанов, Флоренский, Трубецкие, Франк, Степун, Бердяев, — массу поразительных книг я увидел у него впервые!

Теперь я и сам останавливался в букинистических магазинах у полок с затрепанными корешками и вдруг вздрагивал, обнаружив то, что он ценил.

Я бежал к автомату. Нужно было решить: покупать ли такую дорогую книгу?

Он кричал в трубку, нагоняя стыд:

— Вы с ума сошли, спрашивать?! Да берите, берите немедленно! А если денег нет, приезжайте! Случай больше не повторится! — И старик вешал телефонную трубку, явно опасаясь моих колебаний.

И все же фамилию писателя я назвать не решусь. Слишком близко я знал его, чтобы ручаться за каждое слово, чтобы не чувствовать той разницы, которая возникает между ним, подлинным, и тем человеком, которого я силуюсь изобразить в этом рассказе.

Воспоминания в лучшем случае приближают к цели, но полностью с целью не совпадают. Реальный человек шире любого воспоминания, так не правильнее ли придумать герою вымышленное имя?

Итак, каким же путем сблизить человека подлинного и придуманного?

А если передать старику фамилию одного из его персонажей? Был в последнем его романе некий изобретатель Николай Николаевич Фаустов, вот и пускай так именуется мой главный герой.

Когда-то, придумывая Фаустова для собственной книги, старик максимально приблизился к самому себе. Может, и я, заняв фамилию, имя и отчество у его героя, приближусь к старику?

Но если я решился изменить фамилию писателя, то как быть с человеком, которого я никогда не видел, о котором узнал из рассказов? Разве справедливо шифровать имя, уже зашифрованное прошлым, давно поглощенное людской памятью?

Как исчез подлинный Василий Павлович Калужнин, мало кто и заметил.

Жил он почти сорок пять лет в Ленинграде, никуда не уезжал, разве на несколько дней в Москву в разные годы, но как-то так получилось, что знакомые все реже и реже его встречали на улицах, на вернисажах, пока, наконец, не привыкли к тому, что этого человека в городе, а может, и в жизни больше не существует. Жил, был, да, вероятно, умер.

А Калужнин между тем оставался все в той же своей квартире, трудился не покладая рук, вероятно, иаденсь, что еще придет время, когда он сумеет свой труд представить на суд людям.

Конечно, если бы я не дружил с Фаустовым, я бы не бросился в столь неперспективный поиск. Мало ли кого запрятало, закопало, рассеяло в пыль наше время.

Крупные, как говорится, личности если и исчезали в застенках, то все же принадлежали истории. Где-то в архивах с грифом «секретно» жили, пылились их документы, но как же быть с теми, кто занимал лишь графу в домовых книгах? Жизнь их вполне умещалась в вычерк — выбыл.

Был? Возможно.

Выбыл? И тут ответ самый разный...

И все же тень человека зашевелилась, поколебала легкую занавеску истории.

Что это? Судьба? Мистика? Некая историческая справедливость? А может, всего-навсего *случай*?

Впрочем, *случай* — моя многолетняя вера.

В этот раз случай избрал скромное место: Книжную лавку у Анничкова моста, на Невском.

Было это сравнительно недавно, лет пять или шесть назад, Фаустов и его жена умерли, а я за немалые годы сам стал привечать молодых, время совершало свои обычные метаморфозы.

Итак, в день лета, скажем, одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года я стоял у книжного стеллажа просторного зала, над дверями которого висит предостерегающая табличка: «Отдел обслуживания писателей».

В моих руках была книга, пахнущая типографской краской, в которой рассказывалось о судьбе известного художника-ленинградца, начинавшего свой творческий путь в середине двадцатых, когда несколько молодых живописцев, отрицающих конъюнктуру, спекуляцию на актуальном и приспособленчество, объединились в группу, названную «Круг художников».

Благодаря Фаустову, я не только видел картины некоторых «круговцев», но и познакомился кое с кем из них, — разговор об этом еще впереди.

Репродукции в книге были прекрасны. Я с интересом перелистывал страницы — многое было знакомо — и, вздохнув, привлек взгляд близкого стоящего соседа, известного искусствоведа, державшего в руках тот же том.

Говорить эмоциональному непрофессионалу с холодным профессионалом всегда опасно, сколько раз я ругал себя за несдержанность, но ошибки, как правило, совершались в одном и том же месте.

— Какой молодец! Замечательное искусство! — пылко произнес я.

Я словно дожидался момента, чтобы высказать мнение.

— Чего уж вы так? — скептически, как мне показалось, отозвался искусствовед. — Конечно, талантливые люди эти «круговцы», но ведь еще мальчишки! Мы же говорим о двадцатых, не так ли? — И усмехнулся. — Впрочем, молодость не всегда считалась большим недостатком.

Пришлось поулыбаться.

— Кстати сказать, в их разрастающейся с годами группе были люди разных степеней дарований, а в дальнейшем и разных судеб. Как это у классика? «Одних уж нет, а те долечиваются». — Он хмыкнул, довольный шуткой. — Из «затерявшихся» я знал, мне думается, одного, пожалуй, выдающегося живописца... Василий Павлович Калужнин его имя.

Я насторожился, фамилия ни о чем мне, правда, не говорила. Но искусствовед произнес довольно высокий зпитет.

— Где же произошло ваше знакомство? — отчего-то я подумал об эвакуации, во время войны можно было в любом далеком поселке встретить переместившегося земляка.

Искусствовед сказал как само собой разумеющееся:

— Да здесь, в Ленинграде! — И тут же прибавил, как бы опережая возможные вопросы: — Но ни дома, ни улицы, хоть убейте, не помню. Вроде жил в центре. Хотя и в этом сейчас сомневаюсь. А вот ситуация не забылась.

Я с любопытством ждал поспенений.

— Знаете, я даже перепугался, когда зашел в его комнату. Клязь. Керосинка на подоконнике. Холод. И словно бы для контраста — огромное зеркало в перламутровой раме, след неведомой старой жизни. Присесть негде. Но главное место в комнате занимали картины, — они стояли в стеллажах, поднимались до самого потолка, были прижаты друг к другу. Огромное количество картин, целая жизнь... — Он уточнил обстановку. — Стеллажи были по правую руку, а по левую тоже картины, но на полу, повернутые изображением к стене. И вот как только я поставил на мольберт первый холст, я позабыл обо всем, кроме живописи. И бедность этого человека, и ветхость, все исчезло.

— Что же на холстах? — Я подавлял невольно вспыхнувшее волнение.

— Пейзажи, натюрморты, этого не передать словами. Но больше всего поразил блокадный город, пожалуй, вот это место на Невском. Такого города я ни у кого не встречал: истерзанная душа, невероятная боль...

Искусствовед вдруг повернулся ко мне.

— Я жил в Ленинграде и в сорок втором и в сорок третьем, и могу вас уверить, что никогда, *никогда* Ленинград не был таким болезненно красивым, как в блокаду. Безлюдные заиндевелившие улицы. И невероятная незащищенная красота.

На автобусной остановке мы стали прощаться.

— Но картины?.. Куда они могли деться?

Он ничего не знал:

— Художник показался брошенным, одиоком, нищим стариком.

— Предполагаете, умер?

— Ему было около восьмидесяти, значит, теперь было бы не меньше ста. А это для его жизни совсем нереально.

Показалось, искусствовед собирается уходить, я испугался.

— Но он что-то рассказывал о себе? Какие-то подробности?

Искусствовед задумался.

— Нет, ничего особенного не помню. Разве...

— Что?

— Да пустяк! — засмеялся искусствовед. — Но вот запомнилось, поразило... Показал едва заметную черточку в блокадном пейзаже, серо-зеленый штришок на обезлюдевшем Невском и прибавил: «Это я». Штришок как штришок, никакого сходства с человеком, но именно та косая черточка каким-то чудом и одушевляла его мертвый город.

Я подумал: ситуация напоминает сюжет из знакомого рассказа.

— Вы Фаустова не знали?

Вопрос был невпопад. Он удивлению поглядел на меня.

— Хорошо знал.

— У него есть история: художник уходит в собственную картину и оттуда не возвращается, не находит обратного пути. Может, это имел в виду ваш старик?

Искусствовед, видимо, уже раздумывал о другом.

— Конечно, следовало бы поискать картины, — как бы о своем ответил он мне. — Но заедает текучка, занят. Если бы найти адрес, где жил... Впрочем, думаю, ни родственников, ни близких у Калужнина не было... Такое осталось ощущение... А соседи? Помню, старик все время озирался, пока провожал меня в комнату, в глазах испуг, кого-то боялся, просил крепче затворить дверь... — Он вздохнул. — Обычная ситуация: считали городским сумасшедшим. Вероятно, крутили у виска и перемигивались, а умер — вынесли живопись на помойку. Вот зеркало, оно наверняка где-то стоит... Живопись-то денег не стоила, а зеркало — стоило, и немало.

— А если «рукописи не горят»?

Он пророкотал возмущенным баском:

— Горят! И хорошо горят, не сомневайтесь! Я сам видел эти костры. Не успокаивайте себя литературной притчей.

Мы распрощались.

— А если попробовать поискать? — крикнул я вслед, чувствуя, как мой знакомый через секунду исчезает в черноте перехода.

Он замер, как в детской довоенной игре в штайдер.

— Надо бы, — без особого энтузиазма согласился искусствовед, где-то могут еще храниться домовые книги, скорее это знает милиция.

Поднял руку, как бы подчеркивая свое нежелание заниматься художником дальше.

Через несколько секунд я увидел искусствоведа на противоположной стороне Невского — он быстро шел в сторону своей службы, к Русскому музею.

Я повторил: *Калужнин*. И сразу испугался, что сейчас, через минуту, забуду фамилию.

Бумаги не было. Я обшарил карманы, но почти тут же стал сомневаться, был ли художник Василием Павловичем или Василием Николаевичем? Наконец, сообразил про книжечку трамвайных талонов и на обратной их стороне печатными буквами начертил услышанную фамилию.

...Первое, что я сделал дома, — открыл томик повестей и рассказов Фаустова, разыскал тот, о художнике, и торопливо проглядел его, надеясь найти похожую фамилию. «Было бы здорово, если бы *Калужнин*. Даже не обязательно точно, пусть *Калугин*, *Калужский*, *Калуцкий*, это могло стать для меня приметой, указанием на то, что старик Фаустов и неведомый художник были знакомы».

Но какую бы страницу я ни открывал, совпадения не возникало. Правда, было иное: каждый раз палец словно бы отыскивал абзац, где автор вспоминал о блокаде, а то и о некоем художнике, живущем в блокадном городе.

Фаустов писал:

«В первую блокадную зиму художник тоже работал и ослабевшей от голода рукой сумел отобрать от реальности как раз то, чем реальность не любит делиться с художниками, и сделал свои картины не только документами, а как бы самой жизнью, загадочно слившейся с кусками холста, одушевив полуослепшие дома, очеловечив бесчеловечную зиму, поселившуюся в этих домах и принесшую туда такую тишину, которая раньше только хранилась на дне замерзших рек.

Да, тишина на этих холстах, и рядом с ней скрип подошв и медленные шаги закутанного в шаль старика, бредущего в булочную. И в этом замедлении и стуже присутствует еще что-то, переданное цветом, то, что намного страшнее реальности, само небытие, отодвинувшиеся дом и сделавшиеся широкими улицы, чтобы дразнить ослабевшего пешехода этой страшной явью, притворившейся сном.

В те дни я уходил в булочную задолго до ее открытия, и дома вместе с улицей поджидали меня, и вдруг пространство становилось до того отчужденным, словно минута превратилась в век, и век сей снова превратился в минуту, и все кончится за следующим домом, дойдя до которого, я увижу, что булочная отодвинулась, сговорились с коварным пространством, уже переставшим быть обычной реальностью, ставшим чем-то другим, незримо более ощутимым, чем та, разбавленная пополам с радостью, действительность, которая существовала до войны».

Странная проза! Фразы напоминали бормотание сомнамбулы, словно бы складывались в тягостном полусне.

О ком Фаустов думал? Кто тот Художник, переносивший реальность блокады на собственный холст?

Я глядел в свое охтинское окно, серое одеяло Невы, подернутое легкой рябью, лежало неподвижно передо мной. Сквозь пятиглавый купол Смольного собора текло облако, похожее на палитру, оно в короткий миг перекрасило синее и золотое в замутненное желтое.

И тут внезапно вспомнилось еще одно, совершенно забытое фаустовское наследие, однажды подаренное мне дочерью Николая Николаевича, его стихи.

Да, да, он к тому же был и поэтом, но был им очень недолго, всего один блокадный сорок второй год.

Я бросился к своим папкам с документами. После смерти старика я спрятал пожухлые листочки с фиолетовыми строками его стихов. Искать долго не пришлось. В первой же папке лежала стопка приметных (из давнего времени) страничек с текстами.

И тогда стихи поразили меня. Но сегодня я вдруг открыл для себя нечто новое, непередаваемое, живую кровоточащую рану фаустовской памяти:

Красная капля в снегу.
И мальчик с зеленым лицом, как кошка.
Вывески лезут:
 «Масло», «Пиво», «Булка».
Как будто на свете есть булка?!
Дом раскрыл себя самого, двери и окна.
Но снится мне детство:
 Гуси, горы, Витимкан...
Входит давно забытая мама.
Времени нет.
На стуле дама в желтом халате.
Он трогает четки рукой.
А мама смеется.
А время все длится,
 все тянется.
За водой на Неву я боюсь опоздать.

Я всматриваюсь в эти питочки букв. Вижу, как Фаустов постукивает пером о дно «непроливайки» и медленно, застывшими неотогретыми пальцами выводит шаткие буквы, такие же обессиленные, как и он сам. Буквы качаются от слабости и, чтобы поддержать их, Фаустов, закончив строчку, соединяет их черточками, точно привязывает друг к другу. Так он обеспечивает им не только устойчивость, но и вечность.

Тогда-то, неведомо зачем, я и выписал абзац, ту большую цитату из Фаустова, невольно соединив эти два имени. Листок положил в пустую папку, на которой красным фломастером вывел: *КАЛУЖНИН*.

Что означал мой интерес, сказать я не мог. Папка легла в стол, и долго-долго я ее не вынимал, не было в этом ни малейшего смысла.

Теперь-то я понимаю, как методично приобщал меня Фаустов к искусству. Для этого была у него, условно говоря, система «ступенек», с одной на другую переводил он, расширяя обзор.

Бывало, мы ходили к его друзьям — «круговцам», уже старикам. Я смотрел живопись, слушал их разговоры, если и не все понимал и оценивал, то всегда чувствовал серьезность совершавшегося события. Случалось, Фаустов звонил и возбужденно объявлял, что открыл неведомый миру талант, молодое подпольное дарование, непризнанную гениальность, и нам предстоит посетить эту «гениальность» в ближайшие дни.

Случалось так, что в высоких мансардах с длинными коридорами и серией дверей в мастерские скромный закуток молодого и непризнанного отделяла от шикарных хором признанного и немолодого одна капитальная стена. И если к признанному шли закупочные комиссии Союза художников, приобретая на корню и явно слабое и не сделанное, то «непризнанного» признавал первым Фаустов, которого обычно сопровождал Дарья Анисимовна и я.

Хорошо помню первую «экспедицию».

Снарядились с великим волнением и суетой.

Вызвали такси. Но телефон Фаустова был заблокирован с телефоном словоохотливого соседа-литератора, который мог часами не опускать трубку. Ситуация, кстати, повторялась неоднократно.

— Это невозможно! — волновался Фаустов. — Такси никогда не дозвонится к нам! Мы не успеем!

Он то и дело подбегал к аппарату, поднимал трубку и с горестным разочарованием опускал ее на рычаг.

Наконец за дело бралась Дарья Анисимовна. Опа направлялась к соседу и, как цербер, усаживалась около аппарата. Фаустов успокаивался.

В назначенное время мы начинали восхождение по черной лестнице семиэтажного дома, оказавшегося со стороны двора восьмиэтажным, не считая того чердака, который и был нашей целью. Поднимались цепочкой. Впереди Дарья Анисимовна, следующим шел Фаустов, замыкающим был я.

Перила на черной лестнице то прерывались, обнажая острые зубцы штырей, то так были согнуты, что держаться за них становилось неудобно. Сесть на подоконник и передохнуть тоже оказывалось непросто, слой пыли по мере подъема нарастал, грязь от этажа к этажу лежала все более толстым слоем.

Фаустов хотел двигаться быстрее, но Дарья Анисимовна укрощала его пыл.

Она стелила газету на подоконники и усаживала Фаустова передохнуть. Через пару секунд он вскакивал и требовал двигаться дальше.

Звонка на дверях не было — художник держал вход открытым.

Помню просторный чулан с мольбертом вблизи круглого чердачного окна, с двухэтажным стеллажом невостробованной живописи, с единственным торжественным и высоким креслом, напоминающим трон. Впрочем, судя по цвету сиденья, кресло было найдено не во дворце, а на одной из ближайших помоек.

Художник, молодой, рыжеволосый, веснушчатый, по имени Герман, метнулся в боковую дверцу чулана и тут же возник около меня с ящиком из-под фруктов, экспроприированным явно у черного хода продовольственного магазина. Затем застелил чистой газетой закапанную красками табуретку и широким жестом пригласил сесть Фаустова. Трон предназначался Дарье Анисимовне, — им, как следовало понимать, ей оказывалась королевская честь.

Пока шли приготовления, Дарья Анисимовна оглядывалась по сторонам, примеривалась к обстановке. Взгляд ее то и дело скользил по расставленным на полочках безделушкам, горшкам и сосудам для будущих натюрмортов, по мандолине без струн, по блюду с сушеными фруктами. Осмотрев все, Дарья Анисимовна сложила на животе большие крестьянские руки и будто застыла, превратившись в неподвижное изваяние наподобие полинезийских статуй, открытых ученым и мореплавателем Хейердалом. Казалось, ничто здесь больше не сможет ее растрогать.

Фаустов тоже пока сидел отрешенный.

Наконец из стеллажа выехал со скрипом подрамник, художник поставил холст на мольберт.

И тут началось! Фаустов будто бы подскочил на табурете, бросился в сторону, боковым зрением выбирая удобный ракурс. Остановился. Прицелился. Понесся назад, откуда обзор показался четче.

Теперь каждый новый холст заставлял его менять место. Он вскидывался и застыл, точно гончая перед дичью.

С какого-то момента я, видимо, отвлекся от живописи, — бегающий, охающий Фаустов был для меня более интересным. Впрочем, стоит признаться, тогда я был меньше всего подготовлен к такому искусству, я не все понимал.

Прошли годы, и теперь я нередко снимаю со своей книжной полки тоненькую брошюрку Казимира Малевича, чтобы зачитать в спорах: «Всегда требуют, чтобы искусство было понято, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к пониманию».

В отличие от мужа Дарья Анисимовна продолжала оставаться безучастной. Изображенное ее волновало не больше, чем меня.

Но было другое! Я видел прицельный лучик ее наблюдения. Взгляд Дарьи Анисимовны следовал за снующим, бегающим, меняющим места Фаустовым, в каком бы углу мастерской он ни находился. И если я все же пытался собственное непонимание поправить его восторгом, то Дарья Анисимовна на живопись просто не смотрела: она пришла сюда для другого — наблюдать за мужем, а если потребуется, то и решить.

Видимо, ее час еще не настал, не пробил, но что-то в напряженном «слежении» подсказывало — слово ее впереди.

Так и случилось. Герман вытянул со стеллажа полотно — синий натюрморт с самоваром — и стал прилаживать на мольберте.

Пока художник не отошел в сторону, Фаустов поменял несколько «точек», обзор его не устраивал.

Наконец картина и Фаустов оказались друг перед другом. Фаустов замер, застыл, закатил глаза.

— О-о-о! — разнеслось вокруг.

Дарья Анисимовна подалась вперед, — стоп Фаустова был для нее подобен звуку боевой трубы для гусара.

Фаустов молился. Ой что-то шептал, глядя на натюрморт. И вдруг, сканнув к окну, стал разглядывать натюрморт сквозь сделанные из большого и указательного пальцев колечки бинокля.

Я повторил его жест.

— Чудо! — бормотал Фаустов, покрыв румянцем бледное лицо автора. — Идите, идите, друг мой, это единственное место, вам отсюда ничего не увидать!

Пришлось подойти к нему, хотя меня не оставляли сомнения, что я смогу рассмотреть не меньше учителя.

И все же что-то произошло. Я глядел в самодельный «бинокль» и чем больше смотрел на синий натюрморт, тем яснее становились предметы. словно бы спрятанные в сгущенном вечернем воздухе, они проступили из сумерек, занимали свои единственные места. Я вдруг понял, что хотя сейчас за окном яркий день, но на холсте первый рассветный час, то мгновение, которое с каждой секундой — чем дольше я смотрел — прибавляло цвета и света. Самовар, чайничек для заварки, фрукты в вазе, сама ваза, раздробленная первыми лучами на несколько плоскостей, словно бы просыпались, мастер уловил миг после сна, само пробуждение. Даже малюсенький листочек на коротеньком черенке зеленоватого яблока будто бы вытянулся, повернулся к лучу и качнулся...

В мастерской наступила томящая тишина.

Наконец художник взялся за подрамник, чтобы вернуть картину в стеллаж, — и тут Фаустов закричал:

— Не смей! Не сме-ей!

Художник испуганно отступил, точно позволил бестактность по отношению к гостю.

Но и Фаустов спохватился.

— Не убирайте, — уже мягче попросил он. — Пусть постоит. Я еще хочу поглядеть, если можно...

И со сладким, неузнаваемым елеем в голосе, явно подлизываясь к жене, проговорил:

— Прекрасная вещь, Дарьюшка! Правда, Дарьюшка?! — И ко мне: — У Дарьи Анисимовны исключительный вкус!

Дарья Анисимовна склонила голову, показав, что все слышит и согласна.

— Вижу, Николай Николаевич, — пропела она, — тебе эта картина нравится?

— Оч-чень! — по-детски выкрикнул Фаустов.

Можно было предположить, что театр начинается.

— Ну что ж, — после паузы сказала Дарья Анисимовна, покашляв для солидности в кулак. — Проси продать. Я у-добряю.

Не знаю, в каком месте Сибири прибавляется к некоторым словам это странное «у», но у Дарьи Анисимовны «у» бывало не только отчетливым, но и кстати. «Одобрять» Фаустова, она одновременно и «удобряла» решение, поддерживала, помогала, подкрепляла его мнение.

Фаустов распрямил плечи, поднял голову и таким бойцовым петушком двинулся на Германа. Теперь это был уверенный в себе мэтр, законодатель вкуса, меценат, главнокомандующий искусством, а не канючащий конфетку ребенок. Да, он мог и возвысить художника и зачеркнуть его творчество своим непререкаемым авторитетом.

— Я хотел бы купить эту вещь, — решительно сказал он. — Конечно, квартира моя не музей, но зато искусство будет у меня работать на вас же, когда окажется рядом с не менее значительными и признанными вещами. Вы же знаете мое собрание?

Теперь, в конце восьмидесятых, не очень просто понять растерянность художника, у которого захотели купить картину.

Купить живопись казалось чем-то неприличным, это можно было сделать лишь «с жиру», воспринималось многими как бессмысленная трата денег. Искусство цены не имело.

— Как-как купить?! — стал заикаться художник. — Я никогда не продавал... Я лучше подарю, Николай Николаич...

— То есть как «подарю»? — возмутился Фаустов, переходя в наступление. — Говорите, сколько бы вам хотелось за живопись?!

Художник молчал.

— Я жду! — угрожал Фаустов.

— Сто! — с ужасом произнес Герман. — Если это, конечно, не слишком...

— Двести! — крикнул Фаустов. — Даю за картину двести!

— А что? Можем и двести, — сказала Дарья Анисимовна спокойно. — Деньги у нас не ворованные.

Дверь открылась. В мастерскую вошла худенькая женщина, заулыбалась доброй приветливой улыбкой, совсем не представляя, что здесь только что произошло.

— А мы у вашего мужа картину сторговали, — объявила Дарья Анисимовна. — За двести.

— Ой, бесстыдник! — как-то по-простому укорила жена. — Людей грабимы! Куда нам столько?!

— Как — куда? — возмутилась Дарья Анисимовна. — У вас детки, как это без денег? А мы книжку сдали, можем себе позволить...

Для натюрморта с самоваром нашли центральное место, потеснив другую, не менее интересную вещь. Но как младший ребенок нередко забирает долю любви старшего, так и новая вещь словно бы переключила на себя любовь Фаустова.

Каждого гостя Николай Николаевич сажал лицом к натюрмарту и нетерпеливо спрашивал:

— Как?

Конечно, я мог бы придумать разговор Фаустова с каким-либо зашедшим искусствоведом, но, к счастью, сохранилась статья о Германе, написанная Николаем Николаевичем в те же дни.

«Пожалуй, ни один вид изобразительного искусства не требует от живописца такого лаконичного и точного мастерства, как натюрморт, — писал Фаустов. — Ведь художнику нужно вырвать вещь на самой сердцевине быта и времени и «пересадить» на холст. Но и этого недостаточно! Он должен превратить холст в эквивалент бытия, дать зрителю почувствовать всю конкретность вещи, обретшей новое, теперь уже эстетическое существование.

Что же происходит с предметом, перенесенным из обстановки бытовой в обстановку эстетическую? Останется ли он равным самому себе, как в быту, как в повседневной жизни?

Нет, равновесие должно быть нарушено. На холсте должно произойти нечто вроде «чуда». Вещь, безмолвная в жизни, на холсте как бы обретает дар речи. Правда, она говорит не словами, а цветом, формой, объемом. Она «рассказывает» зрителю всё, что знал художник о предмете, и все, что он не знал о нем, не познал во время работы над картиной.

В художнике, пишущем натюрморт, должен раскрыться не только живописец, но и поэт, но и философ.

Каждый хороший натюрморт — это лишь попытка понять сущность предмета и через него глубоко почувствовать материальность окружающего мира...

Трудно иногда оценить роль печатного слова. Небольшая публикация начинает работать как прожектор, статья, словно луч, обращает взгляды людей туда, где только

что они серьезного не замечали. Так было и в этот раз. Люди ахнули вслед за Фаустовым и заговорили о неведомом живописце.

Слово «неведомый» ему перестало подходить...

Дарья Анисимовна открыла неслыханный кредит доброжелательности. Под мою ответственность Фаустову разрешалось уходить из дома, при этом каждый раз нам напоминали о коварстве дорожных переходов.

Фаустов рвался вперед, когда перед ним была цель, не обращая внимания на «желтый» и «красный», я должен был удерживать его страсть. Я добросовестно выполнял указания Дарьи Анисимовны, понимая, что только тогда кредит будет неисчерпаем.

Художники, к которым мы направлялись, были разными. Но главными оставались друзья фаустовской молодости, люди теперь такие же (и более!) пожилые, иногда немощные, нуждающиеся во внимании.

Хитрость Фаустова я оценил не сразу. Он вел не только ученика, которому хотел показать настоящее искусство, тогда чаще именуемое «неофициальным», он вел к своим старым друзьям врача, которому верил, всегда ожидая некоего медицинского чуда, рисуя писательским воображением невероятные мои возможности по исцелению неисцеленных.

Каждый поход начинался с осторожного намека-прикидки.

Фаустов показывал портрет, подаренный ему лет тридцать назад, скажем, охристого цвета девочку с острым колючим взглядом, и осторожно интересовался:

— Нравится?

Мне нравилось.

Портрет я вспоминал неоднократно, и однажды во сне эта девочка долго сверлила меня испытующим глазом.

— Александр Николаевич — мой давний приятель, замечательный мастер! — восклицал Фаустов. — Был Лидером «Круга» в двадцатых, красавец! А теперь это старый больной человек.

— Больной? — настораживался я. — Чем он болен?

— Ах, мой друг, участковые врачи так мало знают! Жена художника мечтает проконсультироваться с серьезным специалистом, но кого порекомендовать?! Вот если бы вы посоветовали?

Наконец мне становилась ясна сверхзадача.

— Хотите, чтобы посмотрел я?

Лицо Фаустова озарилось.

— Это было бы прекрасно! Позвольте, я сейчас же наберу номер?!

Через минуту он уже бегал вокруг телефона, волоча за собой провод, волнуясь и поддавая ногой выскальзывающий непослушный тапок, и тут же подскакивая, и вгоняя в него ногу.

— Это и врач и писатель! — нашептывал он, прикрывая ладонью трубку. — Да, как Чехов! А что, разве вы не доверились бы Антону Павловичу?!

И смеялся, смеялся.

Впрочем, врачебное дело — я чувствовал — он ставил выше моего литературного.

— Ну-с! — восклицал он через минуту. — Откладывать нельзя. Когда же мы навестим больного?

— Готов в любое время, если Дарья Анисимовна вас отпустит.

Он немного смутился.

— А мы попросим! — И тут же неся в кухню хлопотать увольнительную. — Дарья Анисимовна, — уважительно начинал он, но она, мне кажется, сразу все понимала. — Ты отпустишь нас к Александру Николаичу? Очень болен старик, очень!

Дарья Анисимовна вытирала руки кухонным полотенцем и выходила в столовую. Внимательно глядела на меня, потом на притихшего, согласного на любое ее решение Фаустова, наконец милостиво кивала.

— Только чтобы не шли на «красный», — предупреждала. — Мой так и лезет. Ты его держи на переходах, у-беждаешь?

Я поднимал руку в пионерском салюте.

Она благосклонно кивала и возвращалась к своим делам, но тут же выглядывала из двери.

— Лучше трамваем! — указывала мне. — Я метро не очень. Чего без нужды лезть под землю.

В сговоренный день мы выбрали удобное время — не час пик; вначале, как было обещано, ехали трамваем, пересекли Петроградскую, перебрались через Тучков мост, теперь с угла Среднего проспекта пошли пешком к переулку.

Часть домов в старом районе была огорожена, споро велась реконструкция этого уголка Васильевского.

Вот и дом! Поднимались высоко, долго, — обычное для художников дело: мансарда. На пятом этаже Фаустов примостился на подоконнике — отдых — и вдруг спросил, знаю ли я, что собой представлял «Круг художников» в Ленинграде, — идем все же к одному из его членов.

Оказалось, я знаю о «Круге» лишь приблизительно.

— Но вы же коренной ленинградец! — укорил он. — Какое вы имеете право не интересоваться собственной историей?!

Он был возмущен. В тусклом свете лестницы, когда-то, видимо, считавшейся «черной», лицо Фаустова показалось зеленовато-серым.

— Но откуда я мог знать? Кто писал об этом времени?! — оправдывался я.

Он погрузился.

— А вот там, — он показал в просвет между перилами, — вас ждет выдающийся мастер. Когда-нибудь вы сумеете оценить сегодняшний наш визит...

Старик соскочил с подоконника и, уже не глядя на меня, не оглядываясь и не замедляя шага, стал приближаться к заветной двери. Поднял руку к старинному, совсем не встречающемуся теперь звонку и дернул цепь металлических передач. Показалось, что за дверями не один колокольчик, а несколько...

Высокая дама с красивым, немолодым лицом, грустными, усталыми глазами, не улыбувшись, с неторопливым достоинством поклонилась нам, пригласила войти в глубь затененного коридора.

После тусклой лестницы зрение легче приспособлялось к темноте. Мы прошли мимо полочек с керамикой, мимо холстов, видимо, давно натянутых на подрамники, но так и не тронутых кистью, остановились у следующей двери.

Дама отступила, пропуская нас в комнату, большую и тоже притемненную, с широкой тахтой и старой крупной мебелью.

Фаустов шагнул первым, — здесь он бывал неоднократно. Никого еще не увидев, я услышал близкое хриплое дыхание, почувствовал резкий и такой знакомый запах лекарств.

— Александр, к тебе гости, — объявила жена. — Николай Николаевич с другом.

Фаустов отступил вправо. Старый измученный человек в полосатой пижаме сидел на тахте, упираясь руками в матрац. За его спиной лежали подушки, все, что было в этой квартире, диванные и с кровати. Стопы отекали, не вмещались в тапочки, поэтому он держал их поверх, губы были синего цвета, все это подсказывало диагноз: нарастающая сердечная недостаточность.

— Да ты большой молодец! — искусственно-бодрым голосом выкрикнул Фаустов, явно думая иначе.

— Болею, Коля, — прохрипел художник, совсем сбившись с дыхания. — Тяжело болею...

— Ерунда! — возмутился Фаустов, подталкивая меня к постели. — Сейчас мы тебя подправим! Ты даже не представляешь, какой чудо-врач со мной! Минуту — и тебе станет легче.

Я похолодел. Ничего, кроме металлического стетоскопа, доставшегося от деда, со мной не было. Фаустов допустил оплошность, это был явный и вредный перебор. Через полчаса станет ясно, что я так же беспомощен перед болезнью, как и многие предыдущие зскульпы.

А они здесь были! Гора битых ампул на столе подтверждала предположение.

Я присел на краешек тахты, расстегнул художнику пижамную куртку. Сердце стучало глухо, с перебойми, периодически будто бы переходило в галоп.

Нет, от меня не утаились его грустный взгляд, невысказанная мольба о помощи.

Принесли горячую воду для ног, поставили горчичники, удобнее переложили подушки, — это все, чем я располагал.

И тут к неожиданной обуюдной радости приступ начал отступать, словно бы подчинившись магической силе. Больной порозовел, приободрился, дыхание стало свободнее и чище.

Не знаю, сколько времени я крутился, но результат превзошел ожидаемое.

— А мне лучше, — без хрипоты вдруг заявил больной.

— Ну, какого мастера и к тебе привел?! — почти заорал Фаустов, невероятно радуясь моему магическому успеху. — Понял, какой для тебя подарок!? — И он весело стрелянул в меня взглядом.

Прошелся по комнате, как полководец, и неожиданно потребовал:

— Давайте-ка покажем нашему другу графику? Пусть поглядит, кого он спасал!

— Конечно, конечно, — сказала жена и сразу же поднялась.

— Несите лучше! — крикнул ей вслед Фаустов. — Старенькое! Двадцатые годы!

Жена вышла в соседнюю комнату, там была мастерская, вернулась с большой серой папкой.

— Я объясню! — возбужденно предлагал Фаустов, поглядывая на больного. — А ты помалкнай, набирайся сил.

Он притянул пераый лист и тут же застонал, точно пронзенный острым.

— Какой художник! — разнеслось по комнате. — Ты замечательный мастер!

Пейзажи углем и тушью, бархатистые необозримые пространства с лесами, пашнями, деревенскими строениями, акварель и гуашь, натюрморты с цветами, с книгой, с балалайкой — все это ложилось перед нами, каждый раз вызывая у Фаустова приливы новых волнений.

— Что вы на это скажете?! — кричал он.

Художник покачивал головой, от фаустовских комплиментов ему становилось все лучше.

Жена вынесла новую папку. Держалась она величественно, — стройная, статная, вечная его модель, — и уже отметил во многих портретах сходство, повторяющийся тип женщины.

В ее осанке, в ее умных больших глазах, в овал лица, в прическе, собранной в узел, было нечто величественное и чистое.

Теперь на тот же столик ложились листы книжной графики, классика, осмысленная совершенно по-своему, знакомые персонажи Пушкина, Грибоедова, Салтыкова-Щедрина. Много я видел еще в нерадивые школьные годы, но тогда фамилия художника меня не интересовала, я разглядывал иллюстрации не столько удивляясь, сколько невольно апитывая неожиданную, новую для себя точность, а поэтому и запоминающая.

Впрочем, помнил я не одну «школьную программу», но и «Двенадцать подангоа Геракла» с его рисунками, книжки-малышки — их у меня было когда-то много, — и что поразительно, не только узнал «Медного всадника» из его детской книжки, но и две строки под рисунком вспомнил, хотя не видел книжку почти сорок лет.

— Неужели знали? — удивился художник. — Я ведь и детские стихи писал. Было, было такое!..

На тахте сидел человек, казавшийся теперь совершенно здоровым.

— Хаатит на сегодня! — решительно сказала жена, закрывая папку с понятной мне торопливостью, хотя мы с Фаустовым не досмотрели до середины. — Александру Николаевичу трудно!..

Она уплыла в кухню, такая же величественная и гордая, какой показалась мне в первую секунду знакомства.

И тут я заметил, что Фаустов украдкой просматривает следующие рисунки, при этом как-то торопливо записывая их в папку.

Странное дело! При всей малой моей подготовленности нельзя было не заметить, как слабеет дарование. Последующие листы казались написанными другим человеком, такая сладость возникла в них.

— Сахар, настоящий сахар! — бормотал Фаустов, пользуясь тем, что жена подбегает художнику оделяло.

И вдруг сказал:

— А все же главные открытия были сделаны в двадцатые и в начале тридцатых, никуда от этого уже не деться!

Художник страдальчески погледел на нас.

— «Круг» — это романтика, — буркнул он. — Фантазия, понскы, споры — интересны в молодости. Менялось время, менялись и мы. Приходилось доказывать, что мы не хуже других...

Фаустов аскинул голову.

— Не хуже кого?!

Он забегал по комнате, я уже знал подобные аспышки его волнений и гнева.

— Что, что ты доказал своим компромиссом?! Был прекрасен и самобытен, а стал «не хуже других»!

Синяя бледность опять расплывалась по лицу художника, он задыхался тяжелее и чаще. Я понимал, если приступ начнется снова, то серебряной трубкой больше не обойтись.

— А вот и чай! — крикнула жена, аходя в комнату с электрическим самоваром. — Конец спорам! Ко-нец!

Она кинулась к мужу, стала гладить его по щеке. Он сбросил ее руку.

— Ему нельзя нервничать, — сказала она в пространство.

Это был упрек Фаустову.

— Я не люблю, когда люди говорят глупости, — буркнул художник и отвернулся. — В конце концов, время потребовало от нас быть такими, какими мы стали.

Жена снова бросила умоляющий а взгляд на Фаустова.

— Выпьем-ка чаю! — повторила она. — А потом, Александр, я почитала бы гостям твою прозу. Доктор, наверно, даже не слышал, какие написаны тобой замечательные вещи! Александр Николаевич не только в живописи был прекрасен, но и в литературе.

Фаустов сопел, все еще переживая спор с художником.

— У Александра есть прелестный, хотя и неоконченный роман. — И она, повернувшись к мужу, еще раз спросила: — Не возражаешь, если я почитаю?

...Конечно, многое теперь забылось, даже не вспомнить имен героев. Остались в памяти двое: Он и Она, живописец и кукольница.

Ее куклы тоже жили в романе, а собственной кукольной сказке. Так и соединились два мира: подлинный — голодный и черный, амышленный — счастливый и голубой.

Денег не было, холста не стало, краски кончались, оставалась белая печка, на ней и вынужден был писать художник. Его кисть продолжала рождасть шедевры.

Был момент, к художнику заглянул человек, малограмотный новый чиновник, назначенный эмиссаром искусства. Все, что он говорил, было от лица грядущей эпохи. Только слово эпоха он произносил: *эпоха*.

Оказывалось, художник писал, не понимая азбуки искусства. Эпоха внушал:

— Не сомневайтесь, наша героическая *эпоха* уже вынесла приговор загнивающему искусству. Баазис один, остальное — надстройка.

В печке потрескивало последнее полево, крупы не было, в буфете чисто и пусто. И вдруг Художник увидел, как в печь полетели куклы, игравшие только что свой счастливый спектакль.

— Я не могу так жить! — кричала жена. — Я не хочу быть надстройкой!

Язык пламени уже съедал их веселые лица...

...Через несколько лет после смерти Александра Николаевича мы с Фаустовым собрались на ретроспективную выставку его работ в Русском музее.

Экспозиция занимала несколько залов. В первом было шумно, молодежь спорила около картин, восхищалась. Из запасника, наконец, извлекли «Кондукторшу», крепко стоящую на ногах, как на бетонных опорах, наполовину озаренную зеленой вспышкой пролетающей мимо неоновой рекламы.

Рядом «Метроостровки»; они казались эскизами фресок, как и следующие за ними лица молодых коммунаров. Затем знаменитая «Девушка в футболке», в которой художник сумел совместить классику и современность.

— Какое мастерство! Удивительный живописец! — неслось отовсюду.

— Шедевр! — ликовал Фаустов, волнуясь и показывая мне то одно, то другое — еще лучше! — полотно мастера. Я следовал за Фаустовым как тень.

Вошли в последний зал и остановились. Странная и неожиданная тишина поразила здесь. Голоса исчезли. Звуки споров сюда просто не долетали. Несколько человек с постылыми лицами прошли мимо развешенных крупных полотен, повернули к выходу.

Фаустов поглядел направо, налево — разочарование возникло в его взгляде.

...Бодро печатая шаг, дангались на нас счастливые физкультурники, а с трибуны махал им еще более счастливый человек, окруженный похожими друг на друга, такими же счастливыми людьми.

...Дама в широкополой шляпе являла неожиданную салонную красоту, чего совершенно не было в предыдущих залах. Ничего общего эта женщина не имела с той, которую мы с Фаустовым хорошо знали, — скромную, с большими печальными и умными глазами. Тихой тенью она проходила по аеринсажу.

Фаустов заметался от холста к холсту, он словно пытался отыскать в этих вещах следы затерянного таланта. Нет, не нашел!

Подошли два старика, постояли около картины с красивым и громким — а а жизни строгим и тихим — поэтом, повернулись друг к другу.

— А ведь Александр был одним из самых талантливых в «Круге», — сказал аккуратенький маленький в белоснежной рубашке и в галстук. У старика были пухлые детские губы, которые он тут же сложил колечком, а его младенческих серых глазах недоумение соединилось с болью.

— Был, да весь вышел! — прогудел аторой, огромный и лысый.

— Кузьма Сергеевич так а него аерил! — сказал губастый. — Испугался, что идет не в ногу, вот и пошел в ногу.

Аккуратенький сложил снова губы колечком, круглое его лицо, засеянное веснушками, аызрило печаль.

— Только что поглядел его графику. Каков Щедрин?! Кузьма Сергеевич называл эту серию конгенальной! — И поднял палец, точно гимназический учитель.

Они склонили головы, будто прощались с безвременно ушедшим другом.

— Выставка — его аторые похороны, — мрачно сказал лысый.

Оба повернули назад к выходу. Фаустов сел на пух, опустил глаза.

— Руавим праа, — сказал Фаустов. — Это аторые похороны Александра. А ведь был, был, был, — трижды сказал он и ударил кулаком по колену, — был одним из ярчайших! В тишине выставочного зала, со стен которого на нас смотрели, смеялись, кричали осанну счастливые и красивые муляжи-люди, я не выдержал и спросил у Фаустова:

— Почему в двадцатые, когда стоила разруха и голод, когда революция делала первые шаги, у писателей, артистов, скульпторов, педагогов и режиссеров все получалось?!

Странно ответил Фаустов:

— Двадцатый век принял своих ровесников и сам же их испугался. Еще бы! В мир пришла масса титанов! Средний человек был потеснен; нормой объявлялась иррациональная одаренность.

Он так и не поднял глаз на стены, покачивался на бархатном пуфе, как буддийский монах на молитве, думал о прошлом.

— Представьте, что было бы в жизни, если бы все заговорило своими естественными голосами?! Норма — гений! Исключение — бездарь. — И Фаустов рассмеялся.

Мне даже стало холодно от его саркастического смеха. Я спросил:

— Но ведь не все поддались Е-похе? Были, наверное, и другие?!

— Конечно. Только жизни «других» и складывались по-другому. — Тень пропала в его взгляде. — Когда Александр писал свою повесть, он не мог представить, что лет эдак через десяток Е-поха станет, как минимум, директором Русского или Третьяковки, превратится в грозную, почти неодолимую силу. И другой искусствовед будет уже никому не нужен.

Случай пришел ко мне сам.

Я сидел за письменным столом, работа не шла, с утра одолевала гнетущая вялость. Когда раздавался телефонный звонок, я с радостью хватался за трубку.

О, эти утренние птички — библиотечарши, организующие культурную жизнь собственных учреждений!

— Нам обещали писателя, но не дали, — объяснял мне тонюсенький, чуть не плачущий голос. — Посоветовали к вам обратиться, сказали, вы добрый, выручите...

Выступление не входило в мои планы, но лезть делала свое дело. Я дал библиотечарше повод к атаке.

— А когда нужно?

— Завтра в девять, — тут же выпалила она, не скрывая своей счастливой надежды.

— Утром мне неудобно.

— Но у нас именно в это время меняются наряды, замполит обещал собрать побольше народу.

— Какие наряды? — не понял я. — Куда вы меня зовете?

— В милицию, — сказала она.

— Но я никогда не занимался детективной литературой, о чем я могу рассказать? Библиотечарша меня укоряла:

— Милицию волнуют любые нравственные проблемы. Вы даже предположить не можете, какая благодарная аудитория вас ждет. А потом... несколько читателей уже разыскали книги, они вас читают...

— Вы так говорите, будто книги разыскивал ваш уголовный розыск.

— И они тоже! — она выигрывала торги. — Это лучшие читатели, вы убедитесь...

— Далеко ли ехать? — спросил я, надеясь, что удаленность от дома — тоже повод отбиться от неожиданной просьбы.

— Мы в центре, — тараторила она. — Вы не потеряете лишнего времени, обещаю...

И вдруг я подумал, что меня зовут в то отделение милиции, в районе которого мог жить неведомый художник. Может, судьба подбрасывает мне шанс?!

— Хорошо, — согласился я. — Завтра у вас буду.

Замполит — молодой офицер с университетским значком на лацкане форменного костюма, слушал меня с неподдельным интересом. Правда, не так много я мог ему рассказать о «Круге», о тех художниках двадцатых, среди которых и был забытый миром Василий Павлович Калужнин.

По моим представлениям офицер должен был сказать:

— Маловато фактов.

Но, к радости, он пообещал:

— Мы обязательно разыщем его следы.

Проводил до выхода, пожал руку и с неожиданным подозрением произнес:

— Картины стали интересовать многих. Мы тут недавно раскрыли шайку. Шастают по старушкам, обирают бессильных. И, конечно, всегда за бесценок.

Я смутился, стал бормотать что-то в свое оправдание.

— Да я просто так, к слову, — успокоил замполит. — Как говорят, во-ще.

Телефон звонил, пока я открывал двери. Я ринулся к трубке и сразу же узнал этот голос.

— Задание выполнено, — доложил замполит, точно я был руководителем опергруппы. — Передаю трубку лейтенанту, которому было поручено ваше «дело».

Пока лейтенант кашлял, подбирая слова «для отчета», я подумал, что, может, эта секунда и есть начало удачи, ниточка, хвостик, первый шаг, с которого мне откроются перспективы. Но я тут же себя одернул: мой поиск мог с этим звонком прекратиться.

— Докладываю, — сказал лейтенант. — Значит так, товарищ писатель, мы адрес Калужнина, конечно же, разыскали: Литейный, шестнадцать, квартира шесть. Родился он четырнадцатого декабря тысяча восемьсот девяностого года, умер в мае шестьдесят седьмого. Дом, где проживал художник, был на капремонте, но кое-какие жильцы вернулись, мы их уже опросили.

— Они помнят его? — я перебил лейтенанта.

Он замолчал. Не следовало своим нетерпением торопить рассказ.

— Фактов негусто, товарищ писатель, — сказал лейтенант. — В квартире шесть, где объект жил, старых жильцов не осталось. Но в квартире девять выявлен старик, знавший художника еще в своем младенчестве. Мама старика с этим художником дружила, и старик в бытность ребенком забегал к художнику из личного любопытства, нравилось ему смотреть, как тот рисует. Был Калужнин человек одинокий, детей обожал, вот что старик помнит.

— А знакомых Калужнина, его друзей называет?

— В доме кое-кого знал, но те померли, товарищ писатель, времени прошло немало. Да! — лейтенант, видимо, заглядывал в шпаргалку. — Да. — повторил он, — была старушка, жена часовщика, в квартире четыре, проживала в блокаде в номере шесть.

Старик сказал, что он эту старушку уже лет пять не встречает, видно, и ее прибрало...

— А где картины — спросили?

— Спросил. Нет, про картины не знает, он про зергало помнит...

— Про что?

— Зергало было, — сказал лейтенант, выговаривая «г» вместо «к». — Большое зергало с потолка до полу, а перламутровой раме. За всю жизнь он такого больше не видел. Куда делось, тоже сказать не может. — И вдруг спросил: — Понскать или пусть пропадает?

— Зергало меня не интересует.

Видно, он собирался протаться, информация исчерпалась.

— Но, может, старик что-нибудь рассказал вам о жизни художника?

Лейтенант хмыкнул.

— Ерунду. Слухи. А слухи, товарищ писатель, не пришьешь к делу, мало ли что навывдумывают люди...

Я взмолился.

— Нет, скажите!

— Даже неловко. — Он помолчал. — Будто сестра художника была в Париже артисткой. Будто она приезжала на похороны. Это, товарищ писатель, чушь, невозможно. В шестьдесят седьмом на похороны никого из капстран не пускали. Впрочем, если хотите, мы можем и этот вопрос отработать.

Я поблагодарил своего Шерлока Холмса. Сведенный поступило не густо, но все же, все же...

Как говорится, жил-был на Литейном художник, да и помер. В целом сегодняшний день у меня оказался удачным. Появился адрес, первые очевидцы. Сестра в Париже, артистка, — не так уж мало.

Теперь за дело! Есть художники, искусствоведы, коллекционеры, которые должны Калужнина помнить. Не мог только один человек видеть его картины.

«Круг»? «Круг художников»?

Слово нравится мне, кажется, оно имеет легкую тонкую замкнутую форму.

Слово подкинул Фаустов, затем многократно его повторяли другие.

Лысый громогласный Фрумак, как и маленький аккуратенький старичок с коричневыми пятнышками на лице Вербов, стали моими поводырями, с ними окунался и в прошлое, слушал их рассказы о «Круге».

Почему слово ассоциируется для меня с радугой, с Тучковым мостом, образующим со своим отражением в воде замкнутую кривую?

Это, вероятно, оттого, что я помню себя идущим с Фаустовым. Дует невский ветер. Мы придерживаем кепки, прижимаем свободной рукой развевающиеся полы, рядом грохочут трамваи, и сквозь весь этот шум я пытаюсь запомнить каждое слово старого друга.

Как это было? Я пытаюсь восстановить разговор...

— «Круг»?! — вскидывает голову Фаустов, и мне кажется, что его подбородок чертит кривую, которая могла — будь такая возможность — замкнуться и стать кру-

гом. — «Круг»? — повторяет он, оглядывая пространство с пешеходной дорожки моста, набережную и начинающийся Большой проспект Петроградской, кольцо «Юбилейного» и другое окружение стадиона Ленина, — это воздух города, перенесенный художниками двадцатых на свои холсты, это стиль времени, стиль эпохи.

— Эпохи? — иронизирую я.

— Эпохи, — настаивает Фаустов. — Когда-то художники «Круга» внесли это слово в свой манифест. Написали как кредо: «Найти стиль эпохи» и поставили эпиграфом к своей программе.

Нет, и тогда я не понял всей серьезности, с какой говорил со мной Фаустов. Хотелось шутить, быть раскованным и легким.

— А может, все проще? — продолжал я. — Круг — это кольцо, обруч?

Фаустов недоволен, ему не нравится столь плоский юмор.

— «Круг» это «Круг», — бурчит он.

Теперь-то я знаю, что в 1925 году пятнадцать художников кончили Академию у Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. А в следующем решили сохранить студенческое единство, выступить кругом (обществом, сборищем, мирской сходкой), выработать при этом собственную программу.

Выпускник Алексева прислал из Пскова письмо, предложил назваться «Кругом художников».

Поддержали единогласно.

Осенью собрались в Доме печати, решили готовиться к выставке, критерий один: неприязнь и беспощадность.

Стола в комнате не было, столами пусть пользуются бюрократы. «Круговцам» было достаточно стульев.

Каждый сидел как хотел, верхом, качаясь, как в кресле, прижавшись и вытянув ноги. За стеной бурлили филоновцы, — их уважали, хотя исповедовали другое.

Увидев Филонова, кивали издали, проходили с почтением, робко. Этот был богом, хотя ему молились в соседней комнате.

На Исаакиевской обосновались другие, не похожие ни на филоновцев, ни на «круговцев», это студенты ГИНХУКА, ученики Малевича и Татлина, Матюшина и Мансурова, те разрабатывали посткубистические структуры.

Впрочем, барьеров не было. Не соглашаешься — переходи! Разрыв как предательство не воспринимался.

Что ненавидели? Собственные неудачи. Клеймили друг друга, неазирая на лица.

С эпохой им повезло, в этом никто не сомневался.

Но а чем сомневались и постоянно, повезло ли эпохе с ними.

Удастся ли найти средства, выражающие исключительное время, дух революции, неповторимость века?

А если выражат не они, а те, рядом? Нет, нельзя допустить такого! Нужно искать, приближаться к ответу.

...Я сижу в небольшой двухкомнатной квартире Якова Михайловича Шура, последнего из того самого пераго «круговского набора».

Шуру — восемьдесят пять, но ему здорово удалось обмануть возраст. Небольшой, седовласый, очень подающий, с прекрасной молодой памятью и блестящими, живыми, незатухающими веселыми глазами.

— Шестьдесят — это мгновение, — говорит он. — Двадцатые рядом...

На стенах солнечной комнаты картины Якова Михайловича, уравновешенные, лиричные ленинградские пейзажи, рядом несколько работ друзей-круговцев Русакова и Купера-Ассера.

Якову Михайловичу приятно вспоминать о тех, счастливых, годах своей жизни.

— Нас почти выкинули из Академии, — посмеивается он, зная конец этой истории. — Мы выглядели бунтовщиками, не хотели принимать архаических академических установок самого консервативного учреждения — оплота старого искусства. И выкинули бы! — говорит он. — Да спас граф Эссен, а ранее, бывший граф, а тогда партийный работник, друг Луначарского, коммунист. Он и заставил администрацию Академии разрешить нам закончить курс у Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина...

Шур прикрывает глаза, вспоминает прошлое.

— Как «круговцы» мы выставились впервые в двадцать шестом, но как выпускники Академии показали работы годом раньше, на отчетной студенческой. Есть статья Пунина в журнале «Жизнь искусства», вы ее поглядите. Рецензия Пунина тогда прозвучала как гром. Признание! Удивление! Живопись вопреки Академии! Новое слово! Это теперь захвалить бояться, а ведь поддержка, признание особенно важны молодому.

Солнце высветливает нежную живопись Шура. Мне нравятся его скромные пейзажи, высокая культура и мастерство. Ранние работы не сохранились, — все, что висит, создано в семидесятые годы.

— Хорошо помню, как отбирались картины на выставку, — продолжает Шур. — Вначале решали старые академические профессора, у них были свои «академические» требования, наши под эти требования попросту не подходили. Мы возмутились. Хотелось самостоятельности. Пожалуй, один только Пахомов сдался, готов был признать их власть... — Яков Михайлович делает паузу, словно готовит меня к продолжению рассказа. — Помните, я говорил об Алексееве, тот самый, что предложил называться «Кругом», здоровый был парень. Взял он Пахомова за руки и на глазах почтенной академической публики вынес его из зала, а затем вернулся за его живописью. Больше Пахомов против «Круга» не шел, не решался...

— Наверное, академические профессора считали нас хулиганами, увидев в стенах Академии такое?!

Шур смеется.

— Думаю, хулиганами они нас не считали. Разве хулиганы бредят искусством? Мы были иными, но мы были художниками, преданными делу до самозабвения. А то, что решали коллегиально, так это было определено временем, все делалось коллективно. Как-то один из нас принес слабую вещь, мы выбросили ее в окно, а заседание продолжали. Жалеть не сделанное не научились. Свои неудачи не берегли...

В 1928 году уже сформированное общество «Круг художников» решило выйти на новую выставку с собственной платформой. Декларацию готовили коллективно. Главными теоретиками «Круга», его заводилами и поводырями стали Вячеслав Пакулин и Давид Загоскин, недавно переехавший из Саратова в Ленинград.

Искали слова. Оттачивали формулировки. Хотели, чтобы в тексте не было ни одной лишней фразы:

«„Круг“ считает, что темой картины должны быть такие значительные, кристаллизовавшиеся, обусловленные эпохой явления, которые могли бы ей дать устойчивость во времени, значительность и монументальность формы».

И дальше:

«Создавая картину, которая через наше зрение воспитывает и наше сознание, наши чувства, „Круг“ отвергает иллюстрирование средствами живописи отдельных эпизодов нашей жизни, сращения конечных целей искусства к агитационным средствам.

Живопись — не плакат, не иллюстрация, не фотокино!»

Итак, свой язык, неповторимые возможности, собственные средства.

И тогда живопись, как искусство, сможет претендовать на вечность!

— Безразличных не было. Орали до красных глаз, до потери голоса. Если бы термометр сунуть в ту кипящую, бурлящую массу, то ртуть бы не выдержала, расплескалась... Это сейчас тех учеников считают хорошими, которые как две капли воды похожи на своих учителей. Мы были плохими учениками. Каждый норовил сделать все по-своему, не как старики-учителя. Мы и Кузьму Сергеевича недооценивали, — говорит Шур, словно бы специально в этот раз называя Петрова-Водкина по имени. — А ведь был гений! Недавно остановился перед его холстами в Русском и думаю, какой человек жил среди нас, учил, советовался, доверял...

И Яков Михайлович замолкает, чтобы спустить время повторить фразу:

— Да, мы были плохими учениками, это нынешние сплошь хорошие ученики...

Грустные речи на похоронах, а которых сквозит факт непризнанности возникает и оценка творчества мастера, удивление о незамеченном, недопонятом, недооцененном. Так было с Павлом Михайловичем Кондратьевым, с Руимом Соломоновичем Фрумаком, с Владимиром Васильевичем Стерлиговым, Татьяной Николаевной Глебовой, да мало ли их было, живших в коммунальных квартирах в пятиэтажных комнатах, отставших от благ ради того, чтобы сохранить искусство.

Ученики Малевича, Филонова, Петрова-Водкина, Шагала, они так и не дождались официального признания, это теперь их работы пытаются заполучить музеи, а в монографиях и в альбомах их начинают называть «второй волной русского авангарда».

Впрочем, это все отступление от темы. Пока я говорю о времени, когда появление имени ожидалось, когда новая выставка называлась событием, а группа молодых объявлялась школой.

Рецензия выдающегося искусствоведа Николая Николаевича Пунина была еще не на «Круг», а на будущий «Круг», на группу студентов-единомышленников, выпускников 1925 года, выставивших свои полотна на вернисаже.

Это им, будущим «круговцам», Пуяия предрек славу:

«В среде художников отчетная выставка конкурентов этого года вызвала разнообразнейшие споры. На бедном фоне нашей художественной жизни выставка получила смысл события. Ряд причин способствовали этому и, прежде всего, присутствие работ, действительно заслуживающих особого внимания.

Я не хочу преувеличивать, но, думаю, что *несколько* новых имен вошло в *русское искусство*».

Таким было начало, их первый шаг. Но уже через полтора года, когда они объявили себя «Кругом», другой критик в том же еженедельнике выразил тревогу: «На выставке общества „Круг“ собрано большинство художников, кончивших Академию Художеств в последние годы. Смотри я эти картины, не знаешь, кого винить. Самих ли художников или ту школу, которая приобрела печальную известность в истории русской живописи: Академию Художеств... Выставка сигнализирует, *куда* идет наша молодежь, в этом ее своеобразие.

Художники „Круга“ идут позади. Они отстали лет на пятнадцать (ко времени „Бубнового вала“) и очень много французят...

Художники „Круга“ не вкладывают никакого содержания в свои картины, они игнорируют всякое содержание, все, что делается вокруг нас, они не замечают. Рассматривая выставку, не знаешь, где находишься. Не чувствуешь ни времени, ни обстановки. Это кажется особенно странным, когда взглянешь на другие области искусства...

Художники „Круга“, где же давя нашему времени?! Мы требуем от вас отражения нашей эпохи!

По произведениям живописи мы в известной мере изучаем быт, историю. Можем ли мы изучать его по вашим работам?!»

Директором второй выставки «Круга», проходившей в залах Русского музея, был выбран Алексеев. Каталог печатали на собственные деньги в частной типографии. Главное — объявить миру *программу*: что хотим, на что претендуем, что отвергаем. Вход на выставку: пятнадцать копеек.

Несколько дней тревожились: не пойдут, не заинтересуются.

На открытии были счастливы: народу полно, интерес нарастал с каждым днем.

Вокруг участвующих толпа, споры. То в одном конце зала, то напротив вспыхивает дискуссия. Пакулия взобрался на стул, витийствует, отстаивает заявленное в декларации, под ним как телохранители Купцов и Загоскин, представители самого молчаливого искусства (художники, оказывается, могут постоять за себя даже в словесной битве).

Но выставка — не только премьера, проба сил, выход на зрителя, это и заработок.

На вырученное Алексеев покупает «круговцам» необходимые вещи.

— Ботинки — Пакулину, пальто — Русакову, брюки мне и Пахомову, — вспоминает Шур. Гонорару радовались, как международной премии.

Главным событием выставки стал приезд Анатолия Васильевича Луначарского.

За наркомом ходили следом, перешептывались, ждали, что скажет, как отнесется. И не потому, что нарком это нарком, а потому, что нарком понимает в искусстве.

Слушали, окружив Луначарского, потом не выдержали, начали спорить. Понимает — он понимает, но ведь и они думали, когда писали, не с луны же свалились, что-то хотели сказать людям.

Луначарский одно, Пакулин иначе, Загоскин тут же возражает обоним.

Луначарский парирует аргументы. Только и наркому не хочется уступать, нет в мире конечных истин.

Анатолию Васильевичу нравятся эти мальчишки, отстаивающие свои взгляды, свое искусство. Молодцы! Так и нужно! И тут некто из толпы вспоминает о поезде.

Маленький «Форд» выскальзывает на Невский, шофер давит клаксон, машина мчится к площади Восстания.

«Круговцы» летят следом в трамвае, дальше — бегом на платформу. Поезда нет. Значит, успел Анатолий Васильевич! И все же вина за задержку на них...

Оказалось, начальник вокзала не решился отправить поезд без наркома, приказал задержать состав, нарушил расписание. Как же отправишь, если ждешь Луначарского, мало ли причин, из-за которых нарком может опоздать?!

Наутро приключение Луначарского уже было известно в Москве, заседание Совнаркома началось со строгого выговора Анатолию Васильевичу.

Луначарский не оправдывался. Да, не заметил времени. Заспорил. Увлёкся молодцами. Нет, не победил. Разве легко доказать свою правоту. Они ведь тоже не лыком шиты, отстаивают собственный взгляд.

Нарком железных дорог Ян Рудзутак возмущается:

— Расписание дороги — есть железное расписание. И ни нарком, ни сам бог не имеет права с этим расписанием не считаться.

Голос с места:

— Что предлагаете?

— Выговор за яскромность.

Анатолий Васильевич понуро смотрит на всех. Что сделаешь, виноват.

Яков Михайлович Шур с удовольствием вспоминает Анатолия Васильевича на вернисаже в Русском: лоб высокий, усы, борода, крепкий мясистый нос. И пенсне.

Лицо живое, умное, взгляд острый, колющий, как и его ответы.

Но только он снимет пенсне, взгляд моментально пустеет, становится близоруким, размытым, лицо теряет живой интерес, гаснет.

Приезд Луначарского — всего лишь случай, неожиданность, взорвавшая будни «Круга». Но была и повседневная жизнь.

— ...Да вот хотя бы знаменитый скандал из-за оформления Исаакиевской площади к октябрьским дням, — говорит Шур. — Памятник Александру I решили обтянуть материей, обернуть по спирали, вроде татлинского проекта памятника Третьему Интернационалу. И так же по спирали написать восходящую демонстрацию рабочих. — Он шурит живые глаза, поглядывает озорно, с натыком чувством молодого сохранившегося превосходства: его поколение — не наше! — На вершину сооружения поставили танк с пушкой. Орудие повернули в сторону немецкого консульства, — это уже тридцать третий! — тогда на их флаге появилась свастика...

Он поглядывает на меня хитроватым взглядом.

— ...На следующий день — протест! В Смольный! Консульство заявляет, что Советы угрожают войной Германии, пушку на них целят. Нас — в исполком! «Хотите международный скандал?!» Пришлось поворачивать пушку в сторону, раз фашисты так свирепеют. И, знаете, не рассчитали. Оказалось, целимся на «Асторню», а там иностранцы! Опять в Смольный позвали, теперь еще строже! Пришлось поворачивать на Исаакиевский.

— Сколько времени занимала у вас работа?

— По несколько месяцев. Мы придумывали буквально все: от флангов до панно, и каждый год новое, старались не повторяться. Демонстрация не должна была смахивать на предыдущую, все сочинялось заново. Но кроме того, мы серьезно готовились к такой работе: изучали биографию города, историю революционного движения в России, мы даже опубликовали программу-манифест, изложили план оформления улиц и площадей. Каждый получал конкретный исторический район.

Яков Михайлович пытается объяснить только что сказанное:

— ...Самохвалову поручили Финляндский вокзал, привокзальную площадь. Значит, там можно было написать приезд Ленина...

Работали бригадой: Сережа Чугунов, Коля Свинаяков, я, командовал Саша Самохвалов. Девушки-маляры заготовили краску в больших бочках. Мы по клеткам писали панно. Длина холста была двадцать два метра, высота — двенадцать. За этим огромным холстом не стало видно Финляндского вокзала. На соседних домах писали рабочих, пришедших встречать Ильича. Старались, чтобы оформление не было казенным, обязательно эмоциональным. Занимались этим Загоскин и Калужнин...

Про себя повторяю «Калужнин!..», это важно, потом проверяю, правильно ли понял слова Шура о напечатанной декларации?

Яков Михайлович подтверждает:

— Вы не ошиблись, — достает журнал «Жизнь искусства» за 1927 год и показывает страницу.

Декларация называется: «О декоративном оформлении десятилетия Октября».

Я списываю «круговский» манифест, в котором каждая фраза мне кажется поразительно интересной. Приведу несколько отрывков:

Ленинград может соединить в празднике Октября три момента:

1. Как исторический центр, на площадях и на улицах которого произошло много событий, подготовивших и осуществивших Октябрьскую революцию.

2. Как мощная единица, участвующая в общем хозяйственном и культурном строительстве СССР.

3. Как застрельщик мировой пролетарской революции, для которой наша является прологом...

Соединение этих трех моментов дало бы оглядку на прошлое, учет настоящего, взгляд в будущее.

Исходя из этого, общество «Круг художников» разработало и предлагает план декоративного оформления следующих пунктов Ленинграда к десятилетию Октября, общий диспозиционный план.

1. Площадь Урицкого — центр, куда направляются всегда народные массы, реагирующие на события внутренней и внешней политической жизни, — должна быть посвящена этим событиям по годам, календарю, от Октября до Октября.

2. Площадь Жерта Революции — декоративное убранство ее должно быть посвящено памяти всех отдавших свою жизнь делу пролетарской революции как в СССР, так и в других странах. И, в частности, Парижским коммунарам 71 года.

3. Петропавловская крепость — как место заключения революционеров — может быть использована для пропаганды идей МОПРа.

4. Мост Лейтенанта Шмидта — мог бы представить рост и работу Профсоюзов.

5. Мост Республиканский (б. Дворцовый) — между Всесоюзной Академией Наук и Дворцом Мирового искусства (б. Зимний и Эрмитаж) отводится для иллюстрирования культурных завоеваний СССР.

6. Площадь Восстания с памятником-пугалом Александру III у вокзала Октябрьской железной дороги — можно преобразить в апофеоз восстания трудящихся против феодализма и капитализма.

...Нескончаемая очередь охватывает огромное здание Манежа на Исаакиевской площади! Год, кажется, восемьдесят шестой, первая выставка из запасников Русского музея. Запрет снят, открывается то, о чем говорилось шепотом, как об ужасном, предосудительном, разаращащем души.

Вот они: Филонов и Малевич, Татлин и Кандинский, Шагал и Альтман, Гончарова и Ларионова, Митурич и Пуни, Родченко и Лисицкий, и многие революционеры духа, создатели нового искусства.

Вижу «Семью плотника», полотно, поразившее меня много лет назад в крохотной узкой комнате — пенале огромной коммунальной квартиры на Невском, а доме с анжвекской кипотеатра «Аарора».

Народ в Манеже перемещается волнами, от полотна к полотну.

«Формула весны», «Формула пролетариата», «Скотницы», «Семья плотника» Павла Филонова, рядом «Апостолы» Натальи Гончаровой, «Зеленый еврей» Марка Шагала, портреты Роберта Фалька, поразительный композитор Лурье Павла Митурича, многое, многое другое...

Красная копия Казимира Малевича мчится по волнистому горизонту, по синему воздуху, звучат боевые фанфары, слышится галоп победы воинства Революции.

Почему это было под семью замками, а чуланах музеев? Кто спрятал великие завоевания Искусства? Какие силы не давали открыть наглухо забытые дери?

На улице небывалый мороз. И очередь замерзшая, как в блокаду. Только голод нынче иной, — не в булочную за граммами хлеба, а в музей, к искусству.

Ртутному столбику крепко за тридцать, но очередь ждет, движется медленно, проникает.

Я, наконец, нахожу «Жницу» Пакулина, охристое чудо, соединение древнерусских фресок с экспрессионной силой мексиканца Сикейроса.

Впрочем, отчего Сикейроса? Разве не раньше о том же сказал Малевич? Не его ли идеи дали живительные импульсы мировому искусству? Будь то живописцы другого континента или молодежь ленинградского «Круга»...

«Жница» Казимира Малевича,

«Жница» Вячеслава Пакулина,

«Жница» Алексея Пахомова,

«Жница» Даида Загоскина.

— «...неудурно задумав „Жницу“, Пакулин так и не справился со своей задачей. Фигура не построена, не прорисована, сыра по живописи. Синяя краска так и остается краской, не превращаясь в тон-цвет-материал...»

Достаточно! Время давно отделило досужему искусствоведа.

А чуть в стороне «Деашка и футболке», тоже классика. И она, оказывается, угодила в подвал, под замок: светлая, гордая, молодая, сама эпоха Революции!

Рядом «Кондукторша». Какой нужен совершенный глаз, чувство света и формы? Это о ней, о «Кондукторше», тогда было сказано: «несделанность» и «любование краской»?

Видимо, главной задачей становилось: воспитать в будущем спеце по искусству чувство прокурорской полноценности, подозрительность, умение видеть и пресекать любое отклонение от дружно в ногу идущей колонны. Шаг в сторону и — стрелять!

И тогда «Жницу» — в запасник, под седьмой замок, а еще правильнее на саалку, как однажды жактовский водопроводчик вынул из кучи строительного мусора и принес мне тончайший пакулинский пейзаж. Водопроводчик не был ни меценатом, не недоучившимся искусствоведом, он просто уважал чужую работу.

Так и висит у меня холст, на обратной стороне которого одним из тех самых «искусствоведов» накорябано: «Вернуть Пакулину!»

А восклицательный знак, видимо, имеет функцию приговора: «Обжалованию не подлежит!»

Что испытываю я, глядя на это когда-то известковое ископаемое с помойки, а теперь промытый реставраторами золотистый песок на берегу залива, зеленую веточку листяницы, словно аскинутую над водой? Чувство родного дома, счастье от бесконечности пространства, трепетности, невесомости и прозрачности воздушной среды.

Как удержал это ощущение прекрасного художник, если картины его отаергались, выбрасывались, какая сила вела его руку в следующем полотне, чтобы делать лучше, еще лучше, еще?..

Слепые искусствоведы, глухие музыковеды, малограмотные литературоведы, — вот кто решал на советах, определял качество и талант. Сегодня — а искусство, завтра — а банно-прачечном объединении, каждый труд почтен, о чем речь?

«Жница» написана в 1927 году. Выходит, Пакулина двадцать шесть.

Выброшенный пейзаж, принесенный сообразительным водопроводчиком, помечен 1946 годом, — до его роковых пятидесяти оставалось чуть больше четырех лет.

Маленькая, худенькая подавляющая старушка рассказывает по большой комнатной мастерской, курит одну за другой папиросы. Говорит полупотом, то и дело удивленно округляя глаза. Это Герда Михайловна Неменова, имя которой зафиксировано на третьей выставке «Круга».

Я все время напрягаю слух, боюсь пропустить каждое слово. Имея, которые она называет, приводят меня в трепет. За ее плечами Париж двадцатых, год и три месяца жизни во Франции с советским паспортом. Знакомство и даже покровительство П. Пикассо, М. Ларионова и Н. Гончаровой.

Есть и сандетельница этого времени, тоже путешествовавшая во Францию, ее вещь — знаменитая «Балерина». Я не могу оторвать взгляда от этой картины, чем-то напоминающей прекрасные холсты Сутина, которые мне удавалось видеть в разных музеях мира.

...Кто она, стареющая «мама» в спущенных чулках, рыжеволосая, напоминающая, а зеленой балетной пачке? И почему у нее, явно чокнутой, такие усталые красные натруженные руки? Я еще не решаюсь спросить, но Герда Михайловна, видимо, улаживает желание, сама поворачивается к работе.

— Натурщицей была Полина Берштейн, парикмахер. Как-то я подошла к ней и спросила: «Нет ли у вас голубой пачки?» — «Есть, — говорит. — Только зеленая. Я ведь училась танцевать вместе с Лилой Брик». И надела. Я только попросила ее: «Оставьте чулки». Она с удовольствием позировала, но, кажется, я разбила ей жизнь. Однажды Полина сказала: «Можно, картину поглядит мой знакомый?» Я разрешила. Пришел тихий, невысокий, в черном костюме. «Похоже?» — спросила я. «Очень», — сказал он. И исчез навсегда.

Герда Михайловна вдруг сказала:

— Я не экспрессионист, как Дикс или Гросс. Я их увидела, когда здесь была выставка, но я чувствовала: нужно писать не как немцы. У немцев есть обязательная литературная концепция, а нужно искать концепцию живописную. Я выбрала иaturщицу и поместила ее в живописную среду...

Окно-плафон комнаты-мастерской распахнуто настежь, вижу далеко уходящую перспективу Большого проспекта Петроградской, открывшегося мне впервые с высоты старинного дома, а сам хочу, но отчего-то еще не решаюсь спросить художницу о «Круге».

Но и то, что она рассказывает, бесконечно интересно, может, она единственный человек в моей жизни, который близко знал таких великанов.

— «Осенний салон» в Париже, — объясняет она, — это сити художников. Скорее всего тебя не заметят. Но это нельзя, нужно, чтобы заметили, чтобы ты не пропала. На «блошином рынке» нашла раму с красным петухом, точь-в-точь к «Балерине». И так ее выставила. Ларионова взглянул и сказал: «Это живопись! Поздравляю!» А Маршан удивился: «Это вы написали? Вам нужна публика». Люди подходили к картине, читали «Неменко». Картина получила резонанс, пресса писала: «Сумасшедше, но талантливо!»

Я все же позаил себе оторгнуться в рассказ:

— А «Круг»? Вы же выставились с «кругацами» в двадцать девятом, на третьей выставке?..

— «Круговкой» себя не считаю, — с гневной интонацией говорит Герда Михайловна. — Это либералы! Да, да, умеренные, не имеющие живописной идеи. Мне были значительно ближе Татлин и татлинцы, Малевич, Филонов и Филоновцы, а не сомнительная круговая половинчатость.

Я тержусь, но все же у меня в руках каталог выставки, где имя Неменовой стоит в общем списке.

— Ну и что? — охлаждает мой пыл Герда Михайловна. — Действительно, выставилась с «Кругом». Сама напросилась. Но затем поругалась и вышла. Выставиться одной было попросту невозможно, требовалось чье-то объединение, «шапка», крыша, под которой могло поивиться имя...

Кажется, она не замечает, как гаснут ее папиросы, как она, не кончан одной, уже закуривает другую.

— Они молились на французов, а у меня не было свитого. В Париже вообще никого... — Она снова обрушивается на меня: — Но разве вы сами не видите, как они были неплодотворны?!

В словах Герды Михайловны чудится недоговоренность, что-то еще невысказанное. И вдруг она произносит:

— В Париже Ларионов очень просил мою «Балерину», я сделала для него акварель... А ваши хваленые «круговцы», они загнули мой холст!

— Загнули?

— Да, отвергли лучшую работу!

И тут я понимаю, что в Неменовой не угасла обида, произошедшая в пылу взаимных непризнаний. Она, восьмидесятилетний человек, за спиной которого скопился ворох еще более тягостных несправедливостей, все же подавить в себе то давнее, нанесенное товарищами, не сумела.

— Разве никого из «круговцев» вы так и не признавали?

Герда Михайловна смотрит на меня с удивлением.

— Не признавала?! Но там были талантливейшие художники, как я могла их не признавать?! С некоторыми я училась у Карева, кое-кого узнала позднее...

Она качает головой.

— Один «Противогаз» Осолодкова что стоит?! А Русаков?! А Емельянов, какой это был живописец?! А Калужнин?!

Я сразу же забываю обо всем.

— Вы помните Калужнина?

— Прекрасный мастер! Он приехал из Москвы, тихий, углубленный человек, ходил в бархатной толстовке, с вьющейся шевелюрой, этаким баловнем судьбы... Он примкнул к обществу «Круг», как и я...

— А работы? — спрашиваю Герду Михайловну. — Где могли бы входить его работы?..

Она затягивается сигаретой, думает.

— Калужнин исчез в тридцатые, тогда это было обычно. Вот Емельянова арестовали, он погиб там, а Калужнин? Нет, не знаю.

На обсуждениях выставок в ЛОСХе я часто встречал строгого человека с маленькой головкой и куриным носиком-клювом. Его фамилия была Тускый, странный фамилия, ничего не скажешь, скорее псевдоним, выбранный для того, чтобы оттенить собственный скепсис. Туский говорил мало, вероятно, все было сказано им давно, лет эдак полсотни назад, теперь к сказанному нечего было прибавить. «Ну, этот наверняка знал Калужнина», — подумал я, набирая номер его телефона.

— Калужнин? — переспросил Туский. — Помню. Но ведь он не был членом Союза. Малопродуктивный художник. Думаю, его творчество особой ценности не представляло. — Он терпеливо выслушал мои очередные вопросы. — Где вам искать картины? Мы все возвращали. Это, если хотите, было непрофессионально.

— Но у Филонова вы тоже не брали? И по той же причине...

Туский вздохнул.

— Я, уважаемый, не люблю провокационных вопросов. Мы с вами, к сожалению, не знакомы. Будьте здоровы!

Трубка коротко запищала. Меня охватило уныние и безнадежность...

И все же остановиться, прекратить расспросы я не мог. Разве исчерпаны возможности? Нет, о конце говорить рано.

Продолжать решил с Литейного, шестнадцать, с того зеленого дома, в котором жил когда-то художник.

Правда, милиционер предупреждал, дом был на капитальном, но все же, все же... Захотелось постоять перед дверью, за которой когда-то жил Василий Павлович Калужнин.

Все здесь было уже другим. Раньше двери старого Петербурга не ставились из прессованного картона, это были мощные дубовые двери, выбить которые казалось попросту невозможно. Нынешние, плоские, без элементарной фаски, красились едким коричневым цветом, а под звонками читались фамилии квартирантов.

Дворник, молодой женщина в джинсах, собирала в совок окурки.

Одна каменная ступенька на лестнице была выломана напроц. Я перешагнул провал. Под ногой зинло дупло, как рана.

— Нужно было здорово поработать, чтобы выковырять такое! — сказал я.

— Танцуют, — объяснила дворник.

— В парадной?

— Клуба еще не дали.

Я поднялся на пятый, постоял около калужнинской двери и, не зная, что дальше делать, стал неторопливо спускаться. Было слышно, как шаркает метлой дворник, загонный в провал мусор.

На третьем этаже дверь неожиданно распахнулась. Вышла женщина в сером пальто и в шляпе. За ее спиной стояла старушка, — я невольно посторонился.

Еще секунда и старушка закрыла бы дверь.

— Простите, — опередил я. — Вы давно здесь живете? — Я заставил взглянуть на себя женщин.

— С тридцатых, — сказала старушка, приветливо улынувшись.

— Не помните ли, этажом выше, в квартире шесть жил художник?

— Василий Палыч Калужнин?! — сразу кивнула старушка. — Мы рядом квартировали в блокаду. Я-то здесь после капремонта.

— Пойду, мама, — перебила дочь. У нее были свои заботы.

Мы так и остались у распахнутой двери. Старушка глядела на меня с любопытством, вроде не аферист, человек приличный.

— А вы ему кто? Василий Палыч был одинокий, знакомые вроде случались, но родных...

— Нет, я его не знал, никогда не видел. Ищу тех, кто его помнит. Говорят, он был прекрасный художник.

Удивленные вспыхнуло в глазах старушки, этого было нельзя не заметить.

— «Прекрасные» так не жили, — сказала она. — Калужнин был нищим.

— Как раз «прекрасные» плохо жили, — возразил я. — Вот плохие жили прекрасно.

— Вы шутник, — улыбнулась старушка, оценив юмор.

Комната, в которую мы вошли, оказалась просторной и светлой. И хотя Василий Павлович жил этажом выше, и понимал: квартира — зеркальное отражение той, сверху.

Я огляделся. Низкая мебель в комнате с высокими потолками казалась здесь неуместной. Единственно, что, вероятно, не изменилось — окна. Именно через такое я смотрел на Литейный Калужнин.

— Что вам рассказать, даже не знаю, — задумалась старушка. — Тихий был, молчаливый, ни с кем не общался, не варил на кухне, в комнате держал керосинку и примус. Что достанет, то и погребет.

Я внезапно подумал: не жена ли это часовщика, о которой сосед рассказывал милиционеру? Вряд ли. За пять лет все же можно увидеть человека, если он живет рядом.

— ...Дверь Калужнина находилась у входа, — вспоминала старушка. — Бывало, выскользнет из квартиры, никто его и не видел.

— А в блокаду?..

Старушка всплеснула руками, не дав мне закончить фразу.

— Ой, натерпелись! А вы даже не знаете, как выжил! В начале сорок второго, когда мы с дочерью уезжали, он стал совсем доходной. Живой труп, вот каким его помню.

— Не погиб, слава Богу. Вы тоже перенесли голод?

Подобие гордой улыбки мелькнуло в ее взгляде.

— Мы — другое дело!

И объяснила:

— Муж у меня был замечательный часовой мастер, как говорят, с золотыми руками, работал в Павел Буре. Заработок был приличный. Я даже покупала мясо. Не очень много, но полкило доставляла. А вот Калужнин — и сейчас не пойму, чем питался... — И призналась: — Я с довойны припрятала кофе. Люди-то знали: война скоро начнется. Я и решила купить. И, выходит, не просчиталась. Однажды даже Василий Павлович угостила. Встретила в коридоре, он так жалко глядел, что я предложила чашку. Помню, взял, а руки в извах. Я так испугалась, еще заразит дочку.

Помолчали.

Нет, ее записливостью я удивлен не был. В блокаду случались дела похлеще. Встречались сытые управдомы, распорившиеся пустыми квартирами в собственном — так и считали — доме, дворники, обиравшие мертвых.

Но в ту секунду мне показалось, я чувствую муку Калужнина, его боль, предощущение унижительной голодной смерти.

Она говорила и говорила. Это были приключения ее защищенной жизни, которые для меня значения не имели.

Я спросил о картинах: не слышала ли, куда все могло деться? Нет, она ничего не знала.

— Вынесли на чердак, наверное, и с концами, — сказала вполне простодушно. — Кому нужно, раз у хозяина все валялось. — И вдруг заключила: — Вот в соседнем доме художник! Гладкий, сытый! И машина. И дача. А Василь Палыч — голь перекатная. Зря вы, мне кажется, взялись.

Из кухни потянуло мясом.

— Ой! — уныла она. — Щи выкипают! Запомню в разговоре! Извините!

И, торопясь, проводила до двери.

Странное чувство охватило меня. Будто бы я — Калужнин. Стою около собственной квартиры и нюхаю, нюхаю мясной запах!

Меня резко качнуло, я ударился спиной о перила.

Пошел вниз — мясной дух словно бы гнался следом. В глазах заребило. Пол, ступени медленно плыли под ногами.

На улице светило солнце. Веселые люди шли по проспекту. Наверное, каждый из них что-нибудь знал про блокаду, но это было в их другой жизни, в другую эпоху...

С Литейного повернул на Лаврова. Почему-то казалось, что именно этот путь был для Василия Павловича любимым.

Выходит из дома, сворачивает на бульвар прежней Фурштатской, потом Таврической сад, немного Потемкинской. И обратно — по Кировой на Литейный. Квадрат архитектурного совершенства, — что еще художнику нужно?!

В начале сорок второго Фаустов вернулся с фронта в холодный, оголодавший, измученный город. Как объявлялось в приказе: от писателей ждали литературной работы.

Жил он тогда почти на Невском. Приходил в стылую комнату с железной печкой-буржуйкой и писал статьи о войне, о неминуемой нашей победе. Дров не было, в ведре не оставалось воды, значит, нужно было теплее одеваться и идти на Неву.

Фаустов спускался с саночками во двор и направлялся в сторону Невского. До войны он по утрам пробегал расстояние до Невы и обратно без передышки, это было легкое счастье утренней разминки. Теперь он чувствовал себя стариком, он преодолевал трудные метры, как преодолевает альпинист свой недлинный путь вверх. Расстояние словно разрасталось, сто тысяч верст сделалось до Невы.

Фаустов катил саночки, а сам вглядывался в серовато-зеленый, защитный цвет Адмиралтейского шпиля. Еще недавно шпиль сверкал золотом, лучился на солнце, а теперь этот огонь потух, растворился в блокадном маре.

Ведро позвякивало на ухабах, а то и скатывалось на дорогу, ударяя Фаустова по валенкам, точно обгоняя его.

На высоких взгорках Фаустов бросал веревку и отступал в сторону. Санки сами бежали вниз, и эти короткие секунды были для него отдыхом.

А вокруг творилась фантазмагория! Он хотел бы не думать о еде, но еда сама лезла в глаза, кричала большими довоенными буквами с многочисленных вывесок: «Хлеб», «Пиво», «Мясо»...

«Обман, иллюзия, — говорил он себе. — Давно ничего этого нет в жизни...»

Он неожиданно придумал строчку стихотворения и даже обрадовался.

— Сочинитель, — подразнил он себя, вкладывая, возможно, больше иронии в это старинное слово.

Ритм, не совсем четкий, идущий откуда-то издалека, завладевал Фаустовым постепенно, превращался в пульсацию-стук в висках. Слова повторялись и повторялись:

«Пиво», «Масло», «Булки».

И снова, как наваждение:

Вывески лежат:

«Масло», «Булки», «Пиво».

И тут же вопрос, удивление:

Как будто на свете есть булка?!

Где-то далеко на слове «булка» разорвался снаряд, поставил точку к его сочинительству. Фаустов остановился, поглядел вперед, разрушений не было. Но и страха он не испытал. Фактически он уже ничего не боялся, кроме голода. Голод мучил его все время, голод казался неутолимым.

На перекрестке топтался человек. Издалека Фаустов решил: человек танцует. Только танец был странным. Человек словно бы отбегал в сторону, застыл на секунду и бежал вперед, на прежнее место.

«Милиционер? — решил Фаустов. — Или оголодавший сумасшедший».

Он прошел несколько метров и увидел мольберт: на улице работал Художник.

— Идет война, — вслух подумал Фаустов, — вокруг умирают с голоду, а искусство живет... Этот пишет город... Я что-то бормочу, складываю в строки... Выходит, есть нечто посильнее смерти...

Фаустов поздоровался с Художником, перевернул ведро и присел передохнуть и поглядеть чужую работу.

На холсте был Город, их город — Художника и Фаустова, — с наметенными сугробами, с заваленными снегом трамваями, с пустыми глазницами окон, с надолбами и мешками с песком. Это был город удивительной красоты, и у Фаустова сжалось от боли и тоски сердце.

Теперь Фаустов видел Невский чужими глазами. Тяжелый ледяной туман пронизал пространство, возник некий коктейль из молока и дыма, страшная смесь, которую далеко впереди словно бы протыкал штык Адмиралтейства. Но не тот золотой, довоенный, который Фаустов вспоминал в своих снах, а серо-зеленый, брезентовый, военный хаки.

Невский на холсте и Невский перед глазами были и подлинными, и различными. Художник имел свое особое зрение. Жемчужный иней лежал на стенах домов, ниспадал светло-серебряными полосами, образуя ритм, в котором серое слегка тускло, а белое искрилось, точно бенгальские блески на новогоднем балу, яо все это Фаустов понял только тогда, когда, оторвавшись от холста, он перевел взгляд на Невскую перспективу.

— Как же я сам не замечал этой невиданной, жгучей, сжимающей красоты? — пробормотал он.

Адмиралтейство на холсте почти исчезло, лишь легкая желтизна подчеркивала его существование.

Может, ледяной туман и был взят в долг у Марке, но все же главным учителем оставался голод. Да и какой Марке мог добрести до такого страдания?!

Дорога была замаскирована снегом, заиндевели, дома, дуги трамваев вылезали из сугробов, безлюдье, опустевший мир многомиллионной столицы, все это стонало, вызвало скупи глазницами окон. Какой сумасшедший маляр мог создать эту яввероятную декорацию сказочного театра?!

Художник даже не посмотрел на Фаустова. Он работал. И Фаустову показалось, что художник обмакивает кисть не в краску, а в жемчужный серебристо-тусклый воздух.

— Живопись может то, чего не может ни одно другое искусство, — сказал Фаустов банальность, неумело пытаясь нарушить молчание. Но художник и тогда не ответил. Метрах в пяти бугрилось обледеневшее тело. Художник не мог не видеть «сугроб», но на холсте его не было.

— А он прав, — наверное, вслух подумал Фаустов. — Нужна не смерть, нужна... боль.

Художник впервые слабо ему улыбнулся.

— Да, — кивнул он, переступив окоченевшими ногами. — Нужна боль.

И, прикоснувшись к воздуху кистью, уточнил:

— ...боль красоты.

На Неве Фаустов лег на лед, бросил ведро в прорубь. Металл жалобно звякнул, прорезал воду и легко погрузился в бездну. Ведро сделалось невесомым, но Фаустов знал: это обман, самое трудное дальше...

Он уперся локтем в ледяной край и потащил ведро. Видимо, он потерял слишком много сил за последние две-три недели, так как ведро не поддавалось, сделалось непослушным.

Он разогнул руку и несколько секунд пролежал на льду, отдыхая. Предстояла еще попытка.

Кулак заледенел. Руну ломило. Конечно, был бы у него дома хлеб, сил бы хватило.

Он опять вытянул ведро до половины. Бросить было нельзя, другого ведра не достанешь, но и вытащить он не мог.

И тут чья-то голова уперлась макушкой в его шапку. Затем синеватая, будто просвечивающая, обескровленная ладошка прихватила дужку, дернула вверх, плеснула и помогла поставить ведро на лед. На него с осуждением глядел изможденный мальчик, нет, старик, нет, мальчик с мучным лицом и зелеными, как у кошки, глазами.

— Спасибо, — пробормотал Фаустов, но мальчик уже лежал на льду, водил небольшим бидоном по черной поверхности проруби. Он был осторожен, черпал чуть-чуть, приподнимался и сливал в емкий чайник.

Дома Фаустов достал топор, выковырял в коридоре пару паркетин. Соседи выехали. Никто ему не мешал в разрушительном деле. Паркета могло хватить еще на неделю-другую, если быть экономным.

Весело трещала буржуйка, теперь можно было вскипятить чай.

Пока грелась вода, Фаустов снял с полки непроливайку с замерзающими чернилами, поставил ее рядом с чайником. Лед таял, блестящий фиолетовый пузырек медленно надувался.

Фаустов проткнул пузырек металлическим пером, попробовал качество чернил на ладони и приписал к тем двум строчкам еще одну:

Мальчик с зеленым лицом, как кошка.

В начале шестидесятых каждое лето мы снимали комнату в Комарове под Ленинградом, и я ежедневно являлся к Фаустову а гости на дачу.

После тяжелого инфаркта старик не мог начать писать, сидел тоскливый и безразличный, слова, складывающиеся недавно как бы сами собой а целые периоды, теперь словно бы покинули его.

Часами Фаустов тупо глядел на белый нетронутый лист. И вдруг написал фразу, еще фразу, страницу...

Это был роман, который а дальнейшем он считал лучшей своей вещью. Жанр — философская фантастика.

Главная героиня — девушка-книга, то есть и девушка и книга одновременно, названная а своем человеческом воплощении Офелией.

Впрочем, тому, кто знал Фаустова, жанр не казался бы странным, литература была его жизнью, формой существования, а не литературы Фаустова просто не было.

Роман давался стремительно. Офелия превращалась а книгу, затем снова обретала человеческий облик, становилась прекрасной женщиной, но и тогда а своей загадочности она не теряла прелестной таинственности и мудрости.

Тайна творчества всегда поражала меня. Из ничего возникало нечто: мир, дом, материя. Только что была пустота, зияние, ноль, и вот уже мчится перо Фаустова по белому листу бумаги и тут же рождается лик, образ, роковые линии букв обретают значение живой и конкретной жизни.

Но не только рождение живого было привилегией Фаустова, у него оставались свои счета со временем. Садясь за стол, он обретал свободу, и тогда из истории мог вызвать любой отрезок человеческого бытия.

Направляясь к Фаустову, и каждый раз не представляя, что меня ждет, о какой эпохе расскажут новые, только что написанные страницы...

На дачу я входил не со стороны парадного входа, а с веранды. Поднимался на ступеньки и с них заглядывал а окно кабинета.

Старик сидел за столом и, склонив голову к плечу, словно прижимая невидимую телефонную трубку, писал. Его левый глаз был широко раскрыт, правый — прищурен. Казалось, он пишет под диктовку, подслушивает чьи-то неведомые голоса, ему одному понятную речь.

Иногда перо Фаустова замирало. Но остановившись на полпути, оно тут же бежало дальше, тыкаясь острием или подпрыгивая. В эти моменты на его лице аспыхивали то улыбка, то удивление, то радость.

Моя тень на крыльце начинала застилать свет — и без того не очень яркий — а небольшой дачной комнатке-кабинете.

Фаустов неохотно поднимал голову.

Он не сердился. Бросал ручку и шел ко мне. Казалось, он даже рад, что его прервали, отлегли от дела.

— Как вы кстати! — кричал он а закрытое окно и для ясности протягивал а мою сторону руки. — А я хотел посоветоваться, спросить, у меня возникла мысль, мне нужно понять, как вы, молодые люди, относитесь к такому?!

Я напрягался. Какой экзамен ждал меня а этот раз?!

— Ответьте сейчас же! — наступал Фаустов. — Кто реальнее: Дон Кихот или некто Иван Иванович, живший а то же самое время? Евгений Онегин или коллежский советник Тютюкин? Булгаковский Мастер или Павел Васильевич из соседнего дома?! — и Фаустов поворачивался а сторону высокой крыши.

— Давайте сходим к Павлу Васильевичу и убедимся, что он реален, — предлагал я.

Фаустов азмущался.

— Попробуйте сказать хоть одно аразумительное слово об этом «реальном»?! А булгаковский Мастер? А Евгений Онегин?! Вы знаете о них все. Они — ваш опыт, духовный багаж, культур! — Он наступал, шел а атаку. — Реален миф! Миф! Мне совершенно не важно, жил ли Евгений Онегин, но я а него верю, как верю а Дон Кихота, а Воланда и а Маргариту.

Я не спорил, спор мог только закрыть фонтан его неожиданных мыслей, разрушить беседу. Такое уже случалось — я стал осторожным.

— Даша! — кричал он жене, переходя к большому столу на веранде. — Нам бы поговорить! Нам бы чаю!..

После чая Фаустов читал роман, новые страницы. Поражал ритм, стремительно текущая, меняющая русло многозвучная фраза, словно бы забирающая тебя а смысловой омут.

После чтения мы шли гулять. Сначала к комаровскому кладбищу, потом, если хватало у него сил, направлялись к Щучьему озеру.

В тот день больше говорил я, а Фаустов молчал и, как мне казалось, слушал неанимательно, аполуха. Какое-то беспокойство мешало ему сосредоточиться на постановке. И вдруг, оборвав меня на половине фразы, он спросил:

— А как вы думаете, куда все же делась икона?

Я не понял вопроса.

— Да, да, — подтвердил Фаустов. — Как могло исчезнуть то, что создавалось веками, величайшее мировое искусство?!

Следовало помолчать, но я не оценил серьезность и с ернической ухмылкой показал на трехэтажную дачу отставного профессора Пушкинского дома, скаурца соцреализма.

— Может, у него спросить? Этот все знает.

Фаустов даже метнулся через дорогу.

— Откуда столько цинизма! — прокричал он. — Я о святом, а вы!..

Он шел мрачный. Я приуныл. Незаметно расстояние между нами сокращалось — Фаустов остывал. Мы снова оказались рядом.

— Кузьма Сергееч Петров-Водкин, вот кто для меня хранитель иконы. И а «Матери», и а «Девушке с Волги», и а портрете Ленина, если хотите. Уверю вас, именно а том трагичном портрете, а провидце и а страстотерпце! А а «Анне Ахматовой»?! Разве портрет не оттуда?!

— Тогда и ученики, молодежь, «круговцы»: Пахомов и Самохвалов, Саиненко и Загоскин...

Он был а аосторге.

— Конечно! — И вдруг сказал будто бы по секрету: — Да она асюду, главное присмотреться. Разве а Достоевском или Платонове ее нету?

И Фаустов поднес к губам палец. Это был знак, просьба, наше с ним знание и наша тайна...

В телефонной книжке я пересмотрел фамилии знакомых художников, асех ли и расспросил о Калужнине?

Одному, ароде, еще не звонил, не интересовался — Сергеем Ивановичу Осипову.

Голос у Сергея Ивановича глухой, хриловатый, разговор медлительный, паузы длинные. От фразы до фразы, кажется, проходит немалое время. Незнающему Сергея Ивановича легко может показаться, что Осипов обижен, отвечает неохотно, капризничает. К его манере говорить нужно привыкнуть, стараться не перебить, не алезть со своими подробностями а неторопливую речь, постараться понять: обдумывает этот человек каждое свое слово.

— Калужнина?

Пауза.

— Знал.

Пауза.

— Как не знать? Хороший был художник! О-очень!

Пауза.

Мне слышится а этом растянутом «о-о-чень» масштаб Калужнина как живописца.

И снова:

— О-о-о-чень хороший.

Жду, когда Сергей Иванович перестанет кашлять, но он еще сильнее заходится.

— Работ аидел не много, — успевает сказать Осипов а мгновение затишья. — Показывать он свою живопись не любил, да и показывать лишку тогда было страшно-вато.

И опять пауза. Остановка. Кашель.

— Страшно-вато? В каком смысле? Формальные вещи?

Некое дребезжание усилилось в трубке, он, кажется, рассмеялся.

— Тогда все считалось формальным, даже импрессионисты. Их, бедных, аолокли а запасник, чтобы нашего зрителя не развращали. А уж ежели ты сам что-нибудь, не дай-то Бог!..

Яснее мне так и не стало.

— Сергей Иванович, — я азмолился. — Что вы о Калужнине помните? На что он жил? Где работал? С кем был дружен? Как так получилось, что его никто не знает. Мне все, все важно!

В этот раз пауза оказалась еще более долгой.

— Погоди, — буркнул наконец он. — Сообщаю.

И опять затишье.

— Кажется, а блокаду Калужнин работал в среднем художественном. На Таарической. Там расспроси.

— Но после блокады?..

— Не знаю. Может, нигде не работал.

— Но как же тогда жил?

Мои вопросы его слегка раздражали.

— Да как мы все жили?! Или ешь, или оставайся художником, аот и аесь выбор.

Вроде бы Сергей Иванович закончил, но отпустить Осипова я не мог. Сколько не спросил! О чем не разедал!

Я выпаливал все залпом: на кого Калужнин был похож как художник, а какой манере работал, график он или живописец, а может, и то, и другое?

— Трудно сказать, на кого похож... — аяло сказал Осипов. И опять замолчал.

Пришлось крикнуть: «Алло!»

— Да я здесь, — буркнул Осипов. — Ишь какой шустрый.

Я ходил по комнате, держа телефонную трубку, а этот раз даа себе слово не мешать, дожидаться.

— На Чекрыгина если... Ты Чекрыгина представляешь?

— На Чекрыгина?! — и поразился.

Чекрыгин был уникалом, юным гением, успешным а свои двадцать пять лет — до трагической гибели — создать сотни работ, так и не имеющих аналогов а русском искусстве. Его сраанивали то с Гойей, то с Врубелем, но он был самим собой, непоаоторным мистиком.

Кстати, а собрании Фаустова был уголь Чекрыгина, этакий сонм тепей, плывущие, растекающиеся фигуры, размытые позы, движения, жесты...

Неужели и Калужнин художник такого плана?! Но тогда не знает ли Сергей Иванович, не можот ли он подсказать хотя бы *путь*, по которому мне стоило нскать живопись дальше? Да, среднее художественное училище, это я записал. А еще? Еще?

Эту последнюю фразу, прерываемую чирканьем спичек, я выдержал тоже.

— Ты с Владимиром Васильевичем Калининным был как?

— О таком не слыхал даже.

— В Мухинском работал. Директорствовал над студенческим музеем. Вот они очень дружили. Туда я наведайся. Владимир Васильевич наверняка многое знал, кому и азать еще, если не ему.

— Значит, идти а Мухинское, к Калининну?

— Он даано помер, — уточнил Осипов. — Но там есть люди, они, может, что-то расскажут.

Я был огорчен.

— А семья у Калининна?

— С семьей у него не ладилось, плохо было с семьей, — объяснил Осипов. — Жил, помню, Калинин у себя а мастерской в последние годы, домой не ходил. — И адруг словно бы сообразил важное: — Ты поищи Геру Осокина, лаборанта, у них с Калининным была общаа мастерская.

Напуганный смертью Калининна, и на асякий случай уточнил:

— Осокину сколько лет?

— Тогда он еще молодой был, да и теперь не старый. Тут аедь на что надежда: если Калинин был с Калужнинным близок, то и Осокин о нем нааверняка знал. Ищи и заони.

Следовало сразу сходить а Союз, аяснить адрес Осокина, но я отчего-то медлил, каждого заедаа текучка.

Впрочем, трудности мы частенько придумываем себе самн. Однажды утром н снял телефонную трубку и набрал справочную.

Еще не усталый, утренний женский голос переспросил:

— Осокин? Герман? А где живет?

Отвечать, естественн, я не мог, но п а этом меня не устыдили:

— Попробуйте на Мориса Тореза. — И продиктовали номер.

Я набрал.

Возникший баритон не удивился заонку, точно ждал меня асе это аремя.

— Калужнин? Как же не знать Василия Павловича, отлично помню! А его мольберт и теперь у меня... — И адруг без обиняков: — Хотите, а ближайшне дни съездим ко мне а мастерскую? Я сам дааненько там не был, работать стал дома. Найду аам кое-что калужнинское.

Я переспросил:

— В каком смысле «найдете»?

— Масла нет, — объяснил Осокин. — Но несколько листов графики, уголь, сангина случайнo осталось. Если интересно, подарю, забирайте с Богом.

Вот уж чего я не ожидал совершенно! У меня переаатило дух. Я забормотал слова благодарности.

— А что вы скажете о работах?

— У меня а мастерской, пожалуй, случайные его вещи. — И признался: — Мы аедь тогда ничегошеньки а живописи не понимали, не мог н Калужнина оценить. Калинин, тот был от Калужнина а восторге! Высоко его ставил! — Он будто бы чуть-чуть усомнился, сказал: — Да вы его поглядите, свои-то глаза аернее!

В понедельник, как договорились, я заехал за Германом Михайловичем на Мориса Тореза и мы, остановаа такси, направились а его мастерскую, куда, как оказалось, не раз приходил и Василий Павлович Калужнин.

Сидел Герман Михайлович апереди, рядом с шофером, и, когда поаорачивался, аидел я его широкоскулое лицо, серебристую шевелюру.

Выглядел он молодоаао, вначале я дал ему чуть а сорок, но прибаавила лет походка. Осокин приваливал на одну ногу, шел тяжело, угадывался протез. Фронтавику меньше шестидесяти уже быть не может.

Вышли из такси на Зелениной, даинулись под арку а старый питерский даор, начали восхождение по черной и трудной лестнице. Знакомая ситуация, мансарды художникова под самым небом!

Восьмой этаж — Монблан для Осокина, апрочем, отдыхать Герман Михайлович не собирался.

Долго возились с ключами. Старинные запоры словно бы испытывали наше терпение. Наконец, замок поддается, щелкает. Входим.

Даано, аано давно здесь не бываал хозяин! Воздух густой, нагретый, словно бы пылью дышишь, хочется бежать к окну, распахнуть, хааить аетерка.

В углу — старинный мольберт, под ним — ящик с засохшими красками, правее аеркальный шкаф, тоже старинный, красного дерева, сейчас, думаю, дорогой, а лет двадцать назад из тех, что несли на помойку, оставляли у сиротливых баков с мусором. По асем стенам работы Осокина — масло, аполне добротные холсты.

— Мольберт Калужнина, — показывал Герман Михайлович, переаааывая мой взгляд.

Я подхожу ближе, провожу рукой по полированной поаерхности — приятное прохладное прикосновение, — словно бы здороваюсь с неведомым мастером. Поднимаю засохшую кисть, щупаю ее негнущуюся щетинку, перебираю тюбики с краской: все сухое, неработающее, но *его*.

Герман Михайлович тяжело садится на пол у зеркального шкафа, пристраивает поудобнее ногу, начиннаа выдвигать ящики, проглядывая кипы старых журналов, арезки из «Огонька» с портретами Сталина, репродукции даано забытых картин («огоньковская» кладовая!), торжественные ликн вождей тех лет, давно лежащие неаостребованными а кладовых различных музеев.

Осокин то и дело поднимает журнал, трясет над полом, а когда вылетает лист, настораживается, но быстро произносит:

— Нет, не Калужнин!

Я испытываю очередное разочарование. А он снова бросается в поиск.

— ...В те аремена я занимался благотворительностью, — рассказывал Осокин, — собирал экспозицию для музея на родине, а Козьмодемьянске, — отправлял туда графику ленинградских художников. Владимир Васильевич и предложил мне послать несколько вещей Калужнина. Лучше, гоаорил, ему быть а музее Козьмодемьянска, чем в ленинградском чулане. Я принялс тогда разазываать папки, а не могу, крепко итo-то узлы затинул. Резать? Нет, не решилс. Это потом снова азаязывать! Стал аытрясать. Несколько листов аыпало, но не такие, чтобы мне по душе, я их и сунул а шкаф. Масло было а рулонах. И асе же несколько холстов еще оставалось на подрамниках.

— Плохие? — с ужасом спросил я.

Огорчать, аидимо, меня ему не хотелось.

— Да как сказать... Все у Калужнина словно бы не закончено, странно писал Василий Павлович, это аедь по тому разумению я гоаорю, теперь, аозможно, я бы и не так думал. Даа «масла» я асе же отправил на родину, аыбрал.

Мгновенно мелькнула мысль: съездить! И сразу другое, остужающее: да сохранились ли там работы Калужнина? Может, аыбросили? Есть логика: раз подарок, то кааая ему цена? Хорошее дарить не станут, для хорошего есть Русский музей или Третьяковска.

Я асе же спросил:

— Думаете, Калужнин и теперь а экспозиции Козьмодемьянска?

Он пожал плечами. Вздохнул.

— А может, п а запаснике их даано нет.

Осокин снова трисет «Огоньки», перебирает пачки журналов, поднимает пыль а мастерской, откладывает просмотренное а сторону. Кажется, не судьба мне увидеть желаемое, не судьба! В шкафу меньше нетронутого, чем там, в стопе ненужных бумаг у шкафа.

Пытаюсь не вздыхать, не раздражать хозяина. Герман Михайлович меняет положение, устраивается чуток поудобнее, вытаскивает новую кипу листов. Я невольно гляжу на мольберт. Смешно признаться, но я призываю Василия Павловича на помощь. Ему, как и мне, нужен результат.

— Найдем! — уверенно говорит Осокин. — Где-то должно быть!

И, чтобы отвлечь меня от навязчивой мысли, начинает рассказывать:

— ...В двадцатые годы у Калужнина, гоаорили, был огромный круг знакомых, его тогда высоко ставили. Калиния как-то рассказывал, что среди друзей был Есенин, яе раз приходил к Василию Павловичу.

Имя Есенина меня действительно поражает, и прошу его вспомнить подробности.

— Такую слышал историю, не знаю, правда она или нет, будто друг Есенина — Эрлих — пришел к Василию Павловичу ночевать. А Василия Павловича дома не было, он в Москау частенько уезжал, к родственникам, а ключ а таких случаях прятал под коврики, на лестнице, кто хотел, тот и шел, открытый был дом, богема.

Осокин откладывает чей-то рисунок, дает мне понять, что опять яе то, продолжает:

— Шел Эрлих к Калужнину из «Астории», где они с Есениным были, открыл, значит, ключом дверь, лег спать, а утром решил побриться в ванной. Надел пиджак перед зеркалом, аидит: записка торчит из клапана. Рассматривает — понять не может. Чем-то слова якоряваны красным... А там знаменитое: «В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей». Эрлих побежал а ужасе а «Асторию», а там милиция, не пускают к Сергею Александровичу. Опоздал друг.

Осокин замолкает, опять углубляется а поиск. И опять — ничего.

— Василий Павлович долго считал, что если бы он а Москау не уехал, не случилось бы с Сергеем Александровичем такой беды. Легенда, конечно, но аедь кто знает, где она, правда...

Я невольно глнжу на мольберт: Есенин, Эрлих? Кто еще?..

— Василия Павловича я только а шестидесятых узнал, — продолжает Герман Михайлович. — Бедный был человек, едаа не нищий. Как-то так получилось, что а Союзе художников он не состоял, стажа не наработал. А раз такое случилось, то и с пенсией нелады. Ему было за семьдесят, когда выхлопотали какую-то мизерную. Очень нуждался старик, оченя! А брать яи у кого не хотел, разве бумагу или акварельную краску, трудно ему было жить без работы. На бумагу и ту денег наскрестн яе мог. Да что на бумагу — на хлеб!

Я спросил, много ли наработал Василий Павлович, сколько картин оставалось после его смерти?

Осокин пожал плечами.

— Да кто их считал?! Калинин рассказывал, что комната на Литейном была завалена холстами, «калужнинские айсберги», — аот как он гоаорил. Боялся, что кто-то спалит а одночасье, музеям предлагал. А те яе берут, спрашивают: «Художник был членом Союза?» — «Нет». И их интерес гаснул.

Герман Михайлович поймал на лету конает, отложил а сторону, обнадеживающе улыбнулся, дал понять, что находка уже рядом. Видимо, конает был приметой.

— ...Раз брать не хотели, Калиния и отвез калужнинское наследие к себе, а «Му-ху», сложил а простенке музея. Я бывал у яего, аидел: ящики с жиаописью громоздятся чуть ли яе до потолка, так они и пролежали до смерти Владимира Васильевича... — Он мысленно пересчитал годы. — Если Калужния умер а шестьдесят седьмом, то Калиния а семьдесят шестом скончался, аходит, деаять лет лежало у него наследие. При нем никто и не мог попытаться убрать картины или выкинуть, асе случилось позже.

Осокин разглядывает яовые журналы, долше трисет страницы, кажется, аот-аот должно что-то выпасть. Нет, ничего...

— Лаборантку знакомую астретил, — слаяо оталекает менн он. — Рассказывала: некий человек приезжал. Из Архангельска...

Я настаиваюся.

— Из Архангельска?

— Искусствовед или из коллекционера, аозможно, он асе и уаез. Уборщицы будто бы злились, сколько хлама лежит, пыль яакапливается, к даернн не подойти, а тут новый директор после Калинина — бо-ольшой чистюля, он а смотреть не стал живопись-то, не по музейному она профилю, ему поручили студейческим таорчеством заниматься. Вот и потребовал от лаборантов: простенки асабодить! Предоставить место уборщицам для тряпок и аедер!

Герман Михайлович переааивается на локоть, тянется за отлетающим листом.

Я еще не соображаю, что случилось. Раздумываю, как связаться с Архангельском. Это нано проце, чем с Козьмодемьянском. Может, картины и теперь лежат там, а музею.

— Вот она, калужнинский уголь! — Возглас Осокина обрывает поток моих мыслей. Я оборачиваюсь. Герман Михайлович протягивает мне перый лист.

Еще лист отыскал Осокин, потом еще и еще. Три обнаженные, три грации, написанные саягиной на листах ватмана.

Одна слаяо бы не закончена, после карандаша работает резинка, аыбирая лишнее, делая так, чтобы воображение продолжило линию, завершило образ.

«Нужно найти способ сделать обнаженную, как она есть. Нужно дать средства ариетелю самому создать обнаженную, своими глазами».

Это сказал Пикассо, яо я аспоминаю его фразу, рассматривая листы Калужнина.

...Странный эффект! Мастер улааливает только поаворот головы, изгиб шеи, линию бедер, а тревожное ачащенное аолнение уже оахватывает зрителя.

На другом листе склоненное тело, аолосы перекинуты на лицо, сильный, загорелый, тугой торс, — обнаженная моет голову.

Калужнин работает и линией, и штрихом, и растушевкой, давая множесто полутонна, добивается яркой жиаописности.

Я долго держу листы а руках, аовершенно забываю о Германе Михайловиче Осокине, и что-то слаяо бы уаывает мою память.

Почему приходит такое дааннее аспоминание, — опять война?!

Я мальчик даанадцати лет, но откуда это смятие, почти ужас?!

Женские аеселые голоса проникают ааозь тонкую стенку, отделяющую санпропускник, иначе — баню, от светлого и большого предбанника.

Раяенные распределены по ааакогоспиталям, отделеннн пусты, аот-аот должен подойти эшелон из-под Тихаина.

Мама догоаваривается а приемном покое, аедет меня а душ. Я получаю комочек зеленого мыла, мочалку и остаюсь, наконец, один.

Скидаю рубашку, трусы, несусь а душевую, — можно аключить хоть пять рожков, а облааться из тазика, я ачаствую себя царем бани.

Шум аоды, аидимо, настолько снижает мою бдительность, что я яе слышу приближающихся голосов. Я оборачиваюсь от прикосновения, от мягкой руки, легко ерошащей мои аолосы.

Рядом, почти на уроане моих глаз, — широкие яежные бедра, а аьше — грудь, молодое смеющееся лицо...

Я аижу то, что не должая аидеть. Не имею права. И это оченя красно и больно, так больно, что я начинаю плакать.

Так н стою под сильной струей, у меня что-то просят, но я не понимаю. Вижу *все*. И плачу...

Бердяев а кннге «Кризис искусства» сказал о натуре: «Обнаженное тело — античная вещь!»

Передо мной лежали шесть листов, аотряхнутых из папки, аовершенно случайных, но и по ним было ясно, какой это мастер!

Почему он исчез? Зачем избрал схиму, отстраился от жизни? Какие страсти а себе подавлял?

Даже по рисункам можно понять, как нетрудно ему было бы сделать карьеру, чуть приспособиться.

Нет, остался отшельником, затаорнником, одиночкой.

Опять снимаю с полки каталог «Круга художников», перечитываю декларацию.

«Через картину к созданию стиля эпохи», — это эпиграф и цель, задача асей жизни.

«Поскольку реалистическое мировоззрение наших дней нное, чем а предыдущие эпохи, постольку и реализм нового искусства не может не быть иным, определяя собой черты нового стиля».

Сейчас иногда трудно понять, а чем теоретики *тех* лет усматривали формализм, формальные поиски, формотаорчество.

Впрочем, и тогда понимали не асе, хотя то, что требовалось от искусства, было не алгеброй, яе аышей математикой, а самым элементарным.

«Круговец» Самохвалов еще мог заявить яа собрании ЛОСХа под стенограмму:

— Часто асе то, что требует некоторого шеавеления мозгами или попросту неприаичное, крестнтся формализмом. Тут сказывается наша некультуренность, даже нежелание профессионально расти, цепная приаязанность к ранее добытым приаичным формулироакам. Почему сонный пейзаж а духе Куинджи — не формализм, а содержательный пейзаж Карева — формализм?

Лидер «Круга» Пакулия так защищал собственные работы:

— Если бы сейчас на аыстааку представляли пронзаведения Врубеля, то я убежден, их бы поняли как неоконченные. Мне думается, что художник, ставя под произведение собственную подпись, может сказать, что оно закончено. Это совесть.

Удалось ли «круговцам» хотя бы приблизиться к аоаей мечте о «стиле эпохи»?

Скорее, наоборот. Шло общее отступление, и некоторые из группы ринулись назад, отрекаясь от собственных открытий и достижений, спешили «попасть в ногу», пристроиться к общей массе, а кое-кто из них и впрямь начинал верить, что найденное тогда было асего-навсего заблуждением.

Конечно, нужно было жить, но какой ценой давалось то «нужно»?

И в конце тридцатых, и в сороковые, и позднее некоторые бывшие «круговцы» пытались соответствовать новым требованиям. Случалось, кое-кто получал заказы, наиболее выгодными считались портреты вождя народов, гениального полководца. Но тут плыла была даже подумать о какой-либо свободе. Любая волюность могла быть истолкована как издевательство, а следовательно — стоить художнику жизни.

Старый Фрумак рассказывал, как уставший от голода и неудач Пакули ишел подмалевику, ловкого копииста, который за полцены брался писать портреты Сталина. Лик Вождя — «гения всех времен и народов» — должен был соответствовать утверждениям стандартам, а это у серьезного художника не получалось.

Наступил час, когда подмалевику явил портрет.

В торжественном молчании, с плохо скрываемой гордостью, он распаковал перед Пакулиным подмалевок. Вячеслав Владимирович с ужасом закрыл глаза. Портрет мало чем отличался от базарных картинок, сделанных трафаретом. Ах, каково было ему, ученику строгого Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, глядеть на «свой» труд, как было невыносимо все это видеть!

Оставлось — поставить внизу подпись, о которой он сам сказал — это совесть.

Пакули метался. Не было сил сделать последний, пусть вынужденный шаг, потом получить деньги и забыть работу, как страшный сон.

— Подписывай! — подталкивал Пакулина подмалевику. — Мне нужны деньги!

Пакулин аял кисть, подошел к портрету, и вдруг... по какому-то невольному внутреннему художественному велению, вместо подписи сделал несколько мазков на гладкой розовой щеке Вождя. Портрет ожил, появилась жутковатая ухмылка, подозрительность вспыхивала в желтоватом взгляде.

— Что ты наделал?! — заорал подмалевику, хахаясь за голову. — Этого никто никогда не пропустит! Ты погубил работу!

Пакули отвернулся к окну, — трудно было ему показывать бегущие слезы...

Опять бедность! Опять без средств! Опять голод!

Был яркий солнечный день, наполенный густыми осенними красками от пыльного и серо-зеленого до оранжевого и ярко-красного. Я шел ив набережную Невы через Летний сад и на выходе неожиданно встретил Г. Это был старый знакомый, литератор, человек скептического ума, трезвомыслящий, как называли таких когда-то.

Оказалось, нам по пути. Брели по набережной и, не выходя общей темы, как-то вяло перебрасывались фразами то о здоровье, то о предстоящей поездке: он, счастливчик, улетал в Китай. Заговорили и о работе, и я внезапно стал рассказывать о Калужине, об исчезнувшем его архиве.

Вначале Г. слушал без особого интереса, скепсис не покидал его лица, губы кривились в ироничной улыбке, но неожиданно подлинный интерес стал вырисовываться в его хитрых и умных, как у булгаковского кота, глазах.

— Странно! — едва ли не возмущился он. — Ищите в Архангельске, но не потрудились толком расспросить здесь. А Мухинское, вы там были? Картины взял, скорее, родственник или ушлый коллекционер. Вряд ли такую шустрость проявил музейщик.

Пришлось согласиться. В конце концов, Мухинское от меня не ушло.

На перекрестке мы остановились, мне было направо, ему — дальше, вперед.

Г. нахлобучил кепку, коротким и хитрым взглядом пробежал по моему лицу.

— Совет на будущее позвольте? — спросил он.

Я кивнул.

— Когда найдете картины, — а вы их найдете, помяните мое слово, — и станете писать книгу, не старайтесь заполнить все пустоты, не придумывайте небылиц, не фантазируйте, не обманывайте читателя. Недосказанность, открытая неизвестность для читателя много ценнее всех ваших предположений. Оставьте место для воображения. Ощущение неисчерпанности темы многого стоит. Только тогда ваш роман или повесть обретут перспективу...

Мне оставалось лишь усомниться, даже слегка пошутить с ироничным коллегой:

— Вы говорите так, будто все уже давным-давно в порядке. Может, сесть дома, сложить руки и ждать? Картины, архив все равно найдутся.

Он расхохотался.

— Вообще-то «горячо», вы близки именно к тому, о чем я думал. Тень растрепанности. Ждите. Случай, уаерен, сам вас отыщет.

Окончание следует

Майя БОРИСОВА

Обращение к памятнику

Вы — памятник.

Вам стать бы поспокойней...
Активных действий кончилась пора.
Вон короли

сидят себе по коням,
не скачут. Кроме разве что Петра.
Вас воплотили в бронзу, медь и камень,
сомнения оставив на потом,
вели бессрочно

помавать руками
и тыкать указующим перстом.
Но как умы наследников не пестуй,
а молодость во мнениях вольна.
На взгляд шных

упрямого имперства
от монументов катится волна.
Опыт же ясио — рано или поздно
поймет и тот, кто нынче не дорос:
кепарь в горсти,

таицующая поза
убийственней, чем молот или трос.
Не маятни ли миллионотонный
в уасвах, где смазка —

слезы, кровь и пот,
когда-то до отказа отведенный,
неотвратно дал

обратный ход?
И если влвети страшную науку
аа столько лет пересмотрели Вы,
щадя живых,

ему подставьте руку,
металл и камень Вашей головы.

А между тем все ясно и понятно.
Скорей прокомментируй экспонаты:
бочонок, меч, старинную кровать...
Опоминься и переиначь слова:
«Когда объединила нас Москва».

1965



Шагать по ландышам,
как стадо гнать по клумбе,
как печь топить
балтийским янтаре.
Коньяк, теплом дыша,
хорош, когда прыгнул.
Он — чтобы пить,
но не купаться в нем.
Не взять бы на душу
греха:

страстям а угоду
взречь апафему
встрелам и рулю,
довериться изнанке и исподу
и кровью завоевывать
свободу,
швгать по ландышам,
купаться во хмелю.

Пустырь

Пустырь этот выглядит хмуро,
как все и везде пустыри:
валяется пыльная шкура
со спящей собакой внутри,
как будто пустынные корни,
вросли а подзаборную пыль
различные оси и шкворни,
различный веселый утиль.
И возле подвального «клаба»,
колыша обширный живот,
шатается пьяная баба,
сама себе песни поет...
Какие родные отбросы!
Знакомо расхристаный вид
кочок иноземного Бронкса
с районом Гражданки роднит.
Здесь духом и обликом схожи
две разновеликих страны.
Родимых циррозников рож
вот так же чугуно-черны.
На редком углу обелиском
немой полицейский торчит.
И «фак-перефак» на английском
как «доброе утро!» звучит.

В местном музее четверть века назад

«Когда завоевала нас Москва...»
Интеллигентная экскурсоводка,
партийка и, конечно ж, патриотка,
зачем ты стала вдруг с лица темна?
Ну что тебе до призрачных и давних,
до тех междоусобиц феодальных,
чья роль сугубо отрицательна?
Тебе в рассветах точно, аккуратно
благовестят московские иуранты,
откуда ж эта неготовность в очах?
Как будто не коичаются дебаты,
и снова неподкупные набаты
отчаянно качаются в иочах.
Загадочен, коварен мир особый,
все эти — как их? —

гены, хромосомы...
Кто только разрешил их отирывать?



Мне нравятся литовские вожди:
грибки,

опередившие дожди.
Их избирательная толерантность,
стремление дерзко выбрать

два из двух,
макиавеллизма-талеяранства
провинциально откровенный дух.
На то и рост,

чтоб все хотеть и сразу!
От режущихся зубок в деснах зуд.
Дубинку президентского указа
они целенаправленно грызут.
И как-то не припомнится примера,
когда бы в мире так накоротке
прошла премьера нового премьера
со вмятинкой на яблочной щеке.
Протесты — тише, возмущенье — глуше...
От их тычков, права ли, не права,
почти как тренировочная груша,
условно отбивается Москва.
Решить бы разом! Нет, проси и жди,
не промахнись, и отступи да выстой...
Есть шарм в словесном их неунытье.
Мне нравятся литовские вожди!

Долг

Жили мало, жили долго,
только знали наперед:
чувство долга,

чувство долга
нам опора и оплот.
Если уж на сердце гадко
и тяжел сомнений плод,
долга крепкая рогатка
надломиться не дает.
Искушениям испытан,
ладно скроен, крепко сбит,
долг

на четырех копытах
на подкованных

стоит.
Кто заслужит, тот обрящет.
Что в охотку — грех сплошной...
Завались-ка вы за ящик,
долг с копытом,

страх с клешней!
Как живу, не ваше дело.
Как умею. Как могу.
Опасаться надоело.
Надоело быть в долгу.
Да по долгу-то, умри хоть,
пыл не тот, размах не тот!
А добьется толку

прихоть,
только пальцем шевельнет.
А любовь
возводит стены.
А упрямство
тащит плуг

там, где сдох бы непременно
долга взмыленный битюг!

Указ

Не втихара, не воровато
на сто какую-то версту
из канцелярии Пилата
пришла помиловка Христу.
Родной порог теперь он в праве
топтать бестрепетной стопой
подобно грешнику Варраве,
легко прощенному толпой.
«Ты все исправил,

что напортил! —
Воскликнуть может стар и млад. —
Ты честь и совесть наша, Понтий!
Ты — ум эпохи, наш Пилат!»
В архивах папочки пылятся...
Под лавку затолкавши плеть,
раскаившиеся пилатцы
осанну привыкают петь.
Какой порыв! Какне страсти!
Какне ладан и елей...
Но распинать

во власти власти.
А воскрешать дано
не ей.

Подоконник

Две моих —
вологодская ветка
и смоленская ветвь родовы
в середине минувшего века
прижились возле серой Невы.
В меру сил проявляя таланты,
укреплялся и ширился род,
записавшись навеки в оккупанты
нищих нидерландских болот.
И лежат пять колен на погостах
урожаем с исконных ветвей —
не смоленских и не вологодских,
а уже петербургских кровей.
Не отдам наводнению-потопу
крепких свай моего бытия.
Родом и из окошка в Европу,
подоконник — вот почва моя.
Положение свое обозначаю
на толстовский, романский мотив:
посижу, помечтаю, поплачу,
под коленки себя подхватив.
Сбоку море, а снизу болота,
рядом — скопище каменных сот...
Если тошно и жить неохота,
только вера в возможность полета
осенит и от краха спасет.
Солнце тонет, никак не потонет...
И всех нас на манер неродной
тихо гладит по лицам ладонью,
нежной, тыльной ее стороной.

Давид САМОЙЛОВ



Лунным светом город залит,
Голубеют скаты крыш.
Снова космос зубоскалит.
Неподвижность. Холод. Тишь.

Нам в лицо смеется космос
И опять дает понять,
Что стихии смертоносность
Невозможно нам унять.

Дымных звезд роятся клубы.
Бледный месяц щурит глаз.
Снова космос скалит зубы.
Есть ли кто-то кроме нас?

Вариация

Э. В. Сусловой

Мы пишем запоздалые эскизы
К картине, что давно уже готова.
Поэты, и актеры, и актрисы,
Мы кисти окунаем в краску слова.

Этюды много лучше той картины,
Которую заляпывают будни,
Где многовато хлама и рутины,
К тому ж они любой молве подсудны.

Но своевольное воображенье,
Подобное нелепнице и бреду,
Случившееся с нами поражение
Готово вдруг преобразить в победу.

Покуда не иссякло, не устало,
Оно переленцует зиму в лето,
Чтоб «мог бы полюбить Вас» означало
«Как я любил!»... И вдруг
поверить в это!

Корова

Корова думала туго,
Но умела себя утешать думами.
Ее давно перестали гонять в стадо,
Весной, летом, ранней осенью
Она паслась на лугу за усадьбой,
А то и прямо на деревенской улице
Перед бабьими домами.
В деревне все реже раздавались
Голоса других коров.
А потом и вовсе замолкли.
Корове хотелось за ними
В Голубые луга на шелковые травы.
Но она любила Бабку
И гордилась, что ее не оставит.
К осени Грубый привозил на машинке
сено.
От него пахло машинной и перегаром.

Он ее не обижал, но она знала,
что он Грубый,
Потому что увел ее последнего теленка.
Она утешала себя, что теленку лучше
В Голубых лугах на шелковых травах.
Когда увел теленка,
Она перестала следить за собой

и еще похудела.
Да и Бабка реже меняла подстилку
И реже носила ей теплое пойло.
— Старые мы, — думала корова.
Она стала плохо доняться,
Потому что бабкины пальцы
Потеряли гибкость и мягкость.
И корове не хотелось, как прежде,
Излить молоко, чтобы потом испытать
Блаженное чувство опустошенности.
Однажды донять ее пришла

Другая Старуха.
Потом в сарай вошли Грубый и мужик
Еремей,

От которого пахло деревней
и перегаром.
Они совещались вполголоса,
И корова расслышала только слово:
говядина.

А потом Грубый сказал ей:
— Вот, Лыска, нет твоей Бабки...
Когда ее за веревку повели от двора,
Она поняла, что никогда не вернется,
Обернулась и замычала.
Пока ее вели к избе Еремее,
Она думала о шелкотравных Голубых
лугах,
Где пасется роскошный черный бык,
бодящий солнце.

1988

Аназорет

В его каморке запах книжной пыли,
И окна адез даанным-давно не мыли.
Не любит он уборки. Пусть лежит
Все, как лежало. А после уборки
Не сыщешь ничего в его каморке
И все уже не так, как надлежит.
Одеяло солдатское, рваное.
Лампа тает в табачном дыму.
И какая-то женщина странная
После службы приходит к нему.
Ее внешность в глаза не бросается,
Не по моде ее гардероб.
А взглядишься получше — красавица:
Рот, глаза, ослепительный лоб.

Он с нею ласков, но не фамильярен.
И хлебосолен, словно русский барин:
Он режет на газете колбасу.
Советует ей прочитать два тома.
И провожает под руку до дома
На Сретенку — в двенадцатом часу.
И когда затихают троллейбусы,
Засыпают дворы и дома,

Она плачет от этой нелепости,
Негодует и сходит с ума.

Почти освобожденный, по Садовой
Уходит он в свой мир полубредовый,
Направив в свой приют свои стопы.
И если слышит: сади нагоняют,
Не обернувшись, шаг свой ускоряет
И нехотя уходит от судьбы.

Черновик

Весна! (зачеркнуто) Прекрасный март...
(зачеркнуто) Голубоглазый март...
(зачеркнуто) Весна вошла в азарт...
(оставлено) Каракули (та-ра-та)...
Читает март... Каракули сирени
Читает (прочерк), как стихотворенье...

Весна вошла в азарт!
Каракули сирени
Читает (прочерк) март
(та-ра) стихотворенье.

Хоть ритмика строга,

Но вот она строфа:

Весна вошла в азарт!
Каракули сирени
Голубоглазый март
Читает в упоенье!

Стыдись, поэт, что столько сил
потратил

На подражанье, на пейзаж.

Ну, напиши: «Весна входила в раж!»

Долби (та-ра-ра) ямбы, словно дятел.

Весна входила в раж.
К ней возвращалась стая.
Ты жизнь свою отдашь:
Кому, за что, не зная...

Похоже. Здесь есть тайный миг
Признания. Суть ведь только в этом.
Признаешься. И становишь вновь поэтом.
Запомни: ты ведь только черновик.

Пусть из черновика
Твоя душа родится.
Ты канешь на века,
Но слово возвратится.



В белом воздухе столицы
Пролетела тень птицы,
Тень птицы
Голубь
Прямо в холод
Пролетел —
В холод
Пролетел
Легче тени, легче дыма —
Пролетел,
Как хотел,
Мимо.



Слепому мальчику ведет собака.
Она внимательна и осторожна.
Научена переходить дорогу.
Ведет подростка к магазину «Хлеб».
Подросток чист и хорошо одет...
Поэт! Вообрази, что ты ослеп!
Что за тебя собака ищет след!
Что у тебя, поэт, собачье зрение!
Перечитай свое стихотворенье.
Перечитай!

Потом меня прости.
Ведь я и сам уже ослеп почти,
А я ведь сам уже почти оглох.
Поводырем мне станет Кабыздох.

Оркестр

Дирижер — рукотворец музыки,
Пишущий ее палочкой в воздухе.
Скрипачи — прядильщики мелодий.
Виолончелисты — вышивальщики нот,
Пальцем поддевающие толстую нить.
Контрабасисты — пылесосы басов.
Флейтисты — выдуватели легких

пузырьков звука,
Объедающие флейту, как початок
кукурузы.

Трубачи — выдыхатели ритмов,
Лаокооны геликонов — выращиватели
напевов.

В медных вазах.
Литаврист — шеф-повар мягких громов.
Арфистка — кормилица лебедей
в серебряной клетке.
Барабаник — раскатыватель звонких
горошин.

И все они играют мысль о том,
Что не случайно и не временно
Мы пребываем в мировом пространстве,

А если кому-то так кажется,
Спроси:
А музыка?



З. Гердту

Артист совсем не то же, что актер.
Артист живет без всякого актерства.
Он тот, кто, принимая приговор,
Винится лишь перед судом потомства.

Толмач аремен, расплюснут об экран,
Он переводит верно, но в итоге
Совсем не то, что возвестил тиран,
А что ему набормотали боги.

Переводчик

Я, как контрабандист запретные товары,
Перевожу стихи, стихи перевода,
Редакторских застав минуя окуляры
И псов цензуры в раж не приводя.

Перевожу стихи — пьянительный напиток.
Пора бы на него ввести сухой закон!
Перевожу стихи, бывает с трех попыток.
И комом все блины. И в горле тоже ком.

Но перейден рубеж. Но будем осторожны.
Не торопись строку записывать в тетрадь!
Хотя и знаешь сам, что не страшны таможи,
И то, что в нас, — они не могут отобрать.

Публикация Г. МЕДВЕДЕВОЙ

ТЮРЬМА

Роман

Глава четвертая

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

1

Что меня тащат обратно на спец, я не верил, а потому разговор с врачом пропустил мимо ушей. Я только понять не мог, почему спустя два месяца после моего заявления (для Гарика я его написал, надо было хоть что-то придумать, неловко, да и обещал ему...) врач вдруг обо мне вспомнил... «Полухин, к врачу!» — грохнула кормушка. Удивился, а все развлеченные — пройтись лишней раз по тюрьме, а когда открыли дверь, увидел, как блеснули желтые глаза Яши, провожавшие меня: «Думает, к кому, не иначе... А может, и верно, к кому, с какой стати к врачу?»

По тюрьме мне пройтись не удалось, кабинет врача оказался в нашем коридоре, через две камеры.

Да какой он врач, думаю, нормальный асфальт, и халат не надел, лень ему, на тракториста похож, чумацкий вроде, и соляркой потянуло, в зубах сигарета...

Лепила привел меня, застрял в дверях. «Помог бы, Вася, — говорят, — более». — «Мешать не надо, — говорит «тракторист», — или белое, или красное. Чему тебя отец учил?» — «Тому и учил», — говорит лепила. «Погоди, — говорит «тракторист», — и с хинней разберемся... У тебя чего? — это мне вопрос. — На что жалуешься?» А я, было, и о заявлении позабыл, и о чем в нем писал не помню, два месяца прошло, да и без толку, разве у такого получишь, ничего не даст... «Астма, — говорю, — с детства. Мне бы теофедрин...» — «Ты бы геронну попросил, — говорит лепила, — во наглость какая!» — «А мне на спец давали. Зачем тогда спрашиваете, если лечить не хотите?» — «Уйди, Генрих, — говорит «тракторист», — я тебя позову». — «Мне не продержаться, дал бы чего». — «Я тебе сейчас дам...»

Лепила ушел. Я не знал, что он «Генрих» — лепила и лепила, но мразь отменная. На спец фельдшером молодые девчонки — и улыбаются, и вальсировали давали, и соду, и горчишники (из них горчицу делают в камере — и на хлеб), а этот зверюга даже валлидол заставлял класть под язык при себе. Откроешь кормушку, металлическим штырем раздавит таблетку прямо на откинутой железной полке, смахнет в грязную лапу — и в рот. Да и редко давал хоть что-то, рывкнет: «Не санаторий, обойдешься! Следующий...» Мужики говорили, он с зоны лепила, когда его смена, и не просили, все равно не даст.

«Тракторист» поглядел на меня сквозь дым от сигареты: «Астма, говоришь... Душно, стало быть?» — «Душно», — удивился я. «Летом не то будет, сдохнешь. Тут не такие крикают, валится со шконок, как мухи... Курнешь?» — «Курю». — «Правильно, свой дым полезней. Шестидесят человек в камере?» — «Шестидесят». — «Будет все-шестьдесят, ты и дня не выдержишься, а будет обязательно...»

Смотрю на него во все глаза: кто такой, что ему надо?

«Стало быть, астма, — говорит, — в камере шестидесят человек, все курят и дышать тебе нечем... Ты где жил на свободе?» — «В Москве, в центре». — «Всегда?» — «Всегда, родился тут». — «Про чего ж ты писал, чего тут можно увидеть?» — «А что мне надо видеть?» — «Как люди живут, чем деньги зарабатывают, как хлеб растет. Или ты думал, булки на станках нарезают — и в магазин?» — «Я про себя писал, не про булки». — «Про себя?.. Про тебя мне не интересно. Я в Москве три года, а про себя, и что помнил, позабыл. Но я бы мог... писателем. В деревне проснешься, выйдешь, продышишься, ухо к земле — слышать, как трава растет. Вот о чем писать». — «А кто вам не дает — пишете». — «А как, с чего начать?» — «Так и начинайте: проснулся, вышел, поглядел на небо, на солнышко, встал на колени, перекрестился — и про свою жизнь». — «Про свою... А кому она нужна, чего у меня твоего было?» — «Да уж, на-

верно, побольше, чем у всех, если... Променять такую красоту на тюрьму? Меня сюда притащили, а вы, выходите, своими ногами. Или кто невольный?» — «Вон ты какой! Верно, писатель. Правильно тебя посадили, может, чего стоящее напишешь... Давай-ка, писатель, переходи на спец». — «Как... переходить?» — «А так. Согласен на перевод?» — «Не знаю, у меня место хорошее, близко к окну. Не так душно...» — «Гляди, твое дело. Как сам говоришь, неаполит не станем. Только учти, меня больше не увидишь, ухажу. Пока своими ногами. Но летом ты крикнешь, запомни. И... бани у вас на общаке полтора месяца не будет. Ремонт, трубы лопнули... Ты об этом молчи, я тебе, чтоб знал, а им не надо, все равно не помочь, чтоб панки не было. Так как — согласен?» — «Я не пойму, зачем вам... мое согласие?» — «Чтоб базара не было: таскают туда-сюда, а ты не хочешь...»

«Вон оно что! — думаю. — Может, на воле шум подняли?»

«А в какую хату?» — «Какая тебе разница, пять человек, народ солидный, не то что тут, шелупень». — «Я подумаю, сразу не сообразил». — «Думай. Полчаса хватит? Завтра меня тут не будет». — «Хватит». — «Генрих!.. — крикнул «тракторист». Лепила вошел. — Отведи его обратно».

Мы вышли в коридор, у меня голова кругом — что за разговор, что они задумали? Ни одному слову не верю.

«Дал героннику?.. — спрашивает лепила. — Ишь, чего захотел. Ты и с героинном подохнешь. Видал я таких жмуриков...»

В камере я сразу подошел к Олегу. «Чего думать, — сказал Олег. — Соглашайся. Тут тяжело будет. Яна выкинут не сегодня-завтра, Стас на его место, а меня на суд. Плохо тебе придется». — «Чего же они задумали?» — «Плюнь на них. Сейчас для тебя лучше, а там поглядим...»

Позвали к кормушке. Не лепила, «тракторист». «Надумал?» — «Надумал». — «Ну и правильно. Собирайся, сейчас за тобой придут...»

Нет, про спец я не думал, не поверил. Перегорела во мне надежда, что хоть когда-то может быть лучше — только хуже, другого не жди... Правда, библиотечную книжку отобрали, значит, не общак.

Вниз, вниз тащит, и лестницу спецовскую — знаю я ее! — ту самую, как в старом доходном доме, мелькнула сбоку, у меня даже душа заняла, и ее прошля. Мимо...

— Куда меня? — спрашиваю.

Вертухай и ухом не повел.

На сборку, думаю, куда еще. И сразу в отстойник, вроде, и в нем я был, а может, похож, сколько таких...

С матрасом, подушкой, одеялом, мешок с барахлом... Не успел оглядеться, сзади грохнула дверь. Закрыв.

Темновато в отстойнике, пусто, надо ж, как посчастливилось, хотя бы побыть... Нет, сидит один, не разглядел сразу, засуетился, обрадовался, что никого. Под самой решкой, скукожился — холодно, что ли?..

— Батюшки!.. Вот так встреча! Ты живой? — спрашиваю.

Глядит на меня, моргает.

— Не узнаешь? — говорю. — Плюсквамперфектум...

— У-у... — мычит. — Как же... И вы, значит, тоже...

— Что — тоже?

— Живой, — криво усмехается, жалко.

Я бросил мешок, матрас, сажусь рядом на лавку.

Четыре месяца, думаю, почти пять... Крепко его помаяли, как из мясорубки. Что а нем осталось — а было ли хоть что?

— Ты откуда такой? — спрашиваю.

Не отвечает, глаза напряженные, бледный, губы дрожат.

— Закурим? — говорю. — Или ты бросил?

— У меня нет, все, что было...

— А у меня много, поделимся.

Достаю из кармана пачку «Примы». Мне и Олег дал, и Князек, и Ян — хорошо прощались, как братья...

Жадно затягивается, видать, давно без курева.

— Что же с тобой случилось — ты где был эти месяцы?

— Меня со спеца вытащили, а куда дальше, не знаю.

— Я тоже не знаю. Но я с общака... Кто ж из нас Счастливец, а кто Несчастливцев?

Молчит, не принимает шутку. Или не понял?

— Ты в какой камере был на спец? — спрашиваю.

— Я?.. В двести шестидесятой.

— В какой-то? Давно ты там?

- Два меснца.
- Вон как. А до того где был?
- На больничке... Нет, это сначала, потом — на общак.
- В какой хате?
- Н-не помню, я там один день...
- А что случилось?
- Зачем вам? Плохо стало. Душно. Народу много, драки.
- И срвау на спец?.. Как же тебя перевели?
- Перевели...
- Говорить не хочешь. Твое дело. У тебя какая статья?
- Сто семьдесят третья.
- В институте работал?
- В институте.
- В каком?
- В МАИ.

Вон как сходится, думаю. Надо с ним аккуратней, напугается, ничего не скажет.

- Давно тут сидишь, в отстойнике?
- Только что, перед вами.
- Следовательно вызывает? — не отстаю я.
- Два раза, тянут.
- Ты один по делу?
- Здесь один. Еще на Бутырке.
- Женщина?
- Женщина.
- Ладно, — говорю, — мне не надо. Кто ж остался в двести шестидесятой? Я там два с половиной месяца, как тебя вытащили на сборке перед шмоном — помнишь? Тебя, значит, на больничку, а меня в двести шестидесятую.

- Там сейчас... пятеро.
- Боря Бедарев там?
- У него в глазах ужас, даже сигарету выронил.
- Ты что? — спрашиваю.
- Н-не знаю.
- Что — не знаешь?
- Я больше не могу, — говорит.
- Два что они с тобой сделали, что ты всего бонься? У нас с тобой общее начало, самое страшное здесь — сборка, она нас связала. Может, я тебе чем помогу, ну... советом, еще чем — что ты в такой панике?
- Не самое страшное, — говорят.
- Что — не самое страшное?
- Первый день, сборка. Дальше было хуже.
- Где? — спрашиваю.
- На больничке. На общаке. И на спецу. То есть... на больничке легче. И на спецу.
- Но... Не могу больше.
- Тебя как зовут? — спрашиваю.
- Георгий.
- Георгий?..
- У меня мелькает смутная мысль, и ее сразу отгоняю. Слишком много совпадений...
- Жора, значит?
- Я никому не верю, — говорит, — они со мной...
- И я никому не верю, что из того? Но людьми-то мы остались? Какая мне в тебе польза?

- Не знаю, — говорят, — может...
- Ты сам себя загоняешь, загнал, а тебе жить надо. Да сколько б ни дали, все годы — твой, все кончается и срок кончится. Зачем ты себя... У тебя остался кто из воле?

— Остался... Нет, я теперь ничего не знаю...

Не получается из меня утешитель, да и зачем мне, мы в тюрьме, не в богадельне, здесь каждый за себя...

- Значит, Боря там, — говорю, — еще кто? Пахом там?
- Пахом ушел. Они с Бедаревым не... заладили.
- Вон как! А у тебя что с... Бедаревым?
- Послушайте... — говорит он, — я вижу, вы порядочный человек, я здесь таких не видел. Я не могу больше... Все эти месяцы, каждый день меня... обманывают, мучают. Я себя потерял, они меня забьют — понимаете?
- Нет, не понимаю. Мы с тобой в одной тюрьме, пришли вместе. Я только в больничке не был, в тех же камерах.
- Они меня... запутали.

— А ты плюнь! У тебя своя жизнь и срок будет свой! Все равно будет, откуда не выйдешь. Но здесь, учти, ни от кого, кроме мелочей, ничего не зависит, а у тебя впереди жизнь, не мелочи. Знаешь, как говорят: на воле страшно, могут посадить, а здесь чего бонься — уже посадили!

- Хорошо бы нам вместе, — говорят.
- Может быть. Мне и с Борей было хорошо. Сначала хорошо, потом плохо. Что он тебе сделал?

— Он все время что-то придумывает, я не понимаю... Бывает, как зверь, с ним что-то случилось...

- Что?
- Не знаю... Его не поймешь.
- Не надо мне, — говорю, — я про Борю и так все знаю, а что нет... Не а подробностях, мы с ним два месяца спина к спине, на одной шконке.
- Ему нельзя верить, ни одному слову, не поймешь, на кого он...
- Ты сам сказал, здесь никому нельзя верить. И тебе нельзя, и мне — нельзя. Что ж, мы должны грызть друг друга? Зачем тебе верить-не верить? Посадили — сиди. Мы скоро полгода здесь, осталось меньше, а там зона — письма, небо, работа, книги, чай будем пить...

- А если опять на... общак?
- Ну и что с того, ты ж там был?
- В том и дело, что был.
- В какой ты был камере? Хоть кого-то запомнил?
- Один похож на... обезьяну, какавказский человек. Другой... старик, борода седая, художник...

- В сто шестнадцатой?!
- В сто шестнадцатой, верно. А вы... знаете?
- Я там месяц... Погоди, меня и привели сразу после тебя? Рассказывали, один выломился... Верно! Из больнички, коммуны, интеллигент... Так это ты и был?

- Не знаю, может быть.
- «Велосипед» устроили?
- Да, этот, с бородой, ввязался, ему голову проломил.
- Мы с тобой по одним и тем же хатам, друг за...
- Бермудский треугольник, — говорят, — здесь все так.
- Какой... Бермудский?
- Очень просто, им так легче, проще. У них сетка — понимаете? Скважем, по три, по пять камер в сетке, в ячейке. Они и тасуют — из одной в другую, чтоб самим не запутаться. А нам и не надо больше, нас все равно закружат...

- Ловко! — говорю. — Кто ж это — кум придумал?
- Н-не знаю, наверно.
- Черный такой, руки волосатые?
- А вы... его видели?
- Нет, но слышал. Значит, «Бермудский треугольник», а кум крутит эту карусель? Емко...

- Вы не станете на меня... ссылаться?
- Кому «ссылаться»? Да что с тобой, опомнись!.. Послушай, Жора, скажи мне... Ты знаешь такую... Да нет, едва ли, у вас много народу, большущий институт...

- Какой институт?
- МАИ. Разве что случайно... Лаборантка, не знаю, какая кафедра... Нина?
- Ни-на? — переспрашивает он.
- И тут вижу — кровь хлынула ему в лицо, красные пятна, на лбу пот...
- Ты ее знаешь? — спрашиваю.
- Если это она. Нина... Щапова.
- Щапова?! Нина. Глаза у нее... голубые, большие, в пол-лица. А бывает...

зеленые.

— Она не работает в институте. Ушла. Два года назад... То есть, перешла на другую кафедру, на полставки...

- А почему ты... покраснел? — спрашиваю.
- Это она... За нее.
- Что — за нее?
- Наказание. Мне. Видите как... интересно...

Первый раз глядит на меня. Что-то в нем сдвинулось, возникло, чего раньше не было. И глаза отвердели, вот уж не думал, что осталось хоть что-то...

- Скоро пять месяцев, как я здесь, — говорят, — а мне в голову не приходило.
- Что не приходило?
- Спасибо вам, аон как бывает, услышишь от кого-то о чем-то, а получается — о себе.
- Не понял.

— Возмездие, — говорят он. — И Бедарев что-то плел о возмездии, я не слушал, не надо было. А тут обо мне. В самую точку. Услышал. И эта... баба, что сейчас на Бутырке, пусть она сука последняя, а как тяжело ей, и ее муж, где он, может, и он тут, и вся история, которую следователь разматывает, а что разматывать, ясно... И все, на что я здесь наглядился, на себя раньше всего... И зона, о которой вы говорите... Все за нее. За Нину. Я анноват перед ней. Я ее обманул.

2

Я уже у дверей камеры почувствовал — *плыву*. Бросил мешок, прислонился к стене и закрыл глаза, боюсь хоть как-то себя выдать... «Не может быть, — стучит в голове, — так не бывает, здесь не может быть случайностей, накладок...»

Открыл глаза — рядом никого. В другом конце коридора стоит мой вертухай — о чем-то еще с одним, отсюда и голоса не слышно. И ничего не слышно — мертвая тишина.

Собрался с духом, поднимаю голову: прямо против меня железная дверь камеры — «260»...

Он просто не знает — куда, нет распоряжения, потому и бросил в конце коридора, чтоб не таскать по всему этажу, сейчас выяснит, поведет дальше...

Посмотреть бы, отодвинуть щиток глазка... Боря не боялся, когда ходили в баню — дамы этажами ниже, спецовская баня, комнатухи на четыре соска с предбанничком, Боря всегда шел сзади и щелкал глазками всех камер по пути... Он не боялся, а я робел. Когда страх — нет свободы, думаю. Если боюсь потерять хоть что-то, — ты уже не свободен, а я все время боюсь потерять, и сейчас, знаю, понимаю — быть того не может! — а все жду, вдруг...

Чудеса начались сразу, как только меня выдернули из отстойника. Минували один поворот — и спецовская лестница. Та самая! Пусть бы третий этаж, думаю, пусть четвертый... Еще выше... Неужто пятый, мой?! Пятый последний, выше нет, там крыша, а все не верю... Отпер дверь, вывел в коридор... «Стой», — говорит. И пошел аравалочку в другой конец, обратно.

Пусть рядом, думаю, пусть в другом конце — один коридор, общие дворики на крыше, одна баня. Можно написать на двери во дворике, на стене в бане, можно покрывать на прогулке... А звем, думаю, что за сентименты а тюрьме — зачем он мне? И я аспоминаю глаза Жоры, а взгляд, которым он меня проводил, что а нем: надежда — на что? — найденный выход — какой? — а может — отчаяние? Что я ему мог сказать, ничего не хотел говорить, здесь каждый решает сам, дв и как помочь, если не просит...

И тут анжу: оба идут — «мой» вертухай аравалочку, а второй звенит ключами. Подошли, на меня не глядят... А я все не понимаю, он уже дверь открывает, а я стою у стены, ничего не могу по...

— Чего ждешь — особого приглашения?

Сейчас кто-то их остановит, нелепо думаю я, кто-то придет, позвонит... Разве может быть, чтоб заранее не распорядились, не указали камеру? Все у них продумано...

— Ну!.. Спишь, что ли?

Его равнодушие и заставляет меня опомниться. Я хватаю мешок, матрас, делаю два шага — и сзади гремит дверь...

Потом мне казалось, я преувеличиваю свои ощущения: просто растерялся, никак не ждал, заставил себя забыть, что возможно сбыться тому, что и хотеть не решаешься, о чем не позволяешь себе мечтать... Нет, ничего и не преувеличил, так и было. Даже не радость — счастье было таким полным и... зрелым, ни с чем не сравнимым... Да и с чем его было сравнивать? Чем я бывал счастлив в той прежней, навсегда ушедшей жизни?... Полнотой любовного чувства? Но разве не примешивалась всегда к той полноте *ложка дегтя* — страсть, хорошо, не похоть, щекоющий укус самолюбия, страх утратить свободу... Может быть, радость *удачи*, осуществление выношенной мечты, сделанной работы? А что ее кормило, ту удачу, на чем она возрастала, не на тщеславном чувстве — смог, сделал, доказал, удивил... Мне подумалось однажды, как просто с нами, со мной: сидят двв бесенка, из самых распоследних, замызганных, канцеляристы в том департаменте, скучно им, *не интересно*, все заранее знают, слишком легко, даже азарта нет, обрыдшее дело, канцелящина. Сидит в загаженном, мерзком *отстойнике*, играют в кости. Один — блудник, второй — тщеславец. Бросают кости на кого-то — на *меня* они бросают! И тот, кто выигрывает, получает а тот самый момент безраздельное право... На меня получает право. И меня швыряет — туда или сюда. И я захлебываюсь выигранной кем-то из тех «канцеляристов» «радоcтью», падаю ниже, сползаю еще на одну ступеньку. А они ухмыляются. Или перестали ухмыляться: скучно, слишком со мной легко, игра для них беспроигрышная. Но у них такая *работа*, вот и придумали развлечение, хоть какое-то разнообразие — кости. А я на качелях — туда или сюда.

Даже церковь, думаю я, которую открыл для себя, увидев однажды рядом с домом, на той самой улице, по которой бегал мальчишкой, гулял юношей, проходил по своим

делам, *не видя*, аполне взрослым человеком... Но однажды что-то во мне щелкнуло, ашел... *Вошел ли?* Чем стали для меня счастливые слезы — а полумраке, потрескивании свечей, а в их мерцающем свете лики икон, никогда прежде неведомый запах, нававшие в душу слова молитвы, азымавшее ввысь и заполнявшее все вокруг *пение*? Непостижимое чудо прикосновения к неведомому, к тайне?.. А что она, что в ней, кроме моих сладких слез и томления духа — опять для меня, чтобы взять, присвонть себе и это? Кроме того, что уже было, что успел схватить, прибрать к рукам, приспособить, что делало меня тем, кем я был. Или казался. Чтоб не быть, а казаться. Для себя, только для себя одного. Разве хоть что-то и знал — о Христе, а аойдя а церковь, открыв ее рядом с домом, на той самой своей улице, прочитав три десятка книг и споря до хрипоты с такими же, как я, уцепившимися за нее, за церковь, не зная, не понимая, не аеда, *куда мы пришли?* Что я знал о Христе?..

Я стою в дверях и гляжу на камеру...

Я знаю здесь каждый... предмет, они навечно врезались в память, в душу — первая камера, как первая любовь... Кто это сказал? Кто надо... Во мне сказалоcь однажды, здесь.

Но это потом. Или сразу. Как обаял: непостижимое чудо аозвращения *домой*, о котором не мог мечтать.

— Серый?.. — говорят Боря.

Тихо говорят, шепотом, стоят у раковины...

— Вадим! — кричит Гриша. — Вадим! Вадим!!!

— Тихо... — говорю, — вытащат, это... наклада.

Но Боря уже опомнился, взял себя в руки, он, и правда, растерялся, меня увидев. Как же он изменился! Опухшее лицо, длинные бакн, бледный...

— Вернулся, вернулся! — кричит Гриша, прыгает вокруг.

И он изменился: рыхлый, опусташный... Что с ними?

В камере еще двос: один спит, укрылся с головой, второй сидит на *моей* шконке у окна: голый по пояс, в татуировке.

— Я знал, ты вернешься, — говорят Боря. — Но не думал, что к нам. Что на спец — знал, но что а эту камеру...

— Погоди, может, вытащат, — все еще не верю.

— Перестань, — говорят Боря, — твоего не бывает.

— Скелет в очках, — говорит Гриша, — откуда ты, не кормили даа месяца?

— Да нет, ароде, кормили...

Выходит, и я изменился...

В камере светло, открыты окна (а когда уходил, были вторые рамы), «реснички» проржавевшие, разогнутые, солнце катит в камеру, перебивает дневной свет под потолком, аетерок, и я аылезаю из ватника, стаскиваю свпиги...

— Да у нас можно жить!

— Все, — говорит Боря, — пока ни о чем не будем, отдышись... Я тебе сейчас покажу... Нет, потом...

Он и говорит иначе — неуверенно, суетливо.

— Сядь... Да не возись ты с мешком! Сыграем в «мандавошку» — не разучился?..

Гляжу на него: если б не знал, что это... Боря...

Развязываю мешок, достаю кусок сала, сухари, сигареты — Олег поделился всем, что у нас оставалось.

— Купец вернулся, — говорит Боря. — Видал?.. он оборачивается к малому на *моей* шконке. — Познакомься.

Малый встает. Босном, на плечах шевелится живопись:

— Артур. Твое место?.. Освобождаю.

— Ладно, — говорю, — я тут где только не лежал.

— Давай, давай, я не надолго.

У него движения мягкие, кошачьи, глаза острые. Такого еще не видел.

И тут еще один аылезае из-под одеяла, четвертый... Андрюха Менакер!

— Серый?! — кричит. — Живой! Откуда?

— С обшак... — смотрю ему в глаза, надо сразу, не тянуть. — Из сто шестнадцатой, — говорю.

— Вон как?.. — Андрюха тянется за сигаретами.

— Костя говорил о тебе, — уточняю я.

— И ты поверил?

— Поверил.

Он тоже другой — Менакер. Или у меня зрение стало другим? У каждого свое, но два месяца тюрьмы — для всех даа месяца тюрьмы, а у них перед тем еще по полгода.

— Что он тебе говорил? — спрашивает Менакер.

Он пожелтел, мышцы, прежде буграми гулявшие под розовой кожей, обвисли, и шкура не розовая, серая.

— Что ты, сука, сказал Костя, адожил его еще на воле.

— Да пошел он! Дождется, мы с ним встретимся...
 — Вот и он говорит — «встретимся».
 — Чего он тебе лапшу вешал! — кричит Менакер. — Меня на Лубянку потянули, они и взяли... Не прокуратура, как его! Когда стали получать «марки» из Фрайции, ГБ сразу сел на хвост... Я тебе рассказывал — не поминишь? Он думает, чистенький ходил? Король черного рылика! Они его как облупленного знали, мне все документы под нос — чего он тебе мозги пудрил?
 — Ты меня спросил, я ответил. Будешь знать. А кто из вас кого сдал, не мое дело.
 — Отстань от него, — говорит Боря.
 — Ты послушай, Боря, что он мне лепит! — горячится Менакер. — Он, видишь, что на меня вешает?..
 — Сказано, отстань, — говорит Боря, — он тут зачем? Да пошли вы все... Еще Пахом вязался...
 — Где он? — спрашиваю.
 — Вытащили, больно умный... Ладио, гляди, чего тянуть... Узнаешь?
 Чувствую, камера изприглась — Боря, Гриша, даже Менакер, завалившийся было на шконку — и глядеть на меня не хочет! — и он напряжен, ждет; даже Артур глядит с любопытством.

Но я-то знал... Почему, каким образом и мог знать, что увижу, что именно это и ждет меня, если случится чудо и я вернусь?.. Так может быть только в тюрьме: все так напряжено, такое таинственное поле создает это напряжение, что ты *знаешь* о том, что никак знать не можешь!

Я держу в руке фотографию: запеленутый младенец, месяца два... Конечно, мне его не увидеть, как узнаешь, когда не видел, да и что тут можно увидеть! Но я вижу *руку*, на которой он лежит, и руку я знаю. Я вижу кусок стены, угол, *икону*... И икону я знаю.

— Спасибо, — говорю Боре, — я анал, что... это увижу.
 — Узнал? Твой?.. Ну... — у Бори дрожат губы. — А этот фраер, саннья, кричал здесь... Слышали, что он кричал? Не Серого, не похож!.. Я из него еще погляжу...
 — Пахом говорил, не похож? — спрашиваю.
 — Хрен с ним, и думать не хочу об этой мрази, — говорит Боря. — Вот тебе еще подарок... Что сквжешь?

Он протягивает исписанный листок.

И я отаорачиваюсь, отхожу к окну, мне не по силам.

Стена под решкой, когда-то коричневая, давно черная, в одном месте выбита штукатурка — ровное белое пятно, известка, и я вспоминаю: каждое утро открывал глаза, видел это пятно и каждый раз «фигура» был другой...

«Дорогой Боря! — читаю я: смешной детский почерк не слишком старательной ученицы. — Мы так скучаем и так беспокоимся о тебе! Как твоё здоровье, нужны ли тебе лекарства, напиши, постараемся достать и передать. Мальчика назвали Вадимом в честь его дяди, он будет похож на тебя, я в это верю, он и родился в тот самый день и в тот самый час. Он хороший, послушный и здоровенький, мне не трудно, не беспокоюсь. Митя все время со мной, а когда его нет, приходит *Нина*...» Подчеркнуто, подчеркнуто!.. Я закрываю глаза, потому что внезапно строчки сливаются передо мной... Потом и начинаю сначала: «Дорогой Боря! Мы так скучаем и так...» Дальше! «...приходит *Нина*. Мы с ней подружались, и она мне помогает, сидит с Вадиком, если мне надо в магазин или куда. Она хорошая, огниенного искушения, говорит она, не чуждайтесь, как приключения страшиного, и сидит с малышом. Это она, конечно, шутит, ты понимаешь, потому что, говорит, ей сидеть с ним одно удовольствие. И мы тоже не чуждаемся и тебя очень любим, так что ты не беспокойся, видишь, я не одна, у нас дома двое мужчин и нас с Ниной двое. Вадик хорошо спит, а когда не может уснуть, я аключаю ему эфир и он с радостью слушает музыку о своем любимом диде, даже когда наш старый проигрыватель сильно трещит. Целую тебя, дорогой Боря, лишь бы ты был здоров и делал, что должен делать, а все остальное будет, как быть должно, и мы будем за тебя радоваться, как поется и как любит а шутку повторять *Нина*. Целую тебя, твоя сестра Марийка. П. С. Поминишь, я тебе говорила, какой Митя хороший, но ты еще не знаешь, он такой, как ты, и я его тоже очень люблю».

— Я знаю, — говорит Боря, — мне рассказывали о тебе: стоит под решкой, у стены, дышит...

— Кто рассказывал?

— Когда таскали к следователю, мужи в отстойнике: есть, говорит, у нас один писатель... Хреново было?

— Сам знаешь, ты рассказывал про общак. Так и было.

— Суки! Но и знал, тебя оттуда заберут на спец, но не думал, что сюда! Я и надежду потерял увидеться, а мне надо! Тебя вытащили, а через день Ольга отдает письмо... Да

переведи его на больничку, говорю ей, придумай, возьми своего майора за...! А у нее не выходит. А тут этот... Пахом...

— А что случилось? — спрашиваю.

— Полез не в свое дело. Пес с ним... Тут вот что. Кум унюхал, в хате стучат... Сколько я их поныкидал, надоело, перед тобой один был...

— Кто такой?

— С больнички, фраер... А может, не стучал, может, Ольга болтанула лишнего по бабьей глупости... Короче, месяц проходит, другой пошел, а ты все там... Неужель мы ничего не можем, думаю. И тут тебя в другую хату на общаке... Знаю — на четвертом этаже.

— Меня о тебе спрашивали, — говорю, — и в первой хате, и во второй. И больничку ты купил, и канал у тебя на волю, и денег полная тетрадка...

— Кто спрашивал?

— Кумовские ребята. Щупали.

— Да пес с ними, главное — ты здесь! Теперь все лето вместе... Слушай, Серый, у меня верный канал, пиши ответ, видишь, ждет, как получил, так и передам. Ольга закончила с моей сеструхой, а та с твоей. Они вместе...

— Кто вместе? — меня озноб прошиб: вон куда влеа!

— Моя Валька с твоей сестрой. У них общие дела — про детей. Валька беременная, потом расскажу, у них свои разговоры — бабьи дела. Мне Ольга говорила. Я с ней два раза в неделю, железно — у нашей арачики, у Лидки...

— Что-то ты гуляешь, Боря?

— Чего — гуляю?

— Зачем ты в камере, при асах? Письмо, фотография... Он все о тебе знает.

— Кто знает?

— Кум. Не зря ко мне вязались на общаке.

— Брось, Серый, хуже не будет, только лучше. Я ей аерю! Она без меня — ни шагу, а майор у нас, как... на аркане.

— Не пойму и тебя, Боря, такой битый мужик, а говоришь, как... мальчик.

— Эх, поговорил бы я с тобой, все бы тебе рассказал! Нам бы с тобой на воле...

Мы лежим на нашей шконке, я на своем, воровском месте, у окна, Боря повернулся ко мне и говорит, говорит... И об Ольге, как они встречаются на нашем пятом этаже, а задний комнэток у арачики, аертухай шастает мимо, а ничего не видит; как однажды лейтенант-подкумок зашел к арачики брякнуть по телефону, а Боря в задней комнэтке, все, влетели, подумал Боря, в Ольгу поставила его за дверь, чтоб не видно, сбросила халат, стоит в чем мама родила и дверь открыл, вроде случайно... Лейтенант увидел и... «Что ты, ой, пес, чуть с ума не сошел, разве ему такое похваляли! К нам потом авходит Лидка, ну смею, мне пузырь спирта — и пошел!..» «Она меня вытащит, — сказал Боря, — вот уадишь, с такой бабой куда хочешь, сколько я повидал ихнего брвта, а не знал, что такое бывает, за все муки награда...» «Конечно, — сказал Боря и поглядел как-то страшно, — кума ей тоже надо держать, без него ничего не сделать, а чем держать, она мсия иногда просит, мне ей тоже надо помочь, что ж за все емой... Ладио, я с ним посчитаюсь...»

Я слушаю его вполуха, не нужно мне, я думаю о том, что я *здесь*, что это произошло, случилось — после ужаса общаки, а в ушах у меня еще гул тех камер, а перед глазами все еще... А под подушкой фотография, письмо, и я знаю — не один, и они там, на воле — не одни...

— Слушай, Серый, — говорит Боря, — письмо я вытащил из коаерта, не фраер, мало ли, когда тебя увижу... Чтоб знать, короче. Кто эта... *Нина*?

— Родственница дальняя, не в Москве живет, наверно, а отпуск приехала.

— Откуда? — спрашивает.

— Из Пензы, она в ЖЭКе работает, диспетчером.

— Да?.. Нет степени доверия, Серый, я с тобой вон как, а ты со мной...

— Я у нее как-то был в Пензе, летом. Мы на речку ездили, рыбу ловили, а потом в камышах уху варили на костре.

— Какая ж там речка, в Пензе?

— Припать. Или что-то в этом роде.

— Ну-ну, — говорит, — повятно. «Огниенное искушение», о котором ты тут с Сергеем балаболит, «странное приключение» — это и есть рыбалка с бабой в Пензе? И «эфир» — а Пензе, который про «дядю» играет?

— Хорошая у тебя память, Боря, цепкая. А что с Сергеем?

— На общак вытащили. Он не такой, как ты, не боялся. Он в Бога верил, а ты на воду дуешь.

— Не будем ссориться, Боря, — говорю, — я так рад, что вернулся, не надеялся, думал, никогда. Теперь мне ничего больше не надо. Давай спать.

— Тебе не надо, у тебя, когда и не было ничего, спал. Небось, и на общаке не маялся? А мне много надо...

Прямо надо мной решка. Скажешь отогнутые железные полосы «ресничек» прогляды- вает небо. Оно все еще светлое — луна, что ли, или над Москвой вечное зарево? Гуляют ветерок, прохладно. В камере тихо, и мне кажется, я задохнусь от радости и счастья. После грохота и мелькания, после смрада и потного ужаса, постоянного — из дня в день, из ночи в ночь, непрекращающегося, не способного перестать — всегда!

«Огнеинного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для авс странного, — повторяю и про себя и гляжу на светлое небо между ржавыми полосами «ресничек». — Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете...»

И они возникают передо мной, как на движущейся ленте конвейера: Гарик, Верещагин, Наумич, Костя, Иван, Яша, Олег, Ян, шнырь, Машка, Петро, Стас, комиссар, полковник, Василий Трофимич, Султан, Князек, Малыш, Виталий Иванович, Афганец... Как они там, что с ними сейчас, что будет завтра?.. Господи, помилуй их я спаси, — шепчу я, — не забудь! Изведи, Господи, из темницы душу мою! Помилуй, Господи, всех, с кем сподобил мне пробыть вти меснцы, от уз и заточения свободы и от всного злаго обстояния избавь! Только Ты, Господи, можешь помочь им — еслл помог мне, если не оставил меня, не забыл обо мне! Не забудь и о них, Господи, прошу Тебя. Господи, умоляю Тебя, Боже мой!..

3

- Подвинься, Гриша, давай полежим, я тебя потрогаю...
- Ты что, Артур! Отстань от меня!
- Да ладно тебе — «отстань!» Не я, так другой.
- Пустя руку, ломаешь!
- Я тебе и ноги переломлю.
- Да отстань ты от меня... Пустя, больно!
- Заладил... А мы тихо-онечко, это спероначалу больно, а потом...
- Пустя!
- Куда ты торопишься... недоделанный? Время есть, не бойсь, не шлепнут, а за твои пятнадцать лет... Зубами? Чиствя баба! А мы а ротик подушечку... Сперва подушку, потом... Подержи его, Андрюхв!
- Я вылезю из матрасовки, задремал после обеда. Боря ушел на аызон. По ту сторону дубка — аозня, сопение...
- Вы что, ребята? — спрашиваю.
- Целку из себя строит... Может, придавить тебя, суку? Только спасибо скажут...
- Уйди, слышь, уйди!.. Закричу.
- Напугвл... Держите его, на всех хаатит!
- Перестань, Артур, — говорю, — что ты в самом деле?
- Да пошли вы все! Связываться лезь, чистая богадельня. Давно бы отпетушили, сам бы ложился. Скоро год здесь — так? И никто ни разу не попробовал?
- Прекрати, Артур, — до меня дошло. — В своем уме?
- Не в тюрьме, что ли? Или, думаешь, тебя ив зоне баба ждет? Такие и будут... Да его еще на осужденке под шконку загонят, а «воронке» — хором, а уж на пересылках, в столыпинах!.. Ты думал, с девочками можно, а с тобой — нет?.. Да кто вы тут — недоделанные или у вас не стоит?
- У нас этого не будет, — говорю.
- Если я захочу — не будет? Ты — против меня?
- А что ты со мной сделаешь?
- То же самое.
- Не выйдет, — говорю, — утихни.
- Да я тебя счас... схаваю, сука!
- Не блажи, Артур, ты тут один — не проходит.
- А ты, Андрюха, что скажешь? — спрашивает Артур.
- У меня своих дел по самую зту, — говорит Менакер, — я а чужие не лезу.
- Что у авс за хата! — кричит Артур. — Этот вас пасет, через день к куму, а вы молчите, глотаете? Да он под тебя сидит, писатель, ослеп с горн?.. Я думал, на спецу отмокну, курсак набью, а на вас поглядишь — с души воротит!.. Да пусть он задавится, нужен он мне, еще и жрете с ним — ему недолго осталось! Не дрожи, мразь!
- Утихни, Артур, — говорю. — Чего ты сорвался?
- Мало ты, Серый, понюхал, не показали, погоди. Думаешь, я таких не знал? Во Владимире не такие сидят? Валерку Буковского знал?
- Володю Буковского, — говорю.
- Валерка. Все знают. Гремил. И по радио, и... Валерий Буковский. Они, понимаешь, на что клюнули — он и его кореша? Им канал на волю — позарез. А где найти — к нам, передайте дальше! За чай почему не передать. Не жалко. Они подгоняют ксиву, а кум слышит... Как узнал, его дело, они нам чай и кум нам чай...

- Отдали?
- Что отдали?... Чай мы у них забрали, у Валерки, и у кума забрали, а... Зачем отдавать — ничего у нас иет, никто не подгонял, какой с нас спрос?
- Сколько ты раз сидел, Артур? — спрашиваю.
- Я асю дорогу сидел. И сидел, и выходил, и убегал. Я и сейчас уйду. Хотел дураку память оставить. Пожалеет. Мне б с тобой, Серый, на воле встретиться, я б тебя научил.
- Чему? — спрашиваю.
- Свободу любить. Сидишь пять месяцев, а желтенький.
- Откуда ж ты убегал, Артур?
- Откуда не убегал, спроси! Последний раз с суда. Маленько не доехал. Подгоняют «воронок»... Здесь, на Каланчевке, горсуд. А за ним сразу другой. Развернулся и — боком. Я выпрыгнул, мой мент еще в дверях, гляжу — раз в жизни бывает! Думать нечего — под «воронок» и пошел! А там толпа, к вокзалам — не будет пес стрелять по толпе! Бегу, себе не верю — воля! Что думаешь — ушел!
- И долго ты гулял?
- Месяц. На хате накрыли, на чужой. Я и зашел случайно... Да знал я, что туда не издо! Из-за бабы горим... Слышь, Серый, ты писатель, должен понимать: баба — человек или кто?
- Думаю, человек.
- А хрен мне а том, что ты думаешь! Я тоже думал, ты человек, назудели — такой- сякой, я тебе место уступил, лежи, не жалко, а ты сопишь а две дырочки — какой от тебя толк? У Валерки Буковского чай был, а у тебя и того не возьмешь... Отдай тапочки — у тебя и сапоги, а я босой? В отстойнике, как вели сюда, отдал судовому, его передо мной полосатые разули...
- В сапогах жарко, — говорю.
- Тебе жарко, а мне колко. Не научили тебя, чего с тебя поиметь... Хотя Бедарев имеет. Эх, имеет он с тебя, Серый!
- А ты откуда знаешь?
- Знать не надо, а наличности. Он чем хвалится: письмо для тебя хрвнил, получил через... Что он ави, дуракам, травит, развесили уши! Не понял, откуда письмо?
- Не понял, — говорю.
- Что ж ты его не спросил?
- А я никогда не спрашиваю, захочет, расскажет.
- Он тебе расскажет, кивк же. Осужденный Бедврев, ежу понятно. Ему и письма, и передача, и свидания. То ли худо? Он и обдeldывает дела. Свои и чужие. Думает, игра двоиная, всех об... А не поймет, не с теми сел играть... Они из него дешеваку сделают, не отмоется. Он и из парашу попадет, погоди... «Дорогой Боря!» — пишет тебе сеструха, так? Что думаешь, кум того письма не читал?
- Откуда мне знать. Пусть читает, Боре письмо, не мне.
- Отвечать будешь — «целую, Боря»? Так напишешь?
- А ты хочешь за то чай получить?
- За что получить?
- За мое письмо.
- От кого получить?
- От почтальона.
- Я б с тобой поговорил, Серый, и могу научить, у меня не заржавеет, да не ко времени, меня сегодня-завтра уберут, я тут лишний. Здесь все стучат! Андрюха — вон сидит, зубами щелкает, не стучит? Если он на воле со своим кентом сводил счета, что ты тут от него хочешь?
- Не мели, Артур, — говорит Менакер.
- Сосунки-первоходки! Кто из вас чего стоит, чтоб пачку чая перевесил? Ты пожалел недоделанного, думаешь, если его кум попросит, он тебя не заложит? Кум ему такую хату устроит, голову из парашы не вытащит, застрянет до суда, а на суд понесут, ногами не дойдет. Не заложит?
- Что тебе надо, Артур?
- Ничего мне от тебя, писатель, не надо, а чего надо, ты не можешь — нету и не научили. Скучно мне, Серый. Я почему, думаешь, бегаю? От скуки. Теперь дело есть — посчитаюсь. Сучонка думает, сдала, намотают срок! Не получится по-ихнему, уйду. Погляжу на нее. Она, видишь, с ментом спуталась... Да не с ментом — майор с Петровки. А мне того и надо, корешу помочь, на то и майор с Петровки, а она вон как сыграла — меня подставила. На ее хате взяли.
- Похоже, — говорю.
- Что похоже?
- Все похоже, — говорю, — и всё похоже.
- А я о чем? Я их перевидал, это на зоне караул — и на такую мразь полезешь, а н был и на поселении. Работенка — дневальный в душевой. И жил в душевой —

мална! Смена идет после работы — по три часа ждут, а бабы норовят проскочить, когда никого. Наломаются за день, в грязи по уши — на картошке, в свинарнике, замерзнут... Да она за этот душ!.. «Цену знаешь?» — спрашиваю. Все знают!

— Очень похоже, — говорю.

— Да что похоже — ты про чего?

— Про майора, про кореша, про бабу. И все прочее. Тоска, Артур, я бы тоже убежал, но и быстро не могу. Догонят.

— Тут не ноги нужны, головы. И хотеть надо.

Боря привел поздно, мы уже отужинили. Он ничего не сказал, ни на кого не поглядел, разделся и полез в матрасовку.

— Есть не будешь? — спросил я.

— Что-то у них меняется, — сказал он мне вполголоса, — темнят, не пойму чего хотят.

— Ты о чем, Боря?

Я сидел на своей шконке, он лежал. Опухшее, и без того пожелтевшее лицо казалось черным.

— Он от меня того хочет, чего я ему... Если она и теперь не... — он замолчал.

— Ты у кого был, Боря?

— Пашка приезжал, кореш из управления. Никак с Генкой не разберутся. С Бутырки — на Петровку, с Петровки обратно. Еще чего-то на него повесили. Надоело. Хотя бы конец.

— Ты говорил, все лето вместе?

— Мне говорили и я говорил. У них, видишь как — сегодня одно, а завтра...

— Да у кого — у них?

— Давай, Серый, письмо, пока не поздно. Через день пойду к Ольге, передам, а что дальше, не ручаюсь. Сам видишь, хата неживая, так не оставят...

— Деловые! — крикнул Артур. — Кончай заседание! У нас тюрьма или вокал? Поезда ждете? Все поезда ушли, больше не будет... Слышь, Боря, бунт на корабле!

Боря не ответил... Таких глаз у него я не видел — тусклые, пустые... Дв он болен! — подумал я.

— Есть предложение, урки, — не унимался Артур, — кончить недоделанного, хватит ему коптить небо. Мы тоже люди, можно сквзть, граждане, хотя и лишние, должны, по силе возможности, участвовать в общественной жизни... Обществу польза, тюрьме лишняя пайка, а нас рвскидают. Все развлечение, не ждать поезда.

И опять ему никто не ответил.

— Одному, что ли, идти на дело? — вопрошает Артур, лежит, уперся ногами в верхнюю шконку, как сжатая пружина.

— Значит, одному, ладно. Но и аы, суслики, не отмажетесь. Готовься, недоделанный! Приговор известен, сроки обжалования давно прошли, помиловки не будет... Молчишь? Бывает, редко кто поет песни. Молись, если умеешь... У нас, урки, демократия, сталью на обсуждение, как его кончать. У кого какие предложения?..

Я поглядел на Боря: глаза закрыты, лоб в испарине.

— Нет предложений. Так и запишем. До демократии не доплыли. Научим. Прошу обсудить мои предложения... Или повесить недоделанного. На его матрасовке. Самое гуманное, быстро и без хлопот. Или сперва раздавить, что ему лишнее и больше не понадобится, а потом повесить. Взаимности от поведения. Если покается — повесим, не покается — сперва раздавим. За тобой слово, недоделанный! Или общество чего хочет добавить?

— Смени пластинку, Артур, — не выдержал я.

— Слышь, Боря, я говорил, бунт на корабле, интеллигенция путает карты. Когда их просят, они молчат, не хотят быть вместе с народом, а когда народ и без них обойдется, тут они вылезают — и нам дайте! Чего тебе дать, писатель, давить или аешать?

— Я тебя предупреждал, Артур, ты один, не выйдет.

— А Боря? Неужто с желторотыми? Откажется от борьбы за законность, за справедливость, пойдет с интеллигенцией, с недоделанным? Тебе слово, Боря!

И опять Боря не ответил. И глаз не открыл.

— Что бывает на корабле, когда капитан выходит из строя?.. Беру на себя! Командую флотом! Недоделанный! Снимаю штаны, предъяви, что будем давить!..

Гриша вылез к дубку. Бледный, налитые кровью глаза, на толстых губах пузырится пена.

— Дождались! — Артур спустил ноги и приподнялся. — Понял неотвратимость наказания?

Гриша метнулся к двери, схватил «восьмерку» — бачок для стирки, и завязал:

— Убью, убью, убью!..

— Андрюха!.. — крикнул я и бросился к Грише.

Оторвать его от бачка мы не смогли, вцепился вмертвую. Так с бачком и уложили. Андрюха сел ему на ноги.

Артур сидел на шконке и смеялся.

— Общество включилось. Раскачались. Сейчас совместно приступим к казни. Начиная, писатель!..

— Уходи, Артур, — сказал я, — тебе тут не жить.

— Это как понять? — Артур явно развлекался.

— Нас четверо, а ты один.

— Даю тебе по арифметике, писатель. Одно дело писать, другое — считать... Недоделанный — покойник. Андрюха на крючке, он в чужие дела не лезет. А капитан отсутствует по уважительной причине, кум его обидел. Обманул. Да и где он, наш капитан?.. Ка-п-и-тан, улыбнитесь!.. А с тобой мы поговорим. Или ты четверых против меня стоишь?

— Хватит выступать, Артур, — сказал Менакер, — надоело.

— О! Це дюже гарно — жида заговорили. Пора и нам переходить от слова к...

Я и головы не успел поднять, Менакер перемахнул дубок, рванул Артура за руку, крутанул и бросил на пол. Руку он не отпускал.

— Пустн, падло! — заревел Артур.

— Еще хочешь? — спросил Менакер.

— Пустн руку!!! — орал Артур.

Менакер отпустил его, подошел к умывальнику, тщательно вымыл руки и подчеркнуто долго вытирался полотенцем. Опаашие, как мне показалось при встрече, мыщцы на руках ходили под кожей буграми.

Артур молча собирал сумку.

Распахнулась дверь: корпусной, два вертухая.

— Что происходит?

— Забирай, начальник, — сказал Артур, он уже завязал сумку. — Задаваю, хуже будет.

— Почему бачок не на месте?

— Стирка, — сказал Менакер, — белье собираю.

— А этот что лежит? — корпусной кивнул на Боря.

— Больной, — сказал я, — пришел с вызова, плохо ему.

Корпусной подошел к Боре, сбросил одеяло.

— Что такое?

Боря открыл глаза. Может, он, правда, ничего не слышал?

— Заснул... — сказал Боря, лицо черное, неживое.

— Что тут было? — корпусной обвел нас глазами.

Никто ему не ответил.

— Кучеряво живете. В такой камере — пятеро! Завтра все пойдете на обшак, там освежат.

— Меня хоть в карцер, — сказал Артур. — Забери отсюда, начальник, хуже будет, за себя не ручаюсь!

— Значит, ничего не было, все довольны, а этот просится в карцер? — опять спросил корпусной.

Артур шагнул к двери. Так и шлепает босиком.

— Где ботники? — спросил корпусной.

Я снял тапочки и бросил к двери.

Артур повернулся ко мне, подумал и сунул в них ноги.

— Не отмажешься, писатель, — сказал он, — встретимся. Расплачусь. Получишь сдачу. За тапочки.

Утром за нами не пришли. Не пришли и вечером. А когда так же спокойно кончился еще один день, мы решили: обошлось. Два дня в тюрьме очень много.

Без Артура в камере стало совсем хорошо. Беспокойство исходило от человека, «скучно» ему было, а чего-чего человек не сочинит, когда скучно.

Четверо в камере на шестнадцать человек, конечно, «кучеряво». Мы это понимали, но, может, не раскидают, пугал, добавят человек пять, пусть десять, не страшно, если держаться вместе, кого хочешь перемелем. Хорошо нам было, а мне первый раз так спокойно. Да и знали мы друг друга очень близко, все равно что родня.

Боря к утру отошел, признался, что болело сердце: «Поплыл, мозги набекрень, устал, сплю мало...» Про Артура он ничего не спрашивал, я так и не понял, слышал он что-то или, правда, был в беспамятстве.

Гриша первый день совсем не вставал со шконки, мы его не трогали, а еще через день и он отмок. Успокоился.

И Андрюха повеселел. То, что я сказал про Костю, явно выбило его из колеи, и ему было важно, что в истории с Артуром он не сплхоал.

На второй день Грише принесли передачу, а в ужин Андрюха закосил две миски гороха. «Нажарим сала с горохом...» — сказал Боря.

Мы и гуляли в этот день всей камерой, и Борю вытащили — да его б одного не оставили, не положено. Припекало солнце, на небе ни облачка, возле трубы на крыше поднялась березка, дрожали зеленые листья... Летом и в тюрьме веселей: нет промерзших стен, не замечаешь ржавой сетки над головой — как не радоваться, если небо улыбается?..

— Ты чего а сапогах? — спросил Боря.

— Привыкаю. Три года ходить.

— Уйдешь, Серый, не будет тебе срока.

— Почему так думаешь?

— Носом чую.

— Вот и на общаке чуяли, пока амнистию не разнюхали.

— То и оно, что был ты на общаке, а теперь где?

— Бермудский треугольник, сегодня здесь, а завтра...

— Какой еще треугольник?.. Пиши письмо, не тяни, надо твоих успокоить. Валька общала, сестра ждет... Пиши что хочешь, а подпись — «Боря». Она поймет.

— Она, может, и поймет, а зачем, если через Ольгу?

— Не верю я ей до конца. Для меня сделает, а если еще о тебе... А так отдаст Вальке и вся печаль.

— Ты говорил, она и для меня постарается?

— Ничего я не говорил, делай, что сказано, мало ли...

Письмо я и сам хотел написать — предупредить. Что, если у них там дружба? Могли клонуть, шутка сказать — связь с тюрьмой! Обрадовались, размякли, не подставить бы Митю! Варианта было три: или Боря не врет и передаст письмо с Ольгой, или он, на самом деле, осужденный, переписка ему разрешена, а Ольгу придумал, чтоб не объяснять, как пойдет письмо. Или вариант третий — все это задумано кумом: проникнуть к сестре, подставить Митю или прозвать, что я хочу передать на волю... Надо написать так, чтоб не только кум, но и Боря не понял, только Митя и сестренка.

Вечером мы «жарили» клопов. Боря придумал. Если жарить сало, вертухай унюхает, они теперь к нам особо анимательны, приедет корпусного — раскидают! А под «дезинфекцию» пройдет и сало.

На общаке с клопами бороться бесполезно, ничем не выковыряешь из «шубы». «Да их тут миллионы!..» — сказал один узбек, только привали, с ужасом глядя на шевелящиеся стены. На спине прощ, «шубы» нет, клопы гнездятся в железе шконок, в раковинах, трещинах, и после такого тотального прожигания дней десять можно спать спокойно, а через десять дней, когда подушка к утру становится красной — начинать сначала.

Мы посбрасывали матрасы на пол, скрутили жгуты из газет, зажгли «факелы» — и началась охота. Через полчаса в камере дым стоял столбом, ничего не было видно, мы ползали под шконками, находили новые и новые гнездовья, клопы погибали с жарким треском, мы настигали их полчища на стенах, на полу...

— Одновременно, сразу! — командовал Боря. — Со всех сторон, чтоб не переползали... Навались!

Вертухай только раз открыл кормушку:

— Что за пожар?

— Клопы зажрали, от вас не дожدهшься...

Кормушка захлопнулась.

— Давай, Андрюха, разводи печку, — сказал Боря.

Менакер располосовал свою матрасовку, пошел черный дым, я сидел на полу возле окна...

Еще через полчаса миски с кипящим салом, со шкварками стояли на столе, дым постепенно вытягивало в открытые окна, можно было перекурить.

Общее дело всегда сближает. А если оно для себя, самими придумано и польза несомненна... А тут и ужин нас дождался — свой, собственный!

Гриша выдвигал каждому по красному помидору, вывалил печенью, разрезал даа яблока. Он угощал и был счастлив.

— Еще бы выпить, — сказал Менакер.

Сало вылили в холодный густой горох, ели из одной миски.

— Меня учил один хмырь... — Начал Боря. — ...Чего смотришь, писатель, хлебай!

— Стесняется, отвык, — сказал Гриша.

— В большой семье еблом не шелкают, — хмыкнул Менакер.

— В Крестах было, — продолжал Боря, — подогнали передачу, а мы вдвоем.

Нажарили сала, сели. Он наливает чай из фаныча в кружку, пошептал, поплевал, покрестил... А теперь, говорит, закрой глаза, сосредоточься и вспомни, когда последний раз выпивал. В точности вспомни: где, с кем, что на столе и — чтоб акус во рту загорелся... Опрокинул — и окосел!

— Может, попробуем? — предложил Менакер.

— Не выйдет, — Боря отбросил ложку и вытащил сигарету. — У меня и тогда не получилось, хотя поддакивал — берет, мол... А может, и он врал, для понту. А может, такой... восприимчивый? А бабу, спрашиваю его, нельзя... вспомнить? Плевое дело, говорит, но смысла нет — штаны мокрые, а руки пустые. А если, мол, очень хочешь, попробуем...

— Похоже, — сказал Менакер и мне моргнул.

— Что похоже? — покосился на него Боря.

— Артур тут у нас выступал на эту тему.

— А куда он делся? — спросил Боря. — Не видать его?

— За бабами послали, — сказал Менакер.

— Вытащили его, что ли?

— А ты не слышал? — спросил я.

— Так вот, он тогда и начал рассказывать... — Боря мне не ответил. — Тот мужик до Крестов сидел в другой тюрьме, не то под Псковом, не то под Выборгом. Тюрьма, говорит, маленькая, по-семейному, полный беспредел, только что камеры закрыты, а так жила как хочешь. Бабы в том же коридоре через стену. Перестукивались, коней гоняли, а пришел один, вроде Артура, заядлый, ему мало, давай стену ковырять...

— Быть того не может, брехал тебе «восприимчивый», — сказал Менакер.

— Было, было, я и от других знаю...

Гонит и гонит Боря свою байку, слышал и я похожее, а может, и на самом деле было, чего только не бывает в таком гиблом месте. Но ведь не просто так рассказывает.

Как же мне написать это письмо, думаю, чтоб никто ничего не понял — ни Боря, ни кум, никто, кроме...

А в «семейной» тюрьме уже известку и мусор выбрали, спустили в сортир, кирпичи вынимают, полезли один за другим, а потом бабы — одна за другой...

«Бойтесь данайцев, — пишу я, — помнишь, Митя, мы с тобой так клопов величали? Вредные таари, запозаут, угнездятся, не выкуришь. Данайцы, дары приносящие, а от тех даров ребенку зараза, не заболел бы малыш, да и взрослым аредно...» Ничего не могу придумать умнее. Поймет ли Митя?

— Тут и началось а том бардаке большое чуаство, хотите аерьте, хотите нет, — травит Боря. — Девачонка, восемнадцать лет, целочка, никого к себе не подпускает, они ее и твк и адак, и шлввы ее уговаривают, а она ни а какую, выскальзывает. Никому. Нет, так нет, без нее хвастает, потом, мол, пожалеет. Но глаза-то у нее есть, у дуры, нагляделась, не один день, не одна ночь. А она молодая, кровь играет... Всем дали сапоги, а мне не дали сапоги — дайте мне сапоги! Короче, сама себе выбрала. Самого заядлого, кто кашу заварил. Квк отбой, они нв шкоиках у себя навалют одеяла, куртки, вроде спят, а сами лезут, те или эти. А к утру по хатам. Хорошо жили, и воли не надо. Она дождалась, как все под утро распозлились, — и в дыру, к нм на шконку. Разбудила. Я, мол, к тебе. Дрожит, первый раз. А зачем ко мне, спрашивает, почему раньше не хотела? А я, мол, тебя полюбила, без любви не могу, а теперь нв всю жизнь, и на зоне найду, и после зоны будем вместе... И еще много чего, и стихи ему шепчет. На всю жизнь, надо чтоб крепко, говорит ей, а то забудешь, стихи — хреновина. К тому же у нас семья, все общее, как в коммунизме, — так что не обижайся, учись свободу любить... И они ее всей хатой, до поверки, тут не до того, чтоб об вертухаих вспоминать, такая началась любовь, летали... Накрыли их, конечно... Ты чего, Серый, — записываешь?

— Зачем ты, Боря, всякую мерзость придумываешь?

— Я рассказываю, как дело было, как он мне...

— Скучно ему, — говорит Менакер. — Артур от скуки, и Боря от того же самого. От того они и «вспоминают».

— Чижики вы желторотые, — говорит Боря, — об чем еще травить в тюрьме?.. Я давно за тобой замечаю, Серый, ты со мной не хочешь об чем у тебя душа болит. Монаха косишь? Не получается из тебя монаха, больно ты... закрученный. А почему молчишь? Не иначе у тебя краля-недотрога... Они все одинаковые, Серый, можешь мне поверить, всего и надо три приема, первый не прошел, второй, третий применишь — не ошибешься, асе будет в ажуре. Вы оба чокнутые с Менакером, тот про жену страдает, поговори с ним, все об одном — не дождется его! А как думаешь, Менакер, неужто она тебя ждать будет? Восемь лет? Еще теца аудит... Что они у вас, деревянные, ваши бабы? Кабы деревянные, вы бы сами к ним не полезли! А твоя, Серый, Ниночка из Пензы... Или и дальше лапшу будешь вешать?

— Не болтай, Боря, — говорю.

— Эх, Серый, себе портишь и... мне не поможешь. Из вас губошлеп самый нормальный, даром что шиза с рождения! Кабы у него крыша не текла и не полз куда не положено... Кончат губошлепа, задавят, надолго ему...

— Неладно с тобой, Боря, — говорю, — если все, что мелешь, сложить... Не пойму, что ты несешь, смысл-то иакый?

— Так ему дружок в Крестах об том и толковал, — влез Менакер, — штаны мокрые, а руки...

— Да разве и вам об том толкую!..

Какое у него странное лицо стало, думаю, черное, глаза в красных прожилках, трисет его...

— ...Вы и понять меня не можете! Где вам... Уходить вам отсюда надо, вот я об чем! Если себя не жалко, сам себе срок мотаешь, чистеньким хочешь остаться... Перед кем ты красуешься, Серый, кто об том узнает? Ты бы... Да вы оба с Менакером! Вы бы о своих бабах подумали — как им на воле, сладко? Долго они без вас прокантуются? Особенно, если чего стоят, — подберут, не заржавеет! Не один, так другой, а если вместе, хором?..

Вон ты о чем, думаю, вон какие пошли заходы!..

— ...Если она молодая, из себя ничего, прикинутая, если в ней кровь играет, а заступиться никому...

— Какие у тебя предложения, — спрашиваю, — о чем ты, Борн, ежели без лишних слов?

— Думать надо, соображать, извилины у тебя, а не пшенка. Не петухом индейским кукарекать, видал я таких петухов — и на гражданке, и на зоне. Долго ли они кукарекают? Уходить отсюда — понятно? А для того ничего не жалко, а если ты о ком жалеешь, тем боле. Не о себе думать! Религия твою чему тебя учит?..

— Какие мы все скоты, — неожиданно сказал Менакер, — несчастные скоты, последние. А ты, Борн, всех несчастней...

— Я-то? Ты про меня?

— Спекся ты, Борн, — продолжал Менакер, — я полгода наблюдаю, вышел из тебя пар. А какой орел был.

— Не каркай, — сказал Борн, — еще не вечер.

— Ночь однако, спать поре, — сказал Менакер. — Сегодня твой день, Григорий, ты хозяин, тебе и убирать.

— Ты это сделай, сделай... — шепчет Борн.

Мы лежали на шконке, тихо в камере, вроде, спят ребята.

— Да что делать-то, Борн, не пойму?

— Написал письмо?

— Написал.

— Давай сюда, завтра дернут к врачу, передв... — он дважды сложил письмо и сунул в карман. — Тебя завтра на допрос потянут, увядишь. Не завтра, так через день. Начинать говорить, не молчи, хватит, доказал, чего хотел...

— Что я должен говорить?

— Чего хочешь — не молчи! Уйдешь, я знаю. Ты книги писал? Написал? Что ты с них имеешь, с тех книг — ни денег, ничего! Не хочешь, не отказывайся. Что делал, то, мол, я делал, в больше не буду. Ты и не хотел больше писать, сам говорил? Так? Заявлял. Понял?

— Пожалуй, Менакер прав, плохо тебе, Борн, ты не такой был, а сейчас...

— Вот что, Серый, я тебя попрошу об чем... Последний раз, запомни. Я тебя так никогда не просил.

— Что, Борн?

— Напиши ей письмо... Ольге?

— Какое письмо?

— Последнее. Те твои письма, учти, она наизусть знает, все помнит — повторяла... Последний раз напиши: помру, мол, чувствую, не могу больше. Или голову расшибу, или... Не знаю, задавлю кума. Блядь буду — задавлю! Не жить нам вместе на свете... Вызовет еще раз — не сдержусь! Я не болтаю. Я больше не могу! Ты меня понимаешь, Вадим, слышишь?..

— Хорошо, — сказал я, — напишу, а дальше что?

— Она сделает, сумеет, если захочет, она все...

Утром меня разбудил дождь. Брызги летели сквозь решку, гремело по железу. Каким ужасом и... мерзостью кончилось недолгое счастье моего возвращения в камеру... Мне и подниматься не хотелось, хотя бы и день не начинался. Наверно, так и должно быть: тюрьма — не дом родной.

Мы похлебали «могилу», напились чаю. Борн не вставал, видно, заснул под утро. Менакер был мрачен, разговора не поддерживал. Зато Гриша ожил, подкладывал куски из своей передачи — смешной, трогательный... губошлеп. Вот кто несчастный человек!

Брякнула кормушка.

— Бедарев, с вещами!

Мы оторопело поглядели друг на друга. Почему-то казалось, такого никогда не случится.

Я тронул Борю за плечо.

— Тебя с вещами.

— Чего?.. С какими вещами? К Лидке, что ли?

Он вылез из матрасовки, закурил. Посидел, подумал, долго плескался у умывальника...

Дверь открыли.

— Готов?

— Готов, готов, — сказал Борн, — пошли.

— С вещами, сказано, — вертухай стоял в дверях.

— Спутал, служивый, — сказал Борн, — с вещами не пойду.

— Как не пойдешь?

— А так. Молча.

Вертухай грохнул дверью.

— Может, в больничку, Борн, — сказал я, — на тебя поглядеть, сразу положат.

— Больничка! Он меня близко не подпустит. Забыл?..

Опять открылась дверь, вошел лейтенант, подкумок.

— В чем дело, Бедарев?

— Никуда я не уйду из хаты.

— В своем уме? Собирайся!

— Он болен, — сказал я, — не видите?

— А вы тут при чем?.. Смотри, Бедарев, хуже будет.

— Хуже не будет. Некуда, — сказал Борн. — Допекли.

— Попомнишь, — сказал лейтенант. — Пошли без вещей.

— То другое дело...

Борн положил в карман пачку сигарет, спички, посмотрел на меня, похлопал по карману, в который вчера положил мое письмо, махнул рукой и пошел к двери...

Все молчали.

— Как понять? — спросил я Менакера.

— Раскидают хату, сначала его, потом за нами. Борн свое отыграл, здесь не нужен, а из нас суп не сварят.

— А я радовался, домой вернулся...

— Распустил губы, — сказал Менакер, — звбыл, где находишься? Мало тебе позавчерашнего, с Артуром?

— Хорошо было вместе. Жалко.

— Я на него глядеть не могу. Накушался.

— Может, вернется, — сказал Гриша, — не первый раз уведят, ему все сходило, всегда было, как он хотел...

— Нет, — сказал Менакер, — он им надоед. Сыграл в ящик.

— Но за вещами-то придет!.. Увидимся, — сказал я.

Я сел за письмо. Что-то отчаянное было в последней Бориной просьбе, не мог я ему отказать! Или он купил меня тем, что она помнила мои письма наизусть? Как страшно он меня просил!..

«Радость моя! — писал я. — Пишу тебе последний раз, нет у меня больше сил — понимаешь? Нет! Если мы не можем быть вместе, вдвоем — только вдвоем! — я не могу жить. И не хочу жить. С самого начала, в ту нашу первую ночь, когда я тебя увидел, когда я нашел тебя, а ты меня, когда я поверил тебе... Я не могу не думать о тебе, я живу только тобой, тем, что помню, а я помню все, каждую встречу, каждое слово, твои губы, твои руки... А потому *делить* тебя не могу. Понимаешь? Не могу, не хочу и не буду. И ждать больше не стану. Прости меня и не забывай обо мне... Тебе последнее дыхание и мысль последнюю мою...»

Я писал, не думая, слышал отчаянный Борин шепот и... Что это со мной было? Что говорило во мне, кем я был?.. Не иначе, тем самым... мужиком в Крестах.

Через час дверь распахнулась. Вертухай.

— Где тут вещи Бедарева? Соберите.

— А сам он где? — спросил я.

— Матрас в матрасовку. Подушку, оденло. Все.

Он прикрыл дверь.

Ребята собрали Борин мешок. Завязали. Какое-то предчувствие сжало мне сердце. Я сунул в жестянку из-под табака написанное письмо. На отдельном листе написал:

«Господи, молю Тебя о всех, которых я, грешный, опечалил, обидел или соблазнил словом, делом, помышлением, ведением и неведением. Господи Боже! отпусти нам наши взаимные оскорбления, извращения, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение, гнев, памятозлобие, ссоры и все то, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие... Храни тебя Господи, Борн!» И запихнул жестянку в мешок.

Дверь снова открылась.

— Кто-нибудь тащите мешок, — сказал вертухай.
Гриша с мешком и матрасом вышел за дверь...
— Чудно. Веряю, Аядрюха? — спросил я.
— С ним всю дорогу чудно, — сказал Менакер.
Гриша вернулся через полчаса.
— Чудно! — сказал он, будто слышал нас. — Спустили вниз, но не в сторону сборки, а на осужденку. Я поставил мешки возле камеры, вертухай засунул меня в шкаф. И двух минут яе прошло, открыл, а мешков нет! Выходит, его на осужденку?..

4

Менакер оказался прав: еще через дея всех нас вытащили из камеры. Кояечно, глупо было думать, что забудут, такая скученность в тюрьме, а мы втроем, как баре, добавлять нам кого-то — зная бы оставить хозяевам положения, так камеры не строят, в том и кузовской замысел, чтоб ничего случайного, не им задуманного. Но не хотелось, ох, как не хотелось уходить из дома, из — два шесть ноль! Да и куда уходить? В том и дело, что катил нам только обшак, спец — награда, а нам за что, только наказание, но куда денешься, обещал корпусной. Потому, пока мы тащились с пятого этажа вниз, с вещами, матрасами, подушками, одеялами, со всем своим скарбом, а барахла в тюрьме с каждым месяцем становится больше, отдавай-не отдавай, а с новой передачей прибавляется, да и жалко отдавать, все сгодится, научился ценить всякую тряпницу, коробочку, грифелек, это таким надо быть битым-стреляным, чтоб понимать — все лишнее в тягость, на этапе задавят, на зоне все равно отберут, но не просто решиться, только получил, пахнет домом, будто виднелся, как складывала, разглаживали, подбирали, сколько в каждой такой ненужной тебе тряпке тепла-заботы... Да и как ненужной — все в дело, поди достань в тюрьме!..

Ползем вниз. Июль коячается. жарится, нацепили, что влезло, чтобы легче тащить, — свитера, телогрейки, пот заливает глаза, и не глядел бы на милую сердцу спецовскую лестницу — больше ее не видать, как все глупо сложилось, что поделаешь, а о том, что ждет, и думать неохота, только обшак, больше ничего не светит — толпа, духота, смрад, и так день за днем, другого теперь не жди.

Вот и сборка, отстойник. Грязь, темновато, вертухай закрыл дверь — и опять мы втроем.

Может, только я дергаюсь? Ребята спокойны: Менакер бросил в угол мешки, устроился на лавке, курит; Гриша увязывает рюкзак, упаковывает, как в дальнюю дорогу...

— Гляди, как повезло, Вадим! — улыбается Гриша. — Как знал, торопился с мешком — во какой!..

В последнюю передачу ему подогнали рюкзак — все ремни срезаны, ни завязок, ни пуговиц, ничего не положено! Неделю возился, распорол, перекроил, сшил из старой матрасовки ляжки, я глядел и завидовал — мне бы такой! Но сейчас-то откуда у него силы радоваться, ему хуже всех, что с ним дальше — без нашей камеры, без Бори — плох ли, хорош, знал Гриша, он всегда защитит. Что же его все-таки держит, думаю, сила или глупость, а может, болезнь?..

— Жалко, Серый, мы с тобой мало, — говорит Менакер, — сколько потратил времени на эту... И называть не хочу. Ты со мной не как раньше... Косте поверил?

— Поверил, ты и не отрицал.

— Как яе отрицал, я тебе объяснил?.. Ладно, разве в том дело, кому из нас ты поверил? Я не держу на него зла, оя хороший малый... А как дальше жить?

— В каком смысле?

— Ты теперь битый зэк, — сказал Менакер, — нагляделся за пять месяцев. Как пришел, с тобой говорить было бесполезно, ничего не сек. Но тюрьма никого не учит, только калечит. Ты говорил с ними — у нас, на обшак, хоть кто собирается жить по-другому? У всех оядо: попался, дал маху, не туда пошел, яе с тем, не так закуриковал, баба заложила, кент сдал, впредь буду умней, спасибо — научили, второй раз не залечу, теперь знаю, что почем... И дальше: как обмануть, не подлететь, словчить, украсть, чтоб шито-крыто — наука! А у меня разве так?.. Я всю жизнь знал — только на себя надейся, яа свои руки, на свою голову... Но разве здесь голова нужна, руки? Я только раз попробовал — идут живые деньги, почему не взять, а мне они позарез... Да не деньги, мне бы свой дом, квартиру, пусть комнату, одну, яа свою... Крыша мне яужна! Чтоб я — хозяин, с семьей, сын у меня — понимаешь?

— Ну и что? — спрашиваю.

— Я тебе говорил, — Менакер бросил в угол сигарету, — я не хотел, яе мог ждать, чтоб это все к старости, когда жена станет злобной клячей, как теща, когда ее изъест проклятый советский быт, за каждой тряпкой, за табуреткой — драться! Я хотел сейчас, сразу, не дожидаться ихней милости. Хотел жить, как положено человеку, не быдлу, а здесь — нельзя, понимаешь — не получится! Ты говорил — возмездие, Беда-

рев запомнил, болтал-болтал, а для него пустые слова, разве его яаучишь, всех сожрет ради собственного брюха. А мне яе надо чужого, я хотел жить как человек, а тут, пойми, — яе невозможно!

— Что — яе невозможно?

— Жить по-человечески невозможно. Только красть. А я не хочу красть. Короче, пусть дадут восьмерик, отмотаю, не боюсь я ни зоны, яа Костя, ни кума. Отработаю, выйду и...

Он замолчал и поглядел яа Гришу.

— Ты чего?.. — спросил Гриша. — Поверил, могу заложить?

Менакер махнул рукой и поверялся ко мне.

— Они меня достали еврейством, я и не думал никогда. В паспорте я русский. Но может, верно, еврей?

— Зачем тебе?

— Правильно, — Гриша растянул в ухмылке толстые губы, — я бы на твоём месте давно сообразил.

— И этот понял, даром что щенок. Уеду я отсюда, Вадим, больше не хочу. За восемь лет воды много утечет. Но если жена уйдет — пусть уходит, если сына яе отдаст — что и могу поделат? А если останется, выдержит — я их увезу. Ты пойми, Вадим, ты сам говорил, хотя о другом, а я запомнил — разницы нету, здесь все сразу видяю, а я воле не поймешь, сколько лет надо, чтоб разобраться! Советская власть в тюрьме — самая рассветская, это на воле не понять, обмажут патокой, мы ее всю жизнь лижем — сладко! До смерти не разберем. А здесь кроют, не стесняются, на патоке экономят — оно и видно! Из говна соорудили эту власть, лизай — яе захочешь... Здесь нельзя жить, Серый.

— Где — нельзя?

— В нашем гребаном отечестве. Ни русскому — нельзя, ни еврею — яе невозможно, ни татарину — сожрут. Но русскому и татарину куда деваться — живи, хлебай говяца с патокой, радуйся, что живой, а еврею — мотай, еще подвисят. Не так, что ли? У меня сил хватит, а там я сам себе хозяин. Там руки нужны, а здесь их ломают, там голова нужна, а здесь мозги повышибают, тухлой набыют — и все довольны... Ты знаешь, о чем я подумал, когда Артур начал бухтеть, а потом Боря завел свою волюнку — понял, зачем оя ее завел?

— Вроде, понял, — говорю.

— Ему нас надо было раскрутить, а у него не получалось. Он и решил: на бабе ояи точно поплывут, у него мозги только на это настроены, а кум давит, ему от Бори давно никакого прока, место занимает, кантовался всю зиму, а место дорогое, надо платить, а ему печем. Но ведь, с другой стороны, верно?

— Не пойму, Аядрюха, ты о чем?

— С человеком можно сто лет рядом, с женой в койке — всю жизнь, а ничего про нее не узнаешь, особенно когда любовь. Деньги, тряпки, ояа на тебя глядит, ты на яе не надышишься — что тут поймешь, кто кого обманывает — и того не понять? А за восемь лет зоны цена определится, тут без дуры, высокая проба. Жестковато, кояечно, — и для них, и для нас, но не мы выбирали, за нас решили... Потому, если она выдержит, если я выдержу, если силы будут-останутся, если...

Брякнула кормушка. Молчит.

— Чего надо? — спрашивает Менакер.

— Обедать будете, жмурки?

— Давай, давай!.. — Гриша кинулся к кормушке.

— Сколько вас?

— Давай больше, утром не пожрали. Чего у тебя?..

Гриша таскает шлеяки с горячими шами.

— Мужики, последний обед, сейчас сала яарежу...

И вот мы хлебам последний наш обед, а я все не могу понять, почему ояи так спокойны, а меня колотит? И щи, вроде, погуще, чем у нас, на второе горох, такая редкость, две лишние шленки, ребята едят, облизывают ложки, а я не могу, сохнет во рту, не проглотишь. Мало меня учили, слаба моя вера, никуда не годен. Не все ли равно — спец, обшак, что нам еще придумали? Отстойник или дача на взморье, разве дело в интерьере? Или я все еще жду поезда?.. Верно он сказал, давяо ушли наши поезда.

— Ешьте, мужики, — угощает Гриша, — мамкино сало. Купит на рынке, чесночком нашпирует... Чуешь, Аядрюха?

— Нормальяо, — говорит Менакер, — запомяю твое сало... Я вот о чем, Вадим, ты и сам о том говорил, помнишь, как пришел, через месяц было?.. За все воздастся, не в этой жизни, так в другой... Помнишь?

— Ну.

— А будет, ты точно знаешь — она будет?..

Открывается дверь. Вертухай.

— Менакер!.. Есть такой? ..

- Есть, — говорит Меинакер.
 - С аещами.
 - Дай похаваю, — говорит Меинакер.
 - Давай. Только быстро.
- Меинакер берет кусок сала, хлеб и... кладет обратно.
- Вот так, Вадим, не договорили...

И вот мы тащимся дальше, на сей раз нас двое. «Я знал, будем вместе... — засмеялся Гриша, когда нас вывели. — Что-то я соображаю!» А что он мог сообразить, болтает, как вычислить кумовские ходы — высшая математика!.. Нет, общак едва ли, не станут они рисковать, дорого обойдется... И я с ужасом представляю себе Гришу в каждой из двух камер на общаке, в которых побывал... Но коли нас не разделили, мы вместе, выходит, и меня не на общак...

Пошли новые переходы, туннели — в этих я еще не был.

- На малолетку, знаю эту дорогу... — шепчет Гриша.
- Ты чего, какая малолетка?!

Ничего нет в тюрьме страшной, наслушался рассказов про малолетку!.. Но мы при чем?

— Там спец, на малолетке, — шепчет Гриша, — две или три камеры спецосские, у нас был мужик оттуда, рассказывал, они и гуляют виизу, где больничка...

Туннель выводит на площадку, пахнет свежей краской.

— Давай наверх, — говорит аертухай.

Лестница чистая, стены только покрашены, блестят.

— Куда ведешь, комаидир?

Не отвечает.

Прошли второй этаж — дверь распахнута, ремонт. Третий этаж, четвертый... Нежилые?

— Новый корпус, командир? — спрашивает Гриша.

— А вам интересно? — вертухай остановился на площадке. — Или думаешь — на волю?

— Далеко идти? — спрашиваю. — Тяжело с мешками.

— Шагай. Или тебе лифт подать?

Миновали пятый этаж — на крышу, что ли? Ползем дальше. Жара, солнце ломится сквозь решетку на площадках...

— Точно новый корпус, — говорит Гриша, — я видел, когда вносили в больничку через двор, видно стройку.

— Прекратить разговоры!

Мы уже на шестом. Чисто, пусто, вроде, и тут никого... С меня течет, очки запотели, ноги дрожат.

— Заходи...

Маленькая камера, две двухэтажные шконки... Нет, еще одна, у двери — на шесть человек. Пусто. Кафельный пол залит свежей краской, сортир за кафельным барьерчиком... Мы — вдвоем!

— Ну, Вадим, такого не бывает!

— Погоди, — говорю, — какой-то подвох...

На дубке две новые шленки, две кружки, две ложки. Ведро под крышкой — теплый желтоватый чай...

— Да нас ждали! — хохочет Гриша. — Люкс!

Открывается кормушка.

— Одежда возьми.

— У нас есть, — говорю.

— Молчи! — шипит Гриша. — Давай, давай — берем!

— Распишитесь за вторые одеяла, — говорит кормушка.

Одеяла новые, только со склада, пушистые.

— Да это санаторий! — кричит Гриша. — Ну дела...

Распаковываем мешки, Гриша обследует камеру. Открывает окно... За решеткой только что наваренные густые «реснички». Ничего не видно. Гриша забирается на подоконник.

— Серый! — кричит он. — Улица!

Пролезаю к нему: между решеткой и «ресничками», сбоку, узкий зазор, андекус кусок улицы, прошел трамвай...

— Если вытащить кирпич, — говорит Гриша, — представляешь, какой будет обзор?

— А это что? — спрашиваю.

По решетке змеится заизолированная проволока.

— Может, слушают — не зря строили, продумано?

— Тебе всегда что-то кажется, радоваться не умеешь... Погоди! Понял!

— Что поил?

— Читал последние газеты?

— Какие еще газеты?

— Фестиваль через неделю, так?

— Зачем он нам?

— Иностранцев пол-Москвы, а Боря говорил — о тебе по радио пятый месяц базар. По ихнему радио. Иностранцы обязательно в тюрьму, куда им еще? А им тебя — гляди-те! В новом корпусе, в новой камере, под новым одеялом! Понял? Для тебя все!

— Не болтай, Гриша.

Открывается кормушка.

— Давай шленки.

Лапша.

— Дай еще две, — просит Гриша.

— Подставный, ие жалко, — шлепнул по аторому половнику.

— Мы тут одни, что ли? — спрашивает Гриша.

— Не, еще есть...

Сидим через стол. Гриша достает масло, сало, коифеты.

— Улыбка Будды... — говорю.

— Чего? — распустил губы Гриша.

— Была такая история на Бутырке, очень похожая. Давно было, но разве у них хоть что-то может измениться? Перевели зэков в новую камеру, вымыли в баие, одели в чистое и выдали по полной шленке. Только ложки забыли.

— Что ж они, без ложек не управались?

— Управались. Настоящие были зэки.

— А Будда при чем?

— На фестиваль приезжал... Нет, быть того ие может! Едва ли ты угадал, но... похожая история.

На другой день чудеса продолжались. Спали мы по-королевски, пушистые одеяла были у нас пледами, мы лежали на нижних шконках у открытого окна, между нами дубок, курили, пили теплый чай с конфетами, болтали заполюч; еще через день у меня должна была быть передача, и мы сочиняли невероятные гастрономические сюжеты. И библиотека нас ошеломила: давали по две книги на человека, а в других корпусах хорошо если доставалась одна на троих, там не выбирают. Здесь я углядел два тома Диккенса, упросил Гришу взять «Жизнь Арсеньева» и Блока: у меня руки дрожали, когда библиотекаря сунула книги в кормушку. И радио мы включали и выключали. Сами!

Но главное ошеломление ждало на прогулке. Дворики на крыше, лестница рядом с камерой, нас завели, сзади грохнула дверь, а мы так и остались стоять у стены... Жарило солнце, освещало розоватый свежий камень, правильные квадраты, и стены розоватые, из того же камня — и простор!

— Перебор, — выдавил я, — как бы, правда, кое-кто не пожаловал...

— Погоди, не то будет! — смеялся Гриша.

Вернувшись с прогулки, мы обнаружили шахматы, шашки, домино... Мы глядели друг на друга и бессмысленно улыбались.

В такой камере хотелось разговаривать. Сначала я поглядывал на решку со змеицей по ней проволокой, потом махнул рукой — а что они услышат, если и слушают?

— Кабы не тебя жалко, — сказал Гриша, — но если б вдвоем, оттянуть тут мон пятнадцать лет, я б согласился.

Я подумал, что, пожалуй, тоже согласился бы, хотя пятнадцать лет многовато.

— Если не расстреляют, — Гриша поглядел на меня.

Я промолчал, суд у него должен был быть через день, разве оставят вместе, заберут губошлепа прямо с суда и на осужденку, больше не увидимся, а кого сюда сунут? Вот и останусь в этой золоченой клетке неведомо с кем, про общак тепло вспомню...

— Представляешь, — говорит Гриша, — адвокат у меня баба, а она за меня! Ты, говорит, забудь о расстреле, дураки тебя пугали, будем добиваться больницы, совсем уйдешь...

— Не слушают адекватно в суде, лучше не рассчитывать.

— Едва ли. Хотя... Я и не хочу в больницу, пусть зона, только бы... Зачем меня Боря пугал, ты как думаешь?

— Не знаю. Я не могу его понять, для меня он... А ты что о нем думаешь?

— Мало ли что я думаю. Наверно, ты прав. И Пахом был прав, и зотот... Артур. Какое мое дело, я от него только добро видел, забили бы меня, когда б не он. А что стучит... Видишь, мне и это на пользу.

— Ты убежден, что он на них работает? — спросил я.

— А что мне, Вадим? Разве я кому судья? Ты и сам... Первые дни и ты меня сторожил, глядеть не мог, отодвигался. Заметно было, не скроешь. И Пахом... Хороший

мужик, понимаю, а на меня зверем. Они бы меня сожрали, а первый же месяц кончили, когда б не Боря... Да и Боря, если б его не за тем держали... Отработывал!.. Не хочу об этом. Ты мне вот что скажи, Вадим, — как мне жить?

— Так и жила, себе не прощай. Другим прощай. Если можешь, если силы есть. Мы должны прощать. Не можем не прощать. Особенно за себя. Мы говорили с тобой, с этого и начали — разве я отодвигался?.. Хотя тебе заметней. Но ты подумай, что будет с Борей... Иудин грех. Знаешь, что это? Видел, каким он уходил?

— Черный был. Допекло. Может, отойдет на этапе?

— Не отойдет. Ни на этапе, ни... От того, что с ним произошло, так просто не уйдешь, ничем он этого в себе не сдавит. Вылезет, а самый неподходящий момент обнаружится. Не позавидуешь ему, как бы ни сложилось. Пусть никто не знает, не узнает, само будет в нем жить, пока...

— Что — пока? — спросил Гриша.

— Не знаю, не могу и об этом говорить...

Через день Гришу повели в суд. Странно он ушел, так не бывает: взял тетрадочку и шагнул за дверь. «Попробую без аещей...» — шепнул он мне. Вертухай не сказал ни слова. Значит, вернется. В любом случае вернется. Странно это было, но, по асей вероятности, и в такой странности идея — держать нас вместе и после суда, если не расстрел, аернут в камеру, он будет писать кассацию, ждать ответа два-три меснца, не меньше. Какая-то их хитрость. Но что могло быть лучше нашего положения? Остаться в такой камере вдвоем еще два-три месяца!

Непостижимо было и то, что когда за Гришей закрылась дверь, меня оставили одного. Я тихонько лежал на шконке, читал, не понимая ни одного слова, курил, а когда стукнула кормушка и мне принесли передачу... Первый раз за все эти меснцы я рассматривал каждый предмет, принохивался, узнавал и, мне показалось, что-то понял. Потом развернул новенькую телогрейку и увидел ашпите на внутренних карманах кресты... И рюкзак мне подогнали — новый, с обрезанными ремнями. Я тут же попросил иголку и принялся шить, аеряя с рюкзаком Гриши... Может, Господь подарил передышку?

Гриша аернулся поздно. Я успел много: пришил лямки к рюкзаку, гулял в одиночестве посреди розоватых камней на крыше, одного меня водили в баню — душевые померв на первом этаже, горичей воды — залейся. Только плав не дали и махровых простынь. Удивлится мне вдвоело, а пугаться не хотелось. Пошли они со своей хитростью!..

— Давай к столу, — сказал я и вывалил свою передачу.

— Заатра, — сказал Гриша, — асе завтра. И речь прокурора, и адвокат, и мое последнее слово. И приговор. Я и заатра не возьму вещи. Попробую. Они должны знать — понимаешь? Заранее. Если расстрел... Если прокурор попросит... Даже если приговора еще не будет, меня сюда не вернут... Придут за аещами, ты поймешь...

— Поешь, можешь не рассказывать.

— Одно аезли... — он взял сигарету, зажег спичку и положил сигарету обратно. — Одно а пустом «Воронке», а ридом набили, как сельдей, в другую машину. А меня как короля. И конаой, когда туда ехали, со мной по-хорошему, клетку не запирали, угощали сигаретами, байки травил, Москву показывали... Застравали на каждом перекрестке, народищу! Конаой только на девок глядит, говорят, теперь голые ходит, под платьем ничего... Это когда туда. А когда обратно... Когда в зале наслушались — обвинительное и... асе остальное... Я думал, они меня пришибут. Когда обратно везли.

— Что — остальное?

— Я не мог глядеть на мать. Она вошла, а я говорю судье: «Пусть она уйдет, я не буду при пей». Она ушла, и... понимаешь, не могу голову поднять. Судья спрашивает, прокурор спрашивает, адаокат подсказывает, я стою, а...

— Кто еще там был?

— Три девочки с матерями. Остальные не пришли. Поаезло, сказала адаокатша, лето, каникулы — на даче, в лагерях... И еще наш комсорг из института. Требовал расстрелять и чтоб суда не было — не надо, говорит, асе ясно. Судья на него рявкнула, оборвала. Представляешь, Серый, адаокат — бав, прокурор — бав и судья — баба! Я своим ушам не аерю — судья за меня! Или я что-то не понял? Когда стала меня спрашивать, конкретно, тут я на нее поглядел. Она меня спрашивает, а я — молчу. Я только фамилию назвал, год рождения, а так — молчу. Что я могу сказать, Вадим? Ты подумай — что я им скажу? Судье и... Я даже тебе не могу... Нет, тебе я скажу, я давно хотел, не получалось. Тебе обязательно. ты поймешь... Этого нельзя говорить... — сказал он шепотом и поглядел на меня.

— Что, Гриша? — спросил я.

— Помнишь наш первый разговор? Ты пришел в камеру и тебя положили рядом со мной аозле сортира? Другого места анизу не было — помнишь?

— Помню.

— Я тогда отмахнулся, я об этом и думать не хотел, не то чтоб разговаривать. У меня ае силы уходили, чтоб их не слышать — ни Борю, никого. Но ведь так асе время, асе меснцы, с пераого дня!.. Я дураком был, меня спрашивали и я рассказывал. А они — расстрелять, «зеленка», мы бы сами!.. Я не хотел показать, что боюсь. И не боялся. Перестал бояться. Страшней, чем было на Петровке, когда привезли... Такого уже не будет. Остальное мелочь. А тут... День за днем, меснц за меснцем... Потом ты пришел. Я на тебя глядел, слушал... Помнишь, ты перекрестился, когда первый раз сел за стол?

— Да, — сказал я.

— А когда ты ушел, я с Серегой разговаривал, староаером. И я понял... Ты не думай, я крещеный, меня отец крестил. Он давно не живет с матерью, они разошлись, мне пять лет. Потом отец стал брать с собой летом в отпуск. Он... веселый мужик. Один раз были мы а Карелии, там брошенные деревни, пустые разграбленные церкви... Один раз пристал к нам дед с бородой, саященник. Кто он, чего там оказался — откуда мне знать, наверно, лет десять было. Только помню, они с отцом ночью пили, разговаривали, а утром отец говорит: тебя, мол, крестить надо. А зачем? Всякое может быть, а если ты будешь крещеный, нам асем легче. Я не понял и сейчас, наверно, не пойму. Но что он меня крестил, тот дед с бородой, помню, и крестик повесил, я его выбросил, когда надел пионерский галстук. В старой церкви — только стены, на одной висела икона, обсыпанная. Знаешь, когда обсыпаются?

— Где это было? — спросил я.

— Не помню, где-то в Карелии. И вот ты послушай, я давно знаю, заметил... Помнишь, Артур говорил, что ему скучно, он оттого и бесится, бегае, а тюрьму залезает. И Боря об этом, и многие тут. Скучно им. Ты обратил внимание?

— Обратил, — сказал я.

— А ты понимаешь, что это?

— Может быть, — сказал я.

— Когда тебе... толкает...

— Что толкает?

Мы сидели на шконках, между нами дубок, за окном стемнело, дневной жар уходил в открытое окно сквозь решку, сквозь почти сплошные «реснички». Гриша первый раз прикурил и теперь дымил непрерывно.

— Мы жили в коммуналке, — говорил Гриша, — я нагляделся на баб... Хотя ничего особенного, коммунал как коммунал, старый дом на Сретенке. Зайдешь к кому в комнату... Да не в том дело, что бархав много, а как они живут! И скандалы, и чему радуются, и блядство — скучно! И разговоры, разговоры — на кухне, по телефону под даерью. Мне асе было скучно — и в школе, и в институте... Я жить хотел, понимаю?.. И у отца, когда он брал меня с собой, в отпуск, и у костра — песни, разговоры, с бабами по кустам... Не мог я, понимаю, Вадим?

— Понимаю, — сказал я, — только ты не договариваешься.

— Я хотел жить не так, как они живут, а как — я и сам не знал. И себя не знал...

— Он замолчал, будто поперхнулся.

— Ты чего, Гриша? — спросил я.

— Да ничего! Не верю я, что болен, и врачи врут. Читал я их книги, ае понял, там и понимать нечего. Может, я хотел того же, что Артур, а смелости не было, силы не было? Но, знаешь, я думаю, и он того не хочет, это... не он, понимаешь?

— Нет, — сказал я, — теперь я тебя не понимаю.

— Я никому не говорил, а тебе скажу, — Гриша был бледен до синевы. — Давно хотел, а... не мог. Когда я ходил на свои... прогулки, ждал у лифта и... Когда они подходили — в фартучках, с бантами, глядели на меня, а и открывал лифт и... Понимаешь, в чем тут дело?..

Я молчал.

— Ты меня поймешь, я знаю, и никого не могу обидеть, у меня не получится, если и захочу, нет у меня на то никаких... Это был не я, понимаешь? Не я. Я не знаю, кто это был и почему я им оказался, но знаю точно, и если бы можно было доказать и объяснить — я бы доказал и объяснил. Это был не я, ты слышишь?

— Слышу, — сказал я, — я тебя понял.

— Ты и не мог не понять. Но разве я могу сказать об этом судье? Или девчонкам, их матерям, комсоргу, которому надо меня расстрелять, конвою — они меня затоптать готовы! Даже адвокату — один на один? Да и зачем говорить, разве дело а том, какой будет приговор?

— Тебе надо было остановить, — сказал я. — Не знаю, каким образом, но... Вот тебя и остановили.

— Боря считает, что меня надо было убить. И он бы меня убил, если б ему не обещали, что он будет тормозиться до самого лета в тюрьме. Видишь, как асе просто?

Утром он ушел, и опять без вещей.

И еще целый день не оставался один. Мне было так спокойно, что я перестал удивляться. Лежал на нижней шконке, курил и смотрел в окно сквозь густые «реснички». Неба видно не было, голубело между ржавым железом, даже облачка не различить. Почему им *скучно*, думал я, всем *скучно* — Артуру, Боре, Грише, был еще паренек на общаке — Князек, и ему *скучно*. Скука — это однообразие, думал я, — монотонность? Дьявол однообразен, хотя бесконечно «развлекает». *Отелекает*, — уточнил я. Скучно с собой, а потому хочется *отелечений*. Если ты будешь слушать себя, научишься слышать себя, то откроешь в себе... Бога. И тогда сможешь узнать Его, глядя в небо, на тихую гладь озера, понимать в том, как дерево одевается листвою... Тихое небо не может быть скучным — оно красиво, ты глядишь в небо и слышишь себя, а потому слышишь... Бога. А грозное небо? Оно — страшно. Но и оно красиво, потому что и в нем ты понимаешь Бога. Значит, кому-то надо тебя отвлечь от такого слышания и понимания. Понятно кому. Но, значит, одному Он Себя, тем не менее, открывает, а другому нет? Быть может, в награду за то, что однажды ты отказался *отелечься*, сказал — «Нет!», не впустил в себя тьму, душа очнулась и ей открылась красота, которую, узнав, ты уже будешь беречь, понимая, что ничего не может быть прекрасней и выше, что любое самое заманчивое; *отелечение* только обман, тебя *толкает* и ты отдаешься, теряешь волю, тебя уже тащит, ты хочешь еще, больше, никогда не иаешься и никогда не напьешься, а он хитер и иеутомим в своей хитрости, это *его работа*, и если ты сделал шаг в *его* сторону, тебя уже не остановить. Все просто, думал я, особенно просто будет *после* тюрьмы: лежать в траве и глядеть в небо... Просто лежать и просто глядеть. Без решетки, без запертой, обитой железом даерн. И знать, что можешь встать, спуститься к реке, сесть под деревом и глндеть... Но разве *его* нет в траве, возле реки, под деревом, разве он хоть когда-то оставит тебя в покое и разве ты сможешь быть хоть когда-то в себе увереи? В себе — нет, думал я, только в том, что Бог тебя не оставит, защитит, спасет, только в Нем надежда... Только в Нем. Себя я уже знал.

Привели Гришу поздно, поздней, чем накануне. После ужина. Я уже со страхом глядел на дверь: откроется, войдет вертухай за его вещами... Он был опять другой... Решительный. Нагловатый. Веселый... Неужто веселый?

— Чего? — спросил я.

— Пятнадцать лет, — Гриша прошелся по камере, стуча сапогами. — «Воронок» набили — по всему городу, по судам. Жарища, течет со всех... Кем набили! Трояк, четыре года, поселение... Только у одного семерик... Мелюзга! Похаваем?

— С матерью говорил? — спросил я.

Он бегло глянул на меня и отвернулся.

— Завтра свидание... Все спрашивают, всем интересно, как в институте на экзаменах: «У тебя чего?» Я как отрежу: «Пятнашка!» Только зеики таращат... Ладно, Серый, теперь мне море по колено.

На свежеекрашенной зеленой стене против сортира прибиты крюки — вешалка. Гриша подошел поближе, взялся за крюк и — отломил.

— Спятил? — спросил я.

— Увидишь. Я давно придумал, если вернут в камеру...

Он пошире открыл окно и полез на решку.

— Не валяй дурака, Гриша, — сказал я.

Он возился на решке, гремел железом, скрежетал...

— Черт! Сорвался...

— Что ты там делаешь? — спросил я.

— Кирпич сорвался... Ну, если кому повезло...

— Прекрати, — сказал я. — Выкинут из камеры. Давай поживем спокойно.

— Спокойно не получится, Серый. Не вижись ко мне...

Я схватил его за ногу, стащил с решки.

— Хватит, Гриша, пока я здесь, этого не будет.

— На сегодня хватит. Утром поглядим. Темно, ничего не видать...

Он говорил без умолку полночи. Рассказывал о себе, о женщинах — с яростью: «Они на меня не глядели — никогда! В упор не видели. Знаешь, как они смотрят? Глаза намазанные — синие, зеленые, рот красивый...» О чем-то еще, противоречил себе в каждой очередной истории. О том, как любит старую Москву, переулки, знает каждое дерево на бульварах, а за деревьями каждый дом: «Вот что мне не *скучно*, — не бабы, не вся эта мерзость! Москву я сохраняю в себе, не заберут — мон! Хочешь; пойдём по бульварам, в первый месяц, когда ты пришел в камеру, мы „ходили“? Пошли с тобой стороны, откуда хочешь — давай со стороны Таганки до поганого бассейна?..» Я не отвечал, а он называл и рассказывал о каждом доме, о том, где, у кого и с кем там бывал, где можно посидеть, поесть, где вкусней и лучше, где купить мороженое... «Или, знаешь, Серый, давай пивка, а? Холодного? Или нет, нам с тобой по стакану коийяка —

и пошел!..» Да ничего он иикогда не пил, не пробовал, едва ли хоть что-то съел, кроме мороженого!.. «Я знаю, кто меня *толкает*, — говорил он, — и знаю — это был не я. А куда мне было деться? Но теперь все, теперь они со мной ничего не сделают. Ты говоришь, меня надо было остановить? Наверно. Они говорят, меня надо было убить. Может быть и так. Я не боялся, а потому меня оставили жить. Но теперь я им не поддамся, иикому не поддамся — *ему* не поддамся!.. Вы все боитесь, и ты, Серый, боишься. А я, а мне... Пятнадцать лет! Кто еще столько схватил? Пахом — не больше десяти, восьмерик он схватил! Боре — четыре года красная цена, щенок! Про тебя говорить нечего, уйдешь прямо из тюрьмы. „Сколько дали?“ — спрашивают: в „воронке“, на сборке. „Пятнашка...“ А у них в глазах, знаешь что? Что ты, Серый! „У-у!“ — говорят».

Утром он не поднял головы и во время поверки: Да какая у нас поверка: открыли кормушку, корпусной глянул и ушел. В одиночестве и съел завтрак, выпил чай; лежал и читал Бунина.

Наконец Гриша встал, сполоснул физиономию, поковырил кашу и закурил.

— Давай, Вадим, какой у тебя телефон? Передам матери. Она позвонит, все, что хочешь...

— Как же ты передашь — одни, что ли, будете?

— Не могут, кто боится, а я никого... Давай в шахматы?

Он расставил фигуры, глаза, как и вчера, шальные.

Я выиграл сразу, хотя всегда играл плохо. Он иадул толстые губы, снова расставил фигуры, «зевнул» раз, другой, побелел и опрокинул доску.

— Читай свою книжку, Серый, — и полез на решку.

За окном грохотало, весь корпус, кроме шестого этажа, был нежилой, с восьми утра начинался грохот — стройка.

— Гляди, Серый!

Я выглянул через его плечо: улица, трамвай, люди, под нами плавала стрела крана.

— Еще один кирпич! — крикнул Гриша. — Крановщик подаст стрелу — передавай что хочешь! А если еще выломить, перелезем на стрелу — далее везде! Поминишь, Артур рассказывал — с суда ушел!

— Не мели, Гриша. Слезай.

— Отстань... Доковырю кирпич, а там поглядим.

— Слезай! — я схватил его сзади за рубашку, стащил с подоконника. — Или будем вместе, или уходи!..

Он не успел ответить. Дверь распахнулась, в камеру влетел вертухай, за ним корпусной. Вертухай проскочил между нами, высунулся в окно — и повернулся с кирпичом и крюком в руках.

Корпусной присвистнул, взял кирпич и вышел.

— Все, — сказал я, — доигрались.

— Да по-шли они! Так и было, вон как стронт...

Я не ответил. Больше всего мне хотелось его избить, даже жалости не было.

Дверь снова открылась.

— Выходи, — сказал корпусной.

— На свидание, что ли? — спросил Гриша.

— На свидание.

— Тетрадку возьму.

— Можешь без тетрадки.

Гриша взял тетрадь, караидаш. Он был совершенно спокоен...

— Давай телефон, — шепнул Гриша, — пиши...

Я даже глядеть на него не мог от злости.

— Что возишься? — сказал корпусной. — Заждались.

— Дурак ты, Серый, — сказал Гриша. — Все вы чего-то боитесь! Все ладно, ии ты? А говоришь, в Бога веришь. Ни во что вы не верите. Слабаки!..

Через полчаса дверь с грохотом распахнулась и майор с лошадиным лицом ворвался в камеру. «Тот самый — по режиму...» — вспомнил я.

— Тюрьма не иаучила?! Научим! Да я... Да я вас всех!..

— Что вы кричите? — сказал я, мне было все равно.

Он прошагал к окну, выглянул.

— Почему открыто окно? Кто разрешил?!

— Жарко, — сказал я.

— Жарко?! Будет холодно, обещаю... Сегодня мы кой-кого проверим на силу духа...

Он метнулся из камеры.

— Распустили! — кричал он за дверью. — Я покажу им!

Я начал собирать вещи. Хорошо, успел с рюкзаком, иичего нельзя откладывать в тюрьме...

Дверь снова распахнулась.

Этот майор вошел иначе. Спокойный, черный, как жук, черные, внимательные глаза скользнули по мне. Он пролез мимо дубка, тяжело оперся на подоконник, грузно подтянулся...

Я смотрел на его руки, густо поросшие черным волосом...

«Он, он!» — понял я. Руки я угадал. Но он был совсем другой, неожиданный.

Так же грузно, тяжело он слез с подоконника и поглядел на меня поверх дубка. Я не вставал.

— Что тут произошло? — спросил он.

И голос был не таким, как мне «слышалось». Скорей вкрадчивый, чем властный.

— А что произошло? — сказал я.

— Вы считаете, все нормально?

— Увели, а куда не сказали.

— А кирпич? — спросил майор.

— Кирпич?

— Да, кирпич из стены.

— Верно, дежурный вынул. Я не понял зачем.

— А это что? — майор ткнул волосатым пальцем в вешалку с обломанным крюком.

Я привстал и посмотрел на вешалку.

— Что с крюком? — повторил майор.

— А... не обратил внимания. Отломился.

— Понятно, — майор глядел на меня с нескрываемым любопытством. — Сила есть — ума не надо. Стальной крюк отломился.

— Едва ли стальной, сталь нынче дорогая.

— Что ж вы так оплошали, — сказал майор, — взрослый человек, серьезный, солидный... Не могли его остановить?

— Не понял, — сказал я.

— Все вы поняли. Дали бы ему по шее. Покрепче. И вам было бы лучше. И ему на пользу.

— За что? — спросил я.

— Ваше дело. Впрочем, каждый сам выбирает. К вам у нас нет претензий, а вот к вашему... Не понимают люди, не хотят жить по-человечески.

Он глядел мне в глаза, даже пригнулся над дубком.

— Недоразумение, — сказал я, — пожалейте мальчишку.

— Так думаете?.. Ну, ну.

Он вышел.

Гриша вошел тихо, пар из него явно вышел. Сел на шконку, взял ручку и написал на газете круглым детским почерком: «Они слышали каждое наше слово. Они сказали, больше мы с тобой никогда не увидимся. Они...»

Он бросил ручку и сказал:

— Десять суток карцера. Сейчас уведут.

Я молчал.

— И свидание было, — сказал Гриша. — Мать плачет, ничего не понимает. А что я ей скажу?.. Прости меня, Вадим, все из-за меня...

Дверь открыли.

— С вещами. Оба. На коридор.

— Я никуда не пойду, — сказал я.

— Как не пойдешь?

— Это моя пятая камера. Хватит.

Вертухай закрыл дверь.

Гриша молча собрал вещи. Я пытался вспомнить, о чем мы тут с ним болтали. «Каждое слово...» — написал он. Вот она, «улыбка Будды». Улыбнулась.

«С тобой какой майор разговаривал — черный волосатый?» — написал я.

«Он, — написал Гриша, — главный кум. Тот самый, о котором, помнишь, Боря...»

Вошел еще один майор. Третий за сегодняшний день. Сколько же их в тюрьме?

— В чем дело? Почему не подчиняетесь?

Я сидел, а он стоял надо мной. Холодные глаза, брезгливо сжатые губы. С таким не договоришься.

— Это моя пятая камера. Никаких причин переводить меня нет. Не пойду. Доложите начальнику тюрьмы.

— Я дежурный помощник начальника следственного изолятора. Здесь и распоряжаюсь. Мы можем переводить вас хоть каждый день. А вы будете подчиняться. Начальника тюрьмы нет.

— Не пойду, — сказал я.

— Ну что ж, наденем наручники. Поведем.

Наручников я не хотел. Но и на общак не хотел.

— Хорошо, — сказал я, — передайте начальнику тюрьмы, когда поивится. На суде я заявлю, что на меня оказывали моральное давление. Психологическое давление. Физическое давление. Расскажу о каждой камере, в которой был. И о наручниках. А завтра напишу прокурору.

— Ваше право, — сказал майор.

Мы тащились с шестого этажа нагруженные, как мулы. Барахла стало больше, прибавилась моя передача, а сил почему-то меньше. Майор, корпусной и вертухай шли сзади, вполголоса переговариваясь. Мы молчали.

Нас завели на сборку, запихиули в узкий коридорчик. С одной стороны одноглазо глядел ряд боксов.

Вертухай открыл две двери рядом и кивнул.

В таком я уже был, как же, когда первый раз вели со сборки. Тогда нас запихиули в такой бокс троих. Я не мог понять, как мы смогли поместиться. Матрас я кинул под ноги, мешок на колени. С меня текло. «Что же сейчас на общаке?»

— Вадим! — услышал я через стену. — Как все глупо, как я сорвался! Зачем? Что это со мной?..

— Прости меня, Вадим, — говорил Гриша через стену, — вот и тебя подставил. Видишь как? Мени толкает, я толкаю тебя, а ты...

— Я не толкну, — сказал я, — я Бога боюсь, а ты расхвастался: никто, никого, а ты всем... Тебе и показали.

— Прости меня, Вадим, — повторил Гриша.

— Бог простит, — сказал я. — К Нему обращайся, не ко мне. Он поможет, а больше никто.

— Я еще... побарахтаюсь, — сказал Гриша, — я еще попробую. Может, я еще сам, я теперь...

Было слышно, как рядом скрежетнул замок.

— Выходи... — услышал я.

— Прощай, Вадим! — крикнул Гриша. — Вспоминай!

— Ладно, Гриша, — сказал я, глядя перед собой в железную дверь бокса, — все проходит, и это...

— Сколько дадут карцера — чирик, не меньше? — услышал я Гришу.

— А ты думал, чего заработал? — ответил вертухай.

5

— Пой, сука! Пой!..

— Уйди, говорю... Отпусти. Больно!

— Не хочешь петь?.. Повторяй: я признаю, что продал родину... Признаю, продал план советского завода за...

— Меиты!!

Я ничего не могу поинты!.. Всего пять дней меня тут не было! Пять дней назад нас увели из — нашей камеры, из — два шесть ноль! Ее не узнать... Микрообщак: сизый дым, смрад, гвалт, толпа... Толпа!

Сзади скрежетнула дверь. Закрыли.

— Вадим?! Откуда...

Выхватываю знакомое лицо из кучи, густо облепившей дубок:

— Пахом!..

Очки, лицо отвердело, подобралось. Другой. Но тот же — тот самый!

Бросаю мешки, шагаю ему навстречу, а он уже выбирается из-за дубка:

— Вадим, Вадим!!

— Откуда ты сюда свалился?

— Третий день... Набивают камеру, сам видишь... Ну, не думал!.. У меня место рядом свободное, будем вместе.

— А где ты?

— Да вон, второе место на первой шконке — мое!

Следующая за ней шконка, крайняя. У самого сортира лежит коротышка, сжался, скукожился, завернулся в одеяло. Возле него блестят черные железные полосы — шконка пустая.

— Отлично, — говорю, — сейчас раскатаю матрас...

Пролезаем на шконку к Пахому. У него по-домашнему: полочка, на ней табак, нарезанные листочки газеты, раскрытая исписанная тетрадь...

— Сочиняешь? — спрашиваю.

— Я теперь клязник, я их добиваю, добыю! Пишу, пишу... В прокуратуру, в ЦК, в «Правду». Я их выведу на чистую воду... Слушаешь радио?

— Мне и без радио весело.

— Зря. Надо слушать. Тебе особенно. Всем, кто соображает. Что ты! Каждый скажет, такого не было. Но я их лучше знаю. Увидишь, обязательно проветрится. Проколется! Одна шайка. Но — когда? Вот в чем дело. Это и интересно.

— Зачем время тратить?

— Погоди, поговорю! Не так все просто, тут от отчаяния — и хитрость... Ладно, вместе! Прокололся кум, недодумал!.. Слушай, давай к нам в семью?

— В какую семью?

— А у нас тут две семьи и двое бесхозных.

— На спецу? Вы что?

— Пряглядышь... — говорит Пахом. — Маша! Мой кореш к нам, не аозражвешь?

— Ну... есля ты... Давайте сюда.

Здесь, и верно, обшак, думаю...

Миша — конопатый, желтый, черные глаза сощурены.

— Давно здесь? — спрашивает.

— Пять месяцев.

— А с Пахомом где сяюхался?

— Мы тут абортгеяы. Видишь, вернулся. Погулял на общаке и сюда. Пять дней на новом корпусе и обратно.

— На новом корпусе был?

Этот вопрос с другой стороны дубка: роговые очки, нагнул по-птичьи голову, седоватый...

— Шесть зтажей, — говорю, — чистота, свежая краска, вторые одеяла, бябляотека — по две книжки на рыло, душевые номера, как в Сандунах, а дворники из розового камня — Сочи!

— Гебевский корпус, — говорят еще одян, золотоволосый красавчик лет двадцати пяти в шикарном спортивном костюме, это он крутил руку узбечонку, когда я вошел. — Точно знаю, она, для себя строят, тесно в Лефортове.

— Вполне вероятно, — говорю, — похоже.

— Большие камеры? — спрашивает Пахом.

— Маленькие, а на шесть человек. Нас было двое, а если набить, на общак захочешь.

— Что ж тебя оттуда выбросили — или сам захотел?

Это седоватый, в очках.

— Двое нас было. Помнишь, Пахом, губошлепы?

— Неужто не пришибли? Вот мразь... Сто семнадцать, четвертая часть! Да я его б сам... — Пахом сжал кулаки.

— Пятнадцать лет схлопотал, — говорю, — ладно тебе, начнем по своему разумению устлавлявать справедливость, а потом будем жаловаться — закон не соблюдают... Получил срок и загулил. Полез на решку, выворотил кирпич, наболтал, язык что помело, а там пишут...

— Я говорю — Лефортово! — кричит красавчик. — Мне бы твоего соседа, я б с ним разобрался...

— С вами хорошо, — говорю, — я прокурора не надо... Так что, берете меня в семью? Кто у нас еще?

— Мурат, мой прямыш, — говорят Миша. — И Гера. Воя, на первой шконке.

Мурат — тоненький узбечок, лицо с нежным пушком, как у девушки, улыбается. Гера — сырой мужик лет под сорок, суетливый, с красным, будто обвевренным, тупым лицом.

— Тогда, Пахом, принимай мой аклад, — аыкладываю из мешка продукты, — мы с Гряшей едва их начали.

— Видала, — говорят Пахом, — какого яшел семьянина?

— Что ж ты, если он тебе кент, обнимался с янм! К кому ты его подкладываешь? — это Миша говорит.

— Рядом будем. Или плохо? — говорят Пахом.

— Соображать надо. К кому кладешь?

— А что такое? — спрашиваю.

— Ложись, — говорят Миша, — завтра вся тюрьма будет знать. С кем тебя положяля, а ты лег.

Я оборачиваюсь на пустую шконку: коротышка съезжался, лежат на самом краю, носом к сортиру.

— Мурат! — говорит Миша. — Давай наверх, освободя...

— Кояечно! — улыбается во весь рот Мурат, — давно хотел наверх. Весело!

Вон какие порядки в нашей старой камере!

Утром я проснулся и мне показалось, все понимаю, обо всем догадался. Я лежал на первой шконке, на месте Бори Бедарева, на бывшем моем «воровском» — Гера. Места

у них у асех, как я понял, случайные, ни о чем не говорят — кто первый пришел, захватил, что получше. Только складывается камера. А кто ее складывает?..

Через проход от меня — Петр Петрович, седоватый, а очках; рядом красавчик Валептя. Эти двое — аторая семья. На другой стороне Миша и Пахом. Коротышка один у сортира. И яверху двое — Мурат и некто, кого я до сих пор не видел. Вчера я сразу не спускался — может, ночью, когда и спал? Лежит носом в подушку, вроде, спит. «Кто такой?» — спросил я Пахома. Отмахнулся... Какая ж толпа, думаю, всего девять человек. Разберемся.

Что асе-таки за история с новым корпусом, думаю я, зачем они меня туда сунули, почему аыкинули и — обратно?.. Почему обратно, можно понять: с Гришей накладка, аеожиданность, одного оставить не положено и смысла нет — молчать буду, ничего не узнаешь, да и слишком шикарно. На общак не решились, я твердо обещал написать прокурору я заявить а суде. Подействовало, майор поверил. Зачем им? А теперь на что жаловаться — веряули на место. Понитно. А зачем повел в новый корпус, в чем тут загадка? «Пересменка», некуда было деть, пока сложится камера? Или ядея другая — «улыбка Будды»?.. Такая тоска разгадывать их фокусы — мое какое дело! Все тот же рогатый, думаю, начнешь крутиться в ям предложенном колесе, голова пойдет кругом, ослабнешь, я то, что рядом, не разглядишь. Тут и проколешься, того и надо. Вот в чем игра. Я считал, следственная тюрьма — это борьба со следователем, он тебя будет дожимать, щупать, проверять па вшивость... А тут... Я забыл о моей красотке, видел два раза за пять месяцев! Все происходит в камерах, они меня я без следствия достают, чужими руками размажут...

— Как хорошо в тюрьме!.. — слышу я и переворачиваюсь.

Петр Петрович. Тренировочные рваные штаны, чистая маечка без рукавов. Лет пятьдесят. Стоит возле шконки, закинул руки за голову, потягивается. Лицо безмятежное.

Похож на бухгалтера, подумал я вчера — тихий, внимательно-вдумчивый... Нет, инженер средней руки. А сейчас гляжу — что-то неуловимо иное: острые глаза, широкий крепкий подбородок, тяжелые складки у хищного рта... Кто ж такой?

— Пробудился? — спрашивает. — Здоров поспать, нервшки в норме. А вчера, гляжу, дергаешься. Не нравится в тюрьме?

— Как тебе сказать...

— А чего не сказать — хорошо! Кормят, спать дают, гуляют, в бане моют, рвотать не надо. Или скучаешь?

— Бывает, — говорю.

— То-то я гляжу... Семья?

— Семья.

— Чудной вы нврод, интеллигенты. Тут у тебя решетка, верно. Дверь закрыли. А там — ни решетки, ни запоров — семья... Или у тебя была свобода?

— Дело вкуса, — говорю.

— Да ладно тебе! Вижу, лишнего не скажешь, а все одно дергаешься. Гонишь?

— Тебе аидней.

— Я тебе вот что скажу... — сел на шконку, наклонился ко мне, жилистый, руки в наколках, а грудь чыстая.

Какой оп бухгалтер!

— Поторопился, малый. Только вошел в камеру, не оглиделся, чего ты мог скумекать? И сразу в семью, харчи отдал... Кореш у тебя. А что с корешом? Плохо ты тюрьму знаешь, сегодня человек один, завтра другой. Не промахнись.

— У тебя какая ходка? — спрашиваю.

— Шестая, на особинк плыву. Года четыре вмажут, пусть пять, больше не аозьму, а там поглядим.

— И не дергаешься?

— Законное дело, передышка. Ежели я полгода погулял, а год — много, я так живу, тебе не приснится. Не обидно отдохнуть, хоть я на особинке.

— Ты по какому делу? — спрашиваю.

— По квартирному. Дело неторопливое. Изучаем, пряглядываемся, а когда созреет... Горячка не годится, по наколке. Или скажешь, с моралью не ладно?

— Как тебе сказать...

— Стесяительный... Погляди с другой стороны. Они коппли, откладываля, на мыле экономяли... Едва ли, конечно. С такими скучно заводиться. Мои клиенты народ шустрый, у самих рыло в пуху... Ладно, пускай твоя правда — трудовой народ. Сколько коппли — год, десять лет? Приобрели, рады. А я забрал. Обидно, да?.. Переживают, слезы льют. Жалко человека, тем более, если женский пол... А меня не жалко? Полгода а тюрьме, месяц на пересылках — и на зону! Год, другой, пятый... Кому хуже?

— Ловко.

— Справедливо! Ущерб материальный или, как говорится, моральный. Что перевесит?

— Меняй профессию, — говорю, — тебе судьей служить.

— Скучно, надоест копать в дерьме. Мое дело почище... Ты приглядывайся, это тебе не книжки писать...

Камера просыпается. Пахом встал у решки на зарндку: брюха нет, втянуло, крепкий еще мужик. Миша в сортире, водные процедуры — болеет, что ли? Мурат улыбается, всех приветствует — тонкий, стройный, чернобровый... Мой сосед Гера сидит на шконке, бессмысленно лупит глаза; когда я засыпал, слышал его рассказы: мясник в магазине, а подрабатывает в крематории на разделке трупов: «Деньги большие, а работа плевая, не барана разделать, и спирту залейся...» Когда б не моя счастливая способность спать в любой ситуации, они бы меня заколебали!

Коротышка недвижим — что за фрукт? И еще один, неопознанный — наверху. Так и не видел... Красавчик Валентин — вот кто не нравится, беспокоит: такая наглость в парне — здоровый, мордатый, холеный. А перед Петром Петровичем лебезит, заискивает...

Нет, не много я еще понял.

И с Пахомом разговор вчера был тяжелый. «Я видел Борю Бедарева,» — сказал я. — «Ты?..» — покраснел, на носу и под очками блеснули капельки пота. — Мне б он встретился, гад... Ты знаешь, что он...» — «Знаю, Менакер и Гриша рассказывали. Я и без них понял. Он отдал фотографию и письмо». — «Твои? И письмо, и фотография?..» — «Мои». — «Ну, не знаю...» — «Оставь его, ему хуже нашего. Мы за свое получим... Или не за свое, но эта наша ситуация. А он и за нас». — «Таких надо давать, — сказал Пахом. — Если таким прощать, жить нельзя. И того, кто прощает... Тебе говорили, как он меня сдал?» — «Я его видел неделю назад, он уже за все платит». — «Перестань, дешевая игра, теб только ленивый не купит, всем веришь, такие, как он...» — «Ладно, Пахом, — сказал я, — не хочу о нем, без того тошно...»

За завтраком у меня кусок не лезет в горло. Вчера не дошло, не врубился.

Наша семья возле телевизора. В торце Миша, с одной стороны и с Пахомом, напротив Мурат и Гера. Миша режет сало... Оглядываюсь на Пахома: очки блестят, губы сжаты, сопит. В чем дело?.. У Миши рука толстая, играет заточенной ложкой, а куски... Вон оно что! Зачем же ты полез в семью, коли так! Сам полз и меня потащил?

Чуть подальше расположились Петр Петрович и Валентин. У них скудно. Сала нет, режут засохший сыр из ларька.

Неопознанный наверху не шевелится, а коротышка на своей шконке, спиной к нам, носом к сортиру, ковырнет в миске ложкой...

Тоска!

— Разбудили бы человека к завтраку? — киваю наверх.

— Сани! — кричит Мурат. — Киваву подали!

Неопознанный перевернулся, дрыгнул лапой, шевельнул грязными пальцами, лица не видно.

— Потом...

Живой, думаю. Голос хриплый, как из бочки...

На общаке «семья» естественна: шестьдесят человек, как иначе прокормиться, а здесь, когда нас всего девятеро... Не мое дело, только пришел, сразу не сообразишь...

Мурат собрал шлепки, потащил к умывальнику. Пахом дует на меня за вчерашний разговор. Сажу у Миши на шконке. На полу, у окна, стопочка книг. Военные повести, две книжки «ЖЗЛ», роман о Батысе... Лесков!

— Никто не читает, — говорит Миша, — себе беру. Чтоб не... отстать. Самое страшное — выйду с зоны, отстал.

— От чего отстал?

— Мне сорок пять, выйду — за пятьдесят. Кем буду?

— А кем ты хочешь быть?

— Глди... — достает из-под подушки конверт, вытаскивает фотографию.

Цветная. Большой телевизор, «стенка» с посудой, хрусталь. В кресле средних лет женщина. Усталая, отцветшая, с вытертым постным лицом. Нет, не узбечка — еврейка? Старомодное платье, бусы на морщинистой шее. С двух сторон девочки лет десяти-двенадцати. Кружевные платица. Похожи на мать.

— Мои, — говорит Миша. — Дом в Ташкенте. А я бывал месяц в году, не больше. Одесса, Воронеж, Москва... Дело. Сам понимаешь — дубленки... В Москве у меня баба, квартира, машина. И в Одессе машина... Ясно? Пригледел под Москвой дом, в этом, как его... Звенигороде... Короче, ошалел от денег, я им счет потерял. У меня-то они ничего не нашли. А к матери загнули, тоже в Ташкенте, триста сорок тысяч хапнули.

— Не мог подальше спрятать?

— Я уже не соображал, позабыл где живу. Ошалел...

— А чего ты здесь? Если Ташкент...

— Сначала в Ташкенте, потом в Лефортово, на раскрутку... Там бы пришибли.

Теперь сюда...

— Много подельников? — спрашиваю.

— Обещали — уйду от вышки, понил? Обещали десять лет. Твердо. Если бы обманывали, они б меня сюда не перевели. Еще меснца три, потом в Ташкент. Там и суд будет. Со следователем нормально, поняли друг друга. Похоже, выкрутился. Если десять лет — что я там, не договарюсь? Раньше выйду! Главное... Короче, жить буду. Вот и не хочу... отстать.

— Как же ты отстанешь, у тебя вон какое сражение, тем же самым занят — продаешь, покупаешь? И товар подороже — не дубленки. За один день столько переживешь, раньше бы на год хватило. Не так?

— Не понял. У них кино, телевизор, любые книги. А у нас тут с тобой?

Поднимает голову, в карих глазах злоба:

— Куда лезешь, падло?! К дубку... На парашу, мразь!..

У дубка коротышка: короткие ноги, длинные руки, альбинос — белые ресницы, свалившийся пух на голове, лицо изжеванное, как мятая перчатка... Хаатает миску, только что поставил на край дубка, и семенит к сортиру.

— Кто он? — спрашиваю.

— Мразь, а твой кореш хотел тебя к нему. Ума палата... Некрофил, сука! Его тут во всех камерах... Сюда сунули, чтоб оклемался. Пришел позавчера, в руках шленка... Видал дурака? Со своей посудой ходит, вместо паспорта, чтоб не обознались. Если он нашу шленку тронет, убьем...

— А этот? — киваю наверх.

— Подонок. Мать зарезал.

— Как... мать?

— Ножом. Не камера — обиженка! Их бы в другой хате...

Катится жизнь в моей старой камере. Что-то и не ощущаю ни любви, ни радости — или на общак попроситься?

— Гера! — кричит Красавчик. — Слыхал новость?

— А чего?

Гера на своей шконке, вынимает из мешка барахло, складывает и пихает обратно. И так три-четыре раза на день.

— Пошли работать, Гера! Не надоело матрас пролеживать? На овощную базу. Я мешки таскать, разгружать, а тебя клвдовщиком.

— А зачем мне? Чего я там не видел?

— Твое дело. А я подышу, на людей погляжу... Мне автомат надо, позвонить. Ты дверь прикройшь, покараулишь.

— Автомат?.. — Гера застыл на шконке.

— Бросишь монету — «але»...

— Где я две копейки возьму?

— Где хочешь. У меня есть... Не сообразишь, как позвонить? Учить тебя?

— А он у них работает?..

Гере позарез надо позвонить, он и мне вчера все уши прожужжал. Связаться надо с волей, подельник у него гулнет, еще один кореш его сдал, а третий все может, но ничего не знает, надо сообщить... Хотя какой канал на волю — все отдаст!

— Твое дело, — жмет Красавчик, — и завтра отдам заявление. Через два дня на базе.

— А возьмут? — сдается Гера.

— Чего тебя не взять? Продавец, квалифицированный кадр. Или ты лапшу вешаешь, что в магазине работал? Мне могут отказать, грузчиков хватает, а тебя точно...

— Как писать? — Гера уже готов.

— Продикую... Вот тебе бумага... Мурат, дай начальнику склада ручку... Пишешь?.. Начальнику СИЗО от... Как твоя фамилия?.. Имя-отчество, статья... Заявление. Написал? Прошу разрешить работать кладовщиком на овощной базе. Обязуюсь справиться... Подпись. Ставь сегодняшнее число. Седьмое июля. Готово?.. Завтра отдам на проверку. Мое и твое.

Камера замерла.

— Писатель, не хочешь с нами? — говорит Красавчик. — Погуляем, себи покажем, подышим...

— А сам ты написал? — опминается Гера.

— Само собой. Это тебя надо уговаривать.

Гера ожил. Еще раз слушаю его историю: кто его сдал, кто вытащит, кто в управлении, кому надо дать, у кого взять... Был бы автомат, все успеет.

Утром на проверке Красавчик отдает заявление. Одно. Корпусной не поглядел, сунул в папку и грохнул дверью.

Часа через два дверь распахнулась. Корпусной.

— Кто тут Пигарев?

— Я, — говорит Гера. — Я Пигарев.

— Писал заявление?
 — Писал.
 — Кладовщиком собрался?
 — Справлюсь, — говорит Гера.
 — Уважил. Благодарность тебе. Кем служил?
 — Продавцом.
 — На повышение хочешь? Продавцом проворовался, а кладовщиком не будешь воровать?

— Я докажу, — говорит Гера, — я ни в чем не...
 — Кто тебе подставил, мудака? — спрашивает корпусной.
 — Чего?..
 — Если ты еще раз такое напишешь, пойдешь в карцер. Там нужны кладовщики. Ясно.

Дверь закрылась, камера взрывается гогом. Гера не сразу понимает, что произошло. Потом грустно улыбается:

— Крепко вы меня...
 Красавчик неутомим, а Геру, как говорит Пахом, только ленивый не купит. В тот же вечер Гера ходит по камере, демонстрирует ботинки: на одном подметка отааилась, на другом вот-вот...

— Мне бы иголку потолще...
 — Потолще! Тонкая есть, ломаешь. Не дам...
 — Дурак ты, Гера, — говорит Красавчик. — Ты в тюрьме. У кого надо просить?
 — У кого?
 — Пиши заявление начальнику. Тебе не для баловства, для дела. Босиком ходить нельзя, так? Придется выдавать со склада. А себе тоже надо. Короче, невыгодно.

— Неужели дадут?
 — А куда они денутся? Новые будешь просить, подумают, с тебя запросят. Знают, чего у тебя просить... А тут сам. Или им плохо? Пиши, только подробней: какие ботинки, зачем иголку, какую... Да что ты иголкой сделаешь?

— А чего просить?
 — Чего-чего! Не сапожничал? Шило надо? Нож. Что ты без ножа сделаешь?
 — Разве дадут? — сомневается Гера.
 — А куда денутся? Чем сапожничать — пальцем?
 — Напильник... — подсказывает Петр Петрович.
 — Верно! — подхватывает Красавчик. — Напильник, первое дело. Какой сапожник без напильника? Мурат, давай ручку!

Гера, как завороченный, берет лист бумаги, ручку...
 — Пиши! — Красавчик висит над ним. — Начальнику СИЗО от Пигарева, имя-отчество, год рождения, статья... Заявление... У меня развалились ботинки, ходить не в чем... Размер какой? Размер сорок третий. Для ремонта необходимо... Написал? Ставь две точки... Да не так, дура! двесточие. Где ты учился, кладовщик!.. Сапожничать... В скобке... Валилок ты серый, продавцом работал! Скобку ставь, а в скобке пиши: острый!.. Сапожничать нож, острый, напильник, шило, большую иглу, толстую... Вроде все. Пиши! Обязуюсь выполнить ремонт добросовестно в два дня...

— Я за один управлюсь.
 — Пиши два. Один дадут. Всегда проси больше. Может, еще кому понадобится. И напильник сгодится, и нож, и...

В камере гробовая тишина, только Мурат булькает. Корпусной вораался через полчаса после поаерки.
 — Пигарев! На коридор!!!
 — Дратву забыл вписать! — кричит Красавчик. — Попроси, если не успели выписать...

Вернулся Гера часа через два. Бледный, алой, ни на кого не поглядел. Лег на шконку, завернулся в одеяло.

— Не дали напильника? — спросил Красавчик. — А мы думали, решку спилим...
 Еще через день все лежали после завтрака, ждали прогулку. Вижу, Красавчик шепчется с Муратом, тот жмет на «клопа», кормушка шлепнула. Мурат что-то спрашивает у вертухая.

— Пигарев... — говорит Мурат. — Гера!
 — Чего надо?
 — Тебя... С вещами.
 Гера вскочил со шконки, засуетился, хватается мешок, вываливает барахло... Садится, руки опущены, лицо несчастное.
 — На общак, — говорит Красавчик, — доигрался.
 — За напильник он расплатился, — говорит Пахом. — Спроси, Гера, может, ошибка?

Ему явно жалко Геру.

— Чего уж, — безнадежно говорит Гера, — пойду на общак. И там люди живут...
 Все ты, ты! — кричит он Красавчику.
 — Надо мозгом шевелить, — говорит Красавчик, — будешь ученый. На общаке тебя так заиграют.
 Гера начинает складывать вещи, чуть не плачет.
 — Дадите сала? — просит он Мишу. — И табачку...
 — Отбой, Гера, — говорит Пахом. — Развязывай мышок...

Мы начали разговор с Пахомом на прогулке, в жарком дворике, но он уже не мог остановиться и когда вернулись. Миша ушел на вызов, мы сидели на его шконке, спиной к камере, тут, вроде, самое безопасное место. Пахом сильно изменился за эти месяцы: раздраженный, колючий — на пределе человек.

— Не верю я им, Вадим, никогда не поверю. Ни одному слову! Если выпустят — и тогда не поверю. Не выпустят! Если только с говном смешают, если себя раамажу, кончусь, тогда — выходи! Ты думаешь, их слова оттого, что опомнились, правда им нужна, мафия мешает? Не хотят они правды, и из мафии им не выскочить. Счеты сводят. Один подох, другой вылез, укрепиться надо. А как укрепиться — неужто правдой? Разве она для того? Тут безнадежно. Он молодой, шустрый, дождался своего часа — выскочил! А дальше что?

— Посмотрим, не гони картину.
 — Мне не надо смотреть, нагляделся.
 — Ты же надеялся — аймой? Амнистия ждал... Вчера сказал — тебе интересно? А выходит, все наперед знаешь?

— Мало ли, что я говорил. Говорить все горазды. Сколько себя помню — одни слова. А хоть что обернулось делом? По делам гляди!

— Что мы отсюда увидим?

— Здесь все видно. Как в капле, вся ихняя лживая природа... Я читаю газеты, слушаю радио. А потом меня дергают к следователю... Что ж он, не те же газеты читает? В том и дело, все знает, но он с молоком усвоил — слова словами, а дело делом. Мня посадили — надо дотянуть. Или ему правда нужна, справедливость, закон, моя судьба его заботит? И дотннуть ему надо не меня, это так, по ходу, а чтоб я других вложил, чтоб в его игре пешкой. Вот ему что надо!.. Пять месяцев они меня катают, сперва у них было старое мышление, теперь новое, а хоть что изменилось, не один хрен? Они сами тем словам не верят, повторяют, как попки, а хотят, чтоб мы им поверили! И мы поаерим?.. Я тебе рассказывал про хозяина Москвы? Столкнулся я с ним однажды, помнишь?.. Мафин из мафий, к нему все нити, он и главным мог стать. Я б не удивился. Про него все знают. А что с ним дальше? Убрали? Нельзя не убрать. Мешает. Чему — правде? Ноаому мышлению? Как бы не так! Ты погляди, как его убрали! Герой труда, вторая золотая звезда, бюст на родне — с почетом и благодарностью на заслуженный отдых! А ему здесь место, на шконке, у параша. Почему, думаешь? Из гуманизма, из старой дружбы? Нет там ни дружбы, ни гуманизма. Страшно, что заговорит, вот в чем «мышление»! Чего бы ему было терять, окажись в тюрьме, на суде? А он столько знает, так со всеми повязан...

— Может, ты... торопишься, видишь, как все серьезно. Сначала укрепиться, а потом...

— Что — потом? Укрепить на лжи, на том же самом поганом вранье, два пишем, три прячем? Для дураков, от которых нам зерно нужно, не растет у нас, машины, мы их делать не способны. Для них!.. Ладно, дурака обманем — разве в том выход? Ты думаешь, чем люди живы? У нас, не где-то там? Ты же людей не видал, не знаешь! Никто не работает, не хотят работать. Понятно тебе? И не будут, как перед ними не стелся. И знаешь, почему? Леня, думаешь, спились? Нет, малый, тут инстинкт срабатывает — себя сохранить, душу спасти, народ, нацию... Если, конечно, осталось, если есть чего спасать. Не хочет мужик участвовать в этой лживой каше. Чем ты его заставишь? Это и есть сопротивление, посильней бунта, революций — что ты с ними сделаешь? Скажешь, рабское сопротивление, трусливое? А анаешь, какая в нем сила? Этого им не преодолеть, не переломить, не справится. Они — чужие, понимаешь, как марсиане? Говорят, говорят... И чтоб после семидесяти лет вранья мужик им поверил? Да пошли вы все!.. Я давно знал, а теперь точно, отсюда хорошо видно. Они, кто сидят в креслах...

— Да кто они? — прервал я его. — А сам ты кто? Или ты работяга — разве не лез в кресло?

— Леа, — сказал Пахом, — потому и знаю, мне и аукнулось. Возмездие, как этот гад повторял. Я потому и попал, что леа. Но и не в кресло, я хотел работать... Я землю люблю — можешь ты это понять? Я думал, если работать, себя не жалеть, если все будут работать и не будут себя жалеть... Что я, один, что ли, такой?

— Какой — «такой»?

— Нормальный мужик. Люблю выпить... Но мне работать хотелось, и думал, хрен с ними, что они врут и пabiaют карманы, особо не обедеем. Будем делать дело, и все само, как-то там... А видишь, как вышло: дураки, которые хотели дело делать, все здесь. Тысячи, тысячи людей! А миллионы, они пальцем не шевельнули нам помочь. И правильно — кто мы для них? Те же марсиане. Чужие. Не всех, конечно, дураков посадили, и на воле хватает, а тюрьма по ним плачет.

— Тут вот какое дело, — говорит Пахом. — Они всем мозги запудрили... Первым раз, что ли? Кого мы только не обманывали! Их только ленивый не обманет, зажались, зажирили. Я Запад имею в виду. А почему, думаешь? Они *хотят*, чтоб их надули, им так легче, лишь бы спать сладко, а что будет завтра — им про то думать беспокойно. Тут знак другой, а смысл тот же. Такие же умники, как наши. Но разве мы от того выиграем, хоть и обманем? Ни хрена мы не выиграем, все уйдет в слова, в брехню, в хвастовство. Ты знаешь, что такое общественный продукт?.. Я не ученый, а так тебе скажу. Нас, считай, триста миллионов, шестьсот миллионов рук... Вот я и думал — какая сила! Но как ты заставишь эти руки работать? Под пулеметами не работают, косят... Жрать надо, понятно. Любому мужику нужна пайка. Для себя, для бабы, для детей. Вот он и забьет гвоздь — за пайку. Но разве от того гвоздя чего построишь, в масштабе страны, я имею в виду? Надо десять гвоздей набить, тогда сдвинется, пойдет дело. И сила на то есть, и время, и хватки не занимать. Но чтоб мужик забил *для них* десять гвоздей? Да пошли они, пусть сами забивают! Как он им поверит, чем они нашего мужика застрашают или купит, чтоб он *захотел* на них работать?.. Семьдесят лет заливали страну кровью — материк, чуть не треть суши. Семьдесят лет унавоживали по той кровушке ложью — что на той земле вырастет? Ничего не растет. Я тебе рассказывал про отца — и его кровь там. Но я, видишь, каким дураком был — по делам и мука. Но чтоб мужик — а их миллионы — стал забивать им гвозди? Нет. Они тех обманут, кто обманутся хочет, кому есть что терять. А нам терять нечего, все забрали. А душу мужик не отдаст. Может, он того не понимает, не сказал себе, слова не нашел, а знает — только в том его спасение. Забил гвоздь, получил пайку — и прощайте. Слов наслушались, а дела нет. Ты мне прочитай из газеты хоть одно слово правды, чтоб там не было хитрости, чтоб я ему поверил, чтоб знал — для меня, не для диди, которому есть что терять, а потому страшно... Ладно, Вадим, хватит, — сказал Пахом. — Ты сам все знаешь не хуже меня. Осторожничай. Меня боишься?

— Тебя — нет, — сказал я.

— Я и перед тобой виноват, — сказал Пахом, — подставил. Не надо было тебе в семью... Такой гад... Хрен из Ташкента. Опять, как у них: знак другой, а... Нахвпал, а переварить не может. Думаешь, у него все забрали? Жизнь он спасает — не понял? Уже купил, не сомневайся. За чужой счет. Всех заложил, кого смог, а здесь доравтывает. Через день на вызов. Не один он тут, гляди лучше. А я и глядеть не могу. Липкий, грязный... Видал, что он в сортире делает? Геморрой у него. А потом — нам сало? Режет и кроит...

— Что с тобой, Пахом? На людей кидаешься...

— На каких людей? Да я б его...

Ночью меня разбудил душераздирающий крик. Я вылез из матрасовки. Только Неопознанный и Коротышка на шконках, остальные за дубком. Играют.

— Что такое? — спрашиваю.

— У соседей, — сказал Петр Петрович. — Постучи в кормушку, Валька. Что там? Красавчик жмет на «клопа».

В коридоре голоса, топот... Кормушка брякнула. Красавчик сунул в нее голову.

— Чего надо? — спрашивают из коридора.

— Валидола, — говорит Красавчик, — тут у нас...

— Я тебе накидаю валидола! — кормушка захлопнулась.

— Иа хаты... Напротив нас. Потащили...

Красавчик прижался ухом к кормушке.

— Точно, жмурик. Удавился, что ли?.. Откачают и в карцер.

Пахом пролез ко мне, сел на шконку. Курит.

— Чего не спишь? — спрашиваю.

— Вот и я так, Вадим... Я не пойду на зону. Если будет приговор... Мокрое полотенце — и под шконку. Хорошо бы кто свой рядом. Прикроет...

Игра за дубком продолжается: Миша с Муратом — в шахматы. Петр Петрович с Валентином — в шашки.

— Как ты сало режешь, гад?! — кричит рядом Пахом.

Глаза под очками бешеные, стучит кулаком.

— Ты погляди, Вадим, как кроит, сука!

— Спятил с горя? — говорит Миша.

По виду спокойный, а побледнел.

— Все, — говорит Пахом, — сыт, накормил. И друга подставил. Ты бы руки мыл, когда в жопе ковыряешься. Нет у нас больше семьи — понял?

— Мы не неволим, — говорит Миша. — А ты, Гера?

Мурата он не спрашивает.

— И-не знаю, — тянет Гера. — Нет, и с... Пахомом.

— Ну и благодарим. Верно, Мурат?

Мурат молчит. Розовеет, как красна девица.

И Петр Петрович молчит. Валентин порывается что-то сказать, Петр Петрович кладет ему руку на плечо.

— Проколешься, Пахом, — говорит Миша, — пожалеешь.

— Ты меня не пугай, — Пахом вот-вот кинется на него. — За тебя, что ли, буду держаться? Мне с тобой и говорить западло, не то чтоб есть... Что скажешь, Вадим?

— По мне, и семьи не надо. Девять человек в хате. Какая еще семья?

— Что ж ты, писатель, с некрофилом будешь хавать, с петухом? — спрашивает Миша.

— У меня чина такого нет — людей делить.

— Во как! А ты, Петрович? — говорит Миша.

— Зачем меня спрашиваешь? Или я на твоё сало гляжу?..

Полный бред. Три семьи за дубком. Коротышка на своей шконке, у сортира. Неопознанный Саня валнется нааерху. Нежилая камера. Мертвая.

Утром Миша уходит на вызов. Валентин опять вяжется к Гере, ломает руки Мурату... Нет, тут я не вытяну.

Миша вернулся быстро, пролез к себе, разложил на шконке свежие газеты, сигареты с фильтром...

— Видишь? — говорит Пахом. — Понял?.. Завтра меня выкинут. Договорился... Ладно, пролетели. Давай в «мандавошку»? Боря оставил тебе карту?

— Скупаешь? — спрашиваю.

— Хорошо было. Жили, терлись друг об друга...

Утром, как по писаному, брякнула кормушка:

— Костров! С вещами.

— Во как, — сказал Пахом, — и не стесняется, гад, хотя бы выждал денек-другой для приличия... Терпеть будете?

Никто ему не ответил.

Он собрал вещи, натянул сапоги, телогрейку.

— Все, Вадим. Знаешь, где моих искать, расскажешь...

Дверь за Пахомом грохнула.

Пытаюсь приручить Мурата. Самый тут симпатичный, хотя и шестерка у Миши. Студент, приехал из Самарканда. Отец купил любимому сыну золотой аттестат, устроил в Москве в институт культуры, снял отдельную квартиру; деньги, посылки, бухарские халаты... Парень загулял — долго ли в Москве да при таких возможностях! И попался по-глупому, дружки подставили. Потом его потащили по камерам. В одной ему едва не выломали золотой зуб, в другой... Он и в карцере побывал, намыкался. Миша его сразу пригрозил, подкармливал — свой, узбеценок, на всякий случай. Славный мальчишка, а без царя в голове. Целые дни рисует интерьеры в будущем своем доме: мебель, магнитофон, телевизор, видео, бар... Книг не читает, а институте он только девчонок перебирал... Но с ним хоть поболтать можно.

— Расскажи про Самарканд, Мурат!

— Хорошо у нас. Красиво. Горы, тепло, все растет, а... Скучно. Шашлык, вино, любые фрукты, у отца денег полный карман — чего хочешь. После тюрьмы я бы хотел домой. Отогреться, поесть, а через месяц, через два... Не жить мне там. Как и вернуться — увижу отца?.. К нему все с уважением, а я... в тюрьме. У нас младший сын — наследник. Я — младший. Погубил отца.

— Почему же скучно? Что такое... скучно?

— Не знаешь?.. Скучно, когда нет чего хочешь.

— А чего ты хочешь?

— Чтоб красиво, чтоб девочки, чтоб...

— У тебя это все было.

— Было... А я хочу всегда. И не как у нас дома. Как в Москве! В Москве никогда не скучно.

— Но за это надо платить?
 — Заплачу, — говорит Мурат. — У нас деньги не переводятся. И советской власти нет. Там возьму, сюда приеду.
 — Ты же говоришь, перед отцом стыдно? Разве ты деньгами платил — отцом расплатился!
 — Я и не хочу туда, не останусь. Скучно. А у вас... хороший город. Большой. Все есть. Чего захочешь — бери.

— Эй, Нефедыч! А ну, вставай.
 Красавчик-Валентин лежит на шконке, задрал поги, ему тоже, видать... скучно. Он с краю, у двери, а Коротышка — у другой стены, возле сортира.
 Коротышка встает.
 — Давай к кормушке, — командует Валентин, — рылом к хате. Докладывай, Нефедыч, не все в курсе, а всем надо. Кто такой, с чем тебя, падлу, хватают?.. Чего молчишь?
 Коротышка моргает мутными глазами в белых ресницах, на мятном лице откровенный страх.
 — Сперва разминка, — распоряжается Валентин, — ты у нас спортсмен, в натуре, так? Постой-ка на голове.
 Коротышка засучил рукава, руки у него длинные, жилистые. Ухнул и перевернулся, встал на голову, дрыгнул короткими ножками, вытянулся и замер.
 — Сила!.. Стой. Докладывай. Фамилия, статья...
 — Нефедов... — говорит с натугой Коротышка, лицо налилось кровью. — Павел Гермаинович... статья сто вторая...
 — Вертайся! — командует Валентин. — Какая ж у тебя сто вторая? Все рассказывай. По порядку, как дело было?
 — Было и было... — голос у него неожиданно тонкий, писклявый. — Мать говорит, сходи к тете Паше, материна сослуживца, розетку ей надо поставить. Пошел, чего не пойти. Она на Октябрьском поле, далеко...
 — Какое далеко, считай, центр...
 — Не центр, а мимо из Чертанова. Поехал...
 — А ты можешь — розетку?
 — Я электриком в ЖЭКе. Мое дело. Всех делов на полчаса, с проводкой.
 — Молоток! И за то тебе сто вторая — за розетку? Или что ты ей поставил? Ты с кем говоришь, Нефедыч, с прокурором?
 Коротышка затравленно глядит на камеру.
 — Зачем тебе?
 — Чего?.. Зачем? Ах ты пес! Тебя просить надо?
 — Не за розетку, — Коротышка вздыхает. — Она мне бутылку поставила. Красного. Я белое не пью, а красное уважаю. Она не пьет, тетя Паша. Выпил, долго ли? Гляжу, телевизор... Новый купила. Для него и розетка. А на телевизоре антенна. Усы. Комнатная. Я ее замотал в тряпку и пошел...
 — Антенну?
 — Антенну.
 — Куда ж ты ее понес?
 — Домой. Телевизор есть, а антенны нет. Нам надо.
 — А она тебе дала?
 — В том и дело. Я, говорит, себе купила. А нам?.. А где ее достанешь?.. Я ей объяснил, как тебе, а она пихаться... Я ее этими... плоскогубцами по башке. Разок ударил, она повалилась. Гляжу, вроде, неживая. Померла. Я ее в эту... ванную затащил, все с нее содрал и воду напустил. Вроде, потопла.
 — Горячую пустил или холодную?
 — Чего?
 — Какую воду пускал, спрашиваю?
 — Не помню, мало до верха не дошла. Закрыв кран и ушел.
 — С антенной?
 — Ну. Зачем она не отдавала?
 — А дальше что?
 — Мужик попался. Недалеко от ее дома. Продай, говорит, да продай. Привязался. Я и продал.
 — Сколько взял?
 — Червонец.
 — Что ж дешево? Говоришь, достать нельзя?
 — У него не было. Червонец, говорит, один.
 — Что с червонцем сделал?
 — Вина купил. Бутылку. Красного. Матери осталось.
 — А дальше что?

— Тебе зачем... дальше?
 — Давай, давай, Нефедыч. Чистосердечную. Не вилай. Знаешь, что будет, если скроешь?
 — Знаю, — говорит Коротышка. — Я к ней опять пошел, к тете Паше. На другой день. Телевизор у нее остался. Новый. А ей теперь зачем? Тем более, без антенны?
 — Ты ж продал антенну?
 — Продал, а телевизор остался. Зачем ему стоять без дела?.. Пошел, открыл дверь...
 — У тебя ключ, что ли?
 — Нет, у меня ножик. Я любую дверь открою.
 — Ну открыл — и чего?
 — Чего-чего! Взял телевизор, замотал в скатерть... Дай, думаю, погляжу, может, плавает?.. Зажег свет, а вода ушла. Сухо. Она лежит, как живая, вроде, спит...
 — И что?
 — Голая она, без ничего...
 Мерзкая ухмылка скользит по жеванному лицу Коротышки:
 — Ну, у меня... аппетит проснулся, я ее...
 — Хватит, Валентин, — не выдерживаю я, — оставь его!
 — Писатель?! — вскидывается Валентин. — Ты не в богадельне, в тюрьме. Или думаешь, мы кто такие?.. Продолжай, Нефедыч. Все, выкладывай. Что дальше было?
 — Ничего не было. Мент возле метро: откуда несешь, где взял?.. Чего я ему скажу? Вот телевизор, вот я... Он не слушает, не верит. Повязали и... к тете Паше.
 — Ладно, — говорит Валентин. — Поверим тебе. Двигай сюда. Будешь мне сапоги чистить.
 Коротышка берет сапоги, несет к умывальнику.
 — Чем будешь чистить?
 — Тряпкой, чем еще?
 — Языком, падла! Языком вылизывай, понял меня!
 — А меня ты понял? — я встаю со шконки: хватит, не жить мне тут, пожил! — Оставь его в покое.
 Валентин лениво поднимается...
 — Ложись, — говорит Петр Петрович. — Утихни. Ну!
 Валентин глядит на Петра Петровича, ворчит под нос, укладывается на шконку.
 — А ты, парень, больно нервный, — говорит мне Петр Петрович, — не перегрейся. Он верно тебе сказал, тут тюрьма...

Как только Нахома увели, Петр Петрович стал ко мне особо внимательным. Без навязчивости, но цель несомненная — сблизиться. Играем в шахматы, о том, о сем. Но это первый разговор напрямую.
 — Надо его отсюда выкидывать, — говорит Петр Петрович.
 — Кого?
 — Засранца ташкентского. Глядеть тошно. Твой кореш сразу разглядел. Зачем нам?
 — Мне и без него тошно.
 — Еще кой-кого... Почистить. Если хочешь знать, самый опасный не он. Дошевка. Хуже всех мой... комсомолец.
 — Валентин?
 — Угу. Таких бойся, от них самая беда. И в тюрьме, и на зоне. Пока его обломают, он столько наворотит... С малолетки ушел — чему он там научился? Дома у него — залейся, а потому никак не врубится, кто чего стоит. И себе сам назначил цену. Высокую. Таких надо давить, но с умом... И этого ублюдка уберем.
 — Образцовую хату подбираешь?
 — Зачем мне, как говорится, лишние переживания? Мне ладно, я привычный, а ты дергаешься... У тебя, парень, скоро... большие изменения.
 — Почему ты решил?
 — Понимаю кой-чего.
 Вечером его потянули на вызов. Время было неурочное.
 — Куда это тебя? — удивился я.
 — К адвокату. Недолго осталось.
 — Закрываешь дело?
 — Я его давно закрыл. Тянут.
 — А что за адвокат — свой или казенный?
 — Я с ним не первый раз.
 — Можешь попросить... позвонить мне домой?
 Он внимательно посмотрел на меня.
 — Я с ним сперва перетру...

Утром на вызов ушел Миша.
 — Ну, деловая хата, — подумал я вслух. — Министерство юстиции...
 Гера рядом завожился, закашлялся и пробурчал:
 — Хотя бы обоих увели.
 Я, как всегда, выходит, последним соображаю.
 Вернулся Миша, довольный, опять принес свежие газеты и сигареты с фильтром.
 После конфликта с Пахомом первый раз обратился ко мне:
 — Хочешь «Литературку»? Свежая.
 Складывает барахло. Мешок у него здоровый. Год сидит, набралось.
 — Инвентаризация? — спрашиваю.
 — Тюрьма, порядок, первое дело.
 Еще через час стукнула кормушка:
 — Катунин, с вещами!
 Мише и собираться не надо — все сложено.
 Я поглядел на Петра Петровича. Спит, закрыл лицо полотенцем.
 Первый, подумал я.
 Вечером вытащили Коротышку. У него совсем ничего нет. Скатал матрас, взял в руку миску и засеменил к двери.
 — Смотри, если кому дашь, убью! — крикнул Валентин.
 Двое, думаю, кто третий?
 Валентин лежит теперь на месте Миши, у окна, рядом Мурат, спустился, дурак, вниз. Валентин уговорил и нещадно его мучает. Только и слышно: «Пой, гад!..», «Повторяй за мной! Я...» Господи, прошу я, пусть третьим будет он...
 Утром за ним пришли.
 Такого я еще не видел: Валентин заметался по камере, кричит, размахивает руками...
 — Кто меня сдал?! Ну, дождетесь... Нефедыч?! Ну, если Нефедыч!.. Убью, убью!..
 А... Вон кто — Ташкент!.. Петрович, скажи, неужели на общак?
 — У Геры спроси, — сказал Петр Петрович.
 Валентин согнулся, взял мешок и медленно, шаркая, вышел из камеры.

Чистая дьявольщина плывет над камерой, вползает в душу, дергает каждого и каждый отвечает — сам идет навстречу, бежит навстречу, пытается спрятаться, скрыться — куда? Где тут спрячешься? Одному скучно, другому страшно, третий ищет выгоду, четвертый — мало ли что, на всякий случай, пятый — как бы не было хуже, шестой — перетопчемся! Седьмой... Душно. И сил больше нет.

— Хорошо в тюрьме! — слышу я Петра Петровича. — И воздух чистый! Давай, Вадим, в шахматки...
 И тут я вздрагиваю: сверху спускается Неопознанный, Саня.
 Когда-то, видно, здоровенный, толстый, сейчас обмякший, давно не бритый, опухший, свалявшиеся, спутанные волосы... Страховидный мужик. Лет под сорок.
 — Что с тобой, Саня, — говорит Петр Петрович, — не иначе снег пойдет посреди лета? Или еще чего.
 — Сам сказал, воздух чистый. Продышусь маленько.
 Он садится к столу, подвинул миску с оставшейся от обеда, застывшей кашей.
 — Мурат! — говорит Саня. — Не в службу, а в дружбу, достань мою пайку из телевизора. Не знаю, где там у вас чье.
 Разломил пайку, круто посолил...
 — Верно говоришь, Петрович — хорошо в тюрьме!
 — Живой, — одобрительно кивает Петр Петрович. — Ежели оклемался, нарисовал бы чего путевое, а то сарай сараем. Хоть бабу голую.
 — Я не по этому делу, — говорит Саня, рот набит, зубы у него белые, крепкие.
 — А ты по какому?
 — Тебя могу нарисовать. Только не обижайся... Мурат, если ты ко мне такой добрый, дай тетрадь — во-о-я, с краю.
 В тетради стопка листов. Пейзаж: дворик на крыше, деревцо возле трубы... Портреты, портреты... Наброски. Профессионально. Смело... А вот и наши... Пахом, Гера...
 — А это кто? — спрашиваю.
 — Не узнаешь?.. Я сперва думал, ты с ним снюхаешься. У меня серия — «желудки» называется. Личности нет, одни желудки! Видал, как он жрет? Я потому не слезал, лучше не глядеть...
 Пожалуй, Мишина суть. Она у него именно в желудке.
 — Ты у кого учился, Саня?
 — Училище кончил. Театральный художник.

— Я не о том. Кто твои учителя?
 — Учителя?
 — Ну, скажем... Сезан, Ван Гог или... Суриков?
 У него загораются глаза, сквозь желтизну, густую бурую щетину брызнула краска.
 — Я тут полгода... Первый раз слышу человеческие слова... Сезан...
 Глядит на меня удивленно и неожиданно светло, во весь белозубый рот, улыбается:
 — Не Сезан. Скорей, Лентулов. Или... Фальк, может быть.

6

«ЧТО ХОЧУ, ТО ДЕЛАЮ

Пьеса в трех актах

Камера на восемнадцать человек. Два окна — «решки». Между ними шкаф — «телевизор». Стены покрашены коричневой краской. У двух стен двухэтажные железные нары — «шконки». Посреди камеры — стол, «дубок». Сортир слева от двери — ватерклозет, завешанный тряпкой на завязках. Справа от двери — вешалка. Рядом глазок — «волчок». И над сортиром волчок. Железная дверь с вырезанной в ней «кормушкой» украшена вбитыми в железо болтами — шесть болтов в ряд, шесть рядов, образующих правильную геометрическую фигуру.

Нижние шконки застелены: матрасы, одеяла, подушки. Верхние накрыты пожелтевшими газетами.

В камере шесть человек. Пятеро лежат внизу, шестой наверху.

Петр Петрович — под пятьдесят, невысокий, крепкий, седоватый — вор в законе.

Миша — сорок два года, еврей из Ташкента, сидит уже год, ждет суда, несомненно «кумовский».

Валентин — двадцать пять лет, сидит за изнасилование, человек неуправляемый.

Мурат — двадцать лет, узбек из Самарканда, студент, запутали дружки, сидит за мелкое воровство.

Гера — сорок лет, продавец-мясник, сидит за взятку, робкий, недалекий.

Саня — тридцать восемь лет, художник, сто вторая статья, убил мать.

И еще:

Соня — девятнадцать лет.

Шестеро ее сокамерниц.

(Герои раскрываются, естественно, в диалогах.)

Акт первый. ПРИКИДКА

В камере новый «пассажир» — Валентин. Он только пришел, но уже через час вся камера, прежде тихая, бурлит. Валентин — расторможенный, распушенный, избалованный, неглупый. Красавец. Он сразу понимает «сюжет» камеры: скрытую силу П. П., прочное положение Миши. Вяжется к слабым — Гере и Мурату.
 Саня в жизни камеры никак не участвует. Лежит наверху.

Валентин: Скучно живете, урки! Дохлая камера. Что мы — неживые? Посадили — пропали? В бардаке — вот где жизнь! А мы бардак не спячем?

Рядом, за стеной, женская камера. Первым делом Валентин пытается наладить с ней связь: перестукивается. Вечером закидывает «коня» — пошла почта! «Девочки» включаются активно, им тоже скучно, они будто ждали сигнала — наконец-то! Ситуация вспыхивает пожаром. Пошли «сеансы» — один мерзее другого, письма читают вслух, камера гогочет, всю ночь идет гульба «всухую».

Утром Валентин делает фантастическое предложение: пробиться к соседкам — всего одна стена! Он так настырен, убедителен, азартен — с ним соглашаются. П. П. пассивен, Миша уклончив, Мурат полностью во власти Валентина, смотрит ему в рот, Гера на подхвате.

Саня лежит наверху, как бы отсутствует.

Отламывают ручку от бачка — «восьмерки», делают нож. Работают ночью — под шконкой, мусор высыпают в сортир. Все невероятно возбуждены. «Девочки» ждут, активно сочувствуют.

Акт второй. РАСКРУТКА

Ночь. Вынут кирпич. Пробились!

Валентин: Здравствуйте, девочки-воровки!

«Девочки» кидают сигареты, им — конфеты, яблоки. Треп!.. Валентин — герой новой ситуации. Принимается решение: расширить отверстие.

В соседней камере — семеро. Пожилая «дама», остальные — от восемнадцати до тридцати.

Лихорадка в камере доходит до степени кипения.

Ночь. Вынуто еще три кирпича. Первым лезет Валентин, за ним Мурат. Возвращаются через час и до утра камера слушает их невероятные рассказы. «Девочки» экстра-класса — валютчицы, воровки, убийцы. На старую гримзу внимания никто не обращает.

М у р а т: Ну бабы! Урюк...

Следующей ночью в камере появляются три «девочки». Партнер у них, кроме Валентина и Мурата — П. П. Сцена — сентиментально-омерзительная.

Следующая ночь. Пятеро «подружек».

П. П. уламывает Мишу — его необходимо «повязать». Гера давно согласен. Сцена еще более отвратительная.

Заходит разговор о шестой сокамернице. Она наотрез отказалась от участия в «развлекениях». Валентин ею особенно интересуется.

В а л е н т и н: Девочка в норме... Сонька — золотая ручка!

«Подружки» против нее: гордячка, недотрога, блядь.

Следующей ночью Валентин ее заманивает: «Бонься?» — «Я никого не боюсь!..» Она свободно ходит по камере, ей все и всё интересно. «Оставайся». — «Не хочу». — «А я хочу!» — «Я делаю только, что сама хочу... Кто там у вас наверху? Больной?..» — «Оставайся, не пожалеешь...» — «Я бы одна всем вам дала, блядешек бы навсегда позабыли». — «Считай, столкнулись!» — «Надо иметь подход, мальчик...»

И тут Саня, который, как выяснилось, все видел и слышал, взрывается: «Коммунисты вы, а не урки! Все принадлежит всем — вот ваша идея! У вас ничего своего, в крапиве родились, все разменяли! Ублюдки...» — «Ты с какого... сорвался?» — спрашивает С о н я. «Кто ты такая?! — кричит Саня. — Отца-матери нет! Лица у тебя нет, одно... поганое гузно!..» — «У меня все чего надо, такие, как ты, душу отдадут, лишь бы я показала... А у тебя... что? Мать у тебя? Ты ж убил свою мать, паскуда!» — «Я себя убил», — говорит Саня. — Меня нет. Я мертвый!..»

Ночью, когда «десант» мужиков пролезает в соседнюю камеру, Соня приходит к Сане поговорить. Они говорят подолгу, все более свободно, рассказывают друг другу о себе. У Сонин статья сто пятнадцатая, часть вторая: «заведомое заражение другого лица венерической болезнью»; два месяца ее лечили в тюрьме, через месяц пойдет на этап, статья до трех лет... Однажды, заговорившись, она не успевает выскочить к поверке, Саня надел на нее свою меховую шапку, а пьяный с утра корпусной не заметил подмены.

Акт третий. ЭПИЛОГ

«Дама», оскорбленная, что «заявок» на нее так и не поступило, грозит сдать всю «малину». Решено несколько дней подождать, затанцевать, Миша обещает «уладить» по своим «каналам»: «даму» сплавят.

Именно в эти ночи Саня сблизается с Соней. Они разговаривают через дыру под шконкой. Их диалог — *главное* в пьесе. Убийца и блудница.

«Ты хорошо рисуешь, можешь делать деньги. Но... не понять, что это?» — «Я рисую себя». — «Себя? Это... ты?» — «Я рисую только себя...»

«Как ты мог это сделать?» — «Это не я, понимаешь?» — «Нет, не понимаю. Кто убил твою мать?» — «Ты думаешь, когда предложила спать с ними со всеми — это была ты?» — «А кто же? Я всегда делаю, что хочу. В том и жизнь. Делать, что хочешь». — «Жизнь в том, чтоб не делать того, что хочешь». — «Ты говоришь так, потому что мертвый. А я свободна. Я и в тюрьме свободна». — «Свободна в том, чтоб отказаться делать, что хочешь». — «А меня ты хочешь?» — «Н-не знаю. Я мертвый». — «Я про то и говорю. Мертвый не может быть свободным. Он труп. Потому ты меня и не хочешь». — «Ничего ты не знаешь. Что делает человека... трупом? Живым трупом? Он думает, что живой, а уже смердит. Но... мертвый может восстать. Вот в чем свобода. Если ему покажут, если он увидит себя... трупом. Увидит и задохнется от омерзения к себе. А ты себя не знаешь, не видала. Тебе не показали...» — «Не понять. Чокнутый ты... Что мне могут показать — меня? Кто мне покажет? Себя я знаю». — «Ты ничего не боишься?» — «Нет. Я и смерти не боюсь». — «Это не самое страшное... тебе бывало кого-нибудь жалко?» — «Старика. Я разделась, а он захлюпал. Не может». — «У тебя есть друзья?» — «Когда есть деньги, есть и друзья». — «Ты когда-нибудь... страдала?» — «А как же. Меня обокрал один педераст. Украл колготки и... А я тогда была пустая». — «Ты сейчас говоришь правду?» — «С какой стати? А ты разве сейчас не

врешь?» — «Мертвые не врут. Им не надо. Им ничего не надо». — «Зачем же ты со мной разговариваешь?» — «Я бы хотел тебе помочь». — «Зачем?» — «У тебя впереди жизнь, а у меня ее уже нет». — «Даже если ты, как говоришь... восстанешь?» — «Если это случится, то не здесь, а в другой жизни». — «Про это говорят в церкви. Ты в это веришь?» — «Да». — «Я бы тоже хотела, но не знаю как. Я могу все, что хочу, а... Как это у тебя получилось?» — «Я здесь полгода и полгода мне показывают... меня. Я... ненавижу себя». — «Мне тебя жалко. Как... того старика». — «А мне жалко тебя. Ты делаешь, что хочешь, он делает, что хочет. И все тут делают, чего хотят. Как это может быть?» — «Кто смелый, тот и получает». — «Не ты этого хочешь. И получаешь не ты». — «Кто ж тогда?» — «Что хочу, то делаю... Будете, как боги, сказал... Про это не рассказывать. Не объяснять. Сама поймешь». — «Когда?» — «Может, скоро, а может, нет. Как Бог решит...»

Следующей ночью, когда Саня уснул у себя наверху, Валентин с «девочками» втащили связанную Соню в камеру, раздели ее и распяли на шконке. Теперь вся камера «повязана» — все, кроме Саня.

«Дама», воспользовавшись отсутствием сокамерниц, бросила в кормушку записку.

В камеру врываются вертухай.

Саня, проснувшись от шума в коридоре, от крика Валентина: «Спалились!..», спрыгнул вниз раньше, чем распахнулась дверь. Он один возле Сони, остальные расползлись.

Дыра под шконкой открыта.

К о р п у с н о й. Кто это сделал?

С а н я: Я.

Саню уводят.

7

Еще одно утро, думаю я. Сколько их уже было здесь? Шестой месяц, почти шесть. Ближе к двумстам. Мало. Если посчитать срок, пусть три года, набегит за тысячу. В чем тягость такого утра, думаю я, одного из двухсот, из тысячи — в однообразии или... Вот-вот заблужит опостылевший гимн, небо брызнуло полосками сквозь «реснички», тянет прохладой, сколько разговоров, чтоб не закрывать окно, боясь в тюрьму воздуха, холодно им, какой холод летом, не убедись, кабы Петр Петрович неожиданно не поддержал, ни за что не дали б, дыши смрадом... В нем и тягость, думаю, не в однообразии еще одного такого утра, одного из двухсот, а в том, что знаю, стоит встать, наткнусь на внимательный, вприщур, глаз, следит за каждым движением, зачем ему, что можно скрыть в камере, все на просвет, а ждет, проколюсь, а мне не в чем, и придумать не могу, или и ему *скупно*, на что ему глядеть, не на стены, не в небо сквозь «реснички», это мне, салаге... Чужая душа — потемки, думаю, я и себя до конца не знаю... Что лучше тишины в такой камере, свежо, ветерок тянет от решки, а па общаке сейчас, и в такую рань, уже гвалт, дым клубами к потолку, а тут нас пятеро, хотя бы еще одно такое утро, вспомню, пожалею, потащат дальше, поднимут ли, опустят, а сегодня мой выигрыш, успею, пока спят, пока никого, пока я один, тихонько встать, зарядка, умыться, помолиться на светлые полосы сквозь «реснички», и коль успею, пока молчит соловей над дверью... Еще рано, ночи короткие, успею... Не опоздать! Спрыгнуть с платформы, через рельсы, по тропинке вдоль железной дороги, один поворот, второй, третий, до тупичка, повалившийся забор, сгнивший почтовый ящик... «Щаповы». Толкнуть калитку, по заросшей травой дорожке, крыльцо, лестница скрипит, гремит под каблуками, тише, осторожней, постучать негромко, не напугать...

— Слышь, что я надумал, — говорит рядом Гера, и он, значит, не спит, и он меня караулит, — у тебя срок подходит? А тебя не дергают, сечешь?

— Что — секу?

— Они тебя выпустят, слышь?

— С какого перепоя?

— Полгода у тебя, они дня не могут лишнего, было б продление, давно б знал, потянули, а тебя нет. Точно!

— Ладно тебе, они все могут.

— Как я раньше не подсказал, Пахом давал УПК, у него переписано в тетрадке — точно!.. Телефон запомни, позвони, как выйдешь, скажешь, тут я, а они меня тянут, чтоб я сдал Федотыча, им меня мало...

Дверь открывается медленно, скрипит... Стоит на пороге, щурится от света, разбудил, рано приехал, первой электричкой, пальцы придерживают халат у горла, нежный подбородок, теплые губы, а в глазах изумление, слезы — и все покатило: дверь, лестница, деревья, забор, тупичок, третий поворот, второй, первый, рельсы, платформа, поезд, закинула голову, нежная шея, горят слезы в опущенных густых ресницах...

— Мусор вы-но-сит! Заспались, ворье!..

Сломал утро, так и надо, упустил одно из двухсот, из тысячи, не вернуть, пожалею... Полгода, сказал он, верно, осталась неделя. Да знал я, помнил, а зачем думать — продлят. Но... должны вызвать, оповестить, положено... «Скоро... изменения», — сказал Петр Петрович. Зря не скажет — чтоб проникся к нему, поверил, следит за каждым шагом, отрабатывает, за каждый мой шаг ему...

За каждый шаг и за каждую мысль, думаю. Вот я и получил сейчас за то, что сорвался, хотя запретил себе, знаю — нельзя, но... дразнит, подбрасывает: похоть, страсть, любовь — что правда, что на самом деле, а что я хочу назвать... Называю! Обман или самообман? Дальтонизм — органика или внушение, самовнушение, путать черное с белым, зеленое с бирюзовым, а глаза у нее меняют цвет: зеленые — среди деревьев, в путанице ветвей и листьев; когда она глядит в небо — голубые, а в то серое утро плеснули серым... Значит, серое утро — не сон, явь? Правда. А за нее надо платить, расплачиваться, цена настоящая, не выдуманная, реальность и цена реальная, не берется с потолка, в зависимости от ситуации в ЦК или ЧК, конвертируемая валюта, и, как настоящие деньги, она или есть, или ее нет — по карману мне такая правда? Правда есть всегда, думаю, не мне она принадлежит и не тебе, не я и не ты ее открываем, мы можем ее принять или от нее отказаться, в том и наша свобода, она присуща нам с рождения, подарена Богом, ею не могут благодетельствовать в зависимости от соображений высоких ли, низких, экономических или политических; на что жаловаться, если сам отдал, кто мог отнять у меня, у тебя, у нас свободу, правду, отнять, извратить, использовать, сами согласились, сами отдали, разменяли, извратили — пеняй на себя. Как и ложь, думаю, только в нас самих: страшно, еще не пора, преждевременно, а потому промолчать, затаяться, затухнуть, сохранить в себе, зарыть в землю, а придет срок — вот она, сберег, возьмите, чуть припахла землей... Правда? Нет ее, улетела, погляди при свете дня, перепачкал, заляпал землей... Своей собственной ложью заляпал — страхом, корыстью, расчетом. Разве это правда? Погибель. Он верно сказал — шесть ходок, большой университет, такой пройти, все будешь знать о себе и о мире, первый раз не постичь, о себе чуть-чуть, справился со страхом, не мало, конечно, но... только начало премудрости. Верно сказал — здесь свобода: за решкой, за железной дверью с мерзкой геометрией, разве я был свободным под открытым небом, в путанице переулков, на заросших травой дорожках, на скрипучей лестнице, глядя в залитые слезами глаза, что меня тащило — первая электричка, платформа, рельсы, поворот, еще поворот, еще, дорожка, лестница, дверь — вспухшие от сна губы, руки, пальцы у... Свобода или рабство? Не мог отказаться, а знал — нельзя. Решка, железная дверь — разве они мешают остаться собой, не принять, не впустить в себя... Текущие, переменчивые глаза, вбирают и небо, и зелень, и серое утро... Утро? Значит, было утро?.. Вот и правда, думаю я, вот и... свобода. Вот и моя ложь — вот оно... возмездие.

Она глядит на меня — не я на нее, она, камера — черными стенами, решкой, вбитыми, вмятыми в корявое железо двери болтами: шесть рядов по шесть болтов в каждом — тридцать шесть глаз. И два волчка. Глядят из коридора. И здесь глядят, вприщур. Не спрячешься, не скряться... Что мне скрывать — себя? Себя ладно, себя не жалко, себя я и должен дотянуть, дожать, выскрести, чтоб ничего не осталось. Со мной все понятно, но есть... имена, они всплывают в памяти, в сознании — затереть навсегда, выжечь — с первого дня знал, и думать запрещал! Ничего у меня нет, не было, никого не знаю, только я, я один со своим дерьмом, больше ничего, никого! Для них каждое имя — дело. Книжки, рукописи — сколько ушло дымом? Пахом сказал, семьдесят лет заливали землю кровью, унавоживали ложью, но ведь и... пеплом — про то он не думал, не знает, не надо ему! Никогда не вернуть книжки, рукописи, стихи, мысли — ушли в землю. Может, ими и... прорастет — болую, отчаянием, страданием, мужеством, чистотой, высотой горения духа, правдой, Истиной... Что я, вчера пришел сюда? Шесть месяцев катают, знаю!.. Раскрутка! Бороны рассказы, в первые недели, на этой вот шконке и рассказывалось: укол в вену, вливание — и тебя понесет, потом сам не вспомнишь, а не удержат, все выложишь... Пугал? Его дело, его проблемы, а я и тогда не был один, помнил, знал: когда же поведут вас, не заботьтесь, как и что отвечать, как и что говорить, не оставляю тебя и не покину тебя — что сделает тебе человек?.. Но если так — только так! — то и это мое искушение — для меня благо? Не зря попущено кружиться в собственной мерзости: чтоб не вспоминать, не думать, забить в себе, выжечь... Так лучше, так для меня важнее, спасительней, я такой же, как и они, мы вместе, вот моя судьба: и к злодеям причтен.

— Чего маешься, парень? Опять гонишь?

Петр Петрович. Сегодня с утра смирный, тихий. Очень внимательный.

— Чего ты вчера... в тетрадке, — говорит, — к суду готовишься?

— Чтоб не забыть, затрется. У меня статья... умственная.

— Кабы у тебя другой не было.

— Какой другой?

— Несolidная твоя статья. Ты малый серьезный, вон как с тобой носятся, а статья для тебя... стыдная.

— Кому стыдно?

— До трех лет! Кабы так, тебя б давно оприходовали, а они, видишь, держут.

— Ну и что?

— Другую вмажут.

— Сто семнадцатую?

— Чего захотел. А шестьдесят четвертую не желаешь?

— Сам придумал? — спрашиваю.

Глядит на меня вприщур, ох, не простой мужик, битый, верченый... Что ж так дешево прокалывается — *выкупается!*

— Знаешь такую статью? — спрашивает.

— Слыхал, мне не по чину.

— Скромный ты у нас. А я почитал между делом, очень подходящая. А неподходящая — натянута. Я в квартиры заглядывал из любопытства — разве я родине изменял? С моралью не все ладно. Своя, как говорится, кухня. Нашенская. А у тебя вон чего... «Оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР...»

— Я тут с какого боку?

— Иностранные господа — ты с ними Вась-Вась, а каждый из них — кто?

Глядит на меня вприщур, ждет. Подожди, и мне не к спеху. Боря был поумней.

— Думаешь, не дадут три года, расстреляют?

— Расстрелять не расстреляют, а конфискация в статье предусматривается. Вот они на что тебя тянут.

— Жалко, мы с тобой кореша, — говорю, — заглянул бы ко мне в квартиру по ихней наколке, почистил, им бы меньше досталось.

— Есть чего?

— Эх, Петрович, я про сапоги, а ты про пироги...

Как же мне могло залететь в голову, что они оставят меня в покое? Так и буду переходить из рук в руки, от одного поумней, к другому — попроще, а цель одна — дотянуть, размазать, не выпускать из виду, сорвусь, не сегодня-завтра, не выдержу, через месяц, через шесть — зачем им торопиться?! У каждого своя крыса, думаю, ее не может не быть. А собственная душевная каша — не крыса? Проколюсь, сам себя *выкуплю!* Потому они не спешат, кончится срок — продлят, дождутся, чего хотят: затрепыхался — готов!

Простота, думаю, заглянул бы ко мне в квартиру, успокоился... Неужто они придумали? Поняли, расстрелом едва ли напугают, соображу, что липа, не то время, грубовато, кабы сперва размазали, всему бы поверил, на все согласен... Да и как не согласиться — миллионы не верили, когда им предлагали матушку 58-ю! Разум не воспринимал, логика не вмещала — за что? Липа, шантаж! Но ведь... убедили. Как не убедиться, когда правда — вне разума, помимо логики и здравого смысла. Тогда нельзя было не поверить, а сегодня — сначала размазать, 64-я — не 58-я, другой опыт. Пока не вышло со мной, да и не очень старались, нечем хвастаться; вяло, незаинтересованно, как на колхозном поле. Вот они и придумали: попробуем *конфискацию*... Прокололись. И думать об этом не стоит. Нелепость.

Пожалуй, с Герой следует поближе, думаю, чтоб перебить себя, выскочить из закручивающего меня колеса. Гера... И робость его, и беззащитность... Кто помирней, тот и виноват. Волки всегда выигрывают. В их волчьей игре. Слабый человек, простоватый, но ведь и трезвость в нем, а надо ж, как запугали мужика, а может, сам полез, куда кроликам не положено? Кого у нас больше — таких кроликов, или тех, кто хоть кого схарчит, только падаи на зуб? Жалко, нет статистики, кроликов, пожалуй, больше. Но разве Богу нужна статистика? Каждая душа стоит целого мира, кролик ли он, волк...

— Ты не печалься, Гера, — говорю, — тут не конец, даже не середина, самое начало. Нам все на пользу — и тюрьма, и Валентин-Красавчик.

— Научили, верно.

— А так бы присох в магазине, ни себя не знал, ни того, чем мир мазан.

— Думаешь, выйдем?

— А как же. Для того и учат.

— Я давно собирался уехать, — говорит Гера. — У меня бабка в деревне. Бабка-не бабка, тетка. Под Переславлем-Залесским. На земле жить — вот чего хотел. На себя заработаю, а другого не надо.

— Верно! Если чужого не надо, своего Он тебе всегда даст.

— Кто... даст?

— Господь Бог. У Него всего много. И деревни, и огороды. И куры-животина. И бабку-тетку найдет. Чужого не захочешь, а чего для души надо — все даст.

— Так считаешь?

— Я в это верую. Знаю — так и будет. Попросишь — получишь. Что тебе на самом деле нужно. Для тебя, для души.

— Я, Вадим, видел, как ты... дернулся, когда я рассказывал про деньги... В крематории. Думаешь, не знаю, что человек не... говядина? Разве в той глине — душа?

— Тебя для того и выдернули оттуда, чтоб понял.

— Тяжелая наука, — говорит Гера.

— А как ты думал? Срок большой-малый — только срок, а у тебя впереди...

— Расскажи, Вадим! Мне надо знать, не ошибиться!..

Какие простые слова, думаю, а до поры — мимо! Но стоит размять человека, любого человека, отнять у него лишнее, ненужное, только мешающее, путающее ноги-руки, сознание, душу, сердце — и он уже готов понять слова, от которых еще вчера отмахивался. Готов впустить в себя, им открыться... Что же они с нами сделали, чего нас лишили!.. Опять они, будто не мы сами...

— У меня к тебе дело, Вадим. Погляди свежим глазом, как, вроде, нячего не знал. Да ты и на самом деле не знаешь? Первые месяцы я тут... Мертвый — понимаешь? Мне было все равно. А сейчас думаю, даже если не докажу, если замотают, убьют — совесть будет чистая. Перед собой. Все, что мог, сделал. Ты понимаешь, в чем они меня?..

Побрился, глаза блестят, лихорадит его, а мужик здоровенный.

Листов двадцать с двух сторон исписал. Почерк крупный, не слишком грамотей...

— Ты прямо Илья Муромец, — говорю, — тот тоже лежал, лежал, а потом слез с печи, взял...

— Почитай, скажешь. Эта гидра страшней, чем у Ильи Муромца. Там двенадцать голов, а здесь сколько? И отрастают... Они меня так замотали, я уже не дергался. Понял, не вылезу. А когда услышал — на суде, что они говорят, поглядел на отца... Когда стал говорить... Я не думал, что смогу *говорить*! А видишь, услышали, отравили доследовать. После суда я три месяца думал, лежу наверху и каждую минуту разматываю — весь тот день, каждый шаг... Прочти, не хочу, чтоб заранее, как бы ничего не слышал...

— Ты мне скажи, Саня... Мы вдвоем. Ты... убивал мать?

Желтое лицо пошло красными пятнами, а глаза... Тень прошла, как облачко.

— Вон ты как меня... Не убивал. Я бы не мог. Прочти.

Жуткая повесть о... Мите Карамазове из Наро-Фоминска. Но в Скотопригоньевске Митя сам все запутал и всех запутал, каждый факт — палка о двух концах. А через сто лет кому нужен второй конец у палки — один есть и аа глаза хватит, зачем искать, все ясно! И Фетюковича нету, извели Фетюковичей за семьдесят последних лет. И присяжных нет, кивалы вместо присяжных, они все скупают. И телефон в кабинете у судьи. Начальству в Наро-Фоминске видней, кто преступник, а кто нет. И был бы Фетюкович — неужто станут слушать? Тоже невидаль — Фетюкович!.. Но зачем им Саня, с ним что аа счеты?

Пожалуй, не повесть, роман о времени. И начало ему чуть не сорок лет назад, когда отец героя вернулся с войны, родился Саня... Намыкалась Аграфена Тихоновна в прифронтовом, послевоенном Наро-Фоминске, отцвела, высохла, скучно с ней bravому офицеру; не большой город Наро-Фоминск, а нашлась помоложе, веселей, богаче. Въехал отец героя в просторный дом, стоит на краю города, на развилке: большая усадьба, сад-огород, в самый раз директору школы, а что с моралью, как говорит мой сокамерник, не все ладно, кого это когда останавливало?..

Зачем мне, думаю, тащить ниточку издалека? А Сане зачем? Тем более, какое дело суду до его корней-связей, разве там завязано, оттуда нож? Вот и кивала о том же...

Подняла Аграфена Тихоновна мальчонку, здоровенький, смышленный, кончил школу, поехал в Москву, художник. И нет ей дела до бывшего мужа с его садом-огородом, с войны дождалась, а тут не переждешь. И жизнь тяжелая: не дом — избенка, как не в городе, огородик — лук-огурцы, картошки своей на зиму не хватает, а паренек, даром что смышленный, трудный. А разве бывает легким, если художник? Высокое искусство, честолюбие, водка — а денег нет. То приезжал по субботам-воскресеньям, топориком помашет, молотком постучит, поправит, подтянет, а тут совсем вернулся, не светит ему Москва, а Москва никто не нужен. Поселился в старой баньке на огороде, ни за топор, ни за молоток не взялся; темновато, а ему света хватает. Замажет холст, перевернет на другую сторону. Снова перевернет — и на том же самом холсте. Пристроился в клубе: намалует рекламу, неделю пьет, а пропьется, за холст, за краски... Обычная история, классика. И чем дальше, тем реже за краски, чаще — за бутылку. Жениться надо парню, а кто пойдет за пьяницу, за нищего. Пропащий мужик.

Однажды постучался в баньку прохожий. Со своей выпивкой. Загуляли. Саня бегает в магазин, а Степа крошит огурцы на материнном огороде. А кто такой Степа, Сане не нужно — какое его дело? Первый раз пришел поздно ночью, на огонек; через неделю опять заавалился. Гуляли три дня. На четвертый приходит к Сане из клуба: новый фильм, давая рекламу. В самый раз получилось, пора кончать гуляние. А Степа мало. Мать плачет, иет сил думать о том, что происходит в баньке. Дотолковались:

купит Саня последнюю бутылку — на ней пошаташат. Саня бежит в магазин, оттуда в клуб, возвращается, выпили бутылку, утром Саня вылил на голову ведро воды, намалевал рекламу и пошел к матери.

А ее нет. Где ей быть? Дверь открыта. В магазин ушла? Подождал, походил по дому. И тут увидел: подпол, вроде, не так закрыт, крышка сдвинута, не вплотную. У них так не бывает. Открыл, спустился по лесенке...

Дальше Саня не помнит. Побежал по улице, кричит, рвет на себе волосы: в подполе мать — изрезана, залита кровью.

Взяли Саню, взяли Степу. Кто такой?.. А, старый анакомец! Известный человек, два раза оттянул сроки, жил неведомо где, скрывался от надзора, а за два дня до того, как появиться последний раз у Сани в баньке, нашли Степину мать — и тоже в подполе, и тоже изрезанная. На другой день Степа признается: свою мать он убил, денег не давала, а у нее были, нашел. А Аграфену Тихоновну они вместе с Саней. Тоже денег не давала. Надо похмелиться, а она не дает. Саня, мол, ударил, а Степа ему в руку нож.

Трудно поверить очевидной истине пинкертонам из Наро-Фоминска, Саню с детства знают, кореша: пьяница, верно, беадельник, знаем, но чтоб мать, Аграфену Тихоновну?.. Выпустили Саню. Он похоронил мать, справил поминки, а через неделю его снова взяли — и с концами.

Мрачная, пьяная история. Свидетелей нет. Два человека и труп. Один — одно, второй — другое.

А при чем тут отец, сад-огород?.. Стоит дом бывшего директора школы, а ныне пенсионера, на краю города, на развилке, сад-огород одним боком спускается к речушке, другим к оврагу. Хорошее место для уединения. А чуть подальше еще один дом — в два атажа, третий мансарда, веранда застекленная, веранда открытая, подомный гараж, службы. Хоаяин дома — советская власть в райцентре. Асфальтированное шоссе летит мимо сада-огорода, а к двухэтажному особняку не подъехать: речушка, овраг, сад-огород — не подобраться; объезд далеко, мост строить дорого, да и будет бить в глаза — шутка сказать, персояальный мост! Куда проще спрямить дорогу через сад-огород, залить асфальтом — прямо к подземному гаражу. Нормально. Потолковала советская власть с бывшим офицером, бывшим директором школы, ныне пенсионером. Ни в какую, он и говорить не желает: ни деньги ему не нужны, ни квартира в городской пятиэтажке. Еще, мол, раз придешь, спущу кобеля. Жили бы на проклятом Западе — поджечь, купить гангстеров, а у нас развитой социализм, не ихний распад. И тут судьба шлет подарок: сын бывшего директора школы родную мать зарезал! Под такое дело можно не только сад-огород скосырнуть — вон на партия, из города, не порти нам картину победившего социализма!

И заработала следственная машина. А что работать — все ясно: спился, связался с рецидивистом-изувером, тот во всем признался... А Саня бормочет, ошеломлен, раздавлен... Чем раздавлен — страхом наказания, его неотвратимостью, чем еще! И не слушают, что бормочет. Это уже не говоря о том, что истина следственная ли, судебная всегда относительна и не может быть абсолютной. На том и стоит наше правосудие. И правосознание, кстати. Не забыли открытия Вышинского, на нем воспитаны, вскормлены, выросли, возмужали — как забудешь, разве устарело?

Зарыли Саню. Но, видно, переборщили с «относительностью истины», как уж сляпал дело, если суд после трех дней *показательного* процесса отправил его на доследование, а Саню обратно в тюрьму? Редко такой брак в столь очевидном деле при полиом взаимопонимании с властями. Тебе же хуже, сказал Сане следовательно, так бы иатянули пятнадцать лет, а теперь разменяем, сам захотел... Но главная Санина победа не в доследовании — отец поддержал, поверил, вот в чем надежда, она и дает силы: не один, ему верят, потому он и опомнился на своей шконке, шаг аа шагом восстановил тот роковой день, уже не только аа себя, за мать борется, отца защищает. Вон на что замахнулся: истина ему нужна, не может она быть относительной, только абсолютной, требует настоящего следствия, объективного суда, для которого всякое сомнение — в пользу обвиняемого, для которого ничего нет выше принципа — одного невинного освободить важнее, чем осудить десять виноватых.

Но ато принципы, теории, они хороши а книжках, а тут реальность: Наро-Фоминск, правосудие, заквашенное на открытиях Вышинского, правосознание, для которого только властям принадлежит последнее слово в решении судьбы человека. На одной чаше весов теория и принципы, а на другой — пьянствовал, тунейдец, рецидивист-изувер с его чистосердечным признанием. И отец-гордец с садом-огородом... Нет вещественных доказательств? А кровь на Сане — не доказательство?

С той крови Саня и начал свою защиту. Малевал рекламу, напоролся на гвоздь в старой фанере, внимания не обратил, а по профессиональной привычке обтирать руки об штаны, и обтирал кровь с пальца — моя кровь, не матери! И что палец порезан — стоит в протоколе. И еще одна *подробность*, он на ней ааклянился, с разных сторон поворачивает: подельник-изувер утверждает, что дал ему в тот последний день деньги на две бутылки и они их выпили, а Саня говорит — купил одну, потому что больше

решил не пить, и деньги вернул. И свидетель есть — продавец в магазине, она помнит! Зачем ему было требовать у матери деньги, он знал, деньги есть — были! Требовать из сиротской материнской пенсии, а когда не дала — убить?!

Митя, Митя Карамазов бьется за истину в уголовном процессе, забыл, что судьба его в руках советского правосудия, советской юстиции, советского закона, который все семьдесят лет пылился в рамочке под стеклом, которому никогда дела не было до человека, и сегодня не замечают, что тут *прецедент*, тем более дорогой, что все против обвиняемого...

Хорошо написал, убедительно, четко, и экспертиза за него: «нет возможности утверждать, что кровь на штанах обвиняемого принадлежит пострадавшей». Нет возможности утверждать! И следствие записывает *такую* экспертизу в актив обвинения...

Я проснулся оттого, что меня мазнуло по лицу жестким. Кто-то выбирается из прохода между нашими шконками... Саня? Обогнул дубок и полез вверх...

Разбудил, гад. Целый день мучил кошмар от его записок, ночью кровавая каша перед глазами и утром опять он?..

Я перевернулся, посмотрел в окно: небо между «ресничками» чуть-чуть светлело. Рано. Зачем он спускался — сигарету стрелянул? Сигарет у нас уже третий день нет, курил табак, но у меня под матрасом, не достал бы, да и не похоже на него, чтоб без спроса. Накануне мы долго разговаривали, он объяснял, что не вошло в жалобу. Я-то поверил ему, но слишком много водки в деле, да и зачем следователю возиться, а тут все надо сначала, перечеркнуть столь блистательно завершенную работу... Адвокат нужен, сказал я ему, настоящий — смелый, азартный, для которого такое дело — карьера, путь к успеху. Журналист нужен, который громыхнул бы сенсацией: детектив с психологической, социальной подкладкой — по Достоевскому и Короленко. Но где сегодня адвокаты, где журналисты? Достоевский сто лет как помер, а Короленке за статью в защиту как бы уголовную статью не впаляли.

Рядом со мной шконка пустая. Петр Петрович моется, разделся до пояса, вижу только его спину. Гера и Мурат спят. Что ж эти двое да в такую рань? Саня обычно не встает до проверки, корпусной тянет его за здоровенную лапу, Петр Петрович поднимается пораньше, но чтоб первым...

Впрочем, не так уж крепко это меня занимало: одному не спится, другой полез к нему за спичками или еще за чем. Не потерять бы еще одно утро. Утро, утро — вот что дороже всего. Быть одному! Если хочешь писать, каждый день должен быть похож на предыдущий, монотонность нужна — до скуки, как лошадь по кругу, иначе не выйдет, я всегда это чувствовал, не формулируя, знал, а потому боялся и не хотел любой перемены, так и здесь — оставьте меня в покое, хотя бы на час, мне бы додумать, до...

После завтрака Петра Петровича потянули на вызов. Я лежал и смотрел, как он собирается. Он надел чистую рубашку, пиджачок, положил в карман сигареты — пачку! а у нас, кроме табаку... Поднял подушку... Поворачивается ко мне.

Я даже заморгал. Он уставился на меня: глаза под очками вприщур, острые, жалят... Отвернулся, со злостью швырнул подушку, завернул матрас, сел на шконке и в упор глянул на меня.

— Ты вот что, парень... — начал он.

Открылась дверь.

— Вахромеев! Долго ждать?

Петр Петрович сплюнул на пол — никогда с ним такого не было! — и вышел из камеры.

— Что это с ним? — подумал я вслух.

Сверху спустился Саня, ходит по камере, руки за спиной. Потом пролез ко мне, сел напротив, на шконке Петра Петровича.

Он менялся день ото дня: живой, явно неглупый, с юмором. И глаза открылись. Нашел точку, становится на ноги.

— Такое дело, мужики, — громко говорит, ко всем обращается. — Или мы рискуем, себе докажем, люди мы, а не каменная шваль, или уже сейчас заявим: останемся кроликами, сожрут — заслужили. А сидеть нам всем, отсюда не уходят. Кому больше, кому меньше, а всем долго.

— Мне лучше всех... — сказал Саня, — легче. Меня они отсюда едва ли выкинут, остерегутся, в другой хате пришьют с такой обвинилкой, не зря создали условия...

— А Нефедьч, — спросил я, — его пожалели?

— Ну и пес с ними, — отмахнулся Саня, — стало быть, и мне, как всем. Короче: где твоя тетрадка, Вадим?

— Какая... тетрадка?

— В которой пишут. В которой ты позавчера...

— А тебе на что?

— Испугался! Дорожишь тетрадкой?

Вот и приехали, думаю, а я все ждал, на чем меня...

— Что у тебя за заходы, Саня?

— Покажи тетрадь, Вадим... Да не бойся, не возьму!

— Как ты возьмешь, если я ее тебе не дам?

— Тыфу! — говорит Саня. — Мы с тобой время теряем, а не знаем, много его осталось или нет?

Я вытащил из-под шконки рюкзак, развязал. Третьего дня, верно, я писал в тетрадке, потом сунул в мешок... Сверху не было. Я пошарил поглубже, прощупать не смог и вывалил содержимое на одеяло.

— Не ищи, — сказал Сани, — вот она.

Он вытащил тетрадь из-за пазухи:

— Твоя?

Я ничего не мог понять.

— Значит так, Вадим, — сказал Саня. — Я за эти месяцы належался, считай, на весь будущий срок выпался. Просыпаюсь рано, все об одном. Сверху хорошо видно, пристрелялся. Сегодня гляжу, наш пахан не спит, глаза без очков, дай, думаю, схвачу на карандаш, очень меня его личность заинтересовала. Открылся. Рисую, поднял голову, а его нет. Приподнялся, а он в твоём мешке шурует. Вытащил тетрадь — и под подушку.

— Сегодня утром? — спрашиваю.

— Я сразу сообразил — вызова ждет. Терять времени нельзя. Он пошел мыться, я тихонько слез и... Успел.

— Спасибо, Саня. Шустро.

— Я открыл тетрадь, не обижайся. Не знаю, дорога она тебе или нет, и сколько ты в ней себе наматал. Но тебе не надо, чтобы знали, что ты... Короче, учти, он так не оставит, шмон нам обеспечен... Давай по делу, Вадим. Зачем тебе рисковать?

— Верно, — говорит Гера, — пусть дураками будут.

— Они бумаг не трогают, — подал голос Мурат.

— Заткнись, интерьер! — сказал Саня. — Твои не тронут, хоть по стенкам развесь. Рукописи не горят, Вадим, голова нужна и руки. Не пропадет. Главное, чтоб им не досталось...

Жалкая моя «песка» догорала в бачке, когда дверь открылась и новый пассажир шагнул через порог...

Нет, я его не сразу увидел... То есть, увидел, но... Не о том я думал, успел додумать: горит моя «песка», уходит дымок... Рукописи не горят, быстро думал я, они сторают, когда Бог того хочет, допускает, а когда нет... Значит, дело не в *случае*, не в Петре Петровиче, не в Сане, не в том, что один для кума, а другой для... В том, *зачем* я ее написал. Оправдать свое существование здесь, профессиональный навык, вычленил из всей этой мерзкой каши нечто, что даст возможность понять...

Я беру кусок глины, мну ее, разминаю — и вот она, камера. Мои сокамерники... Они или я? Та же глина, думаю я, разве *меня* не мнут, не разминают, не... Оправдать свое существование здесь? Зачем?.. Тщеславие, самолюбие, корысть... Бездарно написал — вот оно, самолюбие. Современно, талантливо... гениально! Вот оно, тщеславие. Сенсация, такого ни у кого еще не было, чернуха — тираж! Вот и корысть. Но разве — талантливо, сенсация, тираж стоят хотя бы что-то рядом с тем, что я сподобился здесь увидеть, что мне показали? Что же я увидел?.. — быстро думаю я.

Я мну кусок глины, завораживаю себя, моего читателя... Чем? *Моей* правдой? А что в ней? Но я попытался «сгустить», найти в этой мерзости... Хорошо, пусть правда. *Моя* правда. Разве я смог, набросав мою жалкую «песку», увидеть в *них*, в *каждом* из них, в мерзости, которую я зафиксировал... Ладно, я — не смог, это моя проблема... Нет, не просто моя! Бог, сотворивший небо и землю, не в рукотворенных храмах живет, сказал в Ареопаге апостол. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Он Сам дал всему жизнь и дыхание, и все — «мы Его и род». Одно дело, искать Бога — а только для того мы существуем, где бы ни были, другое, думать, что Его можно найти в глине, камне, золоте, тираже, получившем образ от вымысла. В *каждом* из *них* живет Бог, быстро думаю я, не важно, знают они о том, забыли о Нем или не хотят о том думать, а я попытался... Потому здесь нет случая, думаю я и вдыхаю дымок, струящийся из бачки, всего лишь еще один урок мне, благодарю Тебя, Господи...

Итак, жалкая моя «песка» догорала в бачке, когда дверь открылась и новый пассажир шагнул через порог. Такого я еще не видел: двухметрового роста, широкий, в заграничном, не по сезону, пальто, клетчатых брюках, с мешком и сумкой из «Березки». Матрас у него был под мышкой.

— Будем знакомы, — сказал он, как и следовало ожидать, с заграничным акцентом, — имя для вас трудное — Арнй я, зовите Аликом... Просторно живете. Я, пожалуй, с краю. Рост не позволяет в середину...

Он раскатал матрас на свободной шконке у стены, рядом с местом Петра Петровича.

— Откуда такой... явился? — спросил я.

— С особняка, — охотно ответил он.

Все четверо мы уставились на него с почтением. «Полосатых», с особняка я еще не видел.

— Как же это тебя... к нам?

Он устроил себе место, сел ко мне, вытащил сигареты.

— Налетайте. Но учтите, пачка последняя. Табачком угощу.

— Табачок у нас есть, — говорю, — но почему тебя сюда?

— Сегодня утром раскурочили всю нашу хату. Мы внизу, под вами.

— Двести восемнадцатая? — спросил Гера.

— Она. Появился у нас... Нет, давно, я месяц назад пришел с Бутырки, он уже был.

Композитор... Нот не знает.

— Коля? — вырвалось у меня.

— Точно. Знаешь его?

— Был у нас. Я с ним начинал полгода назад.

— Композитор, как я балерина. Оперу сочиняет. Ребята знали, что он стучит, побили разок-другой, а он не обижался. Отряхнется и за свое.

— Может, не он, — усомнился я, — вроде, не такой...

— Может, не он. Шуму от него много, коней гонял, вниз, на третьем этаже барышни-венерички. В доминошный покер любитель... Душа общества, а все мимо.

— Ой, он! — сказал я. — Точно, Коля! Шмаков?

— Шмаков. Проигрался два дня назад, его прижали. Ушел, вроде бы, на больничку, а утром всю хату — кого куда. Меня к вам.

— У тебя какая ходка? — спросил Гера.

— Я, братишка, сижу с сорок шестого года. За все время лет пять, а может, шесть погулял, а так бесменно...

— Сорок лет! — ахнул Мурат.

— А с Бутырки тебя почему? — спрашиваю.

— Давайте, ребята, по табачку, а сигареты прижмем для выводов. У меня сигареты будут, а пока прижмем, верио?..

Красивый мужик. Очень красивый. Светлые прямые волосы, квадратный подбородок, глаза широко расставлены, стальные, движения неторопливые... И такая уверенная, спокойная сила. Доброжелательный.

— Такая, ребята, история в Бутырках...

Брякнула кормушка. Обед.

— Вот что, мужики, — сказал я. — Я в этой хате старожил, давайте восстанавливать старый порядок. Я как пришел сюда, такой был желтый, такой пуганый — ничего не понимал, извелся страху на сборке, наслушался. А меня сразу за дубок, а мне поднос кусок сала, колбасу — всем поровну! У меня душа оттаяла. Ну, думаю, не так страшно, и в тюрьме люди... А вернулся сюда — три семьи за дубком, глядят в чужие шленки, друг от друга прячут куски, двое хлебают по углам... Так не пойдет! Давайте вместе — что есть, то есть.

— Так и положено в хате, — поддержал Арий. — У меня, правда, ничего нет, но будет, будет...

Впятером мы сидели за дубком, хлебали жидкую кашу, когда открылась дверь и явился Петр Петрович: костюм, белая рубашка, губы плотно сжаты, холодные глаза под очками. Глянул на нас и полез к себе на шконку.

— К столу, Петрович, — говорю, — у нас революция, все теперь общее. Что есть, то есть.

— Ты у меня, падла, дождешься, — сказал Петр Петрович, — будет тебе общее.

Вздумал со мной шутки шутить?

— Как понять, Петрович? Ты меня спрашиваешь?

— У нас с тобой будет разговор. Завтра. Уйдут гулять, мы с тобой останемся.

Поговорим. И если ты, падла...

— Чего ты лаешься? — добродушно осведомился Арий. — Тебя человеком понимают, к столу, а ты...

Арий сидел, согнувшись над дубком, не разберешь, кто такой.

— Этот еще откуда? — вскинулся Петр Петрович. — По-русски не научили падлу недорезанную? Мне указывать?..

Арий выпрямился и медленно начал подниматься. Зрелище было устрашающим: он как бы вырос и вырос над дубком.

— Фильтруй слова, сука! — сказал Арий. — Кыш!..

Петр Петрович замер на шконке, отвалил челюсть.

Да, сила силу ломит, ничего не скажешь.

— Вот что, Петрович, — сказал Саня, — чтоб не было неясностей. Ты только пришел, считай, не возвращался. Собирай мешок и двингай отсюда.

— Чего?.. — спросил Петр Петрович.

— Непонятно?.. — сказал Саня. — Ты хотел образцовую хату? Потрудился. Вот мы и решили, доведем до конца. Чтo кумовской мрази тут не было. Ясно?

— Как живете, Георгий Владимирович? Опять мы вам не потрафили?

— Я... не смог, гражданин майор.

— Чтo ж ты, Тихомиров, не смог? Или на принцип пошло?

— Он... он...

— Чтo за «он» — кто такой?

— Я не знаю, гражданин майор, они меня... вынудили уйти.

— То «они», то «он» — можешь по-русски?

— Бедарев, гражданин майор. Наверно, он заметил, что я за ним... Он хитрый человек, умный.

— Хитрый? Ну-ну... На всякую хитрую жопу есть... Или не знал?.. Умный?

— Я хотел, как лучше, гражданин майор.

— Как же мне с тобой поступить, Тихомиров? Человек вы интеллигентный, мы таких ценим, условия создаем. Мы ценим людей, которые нам... нужны. А вы нам не нужны. Придется отказаться от вашей помощи. Не сработались. Чтo поделаешь, Тихомиров. Переживем.

— Я... буду стараться, гражданин майор. Если вы еще раз меня... в другом месте...

— Опять другое место! Сколько же у нас для тебя мест, Тихомиров? Это тюрьма, не мягкий вагон в скором поезде, и там не напасешься. И все хорошие места, плохого не хочешь?

— Как вы решите, гражданин майор.

— Вон как! Это и ежу понятно... Бедарев тебе, стало быть, не по зубам — умник, иет на него управы?

— Я... У меня записано, когда он уходил к врачу, когда...

— Давай сюда... Так, так... Ну, держись, Бедарев!

Чтo он к нему привязался, к этому Бедареву, думает он, зачем он ему иужен? Он жо осужденийый, даже мие поиятио, срок у него... Чего же он от него хочет?..

— К врачу... А ты откуда знаешь, что он к врачу?

— Разговор в камере... Они считают, он... тоже работает на... вас.

— Тоже! А почему они... считают? Или он сам сказал?

— Он письмо показывал Кострову, фотографию...

— Какое письмо? Фотографию?

— У них был один... до меня. Я не застал.

— Так, так...

— Бедарев на себя получил, а письмо для другого. И фотография для него. А Пахом... то есть, Костров не верит. Не ему, говорит, врешь. Фотография... ребенок, не похож. То есть, не тому, мол, письмо. Бедарев и для Кострова передал письмо, то есть взялся передать, а Костров говорит, оно у следователя. Из-за того у них драка.

— Ну и рассказчик из тебя, Тихомиров. Неужели доцент?.. А что он к врачу ходил, откуда тебе известно?

— Я не... знаю, но вертухай... То есть, дежурный каждый раз кричит: «Бедарев, к врачу!» Но когда к врачу вызывают, минут десять-пятнадцать, а он...

— Чтo — он?

— А он, другой раз, час-полтора отсутствует. А то и больше. У нас нет часов, гражданин майор.

— Вон как! Час-полтора?

— Не меньше. Приходит веселый, довольный, от него... вином пахнет, в камере очень... чувствуется.

— Ну, сука, ну, блядина!

— Он, видно, заметил, не знаю, правда, как, но... Хитрый, гражданин майор, опытный человек! Заметил, что я... Ну и... дружить с ним у меня не получилось.

— Дру-ужить? Да ты у нас гимназист, Тихомиров! Да, с интеллигентами и в цирк ходить не надо.

— Вы же сказали, сблизиться...

— Вот что, Георгий Владимирович, давайте еще разик попробуем, дадим тебе шанс. Пойдешь...

— Куда скажете, гражданин майор.

— Так-то оно так, само собой... Но дело, учти, ювелирное. Проврешься — пеняй на себя. Пойдешь на спец.

— Спасибо, гражданин майор.

— Спа-а-сибо? Ну даешь! Погоди, мы потом сосчитаемся. Камера будет на троих, не возражаешь?.. Ну и ладно, очень тебе благодарен за согласие. Может, четвертого

кинем для... Чтоб не так скучно. Работа, повторяю, ювелирная. Сначала вы будете... вдвоем. Есть у нас еще один интеллигент, писатель. Тот самый, которому письмо с фотографией. Соскучился по интеллигентским разговорам? Книжки, кино, театр, советская власть — очень она вам, интеллигентам, не угодила, культ личности, евреи, коллективизация, демократия, законность, кого расстреляли, кого не расстреляли... Что еще? Сам знаешь. И он соскучился, и ему того надо. Вот вы и поговорите. Пусть намотает! Малый он смиренный, не то что Бедарев. Интеллигент, как и ты. Но... позубастей, побойчей. С ним сможешь и... подружиться...

— Какая у него статья?

— Статья у него самая, можно сказать, серьезная, а по нашим... гуманным временам, самая плевая — до трех лет. Дешево хотит отделаться господи интеллигенты. Никуда он не денется, так и будет добираться — к трем да к трем. Никогда не уйдет. Антисоветчик, сука. Крест на брюхе. Верующего косит. С ним будешь — не разлей вода. Понял?

— Понял, гражданин майор.

— Но это не все. Через неделю, когда... сдружись, к вам придет Бедарев.

— Кто?

— Да не пугайся, мужик ты или баба? Насчет тебя я с нимотрегулирую, поставлю условие, ему деваться некуда. Если он тебя тронет хоть пальцем... Я его, вроде, под тебя посажу, он за тебя головой ответит, а ты... У него у самого рыльце в пушку, у Бедарева, успокойся! Умный-умный, а с писателя ничего не поймел. Усек или еще объяснять?

— Понял, гражданин майор.

— Тут в том будет... ювелирная, что Бедарев сам захочет посчитаться с писателем, он на него тянет, как же — тот его размотал, выкупил! И через это вся тюрьма будет знать, кто такой Бедарев — усек? Не спрячется. И на зону потянется. Я ему устрою зону, он мне заплатит за... выпивку с закуской. По стене размажу уминка. И заодно писаку дотянем. Гляди на него, вот он... Погоди, ты когда пришел на тюрьму?

— В конце января, гражданин майор.

— Числа какого?

— Тридцать первого января.

— Так ты его должен знать? Ну-ка, погляди!..

— И-не... помню. Там много было, на сборке...

— Не помнишь?.. А теперь не забудешь, разберешься?

— Разберусь. Теперь я... кажется, во всем... Я и в себе разберусь, гражданин майор.

— Вон как! Ну-ну. Значит, наши беседы на пользу? Мы не только наказываем, Тихомиров, мы воспитываем. Первая, как говорится, задача нашего гуманного общества... Первая. Но запомни, Тихомиров, — не... последняя. Если что, если хотя одна живая душа узнает о нашем с тобой разговоре...

— Я и это запомню, гражданин майор.

— Тогда у меня все. Удачи тебе... гимназист.

9

Сломался сон. Главная моя защита и крепость не выдержала. Рухнула. Пала. Расхвастался. Вот уже неделю засыпаю под утро. Сны липкие, неотвязные, перед глазами кружится, в голове стучит... Не умолкают. Говорят, говорят... Разве на самом деле они так говорят? Так... думают?

Целый день потом я квелый, сонный и не понять — сплю или... Как происходит с человеком такой... перелом? Да не перелом сна, тут медицина. Что человека ломает, что способно... переломить, дать ему силу, возможность опомниться, осознать себя?.. Раскаяние? Конечно! Понимание своей вины, своей беды, неперенной гибели, если не сможет, не решится — если не погубит себя!

Кружится и кружится перед глазами, стучат слова... Растерялся человек, испугался, доплыл, на все способен, все может себе позволить, он и всегда был готов, всю жизнь так жил, но... вдруг... Как происходит это — *вдруг*? Есть предел, думаю, у каждого свой, но если человек еще жив, если способен вспомнить о том, почему и за что это с ним, понять — сам виноват, заслужил, а потому единственный выход — остановиться, сейчас, в эту самую минуту, еще одна — и будет поздно, уже не остановишься, ничто и никто не остановит... И тогда он говорит себе: все, дальше я не пойду, по вашей дорожке — не пойду, потому знаю — *куда*. И тогда поднимается, все преодолеет, ото всего откажется — готов погубить душу, идет хоть на смерть, что-то говорит в нем, он не знает что, но понимает: вот его спасение — в гибели...

Я никак не вынырну из своего сна, из этого... грязного, липкого кошмара. Когда пишешь — легче, написал — и с плеч долой, ушло, оставило, а теперь, когда нет у меня — и не будет! — даже *тетради*, нельзя, не положена такая роскошь, затухнуть, уйти на дно, не на рыцарском турнире; когда только и остается бормотать, путая сон с явью,

забывая, где я, где «он», где... Как же он все-таки... поднимается, решится, где с ним должно произойти, может произойти, *произошло*...

Арий трясет меня за плечо, давно уже, а я не пойму — снится мне или на самом деле...

— Вставай, вставай, Вадим, — на вызов тебя!

На сей раз другой кабинет, просторней. И окно открыто, и «ресничек» нет, и солнце валит прямо в глаза — жмурюсь! И воздух, зелень — лето! И она... Другая? Лицо не постное — свежее, губы не поджаты, мягкие, распустила, платье... Надо ж — сменила! Летнее, открытое... Да она... привлекательная, моя барышня! Загорела, отпуск у нее, думаю, не до меня, потому и забыла, не вызывала... Река, озеро или они в Сочи, где у них отпуск?.. С мужем ездит или такие без мужа? Муж горит на работе, а она горит... Где ж она горит, моя барышня, какое у нее *горение*?.. Платье легкое, свободное, и она в нем... «Они теперь голые ходят, под платьем у них...» Кто это сказал, не помню, кого-то недавно возили у нас в суд...

— Как вы себя чувствуете, Вадим Петрович?

Смотрит на меня с удивлением, очень уж я на нее загляделся, правильно поняла, женщины понимают, когда на них так смотрят... А глаза те же, откуда ей взять другие, это платье можно сменить для... соблазна — рыбы, болотные, пустые... И я опоминюсь от шока: после шести месяцев уголовной тюрьмы увидеть рядом женщину в открытом летнем платье!

— Вашими молитвами, Людмила Павловна. Что-то вы обо мне позабыли, я, было, подумал, тут мне и оставаться до Судного Дня. Но... пришли — сдвинулось, перемена в моей судьбе?

— Судьба ваша, Вадим Петрович, в ваших руках, вам хорошо известно. Я сразу сказала. Неужели не помните?

— Такое не забыть. Но я и без вас знал. Так что у нас полное взаимопонимание с первой встречи.

— У вас ничего не изменилось? — спрашивает.

Нет, не на юге, думаю, другой загар, не сочинская подлость, наш, среднерусский — река, поле, васильки-ромашки, малина-земляника...

— Как вам сказать, набрался мудрости, не без того.

— В таком случае, начнем разговаривать, как разумные люди. Намолчались?

— Как бы я намолчался? Разве вы меня, Людмила Павловна, хоть на часок оставляли наедине с собой, без общества? Не позаботились, чтоб и не скучал? Очень вам благодарен.

— Шутки в сторону, Вадим Петрович, вы прекрасно знаете, не новичок в тюрьме, я к этому отношения не имею. Если вам есть что сообщить, ваша ситуация может коренным образом измениться.

— Что-то произошло?

— Я же вам сказала: ваша судьба в ваших руках.

— Это как понять?

— Вы сами сказали, поняли меня с первой встречи.

— Понял. Особенно когда оказался здесь.

— Но... отсюда можно уйти.

— И это в ваших возможностях?

— В наших с вами. Общих.

— То есть, если у нас с вами будут... хорошие отношения, вы мне, как говорится, по благу — откроете дверь?

— Зачем же «по благу»? Исходя из взаимного понимания и... договоренности.

— Как же мне добиться вашего... расположения, Людмила Петровна, — ухаживать, что ль, за вами? Прямо тут, в кабинете? Или предложить руку и сердце?

— Об этом мы в другом месте. Сначала...

— Другими словами, у меня есть шанс рассчитывать на вашу благосклонность?

— У вас есть шанс выйти из тюрьмы. Я бы не вела с вами такой разговор, вы переходите границы дозволенного. Учтите, сегодня этот шанс более реален, чем вчера.

— Что-то действительно изменилось? Сегодня? В атмосфере? В погоде или — в климате?

— Она смотрит на часы. Ого — внимание!

— Вадим Петрович, вы, я вижу, на самом деле намолчались, не будем терять времени. Если вы признаете себя виновным и ответите на ряд вопросов — очень простых, вас они никак не скомпрометируют, вы — я даю вам слово, в самое ближайшее время отсюда уйдете. К сестре, к племяннику. Куда хотите. Можете... выехать за рубеж.

— И всего лишь... «ряд вопросов»?

— Если напишете, что больше не будете нарушать закон...

— Я и не нарушал закон, — мне становится нестерпимо стыдно за мою говорливость, кокетство, возбуждение, за то, что заметил ее платье, загар...

— Хорошо, не нарушали. Так считаете. Но если бы вы его на самом деле не нарушили, мы бы с вами разговаривали не здесь, а...

— В Сочи, скажем, — говорю я с горечью: поделом, заслужил, все она про меня поняла.

— В Сочи?... — в глазах что-то блеснуло — живая! — Зачем в Сочи, и в Москве можно встретиться, чтоб... договориться. Я говорю с вами не по собственной инициативе, и бы с вами и в другом месте не... Речь не о прошлом, о будущем. Понимаете? Если вы напишете такое заявление...

— Кому?

— В Президиум Верховного Совета, в прокуратуру. В ЦК... Повторяю — о будущем, не о прошлом! Можете не ставить вопрос — виновны или нет. Но в будущем... Давайте серьезно, Вадим Петрович. Оказавшись на сабоде, вы же не намерены нарушать закон?

— Я его никогда не нарушал.

— Отлично. Пишите заявление.

— А... в КГБ — можно?

Мгновение она смотрит на меня.

— При чем тут КГБ? Ваше дело ведет прокуратура.

— И вы говорите от имени прокуратуры?..

Страшные глаза... Нет, своей охотой в болото не полезешь, никто не полезет. А затянуть может, не выберешься.

— Так как? Будете писать?

— Как странно, Людмила Павловна, я убежден, что закона не нарушал, а потому, находясь в тюрьме, не хочу участвовать в следствии, ибо, на самом деле, закон нарушили вы. Вы утверждаете, что я закон нарушил и продолжаете держать меня в уголовной тюрьме... Почему, кстати, в уголовной?

— Ваша статья — уголовная.

— Конечно, у вас все... Но вы убеждены, что я преступник, полгода держите, хотя я с самого начала заявил, что вы заблуждаетесь? Я вину не признаю, а вы меня держите. Но как только я свою вину признаю: да, я нарушил закон, пусть косвенно — не буду нарушать, а значит, когда-то нарушил? Скажу: я преступник — и вы меня отпустите? Как это понять, Людмила Павловна — а чем тут логика?

— Сколько в вас злости... — она откидывается на стуле. — Из-за своей злости вы и собственную жизнь губите. Советское правосудие воспитательно, по преимуществу. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы спасти человека, остановить его. Почему бы вас не освободить? Но давать срока, не отправлять на зону? Если вы осознали свою вину, раскаялись в содеянном, разоружились, если твердо обещаете больше закон не нарушать? Обществу вы уже не угрожаете — живите себю, воспитывайте детей, занимайтесь общественно-полезным трудом. И все будет нормально.

— Все будет нормально... Я, благодаря вам, Людмила Павловна, увидел за эти месяцы сотни людей. Каждый из них готов написать любую бумагу и пообещать все, что угодно. Но разве вы хоть одного отпустите, хоть когда отпускали? Чистосердечное признание, говорят в тюрьме, облегчает совесть и увеличивает срок. Или вам это не известно?

— Разумеется. Если это убийцы, воры, насильники.

— Разве у меня не уголовная статья?

— Если вы напишете заявление, что впредь не будете нарушать закон — пойдете на свободу.

— И я вам должен верить? Полвека назад ваши коллеги превращали человека в кровавую котлету и добивались признания в шпионаже в пользу японской разведки. Чего не подпишешь, когда тебя такая милая дама... попросит. Но хоть одного такого «шпиона» вы выпустили на свободу?

— Вы говорите о временах нарушения законности. Они осуждены. Или я вас пытал? Выйдете и начнете рассказывать небылицы?

— Я буду рассказывать, что было на самом деле. Что видел. И что слышал. Меня вы не пытали. У нас с вами очень... увлекательная беседа. Я только не пойму ее смысла.

— Разве вы не знаете случаев — напомнить, привести примеры? В наше с вами время, не при царе Горохе? Человек признает свою вину, раскаивается, громко об этом заявляет — и выходит из тюрьмы, из зоны, начинает нормальную жизнь. Времена изменились, Вадим Петрович, они и дальше будут меняться. Знаю, что говорю.

— Зачем тогда торопиться?.. Подожду, может, следующий раз вызовете, чтоб передо мной извиниться? Полгода продержали... Вы будете извиняться, не я, вы будете давать обещания впредь не нарушать... Ну, коль предстоит изменения?

Она придвигает стул, берет ручку. На меня она уже не смотрит. Наклоняется над бумагами.

— Да, Полухин, жалко, мы с вами не встретились пятьдесят лет назад.

— Так вот какие изменения! Или о желаемом проговариваетесь? Как бы мы с вами здесь встретились в ту прекрасную пору?.. Напишешь заявление — выходи! Пятьдесят лет назад, если у кого голова срабатывала, догадался — все равно убьют! Да подищу, подавится, лишь бы скорей, отмучиться — и а распыл. А тут — торжество справедливости, законности, с прошлым покончено! Не зря «слово» дали — знаю, уйду на свободу, и примеры известны. Солги на себя, на свое дело, на близких, на друзей-приятелей — и на волю. Гуляй! Пятьдесят лет назад тебя бы убили — ни за что, а теперь, ни за что посадив, выпустят. Есть разница или нет?

— А вы как считаете — есть или нет?

— Большие изменения, Людмила Павловна, а вы еще большие обещаете. Торжество законности. Гуманности. И все аплодируют... Пятьдесят лет назад тоже аплодировали. Может, от страха, а теперь от чистого сердца: не убиваем — выпускаем! Сломай себя, расточи, вывози в дерьме — живи, годен для строительства социализма. А человек ни в чем не повинный, убежденный в своей правоте, в праве жить по совести — сиди, срок небольшой, добавим! Не виновен? Как, то есть, не виновен, хотел жить по совести и не виновен? Мне бы с тобой пятьдесят лет назад встретиться... Так я говорю, гражданин следователь?

— Ну, что ж, Полухин, поговорили. Будем считать, с неофициальной частью покончили. Срок вы получите. Обещаю. Приступим к статье 201-й. Дело закрыто. Через час придет ваш адвокат.

Честно сказать, я не сразу в состоянии преодолеть шок: главное, чтоб она не заметила. Вот так номер, думаю, дело закрыто! Конец?.. Какой конец, начало. Тюрьме конец — суд, а там... Срок она мне обещает, тут без обмана, но зачем этот дикий разговор, в котором я сорвался, открылся? А не все ли равно!.. А если б согласился, написал — она бы не сказала, что дело закрыто?..

Мысль кружится, а я стараюсь делать вид, что мне ни почем — возьми меня за рубль за двадцать! Передо мной две толстые папки, *дело*. Листаю, листаю...

Первая бумага, пожалуй, самая замечательная: документ, подписанный генерал-лейтенантом ГБ о начале производства, об обысках, о... Наводка! Наколка! И не прячусь, алезли уши. Почему ж не их статья — не семидесятая, почему уголовная тюрьма — не Лефортово? Все равно — открылись! Они! С восемнадцатого года они всем крутят-вертят — ангелы-хранители, лапушки! Они и строят социализм по своему образу и подобию...

Господи, думаю, да я, оказывается, *писатель*! Я никогда не видел всего, что написал, — вместе, под одной обложкой! Своей книги целиком не видел — только частями, отдельными главами, разве я мог позволить себе такую роскошь: оставить *целую* книгу на столе? Статьи, повести, рассказы, пьесы, романы... Писали, не гуляли!.. Экспертиза почерка, экспертиза стилистическая — кандидаты наук, институт такой-то... Запомнить фамилии, не забыть... Зачем?

Успеть пролистать до прихода адвоката, а потом сначала, страницу за страницей... Надо ж, думаю, на самом деле писатель, а я позабыл, переходя из камеры в камеру, от одной истории к другой, еще более мерзкой, не вспоминал, но, может, в том и хитрость, замысел: сунуть мордой в уголовную кашу, чтоб себя забыл, понял — я такой же... А разве не такой?

Гонимый, думаю, настоящий гонимый, полновесный: за русское сочинительство — тюрьма. Скромно, думаю, всего полгода, больше не наработал, чином не вышел. Но ведь начало, не конец, пока — полгода, поглядим, чего стою... А мог бы и выйти, думаю, не соврала, на этот раз правда. Что бы тогда стоили статьи, повести, романы? Смог бы я листать эти страницы, оказавшись на воле, сидя за столом с этой ли, другой барышней, зная — могу встать и открыть дверь, заменить одну барышню другой, если мне ее... платье не покажется? Нет, сам бы смог листать?.. А через сто лет, думаю, когда все уйдет, пройдет, затрется, когда я уже давно не буду сидеть на этом месте и никто не вспомнит, не будет знать, какой ценой я когда-то, сто лет назад, купил свободу, решил свою судьбу, спас шкуру?.. Те же страницы, статьи, повести, романы? И *цена* им та же? Что же я спас — себя, шкуру или бессмертную душу? Но зато сколько бы я еще написал, кабы вышел — вон сколько теперь знаю, увидел, понял!..

Странная мысль, пустая, тщеславная. Она — и так, и эдак, всего лишь тщеславна — что будет через сто лет? Пройдут как дуновение. Но какая-то удивительная связь существует между написанным тобой словом, фразой, понятой и сформулированной мыслью — и тобой самим, твоей судьбой, выбором... Поймут это через сто лет?

На что я трачу время, думаю. И придвигаю *вторую* папку. Протоколы, протоколы, протоколы! Обыски, допросы... Что они ищут — бездельяки, сколько их! И это только по моему пустышному делу, а по Москве, а по стране! В тридцатые годы каждого третьего — на распыл, в наше время — *каждого* на просвет: перевернуть всю жизнь, душу,

— Вон как?.. Иосиф Наумович, я никак не пойму, почему они сунули меня сюда, а не в Лефортово?

— Вам досадно?

— Хочу понять.

— Право у них есть, статья прокуратуры. Вас они, видно, хорошо знают. Думают, что знают. В Лефортово вам было бы легче, хотя... Очень уж вы вскидчивый. Тяжело?

— Да хорошо мне! Разве я о том? Я людей увидел, себя узнал... Конечно, тяжело, когда шестьдесят человек в камере.

— Ну а... с уголовниками? Какие с ними отношения?

— Нормальные, такие же люди...

Дверь с треском раскрывается. Она подходит к столу, открывает, закрывает ящики... Ставит на стол сумочку — к самому краю, ближе к столику, за которым мы сидим...

— Времени у меня нет, а дел много. Вернусь через сорок минут. Учтите — завтра последний день!

— Видите, Людмила Павловна, — говорит адвокат, — зачем столько нервов? Она уходит, на сей раз осторожно прикрыв дверь.

— Ничего не пойму, — говорю я.

— Не обращайтесь внимания, их проблемы. Давайте решим наши, коль уж нам подарили сорок минут.

— Здесь слушают? — спрашиваю я.

— Я редко здесь бываю, в Бутырках я знаю кабинеты, в которых... записывают. Впрочем...

Он глядит мне в глаза и тихо улыбается: глаза у него усталые, печальные. Указывает пальцем на сумочку передо мной. Дамская сумочка явно стоит не на месте.

— Да вы что?! — изумляюсь я.

Он пожимает плечами:

— Все вполне примитивно. У них всегда примитивно. Вы еще не поняли?.. Зачем вам адвокат?

— Хотя бы поговорить, передать домой...

— Вот мы и поговорим. Сегодня и завтра. Вы понимаете — от меня ничего не зависит. Все заранее предрешено.

— Что же предрешено?

— Загадка. Загадочно уже, что они закрыли ваше дело практически без допросов. Только свидетели. Вы не давали показаний?

— Не давал.

— Очень странное время, я не удивлюсь, если вас выпустят. Не удивлюсь и если статью переквалифицируют. Кстати, она не обещала вам семидесятую?

— Мы с ней не виделись три месяца, а до того дважды. Но... сокамерник пообещал мне шестьдесят четвертую.

— Похоже, почерк тот же. Шестьдесят четвертой у вас яе будет. Сегодня им не нужно. Я думаю, и семидесятой не будет. Пришлось бы взять вас в Лефортово и начинать сначала. Но три года вы можете получить. Они всегда дают максимум, если вы не признаете себя виновным.

— Только что она предложила мне выйти на свободу в обмен на обещание больше не нарушать закон.

— И что же вы?

— Я закона не нарушал.

— Вадим Петрович, вы... не выдержите зону.

— Почему?

— Это очень трудно, с каждым годом тяжелее, а вы... человек несдержанный. Вам будут добавлять и добавлять.

— Какой же выход?

— Быть может, согласиться на то, что она... предлагает? Она не сама сочинила. Для них это тоже выход.

— Вы говорите от себя?

— Я говорю для нас.

— Наверно, вы правы, мне не нужен адвокат.

— У вас будет время подумать. Я не верю, что они станут торопиться. Очень странное время, Вадим Петрович...

— Предстоят изменения?

— Они, думается мне, растеряны, нет былой наглости, самоуверенности. Сегодняшний... срыв вашей попечительницы от дурного характера. Ни о чем не говорит. Но в глубине души она убеждена и ее хозяева убеждены — никаких радикальных перемен не будет. Для них. А косметику они переживут.

— Как клопы, мы выжигаем камеру, не косметически, радикально, а через неделю подушка красная.

— Неужели так много? Какой ужас...

Молчу, что-то мне стаявится... скучно.

— Вегетарианские времена, — говорит адвокат, — но я статист в этом спектакле. Кушать подано.

— И вас это устраивает?

— C'est la vie. А я не Доя-Кихот. Я вам не нужен.

— И права нет?

Он пожимает плечами.

— Это циклы, каждое, скажем, десятилетие новый. Везет тем, кто оказался... в верхней части витка. Но это ничего не значит. Когда придет пора, нижняя часть витка вас снова захватит. Но вы, Вадим Петрович, сами выбрали — или вы сожалеете?

— Три года не трудно, но если станут добавлять...

— Вот видите... Я настоятельно советую подумать.

— Если бы Бога не было. Тогда бы стоило выгадывать, кроить, а так... Это Его забота.

— В этой области я профан, мое дело помочь вам отсюда выбраться. Как видите, я бессилен. В лучшем случае, могу предупредить.

— А в худшем?

— Если они вам...

— Они, они, они!..

Я хватаю сумочку на столе... Мягкая рука адвоката ложится мне на руку.

— Успокойтесь, Вадим Петрович. Вы получите карцер...

— Значит, правосудия яет, власть у них, а мы...

— L'Etat c'est moi, — говорит мой адвокат.

— Надеюсь, завтра вы закроете дело безо всяких... истерик? — говорит она.

Мы спова вдвоем, адвокат ушел, завтра он придет после обеда, к тому времени я все прочту, он еще раз передаст мне приветы, а сегодня вечером увидит...

Сейчас она отправит меня в камеру. Для нее день был заунывным. Служба. Рутинная. Попробовала один вариант — не получилось. В запасе второй, третий. Сработают. Теперь она пойдет домой. Пить чай. Или водку... Кто ее ждет?.. Или и ошибаюсь, все сложнее?.. А зачем мне ее сложности?

— Свалял дурака, — говорю, — надо бы закрыть дело сегодня. Чтб больше не видеть вас.

— Откровенность за откровенность! Насколько приятней иметь дело с убийцей, насильником... вором. Да я лучше б десять таких дел оформила, чем с вами... Человек совершил преступление, одумается. А от вас всего можно ждать. Я бы никогда не выпускала таких, как вы.

— Старый разговор, о классово чуждых и социально близких.

— Ошибаетесь, писатель... — она кривит тонкие губы. — Я говорю о человеческой стороне. Там все наглядно, как у людей. Обозлился — схватился за нож, хочется выпить, а денег нет. Все понятно. Преступил закон, и мы его накажем. Пожестче — задумается. А вас и понять нельзя, да я и не хочу. Что вам надо? Советская власть не угодила? Почему бы не уехать, я предлагала...

— А почему бы вам не уехать?

— Я дома и мне в моем доме все нравится. А вы чужой, пиному не нужны. Думаете, если издать вашу... макулатуру, — вы на ней заработаете? Бабы сказки, давно позабыто, а вы тянете — апостолы, попы, Христос воскрес... Кому вы моэги... пудрите?

— А вы издайте, тогда поглядим.

— Сколько вас таких осталось? Понимаю, в тридцатые годы, когда еще тыщи недобитых. Может, и лишние постреляли. Но вас-то сколько?

Что ей надо, думаю, зачем этот пустой разговор?

— Вы... один. Во всей тюрьме таких нет. Знаете, сколько здесь сидит?

— Сколько? Интересно бы узнать.

— Вы один, а нас двести пятьдесят миллионов. Какой смысл в вашей... героической жизни?

— Что вам от меня надо? Я не отвечаю на вопросы.

— Я вам предложила уйти на свободу, хотя сама бы я вас... Можете уйти. А вы из себя... Зачем?

— Хотя бы... чтоб вы задумались. Я написал мешок макулатуры... Вернусь в камеру, пойду на зону, а отказаться от того, что написал, не хочу. Для вас загадка. Вы ее и решайте.

— Подумаешь, камера! Вы еще тюрьмы не знаете! Дали бы мне волю, я бы вас... устроила.

— Понятно, не зря вас учили. Но как было бы полезно для нежно любимой вами советской власти, когда б на втором, скажем, курсе юридического, вместо пустой бол-

товни, которой вас пичкают, отправили бы весь курс в тюрьму, на год. А потом еще на год — на зону. Не вместе, не студенческим отрядом со своей кашей, а поврозь, распахали бы по камерам. Как было бы полезно и поучительно для вас, Людмила Павловна, провести год на общаке, в ежедневном общении с социально вам близкими. Вы бы поняли, кто чего стоит и что происходит в доме, который так вам нравится.

— Что ж, вы у меня один? Я их каждый день вижу.

— В следственном кабинете. Кнопка под рукой. Нажмете — уведут. А вы бы на шконке. Под шконкой. Послушали бы. И они бы вас — послушали. И на вертухаев бы поглядели. Да не отсюда — из камеры. На майоров. О себе бы подумали, о своей жизни. Вы же нормальный человек, женщина... А потом, в зависимости от успешности прохождения практикума, вас бы допустили до госкзаменов. Или не допустили. А то ведь вы учились по Вышинскому? Чистосердечное признание для вас царца доказательств? А там пусть решает начальство, ему видней. В зависимости от современного состояния гуманизма. Или социализма. Зрелый он или всего лишь развитой. Или выпустить, или расстрелять. Разве таких, как вы, хоть когда-то интересовал закон или истина?

— Сейчас я нажму кнопку и вас отведут в камеру. Наговорились. Сами захотели. Пожалеете. Я предлагала другой вариант. А я уйду. Поглядите в окно, писатель! Солнце садится, жара спадает. Пройдусь по переулкам, люблю пешком. Выйду к метро. Полчаса — и дома. А могу... Куда бы сегодня закатиться?.. Надоело. Честно сказать, все мне надоело. Пойду домой. Приму ванну, посмотрю, что там в холодильнике. У меня и коньяк есть. Включу телевизор... Позвоню кому-нибудь, чего-то такого захотелось, эдакого... А уже вечер, в каждом доме каждое окно зажглось, за каждым окном... Неужели эти миллионы и миллионы людей о вас когда-то вспомнят — кому вы нужны, Полухип?

— Вы о дочери забыли, коньяк, телевизор — это, паверно, для меня, а чепчик для кого?

— Это вы ни о ком думать не хотите. На весь белый свет озлели.

— Как мне вас жалко, Людмила Павловна!.. — говорю я. — Нет, соврал. Нету у меня силы... пожалеть вас. Слаб. А потому у меня к вам огромная просьба... Мы уже полгода как встретились, такая у нас с вами не разлей вода — все вам обо мне известно! А я вас еще ни о чем не просил. Ни разу. Так вот, не откажите в нижней просьбе: нажмете кнопку...

10

— Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Зося..

— Ты что это, Серый — не по-нашему? — говорит Гера.

— Не по-вашему! Все, Гера, я теперь другой. Вылетел.

— Куда? — спрашивает Гера.

— За судом, Гера. За судом!

И верно, другой: проснулся — весело! Та же камера — моя, родная, два шесть ноль. Те же люди — пятеро нас, уже десять дней никого к нам не бросают, никого не берут. Забыли про нас. Та же камера: решка, реснички, железная дверь с болтами... А я другой. Что ж, бытие определяет сознание или сознание бытие?

Как же я, видать, боялся ее, барышню из утреннего кошмара, в потном джерси с рыбьими, болотными глазами! Хвастался перед собой — плевать мне, молчу, ничего я ей не скажу, а все ждал: подвоха, хитрости, неведомого, собственной слабости — не таких, как я, ломали. Задавил в себе страх, а он шевелился, напоминал — обязательно что-то придумает! А выходит, не мне на нее, ей на меня — плевать. Не ее забота — заставили, поручили, а известно как выполняют в советском учреждении чужое поручение, нагрузку! *Оформила* — и с плеч долой. Задавитесь! Вот преимущество социалистической системы, потому и живы до сих пор — всем на все наплевать! Что ж, ей хорошо, а мне и того лучше — гуляй, Вася! Теперь на суд, проштампелюют заранее предreshенное — и пошел. Ветер пересылки, дальних лагерей, — написал классик. Обдует, проветрит! Страшно?.. Тут уже не страшно, страшно когда тобой занимаются, когда один на один и она, ты — и страна победившего социализма... Ты еще живой, сука? — щурится она на тебя. — Попробуем вариант номер такой-то... Очень они любят индивидуальную работу, воспитательную по преимуществу. А когда я смеюсь с серым миллионным племенем, когда буду неразличим в толпе, в стаде... Сколько нас? Не сказала, остереглась. Да знаю я — десять тысяч только в нашей тюрьме... А по Москве? А по федерации, а по стране, а по пересылкам, зонам? А еще «химики», поселенцы, ссыльные... Они и сосчитать нас не могут! Жить одной общей жизнью с миллионами людей, моих братьев — страшно?

Лишь бы уйти отсюда, думаю, не верю я ей, никому теперь не верю. И тишине камеры не верю, самая опасность в такой тишине. И каждому из нас пятерых — не верю, сколько раз прокалывался, учили, учили... Скорей бы, скорей!

Все еще может быть, думаю, все что угодно. Но сегодня — я не следственный, я за судом. Пусть такие же, из того же теста их выпекли, на одной скамейке с моей барышней изучали ихнюю гуманную премудрость. Но если ей было на меня плевать, лишь бы отделаться от поручения, им и подавно. Вмажут срок — по максимуму! — и поехал. Небо, звезды, ветер, макушки елок в окне столыпина, а на зоне — письма, чаек...

И еще одного Бог послал для промывки мозгов, чтоб не тратил время на пустые переживания, набирался ума-разума, чтоб понять — не кончилась жизнь, другая катит, она и есть настоящая, давно стучалась, а я отмахивался, сам бы ни за что не выбрал. А тут подарили. Ощущью понимал, а теперь вникаю... В таком случае не будем терять времени.

— Чем же ты промысляешь, Арик?

— Деньги — мусор, ребята. Я их никогда не считал. Но... как бы тебе объяснить... Мне надо много, мало не получается. А когда легко достаются, они и уходят просто. Хочешь меня понять?.. Раньше пойми себя, свою ошибку. В чем твоё расхождение с советской властью — принцип или ее... недостатки? Ты считаешь, она законы не соблюдает, ты на нее кидаешься, она тебя курочит. Почистит ее новый начальник, помешает рыжего на брюхатого — и будет хорошая? У тебя никаких претензий.

— Не может она... соблюдать.

— Все она может. Не хочет! Если заставить, она из-под палки все сможет, куда ей деваться, подгонит под себя закон и... Законность, порядок. Но разве в том ее беда, я эту власть имею в виду?

— А в чем тогда?

— Меня ее законы не устраивают. Они вообще человека устроить не могут. Она не для человека. В принципе.

— Это как понять?

— Мне, скажем, надо много денег. Что тут худого? Тебе, к примеру, много не надо. Ты — писатель, что тебе надо?

— Комнату, чтоб дверь закрыть. И открыть, когда захочу. Стол нужен. Койка. Бумага, чернила. Машинка пишущая... Все, пожалуй. Чтоб напечатали. Хотя... Не обязательно.

— И верно, не много. А мне... Мне машина пужпа, не машинка. Баба нужна. Не одна. И не две. Квартира в Москве, дом за городом. Еще один — в Риге. И в Крыму не помещает. Ночью я в ресторане, днем отсыпаясь, до обеда...

— А зачем?

— Надо и весь разговор. Потребность у меня. Разве такое, как бы сказать, «надо» — преступление?

— Если у тебя, скажем, наследство...

— Я и говорю — ты такой же! Откуда, докажи на что живешь, как получил... Какое вам дело! Есть у меня. Вот чего советская власть не понимает, никогда не поймет. Ты и то не понимаешь. Все люди разные... Как у вас говорят?

— Один любит пряники, а другой соленые огурцы.

— А я о чем? О том, что советский закон запрещает жить, как хочу, как считаю нужным. Ты в Бога веруешь, а забыл, с нами Бог разберется — надо нам или нет. Бог дал мне свободу выбирать, а советская власть свободу, которую мне Бог дал, прибрала к рукам. Правильно?

— Пожалуй.

— В том и дело. Ты считаешь, я преступник. Почему? Да, я разбогател, но разве я нарушил закон, который мне Бог дал? Я никого не убивал, не воровал. Но делать деньги, чем весь мир занимается — белые, желтые, красные, черные! — разве Он запретил?

— По христианскому вероучению, человек должен соблюдать закон государства, в котором живет.

— Что ж ты не соблюдал?

— Я не нарушал закон.

— А почему ты в тюрьме?

— Они нарушили, не я. Толкуют закон, как хотят.

— Законник! Что ж это за закон, если он, как дышло, куда поворотишь, туда и вышло! Если я не могу жить где хочу, как хочу, не могу не работать — обязан, не могу продать что мне не надо и что у меня с руками отораут, другим позарез, а мне лишнее? Мое — я и цену назначаю. Почему мне запрещают менять шило на мыло: у тебя шило, а у меня мыло — наше дело, если договорились! Если книгу не могу написать, не спрося разрешения у... вертухая, а он ее и прочесть не сможет! А без его позволения разве ее хоть кто напечатает? По-твоему, законно?

— Да, тут ты, пожалуй, прав.

— Вот что такое советская власть, — говорит Арий, — она уничтожает человека не тем, что может его посадить ни за что, может и убить ни за что — законы они толкуют! Она его тем уничтожает, что не дает жить, как он хочет. Бог разрешил, а она — не дает.

— Не разрешил, — говорю, — а попустил.
 — Да?.. Ну, я русский язык, наверно, плохо знаю.
 — Хорошо знаешь, здесь дело не в языке.
 — Еще бы не знать, тридцать лет по лагерям. Русские лагеря, не немецкие... Ты пойми, она человеку не только не дает жить по-человечески, она его ломает, корежит, с детства уродует. Вырос мужик, а не понимает — человек он или поганая овца, только и сгодится на шашлык, если ее кормить, само собой, а где у нас кормят? И чтоб ему доказать, что он может остаться человеком, если захочет, что эта власть не для людей — знаешь, что нужно?

— Теперь знаю, — говорю. — Показали.
 — Доехало. В тюрьму его надо посадить, вот он где поймет — кто он и кто она. Ты мне скажи: таких, как в тюрьме, много ли ты видал на воле?

— Не много.
 — Вот я о чем. Решето. Кто просеется, а кто останется. А решето встряхивают, трясут. Десять лет трясут. Еще десять. А потом еще червонец. А он остался, не просеялся. Кто ж Богу угоден — он или власть — она так и не смогла его уничтожить? За кем правда? Или я опять неверно по-русски?

— Все верно, что тут скажешь.
 — Чем я промышляю! — говорит Арий. — Я деньги не считаю. Разве в том мой бизнес, за что они меня судят? Мелочевка. Ну, заработал, купил-продал, валюта, то, другое... А я, ребята, миллионер. Когда выйду...

— Спрятал, что ли, — говорит Гера, — закопал?
 — Закопал. Никто не возьмет. Мои.
 — А если реформа, — говорит Гера, — будем прикуривать от твоих червонцев?
 — Ты, малый, червонцы сшибаешь, тебя и трясет, — говорит Арий. — Завяг лапу тебе в карман, народный контроль с тебя тянет. А у меня никто не возьмет.

— В чем же твой бизнес, Арий, в какой валюте?
 — Еще не понял? Хреновый ты писатель. Тысяча долларов за любую русскую судьбу, с руками оторвут, не так? Ты за полгода сколько узнал русских судеб? Сотню, не меньше? Помножь тысячу долларов на сотню... А за тридцать лет, как я? Возьми у Мурата карандашик, посчитай?

— Да, — смотрю на него во все глаза, — коммерция...
 Здоровенный, руки, как у меня ноги, движения неторопливые, точные. Камеру он на второй день анал наизусть, навидался... Неужто тридцать лет?

Чемпион Латвии по боксу среди юношей... Спортивная карьера на том, впрочем, и кончилась... А сколько правды в его рассказах — да и во всех рассказах, за которые будут нам платить по тысяче долларов! Заплатят-не заплатят, а сейчас он передо мной, рядом, на шопке.

Первый раз посадили Ария через год после войны. Мальчишкой. Тем самым юношей-чемпионом. Перешел в десятый класс, жрать в Риге нечего, отца нет, у матери их трое. Нанялся па лето в колхоз. А первого сентября собрал тетради-книжки — и в школу. Через неделю за ним пришли. Три года за самовольный уход с работы... Врет или правда? Но ведь могло быть, бывало — все тот же указ от седьмого-восьмого! На том и кончилось его образование и началась борьба за выживание — кто кого, он или она?

— Через два месяца выйду, — говорит Арий, лежит рядом, только мне говорит. — Срок кончится.

— Ты ж на особняке?
 — Я всегда на особняке. Суд уже был, дали два года. Ну... как дали... У меня баба, позавидует — все может. Как танк. Бутырку в первый месяц купила, каждую неделю передача. И сигареты с фильтром, и ветчина, и икра... Администратор в «Национале». Она и здесь успела. Прижала... Петерса. Видал его?

— Где мне его увидеть?
 — Она к нему в кабинет, а он от нее... С первого дня не оставляет в покое. Он во двор, в машину, а у нее машина возле ворот. Догнала в переулке, прижала к тротуару. Он вылез. Ты что, говорит, моего мужика убить хочешь? Он большой, ему то и то надо... Пошли передачи! Увидишь, чем такие бабы кормят... И следовательно у нее трепыхается. Свидания у него в кабинете. В Бутырке. Закроет кабинет и гуляет час, полтора. Все в ажуре. Два года выбила. Но... переборщили. Не она, сейчас всю Бутырку трясут, все руководство. Кого посадили, кого снимали, кого посадят. А мне надо? Пускай их, псов, понюхают... Что знаю, скрывать не стану — верно? Нагляделся, почти два года там. Говоришь — они по-своему закон толкуют? Пусть толкуют, а я про них расскажу. Меня следовательно перевел сюда, чтоб на Бутырке не пришли. Сечешь?

— Не так чтоб, но...
 — Они ко мне сюда ездят. Не по моему делу, по Бутырке. Мое не трогают; суд был, срока осталось два месяца, и им нужен как свидетель по Бутырке.
 — Ты им веришь? — спрашиваю.

— Как тебе сказать... Верю-не верю, а у меня чистенько, следок мужик ловкий, больше меня повязан. Если хоть что, я пасть открою — где он?

— Неужели выйдешь?
 — А куда они денутся? Не первый раз... И мы с тобой не будем зря время давить. Два месяца надо прожить. Для начала... конкурс. Я рассказ и ты рассказ. На пачку сигарет?

Вон оно как, думаю, много совпадений, а все ли случайные? Чудес в тюрьме не бывает. Каждый за себя.

— Я не в той весовой категории, — говорю, — по заказу не пишу.
 — Не по заказу — о чем хочешь?
 — Я свое отписал.
 — Хорошо. Давай мне тему, — не отстает Арий, — а потом скажешь, чего я стою?
 — Напиши про... решку. Чем не тема?

Он поднимает голову и глядит в окно. Глаза у него светлые, прозрачные... Нет, ничего я не понимаю в людях.

— Решка... Попробую. Хотя... — он пожимает плечами. — Классика...
 Утром он дал мне два листа, исписанных с обеих сторон крупными, почти печатными буквами. Грамотно и... вполне исчерпывающе. Не рассказ — эссе об истории «решки». Хорошо. Скучновато. Я ему сказал, что думал.

— Я и сам вижу — не мое. Не зажегся. Я другой напишу. Давно хотел.
 «Кружка кипятку» назывался рассказ. О карцере. Он и его написал ночью, а утром отдал мне.

Да он писатель, думаю. Настоящий писатель! Что ж я оплошал, отказывался от карцера, сколько раз предлагали, недавно была возможность, адвокат помешал... Можно писать о карцере, если в нем не был? Есть право?.. Один скажет, можно, другой — нет, но разве дело в том, кто что скажет? Напиши, попробуй! В чем же здесь сила, думаю, в истинности пережитого или в точности фиксации пережитого? Сколько я слышал рассказов о карцере — но разве я был в карцере?..

Глядит на меня, не хочет, чтоб заметил, что ему важно.
 — Замечательно, Арик, тебе надо писать.
 — Не врешь?
 — Зачем мне? На этом ты не разбогатеешь, но... Ты должен сохранять, спасти в себе. Никто не знает, а ты узнал. Только ты.

— А почему не разбогатеешь? На Западе напечатать?
 — Напечатать. Но это работа, Арик, и... тяжелая. Этому ты научишься, можешь. Превосходный рассказ, но... Писатель — это не простое ремесло, жизнь другая, существование — другое. Напишешь, напечатать... Этого мало, Арик. Ради чего? За ради денег не получится. И машины не будет, она не нужна, только пишущая. Тебе предлагают выбор — машина или машинка?

— А то и то — не выйдет? Мне того и того надо?
 — Тут не торгуются. Ты торговался за... «кружку»?
 Кружка кипятку в залитом водой карцере. День пролетный, день залетный... Так мне не написать, чтоб так написать, надо, чтоб тебя... одарили карцером, спасли кружкой кипятка, чтоб ты узнал ее истинную цену и свою истинную цену.
 Тридцать лет, думаю. Надо бы пачать раньше. Не успеть.

Матвея привели под вечер, к ужину.

— Начнут набивать хату, — сказал Гера, — побарствовавши.

Мы, и верно, разбаловались. Недели две живем в пятером. У троих постоянные передачи — у меня, у Геры, у Ария. Ларьки у нас троих и у Мурата. Только у Сани пусто. Не велик труд прокормить одного, когда у четаерых есть. И на прогулку всей камерой — весело, вольготно. Арий рассказывает, рассказывает, а вечерами со мной, доверительно. Только с Саней у него напряг: не верю ему, сказал Арий, прочитай Санину жалобу, много накрутил... Учти, сказал Арий, я с каждым по-другому разговариваю, иначе не поймут. У нас с тобой свое. Мне не машинка нужна — машина. Что ж я буду, одним пальцем, вон они у меня какие, не для того... У тебя есть машинистка? Там поглядим, говорю, будет воля, будет и машинистка. Но тебе же машина нужна, рестораны? Мне много чего надо, говорит, а как отправим на Запад, у тебя есть кто? Неужели... в «Национале» не найдешь? А они годятся? — спрашивает. Нет, говорю, для этого, пожалуй, не годятся. Как же, мол, тогда? Сначала напиши, говорю, а там посмотрим... Очень поучительные разговоры.

И вот является новый «пассажир». Под пятьдесят, худощавый, легкий, в седой бородачке. Глаза печальные, а с насмешкой. Уживается в нем и то и это. С больнички приходит.

— Чем же ты, сирота, хвораешь? — спрашиваю его.

— Давление поджимает.

— А статья какая?

— Самая тяжелая, — говорит, — чердак.

Тихий человек, астретишь — интеллигент. Сельский учитель. А разделся — мать моя мамочка! Нет живаго места, аесь разрисован. И живопись незаурядная, талантливо.

— Где это тебя, сирота?

Нет, и таких я еще не видел. Профессиональный бродяга. Божжи — их теперь называют. Русская классика. Не может жить на одном месте. Верно, сирота. Шел по улице малютка, посинел и аесь дрожал. А ему под пятьдесят, с мальчишек идет той улицей. Длинная оказалась — от Рижского залива, считай, из Европы до Находки. Да и конец не там. И до Магадана добирался. Нескончаемая улица. А в Москве мать-старушка, на пенсии, получила однокомнатную квартиру на Речном вокзале. А улица петляет, никак к той квартире не аыведет. Статья за статьей, заказана ему московская прописка, не светит бомжу а столице а эпоху зрелого социализма.

— Неужто за сорок лет не захотелось отдохнуть, ноги вытянуть? — это я его спрашиваю.

— Быало, есть у меня местечко недалеко от Москвы. Писатели живут. У одного из них. Однажды заглянул, а потом разочков пять приземлялся. Месяца три пожиау и...

— В Переделкине?

— Ну. Знаменитый писатель. Старый. Живет один. Жена померла, дочка а Москае, на квартире. А он круглый год. Воздух ему нужен, природа. Зимой котел топлю, летом сад обихаживаю. Цветочки. Месяца даа-три выдерживаю. А потом... заскучаю.

— Ты ему, наверно, рассказываешь, а он — записывает?

— Кто его поймет. Хотя книг много, цельный шкаф. И денег сколько надо.

— Тебе-то хорошо платит?

— Денег не даст. Кормить — кормит. И ночевать оставляет. Не попадайси, мол.

А попался — твое дело.

— Хороший человек, — подытоживает Арий.

— Жадный. Хотя был случай... Утром астанет, выйдет на крылечко, продышится — и обратно. Откроет шкафчик, рюмочка серебряная, нальет, аыплет и запрет а шкаф.

— Пишет, что ли?

— Может, и пишет, не видал. Спит, наверно. Раз в месяц приезжает дочка. Машина, шофер. Все про деньги. Ругаются. Он не дает. Она — в машину и обратно.

— Кто ж такой? — спрашиваю.

— Зачем тебе? Не надо. Скучная у него жизнь, я бы пи за что не променял. Передохнуть другой раз. А потом дождусь, когда уйдет погулять, у него вечером обязательная прогулка, открою шкаф, налью серебряную рюмочку... Сколько есть опорожню, рюмочку а шкаф — и пошел. Через год снова к нему. Не обижается, знает, мне пора было.

— Где же ты ходишь, Матаей?

— Ваде. Я аам скажу, мужики, а Сибири — тыщи живут по лесам. Раз поймали, авели а тайгу. Как на грех, деньги а кармане. Пускай, гоаорят, еще шлют, а не пришлют — съедим.

— Ладно арать, Матвей.

— Тебя бы к пим.

— Ну, и что дальше?

— Написал своему писателю в Переделкино. Так, мол, и так, выкупай. Они прочитали, поверили, что пришлет. Ждем.

— А ты-то аерил?

— Время потянуть. Кому писать? У матери пенсия тридцать семь рублей.

— А чем кормятся?

— Как волки. Ночью придут а деревню, пошарят — и а тайгу: яйца, саиненка, картошку. Что найдут. Летом полегче.

— Как же ты ушел от них?

— Случай, можно сказать. Пошли как-то а райцентр. Одного не отпускали, с провожатым. А у него там баба с самогоном. Он к ней. Я говорю: на почту слетаю, может, перевод подошел, для понту. А ему зачем, чтоб я с ним к бабе?.. Что думаешь — лежит перевод. Стольник! Все ж таки писатель! Взял деньги и рванул. Ушел.

— А в этот раз как залетел?

— На аокзале взяли. На Киевском. От него и ехал, из Переделкина. Я ее давно заметил — па-аскудная баба. В алектричке с ней раз, другой. Тоже там живет. И она на меня, аидать, глаз положила. Только вышли в Москве — она за свисток. Может, и отпустила бы, испугала или подписку взяла. А когда привели, она сидит за столом — следователь а аокзальном отделении, я на нее поглядел... Жалко, говорю, я тебя не спихнул, суку, а алектричке, ничего, мол, еще встретимся. Короче, напросился. Оформила. Чего от них ждать...

Что же у нас за камера, думаю, кого они сюда пихают? Один с особняка и другой асю жизнь по тюрьмам... В чем на сей раз кумоаской замысел?

И Матвей подлил масла в огонь. Мне.

— Чудная камера. Смотри, писатель, не промахнись...

Ночью я проснулся от хохота. Пятеро через дубок от меня, на шконке у Мурата. Он у окна, рядом с ним лежат Саня, Арий, Гера, Матвей. Уселись подальше от меня, чтоб не будить. Разговор о бабах. Арий и Матвей — а очередь, рассказ за рассказом. Пытаюсь заснуть. Наслушался... Саня аступает. Вроде бы, не его стихи?..

— От бабы, — говорит Саня, — можно чего хочешь ждать. Она, если что не по ней... К примеру, напьешься, не соображаешь, пожалела б, а ей надо... Она такое учудит...

Не уснуть, бьет а уши. Теперь исторический сюжет. В тюрьме о чем бы ни травили, все скушают... Наверно, притча, а подтверждение аерсии: «баба такое учудит».

— У царя Ирода, — начинает Саня, — жена Иродиада, а дочка Иродиадина. Одна другой старше на тринадцать лет. Одной тринадцать, а другой двадцать шесть...

— Рано начинали, — вставляет Гера.

— На юге всегда так, — говорит Мурат, — у нас...

— Молчи, Самарканд, — говорит Саня, — не про аас сказ. Жиаут они, царь Ирод и его бабы, ао дворце, все, чего надо, одного снегу нету, а так асе. Но аедь асегда мало, особенно бабам, им того надо, что у другого есть.

— А чего у нее нету? — спрашивает Мурат.

— У нее то есть, чего у тебя нету... Живут они во дворце, а а пустыне поселился отшельник святой жизни. Царь к нему за советом: начинать, к примеру, аойну или не начинать? И другое разное. Нужный человек для государства. Выкопал отшельник нору, вроде как Матвей а Сибири, жует куапечикова, заливает водичкой из родника — хорошо, пичего пе надо!.. Как не надо? Спроси у Матвея, надо ему или он так обходится?..

— Давай лучше про отшельника, — гоаорит Матвей.

— Я и рассказываю, а потом ты про себя — было похожее или нет?.. Мать с дочерью повадились к нему — у него то а наличности, чего ао дворце, хоть и пища не а тридцать семь копеек, а пе сыщешь. Мать утром, а дочка по ночам. Или наоборот, не а том история. Кто из них засастился — мать или дочка, или аремя спутали, столкнулись, история умалчивает. Короче, друг про дружку уанали. Матери куда деваться — старуха, у них к тридцати годам, считай, бабушка, а дочка бесится — старуху предпочел! Не понять дуреке, отшельнику без разницы, налопался куаенчикова, кто ни залезет в пору, в темноте не видно. Ну, дочка думает, держись, Ваня! А тут пир во дворце у Ирода, гостей полпа хата. Поели, выпили, закурили. Спляши, гоаорит царь дочке, если угодишь мне и гостям, что ни попросишь — твое. Сплясала. Они тогда не так плясали, не наши курочки, не шейк-брейк. Тринадцать лет стерве, а у ней все, что положено, в натуре. Гляди, рвапипа, завидуй! Гости по потолку ходят. Всех зажгла. Царь сопли утирает, хоть и дочка, а ногами сучит. Что хочешь, гоаорит, все исполню! И гости кричат: «Заслужила!» Ну, гоаорит царь, надумала? А она и не думает, стерва: дай, гоаорит, мне голову Ивана Крестителя на блюде...

Я не выдерживаю, больше не могу — зарежьте меня!

— Что же ты несешь, сволочь! — кричу я, как ао сне. — Художник, Сезан-Лентулов! Что у тебя в душе?.. И я уши развесил, поверил тебе! Если ты на такое способен, готов изгадить, чем только и спастись можешь, ты на все...

— Вадим, Вадим, — гоаорит Арий, — держи-ка язык...

— Не могу с вами! — кричу, — все равно куда...

— Ты что, Вадим?.. — Саня аылез к дубку. — Может, я чего спутал, но читал и... Картина есть, живопись...

— Что ты читал? Что ты мелешь? Какая живопись? Скоты! Что с вами будет, если аы готовы...

— А с тобой? — у Матвея лицо строгое, глаза колючие. — С тобой что будет? Ты за себя думай. На кого кричишь?.. Каждый по себе судит и называет. Не о себе ли раскричался? Неужель ничего за жизнь не изгадил? Никого не обездолил?.. Тюрьма учит — никого нельзя судить. Он сделал. А ты?.. Из-за бабы, парень... Один за бабу другому глотку вырвет, а другой себя погубит. Когда на аоле, ладно, с жиру бесятся, начудили. А когда в тюрьме?..

Я сбит с толку. Всегда аяноват, когда не сдержишься.

— Да вот вам история, ачера, можно сказать, — гоаорит Матаей, — на больничке. Я десять дней косанул, давление у меня, очень мне в камеру не асатило. Жрать нечего, подкормлюсь перед дорогой. А тут приходит... Да не приходит, приносят. Не фраер, три ли, четыре ходки. Бывалый. Морячок. Инфаркт у него. За месяц до сего. Потасили с осужденки на атап, а его прихватило. В реанимацию — куда еще? Есть такая больница, я знаю, лежал. Отгородили полкоридора решеткой, поставили вертунья, врачи

вольные и сестры — вольные. Не тюремные, короче. Кормят с больничного котла, вроде как санаторий. Само собой, от смены зависит: один власть показывает, другому — хоть водку трескай, с сестрами в жмурки. Можно лежать... Отвалился морячок в реанимации день-другой, поднимают наверх. Конвой гавкает: раздевайся догола, халат... А халаты без пуговиц, без завязок, до колена. Чтоб не ушел. А куда уйдешь — решетка, как в тюрьме, вертухай. Но — положено. А морячок уперся: не дам трусы снимать, надеваться над человеком нет у вас права. Когда начинаешь качать права, известно, с конвоем разговор короткий: хочешь трусы, наденем наручники. Надевайте! А у него инфаркт. Приходит врач с обходом, зав отделением, тюрьмы не нюхал, ему в новинку: крик, шум. Сняли наручники, с вертухьями провели беседу, чтоб помнили — не тюрьма, больница. Короче — послабление. Подфартило, сестрички спирт таскают — житуха! Наш морячок выбрал ночь потемней, шлепнул с вертухьям банку спирта, а когда тот закемарил, трусы ему в пасть, связал, снял сапоги, штаны, гимнастерку, натянул на себя, ключ вытащил, дверь открыл — и ушел... Но это ладно. Ушел и ушел. Я бы не стал рассказывать. Невидаль. А он куда ушел — в тюрьму! Баба у него на больничке, вот я к чему. Старшая сестра. Заерюга, говорят, кумовская блядь, морячок с ней давно, у них из-за того с кумом война — кто кого, вся тюрьма знает... Пришел морячок почью на вахту, открыли ему, а он повалился...

— Когда? — спрашиваю.

— Чего когда?.. Притащили к нам в камеру, глаза открыл: где, мол, я. Объяснили. Попросил покурить, рассказал откуда чего — и опять поплыл. Меня утром сюда вытащили, он еще не оклемался. Вот тебе баба, а вот...

— А фамилию не знаешь? — спрашиваю.

— Морячка? Как же, там был мужик, знает. Он и на больничке лежал сколько-то месяцев назад, там они со старшей сестрой и снюхались. Бедарев фамилия.

11

Мы гуляем вшестером во дворике на крыше. Вывели перед обедом. Своя хитрость: положено час прогулки, а через пятнадцать минут откроют: «Обедать будете? Тогда пошли...»

Сегодня нам повезало — лучший дворик на крыше, за семь месяцев только два раза сподобился побывать. Дворики — узкие, мрачные, клетушки, а этот — просторный, квадратный, но главное — со скамейкой: сядешь, закуришь, небо над тобой... Два раза счастливилось, кто-то сказал, сюда инвалида заводят, без ноги, его камера каждый день здесь гуляет.

Солнце над трубой, пи облачка, август — жара; мужики поскидали рубахи. Мы с Арием и Герой на скамейке, Матвей у стены, па корточках, Мурат посреди дворика, глядит в небо; Саня, как лошадь по кругу, а потом разбежится — и ногами в стену.

— За что ты ее, Саня? Пожалел бы! Не ноги, так стену... — говорит Арий.

— Не-на-вижу! Если каждый день в одно место, развалится.

— Силен черт, да воли нет, — комментирует Матвей.

Скоро месяц, как я закрыл дело, адвокат говорил, через неделю-десять дней появятся обвинительное заключение, а там и суд. Не торопятся — или что изменилось? Подождем, срок идет, умные люди говорят, летом тяжело на этапе, сентябрь-октябрь самая пора — не жарко и к зиме успею осмотреться на зоне. Все, вроде бы, удачно.

И я прикидываю: так же хорошо и на зоне будет. Нет скамейки — завалинка, бревно, пень; солнца-неба не отнимут, и не двадцать минут, как здесь, все время, когда не на работе и не сплю — мое. Сиди себе, гляди в небо... Или не знаю, разве все рассказано — воп как сказано: «В лагере будет хуже». Хуже-не хуже, вышел же тот, кто сказал, кабы не-вышел, не написал бы и мы не узнали. Так и я выйду. Как Бог решит.

— А у нас сейчас... заенит, — Мурат все еще стоит топольком посреди дворика. — Небо звенит, ручей звенит, дыня иливается, звенит...

— Ишаки у вас звенят, — говорит Гера, — известно чего ждут.

— А ты добирался до Самарканда? — спрашиваю Матвея.

— Бывал. Но... Я на север подамся. Меня, как ты говоришь... сиротство лучше греет.

— Приезжайте ко мне! — говорит Мурат, — всех приму! Барана зарежем, вина — сколько выпьем! Чего хочешь...

— Отца обрадуем, — говорю, — увидит, кого пригласил...

— Моим друзьям отец всегда рад, у нас не спрашивают — кто, откуда.

— А кто мы, откуда? — говорит Саня.

— Увидишь отца, успокой, — говорит Арий, — никогда мы к нему не свалимся.

Один пойдет на север, другого повезут на восток, третий тут останется, собственное говно хлебать, а мы с писателем... У нас в другой стороне дело.

— Это где ж? — спрашиваю.

— А разве мы не договорились?

— Встретимся... — Матвей сидит на корточках, привалился к стене, подставил лицо солнцу, улыбается чему-то, что одня он видит. — Человек с человеком обязательно встречаются.

Ничего я о них не знаю, не понял. Но кем бы я был, что бы знал о жизни, когда б пронесла она меня мимо? Мимо каждого из них и всех их вместе. Мимо камеры — одной, другой, пятой, мимо дворика — того и этого?

— Слышь, Вадим, — говорит Мурат, — что такое... плюсквам... перфектум?

— Даано прошедшее, — говорит Арий, — кто ж тебя учил, или баранами платили за твой немецкий?

— Смотри, что тут написано... — говорит Мурат.

Он и Саня стоят у черной двери, читают надписи.

Я подхожу к ямам. Вся дверь густо исписана — шариками, изрезана ложками, стеклом. Раньше я не пропускал ни одной двери, читал. Потом надоело.

«Подгони табачку пухнем! Молчун». «Кто здесь из Аядижана?» «Гвоздя кинули на обшак». «Прокурор запросил семерик. Буду ждать на осуждаеке. Голован»...

Эта надпись на самом верху. Коричневым фломастером. Почерк быстрый, так и передается отчаянная нервность: «Плюсквамперфектум!..» — кричит фломастер и меня охватывает странное чувство, будто слышу голос...

Я оборачиваюсь на дворик. Арий сидит на скамейке, не даинулся. Матвей поднялся, с трудом разгибается, засиделся, медленю идет к нам. Гера уже у двери.

«Плюсквамперфектум! — читаю я кричащий коричневый фломастер. — Б. Б. — кум, сука! Под тебя сидит, под тебя! Берегись его. Прости за все и помни обо мне. Вспоминай!»...

— Кто такой Б. Б.? — гоаорит Гера.

— Написано, — говорит Саня. — Не видишь? Кум, сука.

— А Плюсквамперфектум? — говорит Мурат.

— Широкий человек, сказал один великий писатель, — говорю я.

— Как «широкий» — не понял? — слышу я Ария.

Он сидит на скамейке, глядит на меня. И у Матвея глаза внимательные, острые.

— Так и понимаете, — говорю я, — а прямом смысле. Человек широкий, а врата узкие. Не пролезть.

Глава пятая

ЭПИЛОГ

1

Те же коридоры, туннели, повороты, черные глухие двери... Неужто явь, реальность? А духота, сырость, смрад — не реальность? Пора бы привыкнуть. Что изменилось на сей раз — сознание, бытие? Не в том дело, смешная подробность, разве эски о том думают, а я заклинил — куда мне! И все, о чем бы сейчас надо, чтоб собраться, не проколоться в первую минуту, не попасть впросак... Я не о том думаю, что меня ждет, даже не о том, что мне приготовили, уготовано — на себе заторчал, на кося я похож, вот что меня заботит! На мне серый халат, без пуговиц, без завязок, до колен, один карман оборван, в другой я засунул руку, придерживаю расходящиеся полы; под халатом застиранные, обесцветившиеся трусы, без резинки, на веревочке; выношенная, продрапная майка, на голых ногах сапоги. Единственная моя вещь! Вид, мягко скажем, потешный, надо думать, дикий. Вот я о чем, а коридоры, туннели, повороты... В таком виде только в психушку, думаю... Нету в тюрьме психушки. В больничку меня, в ту самую, о которой столько слышан, недавно ляпнул, не подумав, везде, мол, побывал, а там меня не было. Вот тебе, пожалуйста, захотел — получил.

— Послушай, Федя, а почему на больничку, я не просился?

— Мозгом пошевели, сообразишь. Учат тебя, учат...

— Ежели для прохождения курса...

— Кончилась твоя наука.

— Жалко, вызвала бы следачка, а я бы к ней в халате.

— Она повидала, будь спокоен.

— Так и ходят?

— А что такого?

— Ты б на нее поглядел.

— Еще не такую увидишь, — Федя не оборачивается, — успеешь.

Стало быть, и это у меня будет. Сколько я наслушался, сколько возвращали меня к «сюжету» больнички, так и атак поворачивался, раскручивался, а сейчас аукнулось, станет реальностью. Случайность, совпадение? Нет в тюрьме случайностей — вот в чем наука. Быть не может. А что есть?

Федя вперевалочку впереди, гремит ключами о железные двери. Он-то зачем, который уже раз, в самые уловые моменты... Шутка? Понять бы, чья? Все случайно — шутки, думаю, одни добрые, другие — злые, но — шутки, ухмылки. Герман, тройка-семерка-гуз — разве не шутка, какой тут глубокий смысл? Dame de rigue, — сказал бы мой ученый адвокат. Неужели они теперь все такие? Вымирающая профессия, думаю, сучье племя, ретро, кушать подано...

— Заходи, — Федя открывает дверь с лестницы.

Линолеум. Похоже на районную поликлинику. Почисте. Не в грязных калошах заводят пациентов, в тапочках или, как меня, в сапогах из собственного мешка... Открытые, закрытые белые двери — свобода!.. Ага, вон и черные, с глазком, с кормушкой — камеры!

— Постой-ка пока здесь, — говорит мой давнишний Вергилий и скрывается за белой дверью.

Почему мне... радостно? — думаю. Или я излечился, наконец, от старой моей беды — страха перед всем новым, неожиданным, так или иначе, но ломающим жизнь? Всегда любил хронику, какая бы ни была жизнь — хорошая, плохая, а моя, привычная. Так и здесь: пусть тяжело в камере, сил больше нету, а знаю — новая будет хуже... Чем хуже? Да ничем, одно и то же, а начинать сначала, пока еще свыкнешься. Почему же теперь радуюсь? Или хитрю с собой, на больничке полегче, слышался: белый хлеб, молоко-мясо, простыни... Больничка — не тюрьма, что-то другое, человеческое... Человеческое ли? Погляди, не я выбирал, за меня решили, своей волей и за что б не шагнул из камеры — повели.

И когда из камеры выводили, будто кто сказал мне — куда, ни тени сожаления. А ведь привык, сжилс: Арий, Сапья, Мурат-Гера, да и Матвей — персонаж, не забудешь. А уходил легко. Или верно, излечился от старой хвори?

«Куда ты меня на сей раз, а, Федя?»

«Куда-куда, не скумекаешь?.. На больничку».

«Да ты что! На больничку попасть — носом землю роют!»

«За тебя вырыли».

«Как понять, Федя?».

Спустил вниз, на сборку — и в отстойник.

«На пять минут, — говорит, — перетопчешься».

Пяти минут мне хватило, нагладился.

Пожилые мужики, усталые — выработанные. Как лошади, их только на бойню, да и дойдут ли своими ногами? Я не сразу врубился — кто такие? Гляжу, на одном зимняя шапка с полосой, на другом телогрейка тигровая... Полосатые!

«На особняк, мужики?» — спрашиваю.

«Ну. А ты куда?»

«Сам не знаю. Вроде, на больничку».

«Что за статья?»

Объясняю.

«Что ж тебя к нам? Такого не бывает».

«На пять минут, сказано».

«Эвона, пять минут! Мыло у тебя есть?»

«Есть».

«Давай ребятам, нам все сгодится, посылок не будет».

Полез в мешок, достал мыло.

«А теплое есть что?»

«А что тебе?»

«Да нам все надо! Лишним не будет...»

Вытащил теплые подштанники, рубаху...

«Вы не из двести восемнадцатой?» — спрашиваю.

«Месяц назад оттуда».

«Ария знали?»

«А ты его видал?»

«Сейчас от него. На снецу, на пятом этаже...»

«Слышь, ребята, живой Арий! Как он там?..»

Рассказал.

«Отдайте рубаху, — говорит один, — самому сгодится».

«Не надо, подгонят. Еще суда не было, пока уйду...»

И тут Федя открыл дверь...

«Держитесь, мужики!..»

Эх, как их перекутила ржавая мисорубка!..

Мимо по больничному коридору шествуют чучела-не чучела, смех да и только — да ведь и я такой же! Халаты без завязок-пуговиц, голые ноги; веселые, горластые...

Федя уже рядом со мной.

— Ты вот что... Тут тебе не гоже стоять. Пока определяют посиди-ка ты...

Открыл черную дверь.

— Заходи.

— А в чем проблема, Федя?

— Хату подбирают. Посолидной, посмирней — сечешь?

— С самого утра, как тебя увидел, ничего не пойму.

— Подкормить тебя надо, дура! Шевели мозгом...

— Кто ж подбирает?

Он закрыл дверь, а я стою, двинуться боюсь.

Камера небольшая... Палата! Свет потушен, а *светло!* Нет «ресничек» — решетка, намордник не доходит до краев, солнце брызжет в зазоры; одноэтажные шконки — кровати! Против чистенького сортира непонятное сооружение: высокий столик, а над ним...

И тут я понимаю, куда он меня запихнул. Над столиком кукла — целулоидная, ярко-оранжевая, раскорячила пухлые ножки, растопырила ручки, покачивается на веревочке... «Мамочки!..» Вон я у кого в гостях!..

Дверь открывается. Федя.

— Курить нету? — спрашивает.

— Откуда? Мало меня учили, как завел к фельдшернице, все отобрала, голым пустила...

— Держи, — протягивает мятую пачку «Дымка», четыре-пять сигареток. — И спичек нет?.. Покури у окна. Жди...

У фельдшерницы я оказался полным лохом, а сколько наслушался, учили, предупреждали... Все, говорит, снимай, вот тебе трусы, майка, чтоб своего — ничего. Тапочки оставь. У меня нету. Тогда в сапогах. Мыло возьми. А штаны — как же я пойду? Так и пойдешь, молча. И чтоб табаку — ни крошки. Найдут сигарету — в карцер... И снова я упустил карцер.

В такой бы камере, думаю, оттянуть три года. Годик, месяц — да хоть бы три дня!

Подхожу к окну. В зазоре между стеной и намордником — двор... Дерево! Зеленое, разлапистое, шумит — воздух, ветер, запах травой, листьями! После смрада, потного отстойника, в котором сейчас ждуть этана мои полосатые братья...

Ветер швырнул раму, зазвенели стекла, враз потемнело, загремело — и хлынуло потоком. Гроза, дожди! Стучит в намордник, заливает подоконник, высунул к самой решке, ловлю губами, открытой под халатом грудью... Господи — за что?.. Благодарю Тебя, Господи!

— Дождь! Поговорить с человеком!.. *Поговорить!* Наговорился с ворьем, хапугами, бандитами... Ты не подумай, наречь, я и сам такой — вор, хапуга, но я — человек. Ты, вижу, можешь понять.

— За что ж ты Осю-то Морозова, Андрей Николаич? Или он не человек?

— Человек. И ты, Зураб, мы с тобой оба люди. А за что мы сидим, ответь? За дело! А теперь об этом парне сообрази? Человек о Боге заговорил, о нас, сырых-убогих, вспомнил о нашем житье-бытье. А его куда? За решетку! Кто виноват? Не мы с тобой, не Ося-добрая душа — два уха и оба глухие? Спешут с нас, забудут? Нет, малый, нам и его повесят, не отмажешься. Мы за него виноваты, наша власть, народная. Голосуем — поддерживаем, не голосуем — тоже поддерживаем. Или ты против голосовал? Мало того, мы эту поганую власть и тем поддерживаем, что обворовываем! Считаем законной! Кабы не законная, разве я б у нее воровал?

— Экий вы парадоксалист, Андрей Николаич, — говорю я.

— А что — не верно? Или, думаешь, у меня — да у кого ни возьми, последним надо быть! — поднялась бы рука на того, кто вне ихнего жлобского закона? Да ни в жизнь! Сам бы придавил, если б кто, скажем, в церковь залез или в твоих, к примеру, рукописях стал копаться. А из ихнего кармана, который они *законно* народным добром набивают — чего не взять? Свое?..

Тот же персонаж, думаю. Лицо бледное, отечное. Ноги, как бревна, он их руками со шконки на пол, с полу — на шконку, а внутри клокочет...

— Давай, Андрей Николаич, открой свою программу переустройства нашего свободного общества в еще более лучшее, — подаживает Зураб.

Зураб — здоровенный татарин, страховидный, бритая голова, лопухий с приплюснутым носом, веселые глазки посверкивают.

— Могу и программу... Но разве они хоть кого послушают? Если б и рай пообещал, им не надо. Себе соорудили. Семьдесят лет погуляли, еще семьдесят на нашей шее продержатся.

— Кто из них семьдесят лет продержался? — урезонивает его Зураб, — их что ни год шлепали, едва ли в рай, им другая зона...

— Пожалел! — кричит Андрей Николаевич. — Не зря тебе в детстве кричали: «свиное ухо!» Нет для них на земле места! Разве в том дело, что хапают, пусть бы, я сам

своего не упущу. Но что они с нами сделали, ты подумай! Слышь... Вадим тебя?.. Я никак в толк не возьму — шестьдесят лет прожил, вроде, соображаю, а ихнюю логику не пойму. Ни логики, ни здравого смысла! Все себе во вред. Да черта мне в том, что им — стране во вред! Кто они такие?

— А кто мы такие? — говорю. — Это не я, мой сокамерник спросил. Убийца, родную мать зарезал.

— Вот! — кричит Андрей Николаевич. — Я о том самом — кто мы все такие? Россия... Двести пятьдесят миллионов, пусть не одни русские, кого только нету — кто мы?

— Мудак, — говорит Зураб. — Мы и дома мудак, и яа работе, и... Кому не лень, все помыкают. Мы с тобой, Николаич, и своровать не смогли, сели. Да разве мы воры? Зря лезешь в чужую компанию, не твоя масть. Сто семьдесят третья — не воровство.

— Ладно, Зураб, мы же в суде, яе у следователя, я не про уголовный кодекс.

— Нет, погоди, — и Зураб завелся, — я тоже не хочу перед новым человеком дураком оказаться...

— Дураком не хочешь, а мураком согласен?

— Я тут пересекся в одной камере с начальником управления торговли, продуктовой главк, — говорит Зураб. — Ба-альшая фигура! Жалко, говорит, не успел наладить дело, посадили... А какое, мол, дело, если яе секрет? Перевести, говорит, торговлю на автоматы, договорились с фирмачами на Западе, завезем автоматы — и воровать не будут. Будто сам он сел за то, что обвешивал! Дурак ты, говорю ему, хоть и начальник главка, твои автоматы в любом магазине в первый же день так подтунит, не расплатишься, вот когда тебе будет срок — шлепнут! Разве тут автоматами выправишь?

— А чем? — спрашиваю я.

— Вот я о чем! — Андрей Николаевич сбрасывает ноги со шконки. — Они теперь... Слушаешь радио, читаешь газеты?.. Кроют и кроют, залатывают. Гласность у них начинается, счета сводят. Что из того выйдет, кроме Тришкиного кафтана?.. Ты правда в Бога веришь?

— Верую, — говорю.

— Вот тебе, Ося, и разговор! — кричит Андрей Николаевич. — Вот в чем сила!

— Что за сила? — Ося небольшого росточка, седоватый, добрые глаза, аккуратный... — Я четыре года оттопал, до Волги добежал, потом до Праги прополз, проехал, а Бога не видел. Чертей встречал, а Бога?.. Нет, не пришлось.

— Видал? — кричит Андрей Николаевич, говорить спокойно не может. — Еврей и Бога яе знает? Ветеран педорезанный! Ветхий Завет кто нам оставил? Кто псалмы написал? Матерь Божия из каких будет? А он, кроме чертей, никого знать не знает!

— Понесло, — говорит Зураб, — теперь его не остановить.

— Ты послушай, Вадим! — кричит Андрей Николаевич. — Каково мне в этой камере? Полтора тут! Ну, была б синагога-мечеть, я бы весь срок оттянул, ума бы набрался, о Боге поговорить — хоть с мусульманином, хоть с евреем? О Боге! А с этими советскими недоумками — о чем? Какая разница, что одия ловчила, с ним на узкой дорожке не встречаешься, а другой — мухи яе обидит? Зачем они мне?.. Слава Тебе, Господи, православного кинули.

— А наш говорун тебе не подходит, — говорит Ося, — из русских перерусский?

— Его мне в первый день хватило, — говорит Андрей Николаевич, — только и передыхаю, когда выдергивают, спасибо, часто. Поговорить, пока нету...

— Кто такой? — спрашиваю.

— Увидишь. Темная вода. Не зря кинули. Что-то у него стряслось на корпусе, отмокает... Погоди, не про то разговор, мне успеть, помешает... Кто мы такие, спрашиваешь? Что с нами сделали?.. Я тебе вот что скажу...

Что ж они мне за хату подобрали, думаю, а ведь долго подбирали, часа два проторчал у залитого авонки дождем подоконника, в «мамочкиной» камере с целлюлозной куклой... Выдали одеяло, две простыни, подушку с наволочкой... Тоже белые стелы, светло, чисто, одноэтажные шконки, два окна с намордником без ресничек. Три человека, я четвертый, пятый яа вызове... Подбирают, чтоб посолондней, сказал Федя, посмирней... Да кто бы они ни были! Отлежусь, отмокну, еще кормить будут! Хотя бы ужин... А этот говорит, говорит...

— ...ни логики, ни здравого смысла! А откуда ей ваяться, ты подумай, Ося, покрути еврейской башкой? Чертей он видел! А кого ты еще мог увидеть?.. Умом не поймешь, требуется другой инструмент. На брюхе он прополз до Волги... Разве поймешь — брюхом? Не-ет! Метет, свистит, воеет, в глазах песок — и это от Невы до Камчатки, и это семьдесят лет! Разве тут логика? Ты подумай, Вадим, я тут полгода и ты полгода — живут люди! Видал их, живые?

— В каждой камере видел.

— Вот! А здесь гуще, свирепей, не будешь держаться за шконку — сорвет. Но и здесь — люди. Больные, покарженные, себя предали, душу, совесть, все продали... Кто они, спрашиваешь? Кто — мы? Воры, убийцы... Но если и они, если и мы — люди,

если и тут — живые, что ж их и там нет? На воле? Есть! От Невы до Камчатки — посчитай!.. Им надо шаг сделать. Трудно, что говорить, но... последний шаг — понимаешь? Не сделаем — пропадем. Остановиться надо, куда мы все зашли подумать, яе туда шагнем — пропали, никто, ничто не вытянет. Голоу поднять и... Ты понимаешь меня, Вадим?

— Понимаю, я тебе рад, Андрей Николаич. Спасибо.

— Неужели только чертей, а Бога не услышим? Пока гром не гремит, мужик не перекрестится — что ж, не гремит — мало?.. Вот Оя рядом, протяни...

Он задыхается, хрипит, Зураб бросается к нему, поднимает, укладывает ноги-бревна на шконку, Андрей Николаевич валится на подушку, на губах пена...

Дверь открывается...

Шмаков?.. Коля?!

— Вадим?! Ну, чертяка! Встретились! Я знал, не может быть, чтоб не повидались!.. Отощал... Подкормим! Верно, братва?.. Везут ужин. Рисовая каша с молоком, компота у меня дае шленки. Давно не хлебал?.. Ты что, Вадим?..

2

Мне хорошо и радостно. Я не просто счастлив — смущен. За что мне? А ни за что, никто не стоит такого. Разве такое заслужишь, разве хоть что-то равновелико обрушившейся на меня сокрушающей полноте счастья?

Я сижу за широким столом, накрытом скатертью, на нем только подсвечник с тремя горящими свечами, но я понимаю, это *трапеза*. Нас двое. В торце — священник. Я не видел его прежде. Но я его знаю. Не старый, бородатый, спокойное, доброе лицо. Молчит. Но у меня четкое ощущение разговора, *беседы* — спокойной, полной, и я его счастлив. И мы оба счастливы...

Перед священником чаша... Потир! Накрыт покровом.

Почему мы *сидим*? — думаю я. *Что* означает эта радость?.. Наверно, оттого, что знаем, чем завершится наша беседа: он спимает плат с чаши... Оттого я счастлив, но и оттого смущен.

Мы *вместе*. Вот оно что! Полнота совместного, ни с чем не сравнимого ожидания предстоящей *трапезы*. Потому мы молчим и оттого ощущение нескончаемой *беседы*.

Тень возникает за спиной священника. Сначала она — некое уплотнение воздуха, покачивается, потом медленно сдвинулась, и ее очертание становится более отчетливым. Она выплывает из-за спины священника, колеблется, будто ничем и никак не прикреплена...

Туман, а в нем... Тень приближается или туман рассеивается. Она все четче, яснее. И такое странное ощущение крепнущей связи между возникшей тенью и тем, что происходит за столом. Тем, что теперь уже... не может произойти: тень разрушила предстоящую полноту, прервала беседу и то, что могло состояться, уже происходило, чем оба мы были счастливы, ждали его приближения в радостной молчаливой беседе...

Я узнаю ее. Колеблясь, не касаясь пола, она приближается, садится напротив. Нина. Подперла рукой щеку, глядит на меня... А я — на нее.

Чаша начинает медленно двигаться по столу, отплывает. Она уже у торца. Священник берет ее руками в нарукавниках, еще мгновение и они — священник и чаша, растворяются, их нет. И туман рассеивается. Стол пуст, только подсвечник с горящими свечами.

В отчаянии я поворачиваюсь к Нине. Теперь мы вдвоем. Я хочу что-то сказать и не могу открыть рта. Она глядит на меня, я вижу слезы в темных глазах... Темных?.. Через стол она протягивает руку и накрывает мою, лежащую на столе. Меня пронзает горькая до слез, щемящая нежность. Почему такая горькая? — успеваю подумать я. И успеваю ответить себе: потому что ушла полнота ни с чем не сравнимого счастья.

Я просыпаюсь в слезах и тихо лежу под простыней. Открывать глаз я не хочу. Сон стоит передо мной: в дрожащем пламени свечей — стол, чаша, священник, Нина... Мне прощено? Нет. Ею, может быть, и прощено. Но это ее проблема.

Откуда мне не уйти, внезапно понимаю я. 201-я статья, адвокат, предстоящий суд, атап, звезды над зоной... Миражи. Вязкая тина, путаница камер, разговоров, духота, смрад, глоток воздуха — и опять, я снова... Еще мало. Что я отдал, разве я хоть что-то заслужил?..

Сон открывает мне меня, вот в чем его смысл... Она улыбнулась, еще не проснувшись, нижняя припухшая губа по-детски чмокнула, блеснули зубы, дрогнули ресницы, она открыла глаза... Запеленутый младенец с яркими, с каждым мгновением проявляющимися глазами, вспоминаю я, душа, открытая Богу в прощении и любви к тому, кто виноват перед ней... «Не отчаивайся, Вадимка, я не сержусь на тебя — ничего не было...»

Не было? И я вспоминаю, о чем запрещал себе думать все эти месяцы — не так я о том вспоминал!.. Горбатую, со вздыбленной бурой шерстью крысу на заваленной влажной листвой дорожке перед пустой дачей, скрип ступеней под ногами, тень на стене над ее головой — темное пушистое облако, треск горящих поленьев, запах дыма и внезапную ярость к *другому*, низкое чувство ненависти, облеченное в благородное негодование. Его звали *Жора*, доцент из их института; она любила его, или ей казалось, что любит: красивый, веселый, умный, постарше; а она ничего не понимала. И у нее тогда ничего не было. И церкви еще не было. Только больная мать, не отпускавшая ни на шаг. Они приехали на дачу. Тоже была осень, так же трещали дрова, пахло дымком. Она не могла остаться, ее ждала мать. А он ее не выпустил. А потом... Потом он оказался... И когда б не церковь, если б она не нашла себя и а себе...

Дрова догорели, в доме было тепло, душиновато, бутылку мы допили, рассказ она кончила. «Будь великодушным, Вадинька, ты знаешь, я не смогу тебе...»

Я был пьян и ничего не помнил. *Не хотел помнить...* Не помню? Я и сегодня тем счастлив!

К утру выстудило, забыли закрыть трубу... И мне так ясно вспоминается моя холодная ярость к тому, кто...

«Это был не я...» — сказал Гриша. Конечно, не я, а тот, кем я стал, позаолив себе, впусив в себя ярость, зависть, злобу, а потому и оказавшись здесь, переходя из камеры в камеру, продолжал распалать себя, отдавая *ему, другому*, собственный страх, ужас, и всего лишь представив себе следующий логический шаг — уже готовность спасти шкуру любой ценой, предать и продать; сводил счета, представляя *его* в каждой из камер, и находя *его* в себе в каждой *своей* ситуации, из себя извлекая, аysterивая сюжет жалкой писательской мести... Кому? Что было бы со мной, когда б Господь не помог мне?..

«Жора — это я», — говорю я себе, и мне становится жарко под простыней. Пока я не выблюю его из себя, пока не спасу в себе, не покаюсь и перед ним за свою злобу и ненависть, пока не найду в себе силы его... полюбить.

3

Спать я уже не могу. Возникшее во сне ощущение, что я здесь надолго, становится все более прочным. Оно ни на чем не основано, логика отсутствует, но я уже привык доверять таким внезапным тюремным прозрениям. Они не обманывают.

Отсюда так легко не уйти, думаю я... Да не из больнички — из тюрьмы! Не будет суда, этапа, писем, звезд на черном небе над зоной... А что будет?

Хорошо бы задержаться в больничке, думаю я. Белые стены, чисто, ветерок в открытые окна... Коля Шмаков? В каждой камере свой Коля Шмаков, пора бы и на этот счет не дергаться. Почему я вчера не сказал ему всего, что о нем думал? Трусость или опыт? Но он что-то понял, замолчал. И я замолчал.

Чужая камера, слишком мало знаю, чтоб открываться.

Пожалуй, самый симпатичный здесь — Ося. Похрапывает рядом. Зубной техник, протезист... «Сапером был всю войну, — сказал мне Ося. — Думаешь, опасная профессия? Бывают переживания, не без того. Вот я и нашел потише, самую мирную — зубы вставлять. Покой, тишина, а я еще глухой. Но жить с каждым годом легче, веселей, кому нужны железные зубы, они хотят, чтоб открыл рот — солнце играло!.. Я и играю восьмой месяц из одной камеры а другую...» Такого только ленивый не обидит, сказал бы Пахом. Она подороже — беззащитность, уже в который раз думаю я, некий раритет в нашей волчьей жизни, но, может быть, в ней и сила, которой следует учиться? Едва ли научишься. Такая сила или есть, или ее нет...

— Не спишь, Вадим?

Коля. И он не спит. Мы с ним через проход.

— Проснулся, — говорю.

— Сколько ж ты ждешь суда?

— Второй месяц, тянут. И обвинительного до сего нет.

— Как бы тебе не присохнуть. Как мне. Я уже полтора года. И год жду суда.

— А право у них есть? — спрашиваю, как когда-то, давным-давно, на сборке.

— За судом можно быть бесконечно. Пока не опухнешь. Я больше не могу, Вадим. Объявляю голодовку. До смерти.

— Не валяй дурака, Коля. Выкинут с больнички...

— Хрен с ними. Больше не могу! Это ГБ. И тебя они тормознули. Кум с ними заодно. Они его крутят, а он...

— Ты где был, Коля, сюда — откуда?

— С особняка.

— Из двести восемнадцатой?

— А как ты знаешь?

— К нам пришел Арий. Месяц назад. Рассказывал.

— Вон как. Понятно, почему ты со мной так. Никому не верь, Вадим, здесь нельзя никому...

— Мне не надо, — говорю, — я себе пытаюсь поверить.

Я стоял у окна, глядел на двор сквозь зазоры между намордником и стенами. Все лежали, ждали прогулку. Дверь широко распахнулась и в камеру вломилась... толпа. Иначе не скажешь... Впереди — коренастый, плотный, с круглым ражим лицом, полковник. За ним не по летам толстый, рыхлый, хлыщеватый, в кожаном пальто. А следом белые халаты, халаты...

Никто из моих сокамерников не поднялся.

Полковник прошелся вокруг дубка, стуча каблуками, и круто остановился.

— У кого какие жалобы?.. Разберемся!.. Есть симулянты? На общак!.. — он махнул рукой.

Никто из лежащих не двинулся.

— Я начальник следственного изолятора, — сказал полковник. — Прокурор города по надзору, — он ткнул пальцем за спину, где стоял кожаное пальто. — Какая у кого беда?

Андрей Николаевич сбросил ноги-бревна со шконки, сел. Коля поднял голову. Зураб перевернулся на живот. Ося безмятежно читал книгу — ничего не слышит.

— А! Зашевелились?.. — сказал полковник. — Живые!

Он хохотнул.

— Какая статья? — обратился он к Андрею Николаевичу.

— Сто семьдесят третья, — сказал Андрей Николаевич. — У меня к гражданину прокурору... Я уже полгода, болен, ходить не могу. Я ни в чем не виноват. Писал жалобы. Не отвечают, следовательно не присажает. Видите ноги? Зачем меня держать? Отпустите под подписку, я докажу, оклеветали...

Прокурор чиркнул в блокноте. От окна я хорошо вижу: поставил закорючку.

— А вы? — спросил полковник Колю.

— Объявляю голодовку, — сказал Коля, — смертную.

— Напугал, — сказал полковник. — Псих, что ли?

— Год за судом, — сказал Коля, — буду жаловаться в ООН.

— Главный врач! — крикнул полковник. — Чем он болен?

Серая мышка в большом, не по росту, жеваном халате шагнула вперед.

— Высокое давление. Пытаемся сбить, но...

— Разберемся. Сколько он лежит?

— Месяц.

— Что? Как... месяц?

— Видите ли... — начала мышка.

— Что у вас? — это вопрос Зурабу.

Лица Зураба я не вижу, только спину. Передо мной глаза полковника, они вздрагивают. Зураб готовится к психушке и уже демонстрировал мне свои ухмылки: толстые губы безобразно растягиваются, глаза рассредотачиваются, и без того страховидная рожа производит ужасающее впечатление.

— Ты... что? — сказал полковник.

— Голова...

— Вижу. Дальше что?

— Летит, отходит от тулова, поймай-ка.

— Была пятиминутка? — полковник повернулся к мышке.

— В следующий четверг, — сказала мышка.

— Наведем порядок... А этот... читатель?

Я дернул Осю за ногу, он бросил книгу, оглянулся, вскочил со шконки, на голове прыгает седой хохолок.

— Статья, от чего лечат?

— Сто пятьдесят четвертая. Еще восемьдесят восьмая. Я ни в чем не... Желудок у меня...

— Же-е-лудок? Боржома не хватает?.. — полковник махнул рукой. — На общак. Там враз вылечат. У нас не санаторий.

— Я хочу сказать, что мне... — начал Ося.

Полковник от него уже отвернулся.

— Ваша статья? — он смотрел на меня.

— Сто девятая прим.

Полковник бегло глянул на прокурора.

— Как она... формулируется? — за все время прокурор первый раз открыл рот.

— Как?... мне стало весело. — Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и...

— Да-да, — сказал прокурор, — конечно.

— Фамилия? — полковник шагнул было к двери.
 — Полухин.
 — Полухин?.. — он круто повернулся. — Как же, как же!.. У вас вполне... приличный вид, Полухин, а ваша сестра... Была у меня, говорит, что вы...
 — Как она? — перебил я.
 — Кто?
 — Сестра.
 — Вам бы так, Полухин. С ней — все нормально.
 — Благодарю, — сказал я.
 Толпа вывалилась в коридор, дверь грохнула.
 — Ну, шельма! — сказал Андрей Николаевич. — Видали заходы? «Кто жалуется — на общак!..» Н-да, разберутся...
 — Это и есть Петерс? — спросил я.
 — Собственной персоной. Редко кому такое счастье, чтоб самого... С тобой у него дружба, родственников знает?
 — Зачем он приходил?
 — Галочку поставить, — говорит Зураб. — Чтоб я на нем порепетировал. Осю — на общак. Большое дело сделал.
 — Почему меня? — говорит Ося. — Только начали лечение?.. Перашй раз я тут месяц отлежал, прошел курс, полегчало. А теперь пятый день, они и не начинали...
 — Он тебе объяснил, — говорит Зураб, — не сапаторий.
 — А тебя, Шмаков? — говорит Андрей Николаевич. — Пожалеют? Голодовка! Будут наблюдать, как ты молоко-мясо станешь нам отдавать или ночью набивать брюхо?
 — Мне чем хуже, тем лучше, — говорит Коля, — я этих сук навиделся, ояи у меня покрутятся...
 — Утихни, — говорит Андрей Николаевич, — давай побьемся на пачку сигарет? Сейчас тебя вызовут, голодовку ты не откроешь и здесь присохнешь, пока...
 — Пока что? — говорит Коля.
 — Пока писатель будет. Не так?
 — Может, так, хоть поговорить с человеком.
 — Ладно. Не моя печаль. Я зарекся лезть в чужие дела... Они не за тем приходили. Не поняли, умники?
 — Да ни за чем они приходили, — говорит Зураб, — мимо шли. Или им па больничке спирту пообещали. Банку.
 — Не-ет, Зураб, не сечешь. Тут другое. Жмурик. Вот они за чем пожаловали. За жмурика надо отвечать.
 — Они при чем? — говорит Зураб. — Его в больнице лечили. В вольной. Да никто ни за кого не...
 Андрей Николаевич качает головой:
 — Лечили там, а крикнул здесь. На них повесят.
 — На ни-их?.. — говорит Зураб. — Ничего им не будет. Видал прокурора? Он и статью писателя не знал, в больничную палату вперся... Да хотя бы в камеру на больничке — в пальто! Его только в бапе держать. Мойщиком. Будь спокоен, они не таких жмуриков списывали.
 — А Ольгу Васильевну кто спишет? — говорит Андрей Николаевич. — видал, как она сюда прибежала, как тут... Или думаешь, она простит куму *такого* жмурика?
 — А почему я за нее должен думать? — говорит Зураб. — И Петерсу она зачем? Скажу тебе правду, Андрей Николаевич, я накушался больнички. Сыт. И молока-мяса не надо. И... психушки не хочу. Поиграл — хватит. В камере чище. Хотя и на общаке. А здесь... Угробили человека.
 — Чтоб из-за такой суки, — говорит Коля, — из-за такого жмурика такие заходы?.. И кум не станет руки пачкать — отработанное дерьмо.
 — Эх, — говорит Зураб, — пошли, Ося, вместе, нам и без аших переживаний... Конечно, жалко мужика, помер, а всего сорок лет. Судьба такая. А кто из них кому... Нет, не хочу в больничке, посадили в тюрьму, и надо сидеть в тюрьме, не в богадельне. Хотя с тобой, Андрей Николаич, я бы еще поговорил, и с Вадимом... Да и Ося человек...
 — Погодите, — говорю, — какой номер у этой хаты?
 — Четыреста восьмой, — говорит Зураб, — не разглядел, как заводи? Самая-самая тут...
 — Так вы... Борю Бедарева знаете?.. Коля! Помнишь Борю Бедарева?
 — Я тебя предупреждал, Вадим, — говорит Коля, — или я не успел?.. Кумовская мразь...
 Грохнула кормушка. Откинулась.
 — Полухин! — женский голос.
 Подхожу. Высунулся в коридор. Пухленькая мордашка. Накрашенные глазки. В форме. В руках раскрытый журнал. Листает.

— Полухин? Распишись, продление тебе.
 — Какое продление?
 — Генеральный продлил. На доследование, до... двадцать третьего декабря.
 — Как... декабря — август на дворе!
 — А так. Два месяца за судом и три за генеральным. Расписывайся.
 — Дай почитаю.
 — Нечего читать... В журнале распишись.
 — Пока не прочту — не буду расписываться.
 — Да читай! Грамотный! Если каждый станет...
 Бланк... Ничего не могу понять... Верно: «23 декабря...» Подпись: «Генеральный прокурор...»
 Кормушка брякнула.
 — Что такое, Вадим? — Коля Шмаков.
 — До конца декабря. Продлили. Доследование.
 — Я сказал тебе — тормознут! Ну, суки...
 — Погоди... — говорю, а сам думаю: хорошо, я не один, на миру и смерть красна, не показать бы виду, такая тоска и сердце шлепнулось в желудок, стучит в неподходящем месте... — Продлили и продлили. Притормозимся... Это вы о Боре Бедарева говорили? Он... умер?

4

Первая моя процедура. За молоко-мясо здесь расплачиваются собственной шкурой. Курс уколов. Зачем они мне? А, жалко, что ли! Хотя, мужики говорят, если месяц колют, *сидеть* не будешь, задница синяя. Тут не церемонятся.
 Высокая, стройная, сверкающий халат, как натянутая перчатка, голубые глаза, длинные намазанные ресницы, лицо холодное, без улыбки. С такой не пошutiшь.
 — Что ж вам, давление не мерили?
 — Нет, — говорю.
 — Садитесь.
 Окна без намордников, так светло, что и на решетку не обращаешь внимания, будто нету.
 Сколько оказывается света, воздуха, когда окна не загорожены!
 — Отойдите от окна, сказано — садитесь!
 — Лето, — говорю, — а я и забыл, что...
 — Кто вам назначил?.. Ничего не пойму!.. Полухин?.. Вадим Полухин?..
 Сажусь у столика со сверкающими инструментами. Она глядит на меня: широко раскрытые глаза наполняются слезами, она сморгнула, ресницы потекли, схватились за грудь...
 — Что с вами? — говорю.
 Она стремительно поднимается, обходит меня, идет к двери. Щелкнул замок. Возвращается. Садится.
 — Он умер, Полухин. Вы знаете... он... умер!
 — Мне сказали. Вчера. В камере.
 — Как же это, Полухин? Вы с ним... он мне говорил, говорил... Он...
 — Это инфаркт, да?
 — Зачем он ушел из больницы?! Еще бы неделю, десять дней!.. Он убил себя, когда встал и...
 — Он пришел к вам, Ольга Васильевна, он хотел вас видеть, он верил только вам...
 — Из-за меня! Все из-за меня!..
 По лицу ползут синие полосы, она не вытирает глаз, губы опухли...
 — Он вас очень любил, Ольга Васильевна, он рассказывал мне о... Уходите отсюда. Он не хотел, чтобы вы...
 — Какие он писал письма, Полухин!
 — Да, — говорю, — я анаю.
 Лицо залито слезами, она по-бабьи всхлипывает:
 — Радость моя, — шепчет она, — пишу тебе последний раз, нету у меня больше сил. Если мы не можем быть вместе, вдвоем, только вдвоем, я не могу жить. И не хочу жить... Он не хотел жить, Полухин!.. С самого начала, когда я тебя увидел, когда я нашел тебя, а ты меня, — шепчет и шепчет она, глотая слезы, — я живу только тобой, я помню каждую встречу, твои губы, твои руки, я не могу... *делить* тебя, понимаешь? Не могу, не хочу и не буду. И жить больше не могу. Прости меня и не забывай обо мне. Тебе последнее дыхание и... и мысль последнюю мою... Что это, а, Полухин?
 — Да, — говорю, — он вас очень...
 — Я думала, он будет жить, и бы все смогла! Он был... *Был!* Такой сильный, такой...
 — Уходите, Ольга Васильевна, это все, что вам теперь остается.

Смотрит на меня. Мне кажется, она только теперь меня увидела. Глаза высыхают... Да, можно поверить тому, что о ней рассказывали: если в руке у нее будет скальпель, она способна...

— Вы много знаете, Полухин, а я пока здесь.

Все это бред и литература, думаю. Но срок у меня катит и в том великое преимущество перед теми, для кого время ничего не значит. Мне каждый лишний час — подарок. Открытые окна, воздух, светлая комната, несчастная женщина с синими потеками на холодном красивом лице...

— Такое бывает не часто, Ольга Васильевна, — говорю, — то, что случилось с вами, большая редкость, не каждому посчастливится. Не забывайте о нем.

Еще какое-то мгновение она смотрит на меня. Потом встает и отпирает дверь.

— Я вас вызову...

5

Мы только вернулись с прогулки. Вдвоем гуляли, с Зурабом. Кипит в мужике кровь, все ему интересно, любопытно, веселый, остроумный, живой... Да и психушку сочинил себе скорей для развлечения, поиграть охота, силы попробовать — кто кого оставит в дураках... Неужели совсем не гонит? Откуда мне знать, думаю, разве поймешь человека за два-три дня?

Осю вытащили утром, с вещами. Коля вообще не гуляет. Может, болтают с Андреем Николаевичем?.. Едва ли, верней всего, так и лежат молча, пока мы не вернемся, откровенная вражда, антипатия. И не скрывают.

И прогулка сегодня меня смутила: дворик внизу, уже не жарко, свежо, за стеной шумит на ветру высоченный *вольный* клен, а назад оглянулся — спедкорпус, безобразные слепые окна в ржавых ресничках. Смотрел-смотрел, искал на пятом этаже мою камеру, высчитывал, сбивался и вдруг дошло: она же не сюда выходит, в другую сторону, в колодец двора против общака...

Коля вскочил со шкочки, как только мы вошли:

— Мясом потянуло, слышать. Не видали, не везут?..

Дверь открылась. Федя. Рыжий.

— Полухин, — говорит, — давай на коридор.

Я стоял аозле двери и подумать не успел, шагнул к нему. Смотрит на меня внимательно.

— Отмок?

— Заберешь, что ли?

Он отпер соседнюю дверь — камеру «мамочек».

— Посиди-ка, тебе, вроде, поправилось.

Камеру так и не заселяли. Чисто, светло, прохладно...

— Почитай пока, — говорит Федя, — а я зайду. Дождешься?.. Ну-ну.

Протянул исписанный листок. И закрыл дверь. Ушел.

«Дорогой Вадим!.. — читаю я, где-то видел почерк, не могу сразу вспомнить. — Не договоришь, не успел!..»

Что это? — думаю, — зачем он мне дал?..

«...А ведь надо, надо! Написать всего не могу, не умею я писать, нам бы с тобой на воле! Я все думаю, не может быть, чтоб не высочил, я всегда выскакивал, всякое было, я тебе рассказывал. Ты помнишь, Серый, как мы с тобой, когда ты пришел, когда ты мне верил...»

Переворачиваю листок: с той стороны исписано до половины, а подписи нет, на полуфразе оборвано... Да это Боря! — понимаю я. Письмо от Бори Бедарева!

«...Ты помнишь, Серый, как мы с тобой, когда ты пришел, когда ты мне верил, а потом замолчал. Я тебя сам научил — никому нельзя верить, вот ты и мне не стал. Правильно! Но разве я тебе чего сделал? Тебе не сделал, перед тобой чист. И перед женой чист, все оставил. И перед отцом и матерью. Неужели за меня никто не скажет? Ты написал: отпусти нам, Господи, наши оскорбления, кого я обидел, кто на меня тянет. А если они на меня будут? Они меня простят? Сердце болит, Серый, мне и писать больно, и косить нельзя, сразу обратно на вольную больницу, зачем мне, а не косить, тогда на этап, а надо бы зацепиться, хотя бы день-другой, а неделю бы тормознуть, она меня вытащит, ты представь, Серый, вчера залетела, здесь еще четыре ханурика, я пятый, бросилась ко мне, а я глаза закрыл, так бы и лежал, ничего больше не надо. Как понять, Серый, баба нужна, чтоб, ну, сам понимаешь зачем, жена нужна, что дом был, а я лежу, она встала перед шконкой на колени, положила голову, у меня и так сердце болит, кричать охота, а мне, поверишь, ничего другого не надо, всегда бы так, и дышать не могу, больно, ее волосы у меня во рту, забились, пахнут они, Серый, цветами, полем. Ты говоришь, не простят, за все ответим, я бы заплатил. И знаешь, Вадим, даже сказать трудно, не поверишь, а я эту мразь пожалел, кума. Как это понять, Серый, он ее измучил, она в его власти, он гуляет над ней, если что не по нему, он со мной посчитается,

а мне его жалко. Даже чудно стало. Понимаешь какое дело, она с ним не своей охотой, силком, ради меня, а так бы что он от нее имел, а ко мне бросилась, все позабыла и себя позабыла, на колени встала, целует. Ты прости меня, Вадим, и за Пахома прости. Я тебе вот что хочу сказать, самое трудное, что никому не скажешь, только тебе, пусть мне и тут не светит, не выскочу, но если простят, если там...»

Дальше ничего не было. Я перевернул листок и начал сначала: «Дорогой Вадим! Не договоришь, не успел! А ведь надо, надо! Писать не могу, не умею я писать...»

Я подошел к окну. Дерево, а перед ним залитый асфальтом двор. Балантеры потащили тележку с баками, выплескиваются щи. Обеденный перерыв. Офицеры двинулись в столовую. Еще кто-то... Я гляжу и не вижу — чужое кино. Не для меня.

— Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечного, преставившагося раба Твоего, брата нашего Бориса... — шепчу я, глядя на разлапистое дерево, шумящее листьями прямо против окна камеры.

— Благодарю Тебя, Господи, — шепчу я, — что через раба Твоего и брата нашего Сергея, Тобой ко мне в камеру всаженого, научил Ты меня недостойного молиться Тебе, что был бы я без помощи Твоей, постоянной и неусыпной...

— Помяни, Господи Боже наш, — шепчу я, — в вере и надежди живота вечного, преставившагося раба Твоего, брата яшего Бориса, и яко благ и Человеколюбец, отпускающий грехи и потребляющий неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободы, остави прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая, в деле и слове, и чисто исповеданная, или забвением или стыдом утаенная, избави его вечныя муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя, повели, да отпустятся от уз плотских и греховных, и приими в мир душу раба Твоего сего Бориса, и покой ю в вечных обителях, со святыми Твоими...

Я не слышал, как открылась дверь, обернулся, когда Федя встал за моей спиной.

— Кимаришь? Покури, — он вытащил все тот же «Дымок».

— Что ты со мной... Я понять не могу, Федя, почему ты возникаешь, когда...

— У меня работа такая, — сказал Федя.

— Что ж тогда прокололся, или обманул?.. «Кончилась наука», «подберут камеру», «подкормят», «шевелеи мозгом»... А меня еще на полгода, а там... Что там?

— А то Бог не знает, что там с тобой будет. Что быть должно. Мало тебя еще катали, если спрашиваешь...

Мне от окна хорошо видно: глаза у него странные, помню, первый раз поразили, бешеные были, зрачки вздрагивали, а сейчас спокойные, твердые — что-то знают, а что — не видно.

— Давай письмо, — говорит Федя. — Прочел?

— У меня пету.

— Съел, что ли?

— Ну.

— Я так и думал. Научили. У нас один говорил: если зайца долго бить, его можно научить зажигать спички. Научили!.. Держи спички, покури. Еще тебе десять минут. Ушел. Закрыл дверь.

Я выглянул в окно. Гляжу и гляжу на дерево напротив. Шумит, уже листья желтеют. Во-он полетели... Осень.

— Укрепи мою веру, Господи, — шепчу я, — не оставай меня надеждой, подари мне любовь...

Что же это такое, думаю я — было все это или не было?.. Было. Конечно, было!.. Пахом, Ольга, Арий, Гриша, Саня, Серега, Боря, Матвей... Ина... А еще Андрей Николаич, Зураб, Ося, Коля Шмаков... А Федя? А моя вина, моя беда, а все эти месяцы... А сколько их еще будет?

Не знаю. Я уже ничего не апаю. Тюрьма была. Это я знаю твердо. *Была?* А куда же она делась? Где я?

Более того, внезапно понимаю я, только она одна и была. Тюрьма.

Усть-Косса — Москва

1987—1989

Марк КАБАКОВ



Пустыню напонть дождем
Не можем,
От берега свернуть тайфун
Не можем,
Толчок землетрясения
Не можем
Хотя бы на минуту задержать.
Дать умершему жизнь —
Хоть на мгновенье!
Сраженному проказой —
Исцеленье,
Несчастному утраченное зренье
И то нам не под силу даровать.

Но танками мы можем —
По живому,
Атакам —
По небу голубому,
И с точностью почти до сантиметра
Ракетою а скворешник угодить.
В надводных положениях,
Подводных
Умеем истреблять себе подобных
И даже в праве выбора
Свободны:
Кого какой ракетой убить!

И мы еще кричим самозабвенно,
Что мы постигли тайнства Вселенной,
Мы,
Хищники,
Скрывающие шкуры
За фразами, липучими, как мед.
Изражена,
Вращается под нами
Планета, забинтованная льдами.

...Внучонок обхватил меня руками,
Он песенку веселую поет.

В Болдине

Деревья, луна да, пожалуй,
Тревожные крики грачей —
Вот все, что земля удержала
От пушкинских дней и ночей.

И было бы сетовать глупо
Над нынешним днем вознесясь,
Когда бы не резала ухо
Словес непролазная грязь,

Когда б не бродили в потемках,
Разбойно свистя у столбов,
Забывшие плакать потомки
Его бессловесных раба.



...Но с каждым годом мучает сильнее
Неотвратимость вечного покоя
И чудится:
Усталою рукою
Уже пора расседлывать коней.

А я еще не видел ни черта,
А понял и того, пожалуй, меньше,
И самая красивая из женщин,
Как горизонта синия черта, —
Недостижима.

Снегопад

1

Замечает Ленинград
Снежною крупю,
Ветер рыщет наугад,
Будто с перепю.
Золоченая игла
С ангелом сутулым
Треугольные крыла
В белый мрак воткнула.
Остро блещет силуэт,
Вольно хлещут плети,
Словно не было и нет
Этих двух столетий;
Никаких бетонных благ,
Ни теплоцентрали...
Человек и сир и наг...
Снег все валит,
Валит.

2

Обещаньем сквозняка,
Что проветрит душу,
Возникаешь сквозь века,
Говоришь:
— Послушай,
Прислонись к моей груди,
К двум сугробам теплым,
Не казнишь и не суди,
И не пьешься в стекла. —
Утро в розовом бреду,
В полумраке зимнем.
— Дорогая,
Я приду,
Но куда, скажи мне? —
Пламя рыжее твое
Гаснет в стуже бешеной,
Белым снегом до краев
Окна занавешены.

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

Невский

Ледяной канал с отбитым краем —
Белый шарф, уроненный Барклаем
Под ноги,

присыпанный толпою
На мосту — как рыхлою землею,
Взорванной невидимым ядром,
Сквозь века свистящим напролом.

Снега канцелярская бумага.
Перспектива, острая, как шпага,
Сквозь меня прошедшая игриво,
Целясь — сквозь меня! — в висок залива.
Траурная ленточка небес.
И чеканной площади эфес.

Снег идет

Глотнешь из чайника — и замер,
Глаза в окно;
Снег, равномерный, как гексаметр,
Сосны пятно.
Подчеркнуто течение веток,
Игл водопад,
И черные платки соседок
Тропу кропят.
И воздух вяжет рыхлый свитер —
То вишь, то вишь,
Он, выпив солнце, губы вытер
О мой карниз.
От этой вязки безграничной,
Глухой, густой —
Тебе тепло ли под гранитной
Твоей плитой?
К тебе выносит белый невод
Синицу, блик.
А я пустую. Только слева
Болит.



Спокойные светлые рощи, черничник, остатки травы
И темно-багровой рябины безлистные кисти.

Листвы
Последние клочки — как царских расшитых знамен
Обрывки. Сгорела осина, и клеи разорен.
Листва облетает, как тело с врастающей в небо души.
Как белые эти стволы без одежд хороши!
Так, видимо, души спокойны без денег, предсмертных

болей
И нежности тщетной к любимым, стоящим среди мокрых
полей,
Дрожащим: их больше не любят, остывшие горсти пусты...
А небо качает березовых веток кресты.

За тебя

Из чашки твоей голубой допиваю анно.
В бутылках-близняшках с поминок осталось оно.
В остывшей квартире из чашки твоей голубой
Я пью за удачу, какой не бывало с тобой,
За те города, что не видела ты никогда,
За те острова, где тебя не ласкала вода.
За серьги и шубы, за платья из тихой тафты,
Из шумного шелка — что даже не меряла ты.
За осень густую, что ты не пригубила, за
То терпкое тело и в зелени летней глаза;
За вдовьи карманы, когда на чулки — ни копы,
Любовникоа верных, да только не годных в мужья.
За наше стояние под суздальской синей звездой,
Мое разоренное, в запахах детских, гнездо.
За то, что к тебе не прилипли ни злато, ни грязь,
За то, что летала, — я выпью, слезами давясь, —
Что ветром расплесканным талой, дрожащей земли,
Как чашей последней, тебя обнесли...

обнесли...

Марк ХАРИТОНОВ

«ВЕРНУСЬ С ТОГО СВЕТА»

1. «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»

В марте 1974 года мы с женой пришли в мастерскую Вадима Сидура поговорить, не возьмется ли он сделать памятник нашему погибшему другу поэту Илье Габая¹. Жена была хорошо знакома с ним лет 12—15 назад, с тех пор не виделась, я примерно столько же лет был о нем наслышан, но оказался в его Подвале (буду вслед за ним писать это слово с большой буквы) впервые. Хорошо помню первое впечатление: впечатление мощного, своеобразного художественного мира и в чем-то очень близкого человека. Первое понятно, хотя в отдельные скульптуры я по-настоящему вгляделся лишь потом — и продолжал вглядываться, унося в себя смысл, многие годы; но откуда это мгновенно вспыхнувшее чувство близости? Сам повод нашего прихода, разговор об обстоятельствах самоубийства Габая располагал к откровенности, не было сомнения, что мы говорим с человеком своим, и Сидур действительно с готовностью взялся сделать эскиз памятника...

Лишь сейчас, после Диминой смерти, я — с чувством некоторого шока — узнал из его записей той же поры, что он заподозрил в нас людей «из шкатулки», то есть подосланных с определенной целью. Этот штришок стоит многого, он характеризует не столько нас или его, сколько время, искажавшее нормальные человеческие отношения, когда именно естественный разговор казался неестественным и вызывал подозрения. «Бойтесь новых знакомств! Не пишите дневников! Будьте бдительны!» — записывает Сидур — в столбик — требовая, навязываемые этим временем (записывает, заметим, в дневник). «Наша подозрительность слишком часто не лишена оснований».

И то сказать, было чего опасаться. В январе выслали Солженицына, обстановка становилась все более зловещей,

вокруг самого Сидура сгущались неясные тучи. Только что в «Советской России» появилась хамская статья, где его имя поминалось в угрожающем соседстве с именами Л. Копелева, Л. Чуковский и др. — по нашему опыту было известно, что это могло предвещать. Начался процесс его исключения из партии, реальной казалась угроза изгнания из Союза художников, а значит, утраты прав на мастерскую. Используя звучавшее тогда слово, Сидур назвал этот процесс «началом импичмента». Было немало свидетельств и признаков специфического интереса к его персоне.

Парадокс заключался в том, что Сидур не давал для этого интереса, казалось бы, никаких внешних поводов. В отличие от «и др.», он абсолютно не проявлял общественной активности, не делал и не подписывал никаких заявлений — это было ему в принципе чуждо. Он не рвался за границу и даже на выставки, официальные или «нонконформистские», не жаловался на судьбу, на условия, не требовал возможности заработка — хотел лишь спокойно работать в своем Подвале, довольствуясь минимальными, более или менее случайными средствами. Разве что принимал, в числе других посетителей, иностранцев — международная слава его уже разрасталась.

Но то-то и оно, для неприязни вовсе не обязательна была рациональная причина, достаточно было чувства очевидной чужеродности, ясовместности его с тем, что считалось общепринятым и дозволенным. Столкновения со временем не приходилось искать, но я спрятаться от него такому художнику, как Сидур, вряд ли было возможно. Осмысливая темы вечные, общечеловеческие: любовь, материнство, насилие, страдание, смерть — он был сыном своей страны и своей эпохи.

«Ты вечности заложник у времени в плену», — так определил Пастернак единую суть всякого подлинного художника; первую часть этой формулы я поставил здесь как заглавие, вторая могла бы служить подзаголовком — или наоборот. Искусство возникает на пересечении вечных тем и нового, всегда небывалого времени, в котором мы живем, которое формирует нашу судьбу и налагает отпечаток на наш духовный мир.

Сидур выражал это ощущение другими словами. Как-то он сказал мне, что пишет нечто в прозе под названием «Миф» с подзаголовком «Памятник современному состоянию» (так названа одна из его скульптур). Такое же двойное название он дал фильму, где попытался раскрыть свое художественное и философское видение мира уже средствами кино.

Я хочу рассказать здесь об этом мире и об этом человеке, много для меня значившем, какими они увиделись мне за годы нашего знакомства. Мы встречались с ним более или менее часто почти до

самой смерти Сидура в 1986 году. Некоторые разговоры я тогда же, по свежей памяти, записал. Прочитав недавно страницы, написанные в те же годы Сидуром, я обнаружил немало совпадений: зародившееся сразу же чувство близости все-таки не обмануло.

2. ИОВ

Что-то неслучайное было в том, что наше знакомство оказалось связано с памятью Ильи Габая. Сидур, как я мог понять, был с ним знаком лишь бегло. Известие о его гибели он отметил в своем «Мифе». Перед началом работы над памятником я дал ему почитать подборку стихов Габая. Особенное впечатление на него, видимо, произвела поэма об Иове — вариация библейской темы. Взятый из Библии эпиграф к поэме Сидур воспроизводит в своих записях неоднократно: «Был человек в земле Уц, имя его было Иов».

Эскиз получился красивым, — записывает он 15.04.74, через две недели после начала работы над памятником. — И мне бы очень хотелось его сделать. Когда-то этот Иов поразил меня. Тогда он был еще очень молод, но этот мальчик напоминал мне моего отца».

Он называет Иовом самого Габая, сознательно прошедшего через многие мучения (в другом месте называет его «святой Илья»), а еще через неделю подтверждает это отождествление: «Красивый должен получиться памятник несчастному Иову» (23.04.74).

А несколько месяцев спустя, 25.08.74 переводит это отождествление на самого себя, используя странное совпадение аббревиатуры:

«Жил ИОВ на земле Русь, а имя его было Вадим Сидур.
ИОВ — Инвалид Отечественной Войны.
Сидур — по древнеевр. — молитвенник».

Это была, в сущности, его тема: бесконечные, безмерные страдания человека — от библейских времен до наших дней. Сидур полной чашей хлебнул испытаний, выпавших на долю его поколения: воевал и был тяжело ранен, «раскачивался» между жизнью и смертью в госпиталях... среди людей без челюстей и дрожащих мелкой дрожью, искромсанных желтых животов, пережил гибель многих родных и близких, долго и мучительно болел. Вот откуда его пожизненное внимание к темам войны, насилия, смерти, бесчеловечной жестокости — «не интерес и даже не долг, а жизненная необходимость», — как выразился он в одном интервью. Этим определены трагические мотивы его творчества. «Меня постоянно угнетало и угнетает физическое ощущение бремени ответственности перед теми, кто погиб вче-

ра, погибает сегодня и неизбежно погибнет завтра». Корнем всякого зла он считает насилие. «Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия, проявленного по отношению к ним другими людьми в самых чудовищных и даже фантастических формах». Едва ли не каждый день он фиксирует в своих записях сведения о все новых убийствах, террористических актах, взрывах, жертвах, пытках.

С годами он все более скептически относился к способности людей разумно разрешить свои проблемы; это чувство приобретало порой острые формы. «Недавно я ощутил приступ совершенно необъяснимой угрозы, тревоги», — сказал он мне однажды.

Может, эти приступы были связаны с ухудшившимся состоянием сердца? Или с тем, что он называл «современным состоянием», памятник которому символизирует драматическую напряженность, трагический излом, раздвоенность и метания?

3. АТМОСФЕРА

Семидесятые — середина восьмидесятых годов — мертвенный, мертвящий период нашей истории, вязкая, удушливая пора, исковеркавшая немало судеб, для культуры пагубная. Трагические катастрофы: революция, война — все-таки высвобождали какую-то духовную энергию. Тут царил именно чувство вязкости, как в дурном сне. Я не говорю сейчас об экономяке или политике, только о состоянии духа. Творческие силы вытеснены в щели, язвены, какая-то муть поднимается со дна, в умах разброд, все перемешано: националистические, почвеннические, технократические идеи, религиозные зады, имперские предрассудки, ценности массовой культуры и понятия общества потребления (при отсутствии потребления); накапливаются фальшь, гиплида, тоска, порча, жестокость, абсурд. «Идиотизм, переходящий в орацию», — читаю я теперь в сидуровских записях 1974 года. «Страна движется НЕ ТУДОЮ». Но в то же время: «Идиотизм нашей жизни рождает произведения искусства, к стати, не только нашей», — записывает Сидур 23.06.74 и несколько раз повторяет простейшую заповедь своей этики: «Сидя в дерьме, не будь дермом».

Вокруг этих тем неизменно крутились и наши с Димой беседы. И приходили всегда к тому же:

— Все равно надо работать.

4. ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ

Дима принял очень близко к сердцу написанию мной работы об Илье Габая; он говорил мне много высоких слов и сказал между прочим:

¹ Илья Янкелевич ГАБАЙ (1935—1973). Поэт-правозащитник. В 1969—1972-м репрессирован за «антисоветскую деятельность». Покончил жизнь самоубийством. Подробней о нем см.: Огонек, 1989, № 21. Стихи: Огонек, 1989, № 38; Юность, 1990, № 3. (Прим. ред.)

— Это надо бы прочесть многим, и именно сейчас, в пору разброда.

Увы, в те времена публикация такой книги возможна была только за границей, у меня были причины от этого воздерживаться. А когда появится возможность ее напечатать, те же слова прозвучат, глядишь, иначе — сказанным вовремя, им другая цена.

Кому в наших условиях не приходилось упираться в эту проблему! Годами работать, не рассчитывая на зрителя и читателя, — кроме небольшого близкого круга, а значит, на общественный отклик, влияние или успех. С этим было связано чувство внутренней свободы, но оно давалось непросто, не исключало сомнений и даже отчаяния, требовало постоянной корректировки самоощущения (с проблемами материального существования каждый справлялся как мог). Дружеские разговоры в этом смысле бывали немалой поддержкой.

— Ты работай безнадежно, — не раз повторял Сидур. — То есть не думая о возможности напечататься ни здесь, ни «там», потому что «там» это тоже не просто. Тогда будет настоящее.

Что он имел в виду? Прежде всего, что и «там», то есть на Западе, творческая свобода отнюдь не обеспечивается сама собой — на художника давят, например, требования и вкусы рынка, мода, в том числе политическая, соблазняя или заставляя приспособляться.

Как-то он показал мне серию новых акварелей «Девушки»: розово-зеленые, нежные, обаятельные.

— Вот в чем я свободен, — сказал он, когда я отметил неожиданную для него новую манеру. — И западные люди мне в этом завидуют. Мне надоело заниматься скульптурой — я стал для души делать акварели. И не думаю, как к этому кто-то отнесется, того ли требует от меня репутация, рынок. Они так не могут, им надо подтверждать свою репутацию, чтобы покупали.

«Я уверен, — записывает он 13.09.74, — что любой заказ, не только социальный, а просто денежный, всегда губителен для художника и писателя. Только для себя, тогда получится для других».

Не бог весть какая новая мысль, что говорить; сразу вспоминаются оговорки: что многие величайшие творения создавались именно по заказу (и разве у самого Сидура нет превосходных заказных работ?), что такие принципы проще провозглашать, чем следовать им реально. Противоречия подстерегают на каждом шагу. Абсолютная свобода, услышал я от одного философа, предполагает абсолютное неучастие в делах мира. Но живой человек, художник в том числе, живет не в абсолютном пространстве, он вступает в повседневные и духовные отношения

с другими, что-то дает и что-то получает, нуждается не только во внутренней, но и во внешней опоре существования, в отклике, который отнюдь не сводится к успеху, а является элементом обратной связи, необходимой искусству, как нормальное кровообращение.

Когда-то можно было сформулировать эту проблематику вопросом: что мы значим перед людьми и что перед Господом? У наших библейских предков все совпадало: обласканный Богом был благословен перед людьми — причем при жизни. И даже многострадальный Иов, привлеченный специфическое внимание сил, споривших за его душу, был к финалу вознагражден за свою стойкость: стадами, долголетием, новыми детьми взамен погубивших. Позднейшее христианство внесло поправку, перенесло все вознаграждение на небеса, а светская мысль вместо рая предложила посмертную людскую память — суррогат бессмертия.

Наше время отчасти ужесточило условия, отчасти внесло в них какую-то злоеущую изощренность: чтобы говорить с современниками и даже чтобы получить шанс остаться в чьей-то памяти, так называемому творцу духовных ценностей надо зачастую поступаться столь многим, что сама эти ценности становятся уже сомнительными.

Выбор дан был далеко не всегда, и давался он не просто, но без потерь в любом случае не обходилось. Помню, как сокрушался Сидур, прочитав в заграничном издании возвратившийся к нам, казалось, из небытия роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»: «Если б эта книга увидела свет в свое время, вся история нашей литературы выглядела бы иначе». Конечно, произведение, выдержавшее испытание временем, тем несомненно подтверждало свою цену, но мы-то, прожившие десятилетия без него, — разве не оказались бедней? Не говорю уже о человеческой трагедии автора, умершего без уверенности, что созданное им не только увидит когда-нибудь свет и будет воспринято, но вообще сохранится.

Все так, и по словам самого же Сидура видно, что он понимал это не хуже других. Нежелание ориентировать свою работу на публикацию или заказ было для него равноценно нежеланию внутренне ориентироваться на чьи бы то ни было художественный вкус, моду или политические представления. Это, видимо, определяло и его отношение к Самиздату как к явлению скорей текущей общественной жизни, чем искусства, у которого, как выразился поэт, «в запасе вечность». «Мне кажется, что Самиздат почти ничего не дал литературе с точки зрения высот искусства... — записано у Сидура 25.06.74. — Четко различаю писание в стол и Самиздат».

Нет смысла обсуждать здесь справедливость такой оценки. При нормальных условиях самой проблемы, как и противопоставления, не могло бы возникнуть. Наш выбор был вынужден искаженными обстоятельствами жизни, и мы склонны бывали нужду возводить в добродетель. Речь не о правоте, а о выборе, который при одних и тех же обстоятельствах оказывается у людей разным. Ибо сами по себе обстоятельства еще не определяют судьбы, во многом она есть производное от нашей внутренней сути. Речь о человеческих особенностях Сидура, который по природе своей склонен был как бы уклоняться от всего внешнего — в том числе и успеха.

«Некоторых художников... вдохновляют зрители, — записывает он разговор с женой (речь шла о нежелании участвовать в какой-то выставке). — Они могут даже из творческого акта устроить зрелище. Это их стимулирует и подогревает... Я же могу работать только скрытно... Даже в так называемых человеческих условиях мне было бы стыдно конкурировать и бороться за место под солнцем... Скорее всего поэтому я люблю показывать в Подвале. И тогда, когда зритель не мой, зритель на другой волне воспоминаний, мои вещи сразу увядают, как девушки на балу, которых не приглашают молодые люди».

— Хороши девушки — железные Пророки с огромными железными фаллосами... Ты хотел бы персональную выставку?

— Не знаю... Скорее всего я хотел бы быть рантье... и спокойно работать для себя, не думая ни о чем».

Я переписываю эти строки осенью 1987 года, когда персональную, пусть пока и небольшую выставку Сидура посетили уже тысячи людей разного возраста, разных культурных слоев; приезжают из разных городов, приходят с детьми. Люди, далекие от искусства, возвращаются сюда по пять и по шесть раз, подолгу всматриваются в работы, без всяких объяснений понимают и принимают близко к сердцу юмор «Праздника» или «Драки», нежность акварелей, но главное — боль, жалость, доброту, сочувствие к страдающим, искалеченным, погибшим. В этом неожиданном, поистине народном восприятии сам художник с его трудной судьбой обретает черты подвижника и страстотерпца; книга отзывов полна взволнованных, благодарных, высоких слов; вокруг его имени складывается нечто вроде посмертного мифа. Бесконечно грустно, что Сидур до этого не дожил.

Помню, как уже к концу жизни он без особой охоты отдал несколько своих работ для выставки на Малой Грузинской, в горком графиков — но то были «коллективные мероприятия», их он вообще недо-

любливал. Персональным выставкам, которые с некоторого времени стали устраиваться в ФРГ, он радовался, с нетерпением ждал каталогов, ловил отзывы в прессе и по радио. Как-то при мне он больше часа пытался сквозь глушение записать на пленку передачу о себе «Голоса Америки». «Вот, записать, и можно поставить пленку в архив, — сказал он немного смущенно. — Конечно, все это суета, но в наше время, когда остаются только фотографии...» Он не договорил, но было в его словах как бы признание слабости. «Суета сует увлекает нас в нетворчество», — записывает он 15.10.74, когда вот так же ловил известия об установке в Касселе «Памятника жертвам насилия». И несколькими днями позже, 20.10.74: «Не о славе своей сучусь, слух напрягая, из эфира услышать жажду о „Памятнике погибшим от насилия“, — только помянуть погибших стремлюсь, — сказал ИОВ Господу. — Не лукавь, — сказал Господь».

Уже при жизни его работы стояли в нескольких городах ФРГ. «Я человек сделанный», — выразился он однажды. Это означало, что имя его уже утвердилось, остальные заботы второстепенны. Когда получено было известие о решении установить в Западном Берлине «Треблинку», он сказал мне: «Больше мне и не надо. Я всегда мечтал поставить именно две вещи: „Памятник жертвам насилия“ и „Треблинку“. Да еще стоит „Женщина и сталь“, и Эйштейн в Америке. И ведь что интересно: я ничего для этого не предпринимал, сидю тихо, никому не рвусь, ни на выставки, ни за границу».

Заграница была ипостасью все той же темы. Несколько раз он получал официальные приглашения в ФРГ, страну, где его больше всего знали и ценили. Начальство из Союза художников и Министерства культуры предлагало взамен другие кандидатуры; в ходе переговоров приходили к компромиссу: вдобавок к Сидуру немцы соглашались принять еще девять функционеров; кончалось тем, что эти девять ехали, а Сидур оставался в Москве. Он рассказывал об этом с юмором: заграница в наших условиях была приманкой, подачкой, наградой за услуги подчас специфического свойства — способом кабаления. «Я свободный человек уже потому, что не рвусь за границу», — повторял Сидур.

— В ФРГ мне было бы, конечно, интересно, — добавил он однажды. — Посмотрел бы, как там стоят мои работы.

— Там и помню твоих работ кое-что есть, — не без юмора заметил участвовавший в разговоре немец, и Дима засмеялся, как бы признавая, что малость перегнул.

Одно приглашение, от имени посла, помню, вызвало у него даже тревогу: только что в ФРГ вышел его каталог, и Дима опасался, не послужит ли это

началом кампании против него; он предпочел бы не привлекать к себе внимания.

— Не хочется, — сказал он, — чтобы меня поперли.¹

В то время модной темой становилась эмиграция, добровольная или не очень. Многие удивлялись, почему при таком успехе он не уезжает.

— Но, во-первых, мне, честно говоря, плевать на этот успех, — говорил Сидур. — А во-вторых, я думаю: ну, уехал, ну, получил бы миллион, ну и что? Лучше бы мне было, чем сейчас?.. Для других хорошая жизнь — автомобиль и все такое прочее. А мне это не нужно. Я вот, например, люблю Москву, хотя многим она кажется уродливым городом. Здесь прошла вся моя послевоенная жизнь. Люблю Алабино, с нетерпением жду возможности уехать туда.

Он не строил иллюзий относительно жизни на Западе, а главное, сознавал, что счастье вовсе не так уж зависит от материальных условий. Среди его многочисленных западных знакомых счастливых людей было ничуть не больше, чем среди знакомых московских, и ничуть не меньше несчастных. Более того, многие говорили, что нашли у нас что-то, чего лишены были дома, — и плакали, уезжая.

— Ко мне тут ходили из американского телевидения, — рассказывал как-то Дима, — хотели снять обо мне фильм. Не пошло. Их не устроило то, что я говорил. Они стали спрашивать меня о свободе, я сказал, что тут, в Подвале, среди своих работ чувствую себя совершенно свободным и нигде свободней бы себя не чувствовал. Они явно ждали от меня другого. Рассказали, видно, о беседе со мной начальству. Им ведь тоже требуется утверждение, потому что это вещь довольно дорогостоя-

¹ По этому поводу стоит процитировать примечательную запись из «Мифа», характеризующую общественное самощущение Сидура, по крайней мере, еще в 1974 году — со временем оно, как у всех, менялось: «Я, бывший комсомолец, еще не исключенный коммунист, вкалывавший в колхозе, работавший сутками на заводе, сраженный фашистской пулей на земле Украины, обильно поливший своим потом и кровью советскую землю, я — участвовавший в восстановлении, я — строитель, я — веривший в вожда и вождю, а потом речам... на XX съезде, я утверждаю, что я и есть тот, кто имеет право спокойно жить и трудиться на своей земле» (18.05.74.). В каком-то смысле он был человек более советский, чем враждебные ему чиновники, — даже удивительно, как долго сохранились в нем многие представления, впитанные с детства и юности. «Во рту слов разлагаются трупники, — пишет он 27.04.74, прослушав по радио передачу с комсомольского съезда. — И несмотря на это, я плакал... Я плакал на похоронах идей, я плакал, потому что мне уже 50, что умерли мама и папа, что навсегда кончилась гармония, существовавшая между мной и государством».

щая: освещение, аппаратура. И видно, не пошло. Ну что ж, останутся американские телезрители без лицезрения моей физиономии. Не буду же я приспосабливаться к ним, говорить, чтобы им понравиться».

Разговор происходил во время прогулки по заснеженным переулкам бывших Хамовников.

— Что такое счастье? — сказал Дима. — Вот я прогулялся с тобой по улицам, никому не сделал зла — и мне хорошо.

5. РАБОТА

Как-то я упомянул, что вынужден был сделать в работе перерыв из-за нездоровья и испытываю по этому поводу терзания совести. Дима засмеялся:

— У нас одинаковые проблемы. Когда я занимаюсь рисунком (потому что на скульптуру сил не хватает), мне кажется, что я облегчаю себе жизнь, увиливаю от работы.

В другой раз он пересказал мне интервью знаменитого хирурга Илизарова, который признавался, что много лет не ходил в кино, в театр, отдыхать не умеет. Как-то получил путевку в санаторий, но через шесть дней сбежал. «Когда я работаю, я живу, на остальное нет времени, — таков был смысл его слов. — Говорят, есть хорошая книга „Мастер и Маргарита“. Я начал читать, но дальше пяти страниц не продвинулся — некогда». Диме это было знакомо и близко. Он, конечно, и читал, и музыку слушал, и в кино ходил, и на театральные премьеры (друзья из театрального мира не обделяли вниманием), и на приемах у иностранцев с некоторых пор стал бывать, сам принимал гостей беспрестанно, может, даже больше, чем хотелось бы, — но от всего этого, как и главному, рвался к работе. Услышав по радио, что для китайского сознания непонятно, что такое отпуск и отдых, он записывает в своем «Мифе»: «Я — китаец!»

Вечное нездоровье не умеряло этого порыва к работе, наоборот. «Вынужден работать сверх меры, потому что чувствую себя отвратительно, — читаю и у него, — сил нет, а успеть надо!» (27.02.74).

Не будем забывать, что работа скульптора, помимо всего, — тяжкий физический труд, надо ворочать и обрабатывать камень, металл, гипс, глину. Глядя на многотонные массы, загромождающие Подвал, попробуем представить себе, как все это в буквальном смысле проходило — и не один раз — через руки серьезно больного человека! Но, прежде всего, надо говорить о повседневном творческом напряжении, об интенсивности духовной жизни, которая подчиняет все помыслы и требует неустанной энергии. На какой-

то стадии таким пожизненным трудом достигается видимая легкость, система как бы готовых знаков или, скажем, наработанная линия. Мне приходилось видеть, как Сидур делал дивные свои рисунки тушью, — как-то при мне он за час нарисовал три оригинальные композиции, почти не прерывая разговора. Такие рисунки он мог дарить или продавать. В другой раз он так же за разговором со мной начал и завершил акварель — конечно, уже в уме существовавшую, заранее решенную. Для него самого это как бы заполняло промежутки между другой, настоящей работой, которая делалась в сосредоточенном уединении, в трудных поисках, не по заказу и не для заработка... А для чего?

«Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет? В мастерскую гонит? Отдыхать не дает? Скульптуру делать, рисовать, МИФ писать? В житейском смысле могилу себе копать?» — спрашивает себя Сидур.

Эта сила определяла не только собственную его жизнь, но во многом и отношения с близкими. «Меня ужасно злит, — записывает он, — когда окружающие меня люди... простужаются, ночью читают или играют в карты. В этих случаях днем у них меньше сил для дела» (02.09.74). Имелась в виду, прежде всего, жена — многолетний, главный, а то и единственный помощник в многотрудной работе. Но Сидур с необычайной энергией и настойчивостью старался привлечь себе в помощь также друзей, знакомых. И если уж кто соглашался — должен был вкалывать: маэстро не давал поблажек, подгонял, наставлял, сердился, требовал, не считаясь с обидами, проявлял неожиданную власть: дело было важнее всего. Он, думаю, не был легким в общении человеком.

6. ОДИНОЧЕСТВО

Я уже упоминал о нелюбви Сидура к «коллективным мероприятиям» — будь то литературный альманах или групповые выставки художников; то же относилось ко всяким объединениям, направлениям и тому подобное.

— Художник должен быть одинок, — сказал он мне как-то.

Странно теперь вспомнить, что начинал он именно в коллективе — в соавторстве со скульпторами В. Лемпортом и Н. Силисом. Это был теснейший творческий союз, они даже работу каждого подписывали общей подписью. Просуществовав несколько лет, союз распался в 1962 году.

Мне лично был понятней распад этого соавторства, чем его существование. (Может, был здесь отзвук каких-то коллективистских мечтаний времен нашей

юности?) Для меня творчество — акт всегда глубоко индивидуальный. Если не говорить о коллективных по природе видах искусства, вроде театра и кино, соединение для постоянной работы трех разных личностей, характеров, темпераментов казалось мне чем-то противоестественным.

Как-то мы заговорили об этом с Сидуром.

— Сейчас мне и самому так кажется, — сказал он. — Но тогда я переживал разрыв трагично.

Насколько я мог судить, он не слишком интересовался работами своих московских коллег. При отсутствии нормальной художественной жизни, когда держаться приходилось почти исключительно внутренним напряжением, самоконтролем, самооценкой, в этом отгораживании, даже отталкивании мне видится способ четче очертить круг своего — и в искусстве, и в жизни.

В разговорах и интервью Сидур не раз и подчеркнуто повторял, что свой художественный стиль, пластический язык сформировал и развил сам, без влияния мастеров современной скульптуры, которых до позднего возраста практически не знал по причине нашей долгой оторванности от мира. Какие впечатления могли на него повлиять? Он видел скифских идолов перед музеем в родном Днепетровске, он изучал древнеегипетское, ассирийско-вавилонское искусство, греческую архаику по слепкам в Музее изобразительных искусств, он мог видеть там же (тогда еще в запасниках) Майолю, Бурделя, Родена — было у кого учиться. «К стыду своему должен признаться, — говорил он в одном интервью, — что в те времена я даже не знал, что существуют такие скульпторы, как Мур, Липшиц, Джакометти, Цадкин... До какой-то степени получилось по пословице: „Не было бы счастья, так несчастье помогло“. Возможно, именно отсутствие информации заставляло меня совершить многие формальные открытия в искусстве, которые таким образом стали моими кровными». Когда впоследствии, продолжал Сидур, стали доходить какие-то альбомы, книги, каталоги, он чувствовал себя уже сложившимся художником. «Ничто не потрясло основ и не изменило главного. Я все больше и больше убеждался, что истоки, на которых мы произрастаем, и у меня, и у моих старших великих современников — Мура, Липшица и других — одни и те же». Это скорее всего верно, если говорить конкретно лишь о скульптуре и об отдельных ее мастерах; но какие-то косвенные или неосознанные влияния, думаю, прорывались все-таки через живопись, другие виды искусств, открывая общие черты художественного языка XX века. Многие стало доходить до нас уже со второй

половины 50-х годов, пусть спонтанно, не систематически; достаточно вспомнить сенсационную выставку Пикассо 1956 года; как раз на этом рубеже стиль Сидура начал обретать свои позднейшие черты (что хорошо можно проследить по «картотеке» его Бохумского каталога). Но при всем том определяющей в формировании его как художника, без сомнения, была именно особенность нашей исторической судьбы, которую приходилось интенсивно осмысливать, причем искусство (включая литературу) оказывалось едва ли не единственной возможностью для такого осмысления. (Разумеется, то искусство и та литература, за которые чаще всего не платили денег, которые не уходили дальше мастерской или письменного стола.) Это порождало порой поистине своеобразнейшие явления, подтверждая вновь и вновь, что интенсивность и глубина духовной жизни связаны с внешними условиями отнюдь не прямо и не однозначно. В самом деле, наверное, только у нас могли сложиться такие, ни на кого не похожие гении, как Платонов или Филоненков, независимо от европейских влияний, что называется, своим умом доходившие до удивительных открытий.

Здесь уместно заметить, что Сидур, пожалуй, не был связан ни с какой отдельно национальной традицией и ни с какой национальной идеологией. В этом отношении он был также далек от поветрий, ставших у нас особенно модными в самые последние десятилетия.

Язык его искусства, язык пластики, живописи и рисунка был по природе своей общечеловеческим, понятным без перевода в любой стране. Сложилось так, что раньше и лучше всех узнали и оценили его творчество в ФРГ; думаю, тут сыграли роль не только обстоятельства, более или менее случайные, но и известная общность исторических судеб двух народов, обусловленная трагическими потрясениями нашего века, схожим опытом тоталитарной диктатуры и войны.

Особенности внешних условий нашей жизни парадоксальным образом сказывались не только на круге тем, но и на художественном языке, порождая даже формальные находки и открытия. Может быть, что-то определялось даже простым недостатком в средствах. Традиционные для скульптуры материалы — камень и металлическое литье — не всегда оказывались по карману, приходилось использовать все, что попадалось под руку. Иногда это были известняковые блоки, оставшиеся после перестройки церковной ограды неподалеку от мастерской — их форма подсказала решение нескольких скульптур; но все чаще это оказывались канализационные трубы, оставшиеся после ремонта, разнообразные предметы со свалок металлолома, утюги, мятые ведра,

гвозди, проволока — что угодно. Совпадения с художественными находками поп-арта были в значительной мере внешние — материал, как будто вынужденный, оказывался внутренне органичным для проблематики, которую разрабатывал Сидур. Впрочем, по поводу тех же канализационных труб и сочленений, которые определили пластическое решение «Железных пророков», он однажды сказал в интервью: «Если бы их не было, я заказал бы специальную их отливку». Как бы там ни было, решение и здесь вспыхнуло на пересечении внутреннего развития и внешних, навязанных судьбой обстоятельств.

По словам Сидура, «Железные пророки», наряду с «Гробами», особенно удивляли попадавших в мастерскую иностранцев: у нас, говорили они, художники исхищряются в поисках какой-нибудь новизны, не знают, как бы поразить или шокировать публику, а у вас это получается как бы нечаянно, само собой.

То-то и оно, видно, дело не решается формальными выдумками — попробуй имитировать опыт, питаемый непростой нашей жизнью, нашими тревогами и размышлениями — это так же невозможно, как невозможно имитировать духовный мир человека, связанный с этим опытом.

Осенью 1983 года Дима привез из деревни Алабино, где любил жить летом, несколько лопат, подобранных на местной свалке; надетые на них шляпы, копки и прочие головные уборы вдруг удивительным образом превратили эти лопаты в скульптурные портреты «Люди из толпы». Однако поразительней всего было, как это стандартные, безликие, любому доступные железки обретали, одухотворяясь, черты неповторимой, именно сидуровской пластики. Одна из них стала его автопортретом — очень похожим.

В искусстве, как и в жизни, существенно лишь то, что пропущено сквозь душу, что стало душевным событием. За внешними впечатлениями Сидуру не нужно было ездить за границу, творческих подсказок и стимулов не приходилось искать ни в дальних путешествиях, ни в чужих работах, ни даже в книгах. В последние годы жизни он читал меньше обычного. Единственным временем для чтения, сказал он мне как-то, бывали двадцать минут перед сном, после приема снотворного, пока оно не начало действовать. Я заметил, что мне чтение необходимо, — оно, не говоря о всем прочем, дает импульсы для литературной работы.

— А у меня импульсы все время передо мной, — ответил Дима. — Я даже альбомы по живописи не смотрю. Была выставка Пикассо — я не пошел, про него я уже все знаю. Даже пересматривать свои старые папки с идеями — слишком большой труд. Иногда оказывается, что

я в своей новой работе повторил идею, которую давно нашел... Не в этом дело. Есть жизнь вокруг. Смотри, думай, внимай.

Прогуливаясь по хамовническим переулкам, мы встретили беременную женщину.

— Я все никак не использую тему, которую она дает, — сказал Дима. — Видишь, у нее расстегнута на животе шубка, и из-под этой наружной формы выпирает другая. Очень красиво.

7. МИР

«Мир моего Подвала так разросся, что поглощает меня целиком», — сказал Сидур в одном интервью.

Чувство особого, мощного, ни на что не похожего мира сразу охватывает попадающего в мастерскую Сидура, а ведь далеко не каждого художника можно назвать создателем своего, не бывалого доселе мира. Так мы говорим: мир Шагала, мир Генри Мура. (Пикассо сотворил галактику миров.) Это понятие включает в себя манеру и круг тем, систему образов, пластических знаков и символов, но не сводится ни к чему в частности и не исчерпывается лишь визуальным впечатлением. Подразумевается всегда нечто цельное, единое и взаимосвязанное.

— Все составляет целое: и моя мастерская, и «Миф», и стихи, которые я пишу, и кино, которое снял, — так перечислил однажды Сидур в разговоре со мной элементы этого мира.

Создаваемое художником — в каком-то смысле проекция, материализация его внутренней сути. Кажется, Швиттерс заявил — вызвав благородное возмущение многих, — что даже плевков художника — произведение искусства. Между тем в этой апатирующей формуле есть своя образная правда: сущность художника может проявиться во всяком его действии. При одном небольшом условии: если это действительно художник. Надо сначала им стать, надо пожизненно его в себе вырабатывать, не изменяя этому главному в себе. И если твой «плевков» оказывается не очень похож на произведение искусства — значит, ты не художник. Перестал им быть или никогда не был.

В «Мифе» мне встретилось замечание Сидура о деятелях искусства, которые приняли участие в травле своих коллег, надеясь такой ценой купить себе лучшие условия для жизни и творчества. (Дима называл их «подписанцы со знаком минус», в отличие от «подписанцев»-диссидентов.) «Счастье в том, что искусство обмануть нельзя. Подписанцы со знаком минус и другие хитрецы не знают или забывают, что их рукой тут же начинает водить дьявол... И исправить ничего нельзя» (25.08.74).

За этими словами чувствуется убежденность в неразделимости жизни и творчества: мир художника органичен и целен. Более того, он не во всем подвластен художнику и, будучи создаваемым им, в каком-то смысле включает его самого. Недаром автор то и дело начинает ощущать как бы независимости собственных творений от своей воли.

Одно из простейших, умопостигаемых проявлений такой независимости — способность художественной идеи, художественной формы к саморазвитию, когда последующее решение рождается не столько новым усилием автора, сколько предшествующей идеей или формой. Так разветвляются, множась, вариации возникшей однажды темы, порождая в этом процессе дальнейшие решения и новые темы, так появляются циклы, которые занимают у Сидура столь важное место.

Здесь нет речи о произволе и нарочитости, все совершается как бы само собой, по своим законам, ты даже не всегда можешь объяснить происхождения иных вещей — что говорить о посторонних!

В каком отношении к своим созданиям находится вот этот, как будто знакомый нам человек? — мягкий, очень добрый, обычно спокойный внешне. Вот он пьет чай с гостями, рассуждает об искусстве или политике, смеется, спрашивает о детях или семье. Ты что-то знаешь о его здоровье, пристрастиях, вкусах, житейских чертах, ты видел его снявшим зубной протез и сразу постаревшим на десяток лет, ты можешь представить его дома, с женой или сыном, ты можешь знать еще что угодно — но попробуй понять, как и почему возникают, выявляются в его руках эти сооружения из искореженного, исковерканного металла, наполняющие мастерскую словно обломки неведомой катастрофы? Откуда, из каких снов приходят к нему эти видения, эти мучительно восстающие фаллосы, эти оскаленные зубы, вопиющие рты, четырехпалые руки и выпученные глаза, эти обрубки и кабельные сплетения, перерезанные, точно горло? И как совмещаются с ними ножные линии других его скульптур и рисунков, прекрасные женщины и умиротворенные старцы? Но может ли он это сказать сам? Биография, обстоятельства жизни, воспоминания детства и юности, военные, госпитальные, любовные, какие угодно впечатления способны объяснить далеко не все — что-то вырастает, рождается из недоступных нам глубин существования — или из глубин мироздания, — что-то не поддающееся рациональному объяснению, вновь и вновь озадачивающее самого создателя.

«Чувство отстраненности от всего, что я сделал, — записывает Сидур. — Даже некоторое удивление. Неужели все это сделал я?.. Почему я? Неужели я?»

Наверное, всякому художнику знаком этот момент удивления: откуда это взялось во мне? Ведь это больше меня — как я оказался на это способен? У людей былых эпох это чувство вызывало представление о силах, для которых художник — лишь инструмент, средство выявления; художественный мир создается не столько им, сколько его посредством.

«Иногда, — пишет Сидур, — я чувствую себя не причастным к этому миру скульптур, который возник как бы сам собой, из ничего и не имеет ко мне почти никакого отношения».

Нет, недаром так часто навещает автора чувство, будто творения его обретают способность к самостоятельному существованию, начинают жить самоуправляемой, пугающей жизнью. В сценарных набросках к своему киномифу Сидур записывает кошмарную сцену бунта «Железных пророков»: лязгают зубы ртов-утюгов, шевелятся, тянутся металлические руки, валяются жуткие фаллосы. И о том же в стихах:

На полу железные джунгли
Разрастаются мои порождения...
Карабкаются по кресту
Стальные твари
Скоро меня достигнут...

8. ЭРОТИКА

Где-то там, в глубинах и безднах подсознания, в области томительных снов и мучительных кошмаров зарождались и эротические образы Сидура, восхищающие и пугающие удивительной, неожиданной своей пластичной нежностью красавицы рисунков и акварелей, и такие старцы с лицами, похожими на древесные листья, изборозжденные прожилками-морщинами.

Слабеет тело
Меркнет разум
Голова понять не может
Неугасимости вожделения
Что с детства меня томило.

Но много ли дано понять нам в темной этой сфере, несмотря на все усилия высветить ее, особенно в нашем веке? Стихи Сидура, его автобиографические заметки помогают понять происхождение некоторых мотивов, сюжетов и образов. Мы узнаем в повторяющихся женских фигурах «Данаю, Ио и Леду» его лирики, «цветок в маленьком пенисе юного Она-на» — мотив детского воспоминания, девочек, которые «качаются на качелях, переплетаясь всеми своими членами» — томление неизбывной нежности. Перед нами человек бесконечно нежный, постоянно влюбленный.

У Сидура есть работы поистине классического совершенства, есть удивительные решения, развивающие традиционные

для изобразительного искусства темы — и темы неожиданные, способные в первый миг ошарашить своей новизной. В замечательном скульптурном цикле «Женское начало» такой темой становится у него пластика не только внешних форм, но и внутренних органов («Я как будто ощущаю прекрасную скульптуру», — раскрывает он в записи происхождение одного из таких мотивов, напоминая об особом отношении скульптуры — как к эротике! — к онанизму). И, пожалуй, ни у кого не находила такого пластического решения и не обретала такой самостоятельности мужская, фаллическая тема.

Рожденные однажды, эти образы, как и все другие, — если не в еще большей степени, — обретали самостоятельность, способность к трансформации, порой пугающей. Так произошло, например, в графических сериях «Мутации», «Олимпийские игры», «Идеологическая борьба», где в сексуальной символике нашла отражение тема насилия, жестокости, тупой, безголовой, бесчеловеческой агрессивности, грозящего человечеству вырождения, гибели, апокалиптических ужасов...

Не буду, впрочем, теоретизировать на темы этих рисунков; для таких рассуждений мне нужно несколько от них абстрагироваться; непосредственная реакция при взгляде на них — невольное отталкивание. Здесь следует, наверное, сделать общее отступление. В современном искусстве (как и в литературе) есть явления, по природе не рассчитанные на непосредственное восприятие, к которому традиционно апеллировал художник. Классик своим описанием пейзажа стремился вызвать у нас эмоциональное сопереживание; описав вкусное блюдо, он был бы доволен, узнав, что у нас при чтении потекли слюнки. Нынешний автор, впечатляюще живописуя нечистоты или неаппетитные физиологические отправления, вряд ли ставит целью вызвать у нас физиологическую же тошноту — цель его, скорей, интеллектуальная (включая интеллектуальный шок). Здесь, если хотите, система образных знаков, ее всегда готовы разъяснить теоретики, которых желательно прочесть до непосредственного знакомства с произведением, чтобы не придавать слишком большого значения неподготовленному своему чувству. В самом деле, это «непосредственное» чувство не всегда годится в советчики, ведь оно (как и пресловутый «здоровый смысл») склонно совсем уж невежественно требовать, например, «похожести», объяснимости, морали и тому подобное.

Оговорив все это, признаюсь, что не могу себя отвести к безусловным поклонникам названных серий; отвлечься от непосредственного чувства отталкивания не удается — потому ли, что слишком сильно действует на меня этот художник,

или потому, что задуманное здесь претерпело нечто вроде мутаций, выйдя из авторской воли? Сам же замысел кажется мне понятным и благородным — я не могу принять морализаторских упреков, которых Сидуру приходилось выслушивать немало.

Морализаторством, кстати, не ограничивалось. Как-то в «Бильд-цайтунг» и прочел сообщение о скандале на одной из немецких выставок Сидура: некая дама-феминистка разбила скульптуру «Фаллос», оскорбленная в лучших чувствах этим символом «мужского господства»... Но это крайность уже анекдотическая. Моральные претензии к Сидуру предъявлял то издатель журнала, где охотно печатались фотографии голых красоток, то советский эмигрант-интеллектуал, в свое время упомянутый с Димой в одном фельетоне. «Мне как русскому и как еврею стыдно, что мы вносим вклад в дело разложения Запада», — примерно в таких словах выразил он свое отношение к присланному ему в подарок альбому Сидура (который с негодованием возвратил).

— Он говорит, как наш министр культуры, — усмехнулся Дима, передавая мне этот отзыв... — Они выступают там в странной роли защитников Запада от разложения. Это книга не для детей, а взрослые сами поймут, что все это означает.

Он не без вызова настанвал, что ни от «Мутаций», ни от «Идеологической борьбы» не отказывается — на каком-то этапе они имели для него принципиальный смысл. Но года четыре спустя в разговоре со мной как-то обмолвился: «Если бы я сейчас заново отбирал свой альбом, я, может, не стал бы включать туда „Мутации“ или „Идеологическую борьбу“. Тогда мне казалось, что это нужно, а теперь я бы подумал...»

Эротика у Сидура, как, пожалуй, мало у кого другого, напоминает, до какой степени в этой сфере переплетено прекрасное и жалкое, влекущее и гибельное, возвышающее и унижающее, нежность и наслаждение, восторг и страх, торжество и жестокость, счастье и боль, любовь и насилие... В «Мифе» он записывает рассказ о человеке, «у которого ЭТО произошло в момент смерти. Так мертвеца и вынесли из палаты». Не его ли видим мы в одном из сидуровских «Гробов»? «Это не сумасшествие, — подтверждает он нашу догадку, — это попытка найти способ изображения гроб-мира».

9. ПРАВДА БЕЗОБРАЗНА И УЖАСНА

«Правда безобразна и ужасна», — сказал мне однажды Сидур. За этой фразой стояло многое: мироощущение, философия и эстетика.

Я вспоминал ее, когда Дима показывал мне модель неосуществленного памятника писателю Василию Гроссману. Об этом человеке он всегда говорил с особым почтением, книгу его «Жизнь и судьба» называл «великой»: «Это как библия нашей жизни». Они встречались однажды в 1960 году, когда Гроссман только что закончил свой роман, еще не подозревая его драматической судьбы. «Не могу объяснить, почему он произвел на меня впечатление очень значительного человека, самого значительного из всех, кого я видел. А я видел и Солженицына, и Неруду, и Бёлля... да кого только не видел. И при этом он был самый ненапыщенный из знаменитых людей... Мы провели в разговорах целый день...»

Так вот, о памятнике. На одной его стороне был барельеф: девочка закрывает руками глаза взрослому. Оказывается, был у Гроссмана такой сюжет: во время расстрела девочка закрывала рукой глаза своему старому учителю: не смотри, это очень страшно.

Поистине впечатляющий образ — один из символов нашего времени; для Сидура он заключал в себе нечто глубоко сущностное.

Трудно, не отворачиваясь, взирая на все страдания и ужасы, которыми столь богат оказался наш век, — как бы говорит нам этот образ. — Порой действительно надо прикрыть глаза, иначе просто не выдержать. И все ли нам, в самом деле, надо видеть, всю ли правду — о мире, о людях, в конце концов о себе самих — обязательно знать, до всего ли надо доискиваться, докапываться, все ли покровы срывать? Человек не просто может — он имеет право чего-то не знать. Более того, он должен в своем поиске где-то остановиться, не доходить до бездн, ведь забота его — не просто истина, а счастье...

Сам Сидур говорил о разрушительном человеческом «любопытстве», которому просто необходимо бывает положить предел — например, в научных экспериментах и поисках, которые нередко оказываются антигуманными, потенциально губительными для самого рода человеческого: именно об этом буквально вопиют иные его скульптуры («После эксперимента») и рисунки («Мутации» и др.). И не только в науке. Может, стремление к познанию, ничем не ограничено, к проникновению за всякий предел — в каком-то смысле соблазн, не сулящий удовлетворения, ибо сама сущность человеческая — конечна, и нашей жизни, как и нашим устремлениям, не зря положен предел? Может, истина сама по себе — забота и цель одиночек, а для сообщества людей важнее устойчивость, равновесие, создаваемое среди прочего системой запретов, умолчаний (разве не на их строится вся культура?), а то и необходи-

мой — да, да, необходимой — лжи? Ведь прикрываем же мы наготу одеждой — и разве в наготе больше истины? Разве и кожа не прикрывает чего-то: внутренностей, костей, жалкой, смертной, безобразной плоти, обреченной на тление? И если какие-то свои отправления мы совершаем уединенно, скрывая их от людей, — не означает же это лицемерия и желания утаить правду.

Вопросы отнюдь не риторические. В своем «Мифе», в сценарных заметках к одноименному фильму, в самом фильме Сидур с неслучайным упорством и последовательностью фиксирует не самые лестные для себя моменты. Он ловит себя на жестокой мысли по отношению к ребенку, который мешает ему спать, — всего лишь мысли, какие знакомы каждому и вряд ли характеризуют нас более справедливо, чем наши дела, — но и она записывается в счет. Он подробно описывает и демонстрирует с экрана процесс изъятия зубных протезов — его лицо, исполненное своеобразной красоты, при этом резко меняется, — но больше ли в нем правды, чем до сих пор? Он показывает себя в позах самых не эстетичных, посвящает строки стихов физиологическим отправлениям, о которых мы обычно не говорим, — потому ли, что избегаем правды? Для него в этом, очевидно, есть смысл. Какой?

«Я буду рад, если успею дать свидетельские показания...» — отвечает он в записи 24.09.74. — «...МИФ я расцениваю именно так, хотя эти показания будут, возможно, против меня».

«Истина страшна и безобразна», — эту фразу Сидур, варьируя, повторял не один раз. Понятно стремление человека отгородиться от ужасов жизни, набросить на них покровы — но нисдаром искусство в нашем веке, как никогда прежде, училось эти покровы снимать. Для чего-то людям нужна и служба бесстрашных одиночек, которые ни от чего не отводят взгляда и не щадят себя в поиске. Может быть, для того, чтобы не успокаивалась человеческая душа, ибо такое успокоение грозит загнанием и угасанием самой жизни.

Сидур чувствовал себя художником, осуществляющим не в последнюю очередь эту нелегкую миссию. Он не отворачивается от ужасного, «неэстетичного». Он детально описывает бойню, на которой работал в начале войны, инвалидов в челюстно-лицевом госпитале, подробности пережитой им мучительной операции. Раненые, калеки, человеческие обрубки, страдающая плоть и страдающая душа становятся темами многих его работ — и оказываются явлениями искусства. Искусство не знает безобразного в том смысле, в каком, по выражению Пастернака, «состав земли не знает грязи». Но это отнюдь не эстетизация безобразия, во

взгляде Сидура на мир нет изощренности холодного наблюдателя, отнюдь — иначе ему была бы другая цена. Он страдает вместе со страдающими — как с мукой вглядывался в лицо умиравшей матери: «Седые волосы стояли дыбом. Глаза были круглые и полные ужаса...» В его ушах до сих пор ее крик: «Товарищи! Что вы делаете! Кончайте! Сколько это может продолжаться!»...

Тема предсмертных страданий занимает его всю жизнь, неотступно. Отвернуться он себе не позволяет — и не всегда это дано. «Не тешьте себя, что вам сделают укол, — говорил Иов» (18.03.74).

10. ТЕМА СМЕРТИ

Переломным в своем человеческом и художественном развитии сам Сидур называл 1961 год, когда ему случилось перенести инфаркт. Не впервые дохнуло на него холодком смерти, но теперь это отозвалось иначе, нежели в юности. «Результатом того, что я в 37 лет второй раз заглянул за пределы жизни, было четкое осознание... что третий раз может наступить каждую минуту и быть последним».

Это сознание отныне становится для него постоянным, окрашивая повседневную жизнь и определяя отношение к работе. «Каждый день чувствую, как смерть своей отворачивающей лапой хватается за сердце». «Мне кажется, я наконец понял, в чем разница моего отношения к миру и отношения к миру В., Н., Э. и т. д. — записывает он 25.06.74. — Я ежедневно, ежедневно, ежечасно готовлюсь к смерти... а они готовятся к длительной жизни».

Он не раз заявлял, что своим творчеством хочет напомнить людям о их смертности: забвение этого, — утверждал он, — первопричина зла на земле. Эта убежденность многое объясняет в творчестве Сидура, в частности, происхождение «Гробарта» — целой серии скульптур, собранных из разнообразных частей и помещенных в деревянные ящики-гробы. «Гробы стоящие, сидящие, лежащие, — перечисляет он их мыслимые разновидности, на колесах, летающие, гробики детские, гробы девичьи... гробы обнимающиеся, гробы целующиеся, гробы совокупляющиеся... гробы беременные гробами... гробы ненавидящие, завидующие... гробы поглощающие, гробы извергающие еду... гробы распинаящие, пытающие, пытаемые...» Перечень бесконечен, как бесконечно разнообразны люди, от рождения несущие в себе смерть, но предпочитающих не вспоминать об этом; жить с этой мыслью повседневно, пожалуй, нельзя. В стремлении напомнить об этом есть что-то религиозное, оно вполне соответствует мироощущению художника, призывающего не отворачиваться от безобразного

и ужасного — как и его взгляду на современность. «Воспеть величие эпохи, в которой убитые исчисляются миллионами, жизнерадостно и оптимистично, по силам только гробарту» (03.04.74).

Тема смерти, в разнообразных ее проявлениях, преследует его постоянно — Сидур словно сам хочет, чтобы она «стучала в его сердце» почти буквально: он долго хранит в платном шкафу урины с прахом матери и отца, возвращается к ним то и дело мыслью, вспоминает угнетающее бездушие модернизированной похоронного ритуала: «„Родственники, подходите прощаться“, — приказала женщина в синем халате. В одной руке у женщины молоток, в другой гвозди». А время спустя воспроизводит почти ту же сцену, разрабатывая для своего киносценария эпизод похорон героя — своих собственных похорон: «Гроб. В гробу я... Гроб медленно опускается, темные шторы смыкаются над ним»... Как будто подсмотрел заранее — так оно все потом и было. Впрочем, особого провидения тут и не требовалось — ритуал остался стандартным.

Важно отметить другое: все то же, предельное бесстрашие мысли, обращенной к теме смерти, — в том числе (и прежде всего) своей собственной.

«Я не верю, что не все кончается земной жизнью. Я знаю, что умрут все и не воскреснет никто, и в этом вижу высшую демократичность истинно божественного начала».

Трагизм мироощущения не смягчен здесь никаким мнимым утешением, никаким псевдорелигиозным паллиативом. Тем больше цена реальной жизненной стойкости. «Может быть, самое трудное, — записывает Сидур 25.08.74, — ...зная бессмысленность существования, продолжать жить и работать. А если ты веришь в НЕГО, то гораздо легче. Он думает за нас. Он спасет. Он наградит».

11. РЕЛИГИЯ

Один из персонажей Даниила Хармса назвал «неприличным и бестактным» вопрос: «Веруете ли вы в Бога?» Обоснование Хармса звучит юмористическим парадоксом, но затруднение, которое порой вызывает этот вопрос и у верующих, и у неверующих, заставляет ощутить в самой его постановке какую-то упрощенность, некорректность.

Сидур в одной из записей (18.03.74) называет себя «атеистом, верующим в Христа — сына человеческого». Говоря о «религиозном начале» в своем творчестве, он в интервью пояснял, что имеет в виду, прежде всего, христианские заповеди, «ибо до сих пор люди не смогли сформулировать ничего более человеческого». Распятие, голова Спасителя в колючем венце,

библейские образы — постоянные мотивы его графики, живописи и скульптуры.

Но что общего у этого «религиозного начала» с какой-либо церковной верой? В конкретном исповедании Сидура видится уступка, слабость, упрощение, в конечном счете идолопоклонство. «Если верят в ТЕБЯ, зачем в церковь ходят? — записывает он воображаемый разговор с Богом. — Идолопоклонством занимаюсь... Сам идолам поклонялся, — тут же, впрочем, признается он. — Не только на церковь, на светофоры молился». Речь идет о переживаниях в пору предсмертной болезни матери — знакомые, наверно, каждому мгновения отчаяния и слабости, когда готов вызвать к кому угодно, цепляясь за любую надежду, даже если не веришь в нее... Сидур упоминает об этом именно как о слабости. «Единственным человеком в моей жизни, у которого не было никаких шансов с богом, был мой отец. Самый честный, самый добрый, не противившийся злу насильем».

Можно у него встретить и запись другого рода. «А все-таки от веры и стало быть от церкви, или если хочешь наоборот, от церкви и стало быть от веры, во всяком случае в нашей стране не уйти никуда!» (15.04.74).

Как это толковать? Что значит «не уйти»? Относил ли это Сидур к себе?.. Думаю, то, что он называл у себя «религиозным началом», имело все-таки мало общего с исповеданием слабых духом — тех, для кого вопросы кончаются там, где для души, трагически выходящей, они лишь начинаются, тех, кто облегчает себе страх смерти надеждой на загробное продолжение и вместо выстрадавших, пугающих, не всякому посильных истин предпочитают готовые, желательные утешительные. В этом противопоставлении нет оценки — людям, большинству их, такая вера действительно бывает нужна как повседневная опора и утешение.

Думаю, в случае Сидура следует говорить не о вере как исповедании, а об импульсе, который можно назвать религиозным, об отношении к бытию, которое предполагает изумленное благоговение перед непостижимой загадкой жизни, любви, разума, перед бесконечностью и вечностью, когда нас касается чувство, что мы не так уж сами распориваемся собой, что есть что-то больше нас — о мироощущении, предполагающем поиск, пусть безнадёжный, но зачем-то кому-то нужный...

Сидуру были присущи элементы, и бы сказал, космического мироощущения. Как-то в разговоре зашла речь о разрушенных кладбищах — одна из болезненных тем нашей жизни. «Даже места вечного упокоения не вечны», — сказал я. И Дима вдруг заговорил о преходящести человека в мире.

— Меня с детства смущала громадность Вселенной. Человек в ней такой маленький, ничтожный.

— Зато ум все способен вместить, вот тоже чудо, — сказал я.

— А может, и зря ему дан такой ум. Может, животные, кошки, собаки — счастливее.

И стал говорить, какая радость увидеть среди природы кошку или собаку, какая в них грация.

Ход мысли в этом разговоре (как он оказался записан) лишь по видимости прихотлив: его объединяет чувство единства мира во всех его проявлениях, чувство, родственное тому, что Альберт Швейцер называл «благоговением перед жизнью». Перед жизнью как таковой — не только человеческой.

«Я глубоко уверен, что животные и растения испытывают боль, ужас, а потому, скажем, коровы не должны быть съедены, деревья срублены и сожжены», — записывает Сидур 08.04.74. Это чувство не предполагало практического вегетарианства, тем не менее не приходится сомневаться в его искренности — с ним просто приходится жить, хотя жизни оно отнюдь не упрощает. «Как трудно не убит! Копнешь землю лопатой и нарушишь жизнь тысяч живых существ».

Все это — тоже элементы мироощущения, которое можно назвать религиозным. Это мироощущение человека, не страшщегося истины ужасной и безобразной, но чувствующего, что тут лишь одна из инстанций бытия, лишь часть какой-то более цельной правды, включающей красоту и добро, любовь и разум. Хотя бы потому, что без этого мироздание обратилось бы в хаос. Между тем мир как целое не саморазрушается — есть нечто, позволяющее ему существовать, поддерживающее его устойчивость и тепло, напряженную живую гармонию. Это мироощущение человека, знающего не только трагизм, но и счастье существования. Он в самом деле был по-настоящему счастливым человеком.

«Разум и добро — не выдумки, — записывает Сидур 25.08.74, — а лучи, доходящие из абсолютного бытия. А другие верят только в бессмысленные столкновения частиц, а человек — порождение этой бессмысленности».

И в другом месте: «Где истина, где ложь? Как может установить человек, если нет Высшего начала» (25.08.74).

Не правда ли, это приводит на память другой, прозвучавший однажды вопрос: «Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет?» Творческий импульс, пожалуй, столь же мало поддается рациональному объяснению, как и импульс религиозный, — в природе их есть нечто общее.

Опыт творчества, иверно, и впрямь близок опыту мистическому. Кто, как не художник, может понять Творца, переливающего себя в свое создание, — чтобы продолжиться в нем и уже не страшиться собственного исчезновения? Кто, как не он, способен ощутить служение свое в том, чтобы своим трудом, метанием, любовью и мукой поддерживать непрерывную энергию творчества?

12. СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА

«Зачем мне это нужно? — повторяет Сидур все тот же вопрос в разговоре с женой. — Зачем и делаю скульптуру, рисую, пишу? Что заставляет меня приниматься за тяжелую долгую работу? Ты сама прекрасно знаешь, что скульптура скорей всего никогда не будет выставлена, рисунков никто не увидит, а „Миф“ никто не прочтет. А что со всем этим станет, когда я умру, об этом лучше вообще не думать. Я даже не знаю, радости или муки больше испытываю, когда работаю. Я ничего не знаю».

Какое облегчение переписывать эти строки в пору, когда сохранность его работ, кажется, обеспечена, по крайней мере на ближайшее будущее! Историческая перемена на сей раз подоспела вовремя; а как все повернулось бы, запоздала она года на два или умри он сам годом раньше? Кто знает, сколько творений наших современников исчезло бесследно вместе с их создателями? И мы даже не подозреваем, что они существовали, как не подозревали бы о существовании «Мастера и Маргариты» или стихов Мандельштама, если бы не выжили те, кому дано было их сохранить? Ведь кто-то и не выжил.

Мысль о судьбе работ мучила Сидура неотступно. «Я все хожу и присматриваюсь к особнякам, — сказал он мне как-то во время прогулки. — Иметь бы особняк, чтобы расставить там свои работы, — и больше мне ничего не надо. А то я вот задумал одну скульптуру, с тебя ростом, и не могу делать. Некуда ставить. Я стал чувствовать, что невозможность иметь собственность — очень плохая вещь. Нам ничего не принадлежит. Квартира — кооперативная, не моя. Дача? Какая она моя, земля мне не принадлежит. Мастерская — вообще даже не Союза, он ее арендует у жэка».

Я вспоминал этот разговор, когда после его смерти несколько месяцев тянулася неясность, продлит ли МОСХ наследникам срок аренды на Подвал и если нет, куда девать сотни тяжелых скульптур и как их сохранить? Сидур не переставал думать об этом до самой смерти.

Не могу умереть спокойно
Мучаюсь мыслью
Что с детьми будет мой мв,
Когда я исчезну, —

писал он в стихах. Речь, конечно, шла о скульптурах — за живых детей он мог беспокоиться меньше.

И уже перед самой смертью, в больнице:

Я пропадаю
Мне худо
Вы томитесь в опустевшей квартире
Белые девы
Мои глупые дети
Не в силах понять
Куда я пропал
А я пропадаю
Боюсь вас покинуть
Но верю в свиданье
Если увижу вас снова живыми
Тройняшки-близнята
Голеньких нежных
Друг друга ласкающих
Меня ожидающих
То снова восприму
Веряюсь с того света
Мы вместе яд смерти одержим победу
Но это пока большой от всех секрет
Мы сделаем с вами
«Всящего Деда»
Мой автопортрет.

Я видел этот автопортрет на поминках после похорон — вырезанный из бумаги, он висел под потолком, изгибаясь на деревянных жердочках и ниточках, воспроизводя одну из давних графических идей Сидура. Три голенькие белые довы смотрели на него с дивана — мягкие тряпичные куклы-скульптуры, последняя фантазия мастера, может быть, дань давнему воспоминанию о девочках, качавшихся перед окном на качелях. На стеллажах в квартире, сразу ставшей мемориальной, стояли модели скульптур — и все вместе было как подтверждение, что победа над смертью все-таки одержана. Этому в конечном счете служит искусство.

Зачем мы это делаем? «Завоевать и преобразить человечество, изменить понимание живого и мертвого» — вот чего — не более, не менее — хочет добиться художник своим творчеством» (запись 08.10.74). «Мне смешно, когда говорят: мир спасет красота. Настолько неоднозначно понятие красоты. В этом случае правильнее говорить: искусство спасет мир» (15.04.74).

Здесь чувствуется отголосок убеждения об истине безобразной и страшной — упрощенное понимание красоты как красоты к ней неприменимо; и все-таки служить ей, искать ее и выявлять как нечто оформленное — значит помогать замыслу Творца, самой жизни. Жизнь требует формы, ибо противоположность ей: бесформенность, хаос, распад — означает смерть. И в этом смысле форма все же связана с красотой, как бесформенность — с безобразием, в этом смысле творчество есть служение жизни...

Вот дошел до понимания, казалось бы, своим умом — но заглянул в Платона:

у него, оказывается, давно есть про это: «Все, что вызывает переход из небытия в бытие, — творчество», — объяснила Софократу много веков назад мудрая гетера Диотима. Вот то, что роднит искусство со всякой животворящей энергией человека, будь то любовь или культурное деяние. Творчество — то, что способствует сохранению и поддержанию жизни физической и духовной...

Примерно об этом я писал четыре года назад в небольшом тексте к каталогу Бохумской выставки Сидура. Я перечитываю его — и словно обвожу еще раз прощальным взглядом удивительную мастерскую.

Существо человека вряд ли сильно изменилось с библейских времен. Многие наши идеи лишь кажутся нам новыми — нова разве что наша подпись. И это не так уж мало. Потому что каждый живет (и умирает) впервые, единственный и последний раз — в мире, которого не было прежде и уже никогда не будет...

Есть существа, которые погибают в любовном акте — акте продолжения жизни. Творец переходит в свое творение. Если наш мир был кем-то создан, то не такой ли ценной?..

Мысль становится неожиданной в воздухе, напрягается вокруг этих работ... Мастерская скульптора завалена обломками катастрофы, исковерканным, сплюснутым, растерзанным металлом. Будто наплывы магмы затвердевают, вырвавшись на поверхность. Напор стихийных сил оформляется мыслью трезвой, выверенной, жесткой.

Это искусство не отворачивается от страшного и безобразного. Но соглашается ли оно принять трагизм и абсурд жизни, страдание и зло? Такое приятие может называться даже героическим — так Ницше призывал оценивать человека мерой страданий, которые он способен вынести. Отсюда недалеко до эстетического любования насилием, ужасом, гибелью. Этот трагизм не интересуется другими, слабейшими, он высокомерен и лишен любви.

В работах Сидура — боль, крик, предостережение, жалость, в них сострадание, нежность, любовь.

Бессмысленный хаос преобразается, из безнадежно мертвого материала вновь и вновь выявляется форма, смысл, красота, начало женское и начало мужское, Адам, Ева, дитя. Тогда искусство представляется силой, призванной противиться энтропии, распаду, гибели. Ведь если человек был для чего-то создан, то не для того ли, чтобы теплом своей жизни, страсти, творчества поддерживать и обновлять энергию мироздания, обреченного без него?

Александр МАТЫШЕВ

ДИКТАТОР

...когда нас упрекают в жесткости, мы недоумеваем, как люди забывают элементарнейший марксизм.

В. И. Ульянов (Ленин)

Кризис СССР, охвативший все стороны жизни страны, угрожающе углубляется. Несмотря на то, что примерно год назад это были вынуждены признать даже высшие эшелоны власти и вот уже шестой год в стране идет «перестройка», реальные перспективы улучшения обстановки до сих пор весьма туманны. В сущности, связано это с тем, что термин «перестройка» не несет особенной смысловой нагрузки, кроме желания что-нибудь изменить. Медлительность и отсутствие концептуальности сплошь и рядом подменяются привычными клише, полуправдой, стремлением осуществить половинчатые реформы. Такое уже было после хрущевской оттепели, когда железный занавес только колыхнулся, а для мысли лишь слегка приоткрыли щель, чтобы удушить первые же ростки этой освобождающейся мысли в обстановке брежневского режима.

С тех пор кризис стал всеохватывающим. Еще немного — и в стране может произойти чудовищная катастрофа. Нужно приложить все силы, чтобы, пока не поздно, предотвратить ее. Налицо, однако, усугубление обстановки антидемократическими мерами вроде отмены прямых и равных выборов в высший орган государственной власти. Так кризис не преодолеть.

Пусть читатель не ищет в настоящей статье рецепта ото всех бед. Такие рецепты должны дать законодатели, которым народ доверил власть. Цель автора другая и более скромная — расширить плацдарм свободной мысли, сделать еще один шаг в установлении причин бедствий, охвативших страну; указать на опасный стереотип¹, ограничивающий продвижение вперед.

¹ Именно потому, что в сознании людей еще живет масса стереотипов, вбитых за последние 70 лет террором и обманом, и процесс их преодоления труден и долг, все исторические персонажи, упоминаемые в статье, называются только их подлинными фамилиями и именами. Так легче расставаться с мифами. И не нужно искать в этом никакой националистической подоплеку.

Все еще модно сваливать вину за все постигшие Россию несчастья на Джугашвили и, в крайнем случае, на весьма ограниченный круг его подручных. Сторожики такой точки зрения является, например, М. Шатров, «кому пепел оболганной, преданной и расстрелянной Сталиным Октябрьской революции постоянно стучит в сердце»¹. В статье В. Костинова в «Огоньке» (1989, № 32) вина за все беды возлагается на неких «людей в сапогах», к которым причислены Джугашвили, Бронштейн, Каганович и которым противопоставлены «люди гравдаиского мира» В. Ульянов и Бухарин. Несколько дальше пошел Л. Хаиндрава в интересной работе «Некоторые мысли по поводу современной „Сталинианы“» (Литературная Грузия, 1989, № 1), где уже в целом ряду высших партийных чиновников, ответственных за произвол, называется и их глава — В. Ульянов.

Более того, желание беспристрастно исследовать случившуюся в России трагедию Шатров характеризует в упомянутой беседе как «серьезную и грозную опасность, разъедающую души людей». Если подобная опасность и существует, то только для тех «людей», которые продолжают ассоциировать себя с хладокровными, бесчеловечными убийцами, во имя догматически воспринятой теории совершившими величайшие преступления в истории человечества.

Таким образом, обществу предлагается упрощенный подход к мучительной теме, позволяющий, однако, сделать кардинальный для современности вывод (на глазах превращающийся в новую и очень опасную догму) о том, что в октябре 1917 года было выбрано единственно верное направление развития России, способное наилучшим образом разрешить все вопросы русской жизни, но... но коварный Джугашвили спутал карты «настоящих» ленинцев.

Крупным шагом вперед явилась статья А. Ципко «Истоки сталинизма», опубликованная в «Науке и жизни» (1988, № 11—12; 1989, № 1—2). А. Ципко, опираясь на марксистское положение о том, что практика — критерий истины, высказывается за право судить о социализме по прошедшим 70 годам, «судить о марксизме с позиций нашей социалистической истории». Ожидаемый же будущий опыт, надежду он не признает аргументом в научном споре.

Прибавим к этому, что развитие социализма и в одной стране мира не продемонстрировало преимуществ этого строя, так что тезис об особых его преимуществах — догма, в которую можно только верить. Более того, прибавим, что единого понимания социализма вообще никогда

¹ См. пьесу «Дальше, дальше, дальше...» и беседу с ним (Огонек, 1988, № 45).

не существовало и не существует, так что фраза о преимуществах того, о чем до сих пор нет исных представлений, не более чем словесная эквилибристика.

Пусть читатель не усматривает в таких утверждениях в настоящее время нападок на «социализм» в противовес «капитализму», потому что сейчас нельзя однозначно связывать многие государства с определенным общественным строем, о чем очень вовремя напомнил на I Съезде народных депутатов Ч. Айтматов: «Пока мы гадали, судили и ридили, каким должен быть и каким не может быть социализм, другие народы уже его имеют, построили и наслаждаются его плодами. Причем мы своим опытом сослужили им хорошую службу, показав, как не следует строить социализм. Я имею в виду процветающие правовые общества Швеции, Австрии, Финляндии, Норвегии, Голландии, Испании, наконец, Канады за океаном. О Швейцарии я уже не говорю — это образец. Рабочий человек в этих странах в среднем зарабатывает в четыре-пять раз больше, чем наши рабочие. Социальная защищенность, уровень благосостояния трудящихся этих стран нам может только сниться. Это и есть реальный и, если хотите, рабочий профсоюзный социализм, хотя эти страны и не называют себя социалистическими, но от этого им не хуже»¹.

Чтобы устранить возможные кривотолки и искажения, автор настоящей статьи, разделяя оценку, данную народным депутатом правовым обществам перечисленных им государств², высказывается за разумный коллективизм в жизни людей, взаимопомощь, демократию, народовластие (пусть оно называется Советским, главное не в обозначении его словом, а во вкладываемом в него содержании), стремиться к социальной справедливости, к приоритету общечеловеческих ценностей, словом, стремится к тому, к чему, вероятно, стремятся все нормальные люди во всех странах мира.

Вернемся, однако, к статье А. Ципко. В ней обосновывается мысль, что Джугашвили «строил социализм в соответствии с предначертаниями теории, пытался как мог ускорить движение России к коммунизму, начатое в октябре 1917 года», что его представления о «социализме» были типичными для марксистов того времени. Анализируя источники коммунистических воззрений того времени, А. Ципко аргументированно указывает при этом на левый радикализм, «левац-

¹ «Известия» № 155 от 4 июня 1989 г.

² Хотя сомнения вызывает излишняя краткость списка государств. Или Ч. Айтматову видится существенная разница между упомянутой им Норвегией и, например, не упомянутыми Данией, Бельгией, Великобританией, Францией?

кий экстремизм». Однако вопрос о том, насколько левый радикализм был присущ главе большевиков В. Ульянову, остался вне подробного рассмотрения. Попытаемся разобраться в этом очень важном для современности вопросе, так как нам предстоит решать, как же жить дальше после стольких лет кошмара, как же избежать рецидивов сталищины ли, хрущевщины ли, брежневщины ли и так далее, как, одним словом, стать нам нормальным демократическим обществом. Ведь многочисленные догмы все еще опутывают людей, не давая свободно и безбоязненно вносить конструктивные предложения по выходу из кризиса.

Воспользовавшись незабвенным советом, «посмотрим в корень», то есть в такое положение марксизма, которое сам В. Ульянов считал главным, «коренным содержанием пролетарской революции» (Т. 37. С. 240)¹. Что же он имел в виду? А в виду В. Ульянов имел диктатуру, диктатуру пролетариата. Кстати, в том, что диктатура пролетариата — главное в марксизме (хотя точнее было бы выразиться, как ниже увидит читатель, в марксизме-ленинизме), можно легко убедиться, заглянув в предметный указатель выпущенного в 1988 году Политиздатом четырехтомного Собрания сочинений В. Ульянова.

Вот что он писал о ней в октябре 1918 года: «Это — вопрос, имеющий важнейшее значение для всех стран, особенно для передовых, особенно для воюющих, особенно в настоящее время. Можно сказать без преувеличения, что это — самый главный вопрос всей пролетарской классовой борьбы» (Т. 37. С. 240). А вот в каком контексте упоминается диктатура пролетариата в работе «Очередные задачи Советской власти» (апрель 1918 года): «(...) всякая великая революция, а социалистическая в особенности, даже если бы не было войны внешней, немислима без войны внутренней», то есть гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя (...)». Чуть далее следует вывод: «Этот исторический опыт всех революций, этот всемирно-исторический — экономический и политический — урок и подтолкнул Маркса, дав краткую, резкую, точную, яркую формулу: диктатура пролетариата» (Т. 36. С. 195—196).

Попутно отметим, отвлекаясь немного от диктатуры пролетариата, что всего за год до этого, в сентябре 1917 года, В. Ульянов писал нечто диаметрально противоположное; вот выдержки из его статьи

¹ Ссылки на труды В. Ульянова приводятся по последнему, 5-му, якобы Полному собранию его сочинений.

* Здесь и далее курсив, помеченный звездочкой, принадлежит автору статьи.

«Русская революция и гражданская война»: «Говорит о „потоках крови“ в гражданской войне. (...) Эту фразу повторяют на тысячах ладов все буржуа и все оппортунисты. (...) Над ней смеются и будут смеяться, не могут не смеяться после корниловщины все сознательные рабочие» (Т. 34. С. 224). «Никакие „потоки крови“ во внутренней гражданской войне не сравнятся даже приблизительно с теми морями крови, которые русские империалисты пролили после 19-го июня (1917 года)» (Т. 34. С. 226).

Так какое же утверждение принимать за чистую монету: из «Очередных задач Советской власти» о том, что гражданская война после социалистической революции неизбежна и страшнее войны империалистической, или из «Русской революции и гражданской войны», где В. Ульянов призывает посмеяться над мерещущимися всяким там оппортунистам ужасами? ¹ Официальные идеологи у нас не любят указывать на такие прямые противоречия в работах В. Ульянова. Риском все-таки высказать предположение, зачем он так писал. Дело в том, что в сентябре 1917 года В. Ульянов из всех сил толкал своих соратников-большевиков на насильственный захват власти, а наиболее видные из них — Л. Бронштейн, Г. Радомысльский, Л. Розенфельд, И. Джугашвили — не очень-то к этому стремились. Приходилось В. Ульянову представлять все в розовом цвете, лишь бы толкнуть партию на переворот. А вот уже после него, после разгона Учредительного собрания, когда власть можно было удерживать только силой, опирающейся на невероятную жестокость ², и понадобилось ее теоретическое обоснование.

Так истина приносилась в жертву политике, потребе дня, удержанию власти «во что бы то ни стало»...

Вернемся к именно такому обоснованию диктатуры пролетариата В. Ульяновым, ссылавшимся, правда, в вышеприве-

¹ Маленькая историческая справка: в июньском наступлении 1917 г., которое упомянул В. Ульянов, Россия потеряла около 60 тысяч человек (см. «Историю гражданской войны в СССР». М., 1935. Т. 1. С. 142), в то время как в гражданской войне, даже по официальным советским данным, в России погибло 8 миллионов человек (см. энциклопедию «Гражданская война и военная интервенция в СССР». М., 1983. С. 14). Впрочем, последняя цифра теперь подвергается сомнению. В советской печати появились работы, где убыв населения в России только за часть периода правления В. Ульянова (1918—1922 гг.) считается большей 15 миллионов человек!

² Как вспоминал Л. Бронштейн, еще до начала гражданской войны, в начале 1918 года В. Ульянов восклицал: «Неужели же вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего революционного террора?» (Огонек. 1989. № 17. С. 5).

дением отрывке из «Очередных задач Советской власти» на Маркса. Однако сам Маркс единственный раз в жизни, да и то мимоходом, употребил такое выражение. Вот место из «Критики Готской программы», где им упомянута диктатура пролетариата: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата*».

Но программа не занимается ни этой последней, ни будущей государственно-стью коммунистического общества.

Ее политические требования не содержат ничего, кроме всем известных демократических переделов: всеобщее избирательное право, прямое законодательство, народное право, народное ополчение и прочее» ¹.

Пришлось В. Ульянову самостоятельно раскрывать смысл термина «диктатура пролетариата», обогащая тем самым марксизм. Вообще упоминания о диктатуре рассыпаны по очень многим его работам. Вот, например, из тех же «Очередных задач Советской власти»: «(...) диктатура есть большое слово. А больших слов нельзя бросать на ветер. Диктатура есть железная власть, революционно смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. А наша власть — непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо» (Т. 36. С. 196). Но настоящее, научное определение было дано в работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский», написанной в связи с выходом в Вене в 1918 году работы Каутского «Диктатура пролетариата», в которой последний как раз и указал на то, что Маркс только раз употребил термин, ставший одним из краеугольных камней ленинизма.

Вот чем ответил В. Ульянов:

«От определения диктатуры пролетариата отлынивать посредством уместований о деспотизме есть либо крайняя глупость, либо весьма искусное мошенничество».

В итоге мы получаем, что, взявшись говорить о диктатуре, Каутский наговорил много заведомой неправды, но никакого определения не дал! Он мог бы, не полагаясь на свои умственные способности, прибегнуть к своей памяти и выложить из «нищичков» все случаи, когда Маркс говорит о диктатуре. Он получил бы, наверное, либо следующее, либо по существу совпадающее с ним, определение:

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 27—28.

Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанное никакими законами.

Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами * (Т. 37. С. 244—245) ¹.

В той же работе В. Ульянов попутно отмечал, что Каутский сказал «явную историческую неправду, будто диктатура означает власть одного лица», что будто бы «диктатура не обязательно означает уничтожение демократии для того класса, который осуществляет эту диктатуру над другими классами».

Чувствуя, видимо, шаткость своей позиции, В. Ульянов характеризует взгляды Каутского как «ренегатские», «бесхарактерные», «либеральные и лживые», как «ренегатские софизмы», обзывает его «лакеем буржуазии», «иачетчиком в марксизме», «слепым щенком», оскорбляет фразами типа «точию во сне мочалку жуёт» или, например, такой: «О, ученость! О, утонченное лакейство перед буржуазией! О, цивилизованная манера ползать на брюхе перед капиталистами и лизать их сапоги! Если бы я был Крупном, или Шейдеманом, или Клемансо, или Реноделем, я бы стал платить господину Каутскому миллионы, награждать его поцелуями Иуды, расхваливать его перед рабочими, рекомендуя „единство социализма“ со столь „почтенными“ людьми, как Каутский» ² (Т. 37. С. 254).

Ругань, однако, аргументом не является. История подтвердила правоту в споре о диктатуре не В. Ульянова, а К. Каутского. Уже в конце своей жизни В. Ульянов начал понимать, что складывается новый культ одного из его учеников, который позднее получил, пользуясь теоретическими «открытиями учителя, власть, не сивившуюся ни одному русскому императору. Отчасти и сам В. Ульянов стал жертвой изолировавшего его последовате-

¹ И позднее В. Ульянов повторял почти слово в слово это определение: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» (Т. 41. С. 383).

² Вообще, при внимательном чтении работ В. Ульянова бросается в глаза использование применительно к его политическим оппонентам выражений типа «политическая проститутка», «говно», «смердящий труп», «сволочь», «тупица», «педаит» и т. д. и т. п. Это, конечно, не делает ни автору чести, ни работы более убедительными. К сожалению, политическая ругань до сих пор в почете среди многих последователей В. Ульянова. Поэтому вкратце остановимся на этом аспекте стиля работ главы большевиков и укажем, что делалось это, конечно, сознательно, чтобы работы были доходчивей для «массы», не слишком глубоко

ля. Это уже не говоря о пролетариате, классе, о котором так пеклись марксисты. Достаточно сказать, что еще при В. Ульянове, в ходе гражданской войны, численность пролетариата в России сократилась вдвое, а промышленное производство сократилось в 5—25 раз от уровня 1913 года.

Прав оказался Каутский и в понимании диктатуры пролетариата не в буквальном смысле насилия (пресловутое «грабь и грабление» В. Ульянова), а мирного завоевания большинства при буржуазной демократии. Подтверждение тому — приход к власти во многих странах Западной Европы социал-демократических партий, их политика на основе созидательных компромиссов, национального согласия, демократических свобод, позволившая построить процветающие правовые общества, далеко обогнавшие в своем развитии страны Восточной Европы!

Тогда же в России победил В. Ульянов, требовавший власти, не ограниченной законами. И первые пять лет после революции так оно и было: Уголовный кодекс РСФСР был разработан лишь в 1922 году, хотя Конституцию РСФСР приняли уже в 1918 году. Да законы, в соответствии со взглядами В. Ульянова, были и не нужны, власти ведь руководствовались революционным правосознанием. Ну, например, уже 5 сентября 1918 года был подписан декрет Совета Народных Комиссаров о красном терроре, создании концлагерей.

А как же в целом, на практике, должна была осуществляться диктатура пролетариата, если сам В. Ульянов еще в работе «Что делать?» (1902 год) открыто признавал, что «классовое политическое сознание может быть принесено рабочему классу только извне», если им открыто признавалась в той же работе «стихийность» рабочего движения?

Понятно, что иужен был поводирь, авангард пролетариата, построенная на принципах демократического централизма партия нового типа, созданная В. Уль-

задумывающегося над содержанием. Подтверждением того, что В. Ульянов стремился сделать свои работы как можно более доступными для людей, недавно научившихся читать, служит его заметка «Об очистке русского языка», где есть такое признание: «Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя» (Т. 40. С. 49). Впрочем, объяснения желанием подладиться под «массу» недостаточно. Несомненно, роль играл и темперамент, если даже в письме А. Пешкову от 15 ноября 1919 года, имея в виду русскую интеллигенцию, В. Ульянов писал: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мянущих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г(овню)» (Т. 51. С. 48).

яновым. Отметим, что этот авангард к октябрю 1917 года едва насчитывал 350 тысяч человек, причем собственно рабочих в партии было около 60 %.¹ Более того, собственно промышленный пролетариат, даже по официальным советским данным, в России со 150-миллионным населением, не превышал 3,5 миллионов, общая же численность лиц наемного труда (в том числе, например, домашняя прислуга) не превышала 18 миллионов человек. Зато так называемой мелкой буржуазии, к которой большевики, а вслед за ними официальная наука, относили такие разнородные группы населения, как крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы, служащие, интеллигенция, в России было более 80 %.² Жизнь этих миллионов людей и пошла под откос в угоду теории, созданной именно для того, чтобы оправдать насилие над ними.

Итак, на самом деле все свелось к фактической диктатуре ничтожного меньшинства над подавляющей массой населения России.³ Зато до сих пор «Советский энциклопедический словарь» (М., 1984) в анонимной статье, как раз посвященной работе В. Ульянова «Пролетарская революция и ренегат Каутский», утверждает, что диктатура пролетариата как форма пролетарской демократии «дала невиданное в мире расширение демократии для гигантского большинства населения». Комментировать это высказывание смысла не имеет.

Зато имеет смысл задуматься над тем, какой же аппарат руководил самой партией большевиков, выполнял роль авангарда авангарда?

В своих запоздалых прозрениях, теперь именуемых обычно «Последними письмами и статьями», В. Ульянов, прежде всего имея в виду партию, признался, «что мы аппарат, в сущности, взяли старый от царя и от буржуазии» и предложил привлечь «многих рабочих в ЦК» (Т. 45. С. 347).

В это же время В. Ульянов дал известные характеристики своим шестерым товарищам по ЦК, причем сделал это за

их спиной, совершенно секретно, так, чтобы только после его смерти это стало достоянием очередного партийного съезда. Где же при этом была его партийная принципиальность, партийная этика, наконец? Не это ли теперь называется «ленинским стилем работы»? Почему он держал в руководстве всех этих людей при своей жизни и вовремя не заменил другими, если не дал ни одному члену ЦК РКП(б) безоговорочно положительной характеристики?

Да, не зря Джугашвили, которому все секреты В. Ульянова в то время становились немедленно известны, потом говаривал: «Останетесь без меня, погибнете. Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». И действительно, на что рассчитывал В. Ульянов, давая подобные характеристики подобным образом? Что «рабочие из-под станка», как их называл Джугашвили, смогут унять беспринципных и бесчеловечных политиканов, обладавших в глазах тех же рабочих непререкаемым революционным авторитетом, узурпировавших в своих руках колоссальную власть?

Да, на XIII съезде число членов ЦК РКП(б) было увеличено с 27 до 53 человек, но нужно обладать удивительным воображением, чтобы считать этих людей профессиональными рабочими. Кстати, в соответствии с большевистской доктриной, сами-то они материальных ценностей не производили и, по Конституции РСФСР, «в целях уничтожения паразитических слоев общества» подлежали «всеобщей трудовой повинности!». Но законы были писаны не для всех. Они себя ими не ограничивали!

Что же касается увеличения состава ЦК, то мера эта и вовсе оказалась косметической, поскольку в соответствии с пресловутым демократическим централизмом над ЦК стоял еще один орган — Политбюро ЦК, которое избиралось Пленумом ЦК РКП(б). Последнее Политбюро, в которое входил В. Ульянов, кроме него состояло из Л. Бронштейна, Г. Радомысльского, Л. Розенфельда, И. Джугашвили, А. Рыкова и М. Томского, а после смерти В. Ульянова вместо него в Политбюро выбрали Н. Бухарина. Вот и все кадровые перестановки, которые получились в результате «Письма к съезду».

В свою очередь, пока В. Ульянов был здоров, он лично почти монополично направлял деятельность своих товарищей, сосредоточив в своих руках колоссальную власть главы правительства, не связанного законами, и главы правящей партии. Что это не противоречило его теоретическим взглядам, свидетельствует «Речь памяти Я. М. Свердлова на экстренном заседании ВЦИК 18 марта 1919 г.». Вот что можно узнать из нее об авторитете в понимании В. Ульянова:

«На взгляд людей, поверхностно судящих, на взгляд многочисленных врагов нашей революции или тех, кто и донныне колеблется между революцией и ее противниками, — на взгляд этих людей более всего бросается в глаза та черта революции, которая выразилась в решительной, беспощадно твердой расправе с эксплуататорами и врагами трудового народа». Видя в Я. М. Свердлове одного из вождей такой революции, он продолжает: «Если нам удалось в течение более чем года вынести непомерные тяжести, которые падали на *узкий круг беззаветных революционеров**, если руководящие группы могли так твердо, так быстро, так единодушно решать труднейшие вопросы, то это только потому, что выдающееся место среди них занимал такой исключительный, талантливый организатор, как Яков Михайлович. Только ему удалось соединить в себе удивительное знание личного состава руководящих деятелей пролетарского движения, только ему удалось за долгие годы борьбы, — о которой я могу сказать здесь лишь слишком кратко, — выработать в себе замечательное чутье практика, замечательный талант организатора, тот *безусловно непререкаемый авторитет**, благодаря которому крупнейшими отраслями работы Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, которые под силу были лишь группе людей, — целиком и исключительно единолично ведал Яков Михайлович. Только *ему удалось завоевать такое положение, что достаточно было в громадном числе крупнейших и важнейших организационных практических вопросов, достаточно было одного его слова, чтобы непререкаемым образом, без всяких совещаний, без всяких формальных голосований, вопрос*

¹ Речь идет о директиве Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 января 1919 года, в которой приказывалось: «Провести массовый террор против богатых казаков, истребить их поголовно, провести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо участие или косвенное участие в борьбе с Советской властью (...)». Интересно, что после таких уроков должен был вкладывать И. Джугашвили в формулу «уничтожении кулачества как класса»?

² Вот как, по описанию одного из охранников, происходило убийство Николая II, его жены, дочерей Ольги (22 года), Татьяны (20 лет), Марии (18 лет), Анастасии (16 лет), сына Алексея (14 лет), известного русского врача Е. С. Боткина, компаньонки девушки Демидовой, повара Харитоновой, лакея Труппа: «Стреляли исключительно из револьверов. Вслед за первыми выстрелами раздались крики нескольких женских голосов. Первым пал Николай, за ним Алексей. Демидова же металась, закрывалась подушками, была потом приколота штыками. Когда все было кончено, их стали осматривать и некоторых достреливать и докалывать» (Цит. по содержательной статье

был решен раз навсегда, и у всех была полная уверенность в том, что вопрос решен на основании такого практического знания и такого организаторского чутья, что не только сотни и тысячи передовых рабочих, но и массы сочтут это решение за окончательное»* (Т. 38. С. 77—78).

Эта неприкрытая проповедь авторитаризма импонировала «узкому кругу беззаветных революционеров», а Джугашвили, наверное, уже строил комбинации, как же ему, вслед за В. Ульяновым и Свердловым «завоевать такое положение, что достаточно было...» и далее по только что процитированному тексту. Дальнейшие комментарии были бы излишни, если бы сейчас не шла довольно острая дискуссия о таких преступлениях Свердлова, как секретная директива об уничтожении мужского казачьего населения¹, как зверское убийство Николая II с семьей и приближенными², как распоряжение Свердлова расстрелять без суда есерку Ф. Каплан³ (Ройд).

Последние две акции затрагивают личную репутацию В. Ульянова как лица заинтересованного: в случае с Николаем II как брата казненного А. Ульянова, а в случае с Каплан — как непосредственной жертвы покушения. Остро встают вопросы о том, обсуждались ли эти акции или они были предприняты Свердловым единолично? Знал ли о них В. Ульянов заранее? Необходимо отметить, что приведенные взгляды на власть, не связанную никакими законами, на последующее одобрение всей деятельности Свердлова дают однозначный ответ на вопрос о взглядах В. Ульянова на виссудебные казни.

Что же касается специально Николая II, то оправдание его убийства без су-

И. Непенина «После расстрела» в спец. выпуске Челябинской обл. писат. организации «Уральская новь» от ноября 1988 года). В целом же акция по уничтожению царской семьи в административном порядке была тщательно спланирована и, безусловно, направлялась лично В. Ульяновым из Москвы: 13 июля 1918 г. в Перми был расстрелян в. к. Михаил Александрович (брат Николая II), 17 июля — сам Николай II, 18 июля в Алапаевской тюрьме расстреляны 18 членов императорской фамилии с детьми и слугами, 22 июля — в Ташкенте расстрелян в. к. Николай Константинович (см. публикацию В. Сыроткина «Еще раз о белых пятнах». Неделю. 1989, № 25).

³ См. об этом поразительный по цинизму рассказ палача — в прошлом матроса, коменданта Московского Кремля П. Малькова, который ходил советоваться со Свердловым, что делать с трупом Каплан, а Свердлов велел труп уничтожить (П. Мальков. Записки коменданта Московского Кремля. М., 1959. С. 159—161), а также добавления Л. Разгона о том, как П. Мальков вместе с пролетарским поэтом Е. Придворовым сожгли труп Каплан в Кремлевском саду (Л. Разгон. Непридуманное. Юность, 1989, № 2. С. 53).

¹ Октябрьская революция. Вопросы и ответы. М., Политиздат, 1987. С. 225.

² Там же. — С. 49.

³ В соответствии с теоретическими открытиями В. Ульянова, одна из главных ролей в осуществлении диктатуры пролетариата отводилась карательным органам: «Для нас важно, что ЦК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата* и в этом отношении их роль неопределима. Иного пути и освобождения масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров — нет. Этим и занимается ЦК, в этом их заслуга перед пролетариатом» (ПСС. Т. 37. С. 174). Заодно уж вспоминается и еще одно откровение-циничное признание В. Ульянова: «Хороший коммунист в то же время есть в хороший чекист (...)»!

да (вопрос о расстреле жены, детей и обслуживающего персонала В. Ульянов опустил, видимо, как несущественный?) есть еще в одной работе В. Ульянова, опять громившего «ренегата» Каутского в сентябре 1919 года за выпуск брошюры «Терроризм и коммунизм», где последний обвинял большевиков, в частности, в проведении массовых расстрелов. И вот как защищался В. Ульянов спустя всего год после зверского убийства Николая II и его близких, о чем он не мог не знать: «На II съезде нашей партии, в 1903 году, когда возник большевизм, составлялась программа партии, и в протоколах съезда значится, что мысль вставить в программу отмену смертной казни вызвала только насмешливые возгласы: „и для Николая II?“». Даже меньшевики в 1903 году не посмели поставить на голоса предложения об отмене смертной казни для царя» (Т. 39. С. 183). Не к месту ссылаясь на меньшевиков, как бы пытаясь на них переложить преступления возглавляемого им правительства и партии, В. Ульянов передергивает карту. Ведь на самом-то деле речь шла о том, что Николай II должна была судить Россия в лице Учредительного собрания, что казнен русский император мог быть только после законного приговора суда. А В. Ульянов и после свершившегося факта продолжал защищать бесчеловечную внесудебную расправу.

С нашей точки зрения, данное признание в совокупности с положительной оценкой личности и деятельности Свердлова целиком разрешает вопрос об отношении В. Ульянова к расстрелу Николая II вместе с семьей, к последующим расстрелам членов царской фамилии.

Только что приведенную цитату из работы «Как буржуазия использует ренегатов» В. Ульянов продолжает так: «А в 1917 году, во время керенщины, я писал в „Правде“, что ни одно революционное правительство без смертной казни не обойдется и что весь вопрос только в том, против какого класса направляется данным правительством оружие смертной казни». И далее, оправдывая массовые расстрелы: «Мыслима ли пролетарская революция, вырастающая из такой войны, без заговоров и контрреволюционных покушений со стороны десятков и сотен тысяч офицеров, принадлежащих к классу помещиков и капиталистов?»

Так превентивно были приговорены к смерти десятки тысяч боевых русских офицеров.¹ Из этих строк сочится кровь

¹ Однако репрессий против офицеров В. Ульянову было недостаточно. Он преследовал и их семьи! Вот фрагмент из его записки Э. М. Склинскому от 08.06.1919: «Надо усилить взятие заложников с буржуазии и с семей офицеров — ввиду учащения наем. Сговоритесь с Дзержинским» (ПСС. Т. 50. С. 343).

два года спустя расстрелянного поэта, русского офицера Н. Гумилева.

Более того, все в той же работе «Как буржуазия использует ренегатов», В. Ульянов, оправдывая массовые казни в России, ссылается на убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург в Германии!

Конечно, было бы несправедливо возлагать ответственность за гражданскую войну и ее ужасы на одного В. Ульянова, но и закрывать глаза на то, что именно он был одним из ее рьяных вдохновителей, теоретиком насилия и диктатуры, нельзя.

В среде своих единомышленников он, пользуясь любым случаем, вколачивал с самого начала революции мысли о безжалостности к «врагам», о неизбежности жесточайшего террора. Об этом вспоминал Л. Бронштейн, жестокий убийца, которого зато В. Ульянов и ценил очень высоко.¹ Вот эта обширная, зато показательная цитата, рисующая ход мысли В. Ульянова: «Это был период, когда Ленин при каждом подходящем случае вколачивал мысль о неизбежности террора. Всякие проявления прекрасодушия, маниловщины, халатности — а всего этого было хоть отбавляй — возмущали его не столько сами по себе, сколько как признак того, что даже верхи рабочего класса не отдают еще себе достаточного отчета в чудовищной трудности задач, которые могут быть разрешены лишь мерами чудовищной же энергии. „Им, — говорил он про врагов, — грозит опасность лишиться всего. И в то же время у них есть сотни тысяч людей, прошедших школу войны, сытых, отважных, готовых на все офицеров, юнкеров, буржуазных и помещичьих сынков, полицейских, кулаков. А вот эти, извините за выражение, „революционеры“ воображают, что мы сможем совершить революцию по-доброму да по-хорошему. Да где они учились? Да что они понимают под диктатурой? Да какая у него выйдет диктатура, если он сам тютя?» Такие тирады можно было слышать десятки раз на дню*, и они всегда

¹ Хорошо зная, с кем имеет дело, В. Ульянов выдал в 1919 г. Л. Бронштейну следующий беспрецедентный документ: «Товарищи! Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело».

Перед этим документом меркнут даже lettres de casket французских королей, раздававших своим приближенным все же только право на заключение в тюрьму или ссылку. Ульянова же, будучи членом правительства и дав Л. Бронштейну право на любые действия, во-первых, лишний раз продемонстрировал диктаторскую основу коммунистической власти, а во-вторых, несет прямую ответственность за массовые казни, проводившиеся по многочисленным приказам Л. Бронштейна.

метили в кого-нибудь из присутствующих, подозрительного по «пацифизму». Ленин не пропускал ни одного случая, когда говорилось при нем о революции, о диктатуре, особенно, когда это происходило на заседаниях Совнаркома или в присутствии левых эсеров или колеблющихся коммунистов, чтобы не заметить тут же: «Да где у нас диктатура? Да покажите ее! У нас — каша, а не диктатура». Слово «каша» он очень любил. «Если мы не умеем расстрелять саботажника-белогвардейца, то какая же это великая революция? Да вы смотрите, как у нас буржуазная шваль пишет в газетах? Где же тут диктатура? Одна болтовня и каша»... Эти речи выражали его действительное настроение, имея и то же время сугубо умышленный характер: согласно своему методу, Ленин вколачивал в головы сознание необходимости исключительно суровых мер для спасения революции* (Огонек, 1989, № 17. С. 5) ¹.

Л. Бронштейн написал в данном случае правду, так что, конечно же, В. Ульянов несет прямую ответственность за то, что случилось с Россией в его правление, за то, что с ней сделали потом его ученики, за концлагеря, за пытки, за казни, за нравственное разложение народа. Здесь невозможно не остановиться хотя бы на нескольких эпизодах, несомненно имеющих прямую связь с мыслями В. Ульянова о русских офицерах.

Первые два примера — литературные, пусть читатель не указывает на натяжку. По канонам социалистического реализма литература — высшая правда жизни, ее квинтэссенция. Поэтому вспомним обманутую героиню лавреневской повести «Сорок первый» Марютку, убивающую

¹ Воспоминания Л. Бронштейна подтверждает письмо самого В. Ульянова к Г. Радомысльскому следующего содержания: «(...) Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты и пекисты) удержали».

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает» (Т. 50. С. 106).

Внушение В. Ульянова даром не пропало: 19 августа 1918 года был опубликован декрет, подписанный Г. Радомысльским как председателем СНК Союза коммун Северной области, по которому за контрреволюционную агитацию — расстрел на месте (Подробнее см. статью А. Смолина «У истоков красного террора». Ленинградская панорама, 1989, № 7. С. 26).

почти автоматически своего синеглазенького только за то, что он — офицер (поручик); на эту же тему — всего два отрывка из романа «Россия, кровью умытая», автор которого Н. Кочкуров позднее был расстрелян коммунистами:

«Как-то зимой приплыл в Новороссийск из Турции Варнавинский полк и мортирный дивизион. Немало тут с солдатами митинговали, долго их уламывали и в конце концов уговорили наступать на Екатеринодар, свергать Кубанскую раду. Ладно, согласились, получили на руки провиант, но перед самым выступлением офицеры-варнавинцы заартачились и объявили нейтралитет*. Ревком арестовал сорок три офицера и приказал миноносцу отвезти их в Феодосию, в распоряжение квартировавшей там дивизии. Проходит день, проходит два дня, об офицерах ни слуху ни духу. Шлет ревком радиодепешу: „Где арестованные?“ Из моря команда миноносца тоже по радио отвечает: „Свое мы дело совершили“ — и больше ни звука... Чисто сработано?... Ха-ха-ха... Рыбаки нас косят на все корки — в бухте то и дело утопленники всплывают, а на базаре рыбу и даром никто не берет, брезгуют» (Артем Веселый. Избранные произведения. М., 1958. С. 336).

«На базаре было весело, как в балагане.

Спозаранок на пустых хлебных ларях, на солнечном угле сидели солдаты, швей били и, давась слюной, про водку разговаривали: все уже знали, что на станции Кавказской счастливцы громят винные склады.

Через толпу пробирался бородатый красногвардеец — винтовка принята на ремень, на штик насажен кусок сала и связка кренделей. Молодые казаки оставили и окружили бородача.

— Купи, дядя, офицера?

— Какого офицера?

— Хороший офицер, нашей второй сотни офицер, но для беднейшего сословия вредный. Мы его пока заарестовали и сохраним в своем шепелоне, под охраной.

— Зачем он мне?

— Расстреляешь.

— А вы — сами?

— Он перед нами ни в чем не виноват.

Пока разговаривали, один из казаков срезал у бородача со штыва и кренделя и сало, другой — вынул затвор из винтовки.

— Так не купишь офицера?

— Нет... Мы их и некупленных подущим, наших рук не миуют.

— Ну, прощай... А затвор-то у тебя где? Пропил?

Тот схватился — нету затвора.

— Отдайте, ребята...

Посмеявшись над бородачем, променяли ему его же затвор за осьмушку махорки.

На расправу базарного суда* приволокли мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой. За утро на базаре убили уже двоих: картежника, игравшего на наколку, и какого-то прапорщика* (Артем Веселый. Там же. — С. 154—155).

Чтобы не создавалось ощущения некоторой легковесности примеров, вспомним фрагмент автобиографической повести А. Жигулина «Черные камни»: «В зимнем начале 1920 года дед возвращался из Ростова (где несколько недель лежал в тифозном бараке) в Воронеж. Где-то под Лисками его сбросили на ходу с поезда пьяные революционные матросы, скорее всего анархисты. Не понравился им офицерский китель деда. Хоть и не было погон, но видно было, что мундир офицерский. Когда выбросили из вагона, дед не разбилась насмерть, а мог еще идти. Но пока добрался до Лисок, безнадежно простудился — было очень ветрено и морозно, а шинель осталась в вагоне. Доехал до Воронежа и вскоре умер от крупозного воспаления легких. Шел ему тогда сорок шестой год» (Знамя, 1988, № 7. С. 11).

Конечно, матросы, топившие боевых офицеров, только накануне вернувшихся с турецкого фронта и не захотевших участвовать в войне гражданской, могли сами и не читать трудов В. Ульянова. Но ведь повсюду были члены партии большевиков, объяснявшие политику ЦК, ведь из Петрограда и Москвы рассылались комиссары, призывавшие безжалостно расправляться с «врагами народа». И лично В. Ульянов рассылал секретные письма и телеграммы, в которых приказывалось убивать, убивать, убивать...

Воспроизведем всего три таких документа, отправленных в течение только двух дней в Пензу, Саратов и Нижний Новгород.

«9.VIII.1918

Телеграмма Пензенскому Губисполкому)

«... Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города <...>

Предсовнаркома Ленин

(Т. 50. С. 143—144).

* В статье «Сенсации и факты: о публикации на ленинскую тему» («Правда» № 103 от 13.IV.89) А. Савокин полемизирует с Л. Хавивдровой, который в упомянутой статье неверно указал, что декрет СНК от 5.IX.1918 о концлагерях подписал не В. Ульянов, а комиссар юстиции Д. Курский и комиссар внутренних дел Г. Петровский. Но ведь В. Ульянов не отменял этот декрет. Быть может, А. Савокин дезавуирует и подпись В. Ульянова под телеграммой Пензенскому Губисполкому от

«10/VIII—1918

Цюрупе:

(1) Это архискандал, бешеный скандал, что в Саратове есть хлеб, а мы не можем свесть!! <...>

(2) Проект декрета — в каждой хлебной волости 25—30 заложников из богатей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков <...>

(Т. 50. С. 144).

«9.VIII.1918

г. Федоров!

В Нижнем яено готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов (Вас, Маркина и др.), навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. <...>

Петерс, председатель Чрезвычайной комиссии, говорит, что от них тоже есть надежные люди в Нижнем.

Надо действовать во всю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. <...>» (Т. 50. С. 142).

Вот как рисовалась власть, неограниченная законами, В. Ульянову, вот как он ее использовал, заглазно осуждая на смерть сотни женщин (интересно, как определяли, проститутка расстреливаемая или нет?), вводя институт заложничества, основывая концлагеря, давая фактически разнарядки из центра на уничтожение людей...

Против всего этого и протестовал неслыханный К. Каутский! У В. Ульянова был иной склад мышления, о котором свидетельствует и телеграмма из Москвы в Харьков, данная им И. Джугашвили, как видно из текста, в благодушном расположении духа: «Сегодня я слышал Вас и всех великолепно, каждое слово. Пригрозите расстрелом тому неряхе, который, заведя связь, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (Т. 51. С. 134).

Несчастный телеграфист, расстрелял ли тебя И. Джугашвили?

Несчастливая Россия! Надо ли говорить, что с «помещиков и капиталистов» террор очень быстро перешел на рядовых рабочих и крестьян, не понимавших гранди-

9 августа 1918 года? Или докажет, что В. Ульянов телеграмму из Москвы с требованием сажать «сомнительных» в Пензу в концлагерь подписывал с закрытыми глазами? Там кто же инициировал декрет от 5.IX.18?

Г. Ф. Федоров (1891—1936), председатель Нижегородского губсовдепа. Характерно, что при И. Джугашвили это письмо не печатали, да и то не полностью, в № 2 журнала «Большевик» за 1938 год!

озных замыслов преобразования России. Например, после выступления вчерашних крестьян, именуемого ныне «Кронштадтским мятежом», без суда и следствия были расстреляны тысячи рядовых его участников.

Чтобы закончить с вопросами, касающимися смертной казни, рассмотрим, как же В. Ульянов захотел ввести их в уголовное право, когда на повестку дня встал вопрос об ограничении власти законодательством?

Неудобно было перед лицом всех социалистических партий всего мира приговаривать к смерти вчерашних товарищей по борьбе с царизмом, социалистическую партию, не имея даже писанных законов!

Проект УК РСФСР был разработан в комиссариате юстиции, комиссар Д. Курский прислал его В. Ульянову на просмотр. Тот, помня о предстоящем суде, очень своеобразно дополняет «Вводный закон к УК РСФСР»:

«г. Курский!

По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу) <...> по всем видам деятельности меньшевиков, с.р. и т. п.*; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией и ее борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготовке войны и т. п.).

Прошу спешно вернуть с Вашим отзывом.

15/V» (Т. 45. С. 189).

На следующий день (или 17 мая — спешка-то какая — не может начаться суд над эсерами!) В. Ульянов лично инструктирует Курского, однако последний, видимо, никак не мог найти такой чудовищной формулировки, которая любой

* Бесчеловечные репрессии по отношению к крестьянам направлялись и лично В. Ульяновым. Например, в Постановлении Совета Труда и Обороны от 15.02.1919, председателем которого также являлся В. Ульянов, предписывалось следующее: «<...> Дзержинскому немедленно арестовать несколько членов исполкомов и комбедов в тех местностях, где расчистка снега производится не вполне удовлетворительно. В тех же местностях взять заложников из крестьян с тем, что, если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны» (В. И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917—1922). М.: 1975. С. 151—152). Кстати, в упомянутом почти 700-страничном сборнике, заинтересованный читатель найдет массу материалов о прямом руководстве В. Ульяновым мероприятиями чрезвычайка, доходящем до конкретных указаний о способах проведения карательных мероприятий.

Одним из побудительных импульсов, подвигавших В. Ульянова, был, несомненно, предстоящий суд Верховного революционного трибунала над эсерами, их ЦК, о котором ГПУ сообщило еще 28 февраля 1922 года.

вид деятельности оппозиционной партии карала бы смертью. Пришлось В. Ульянову писать самому именно такую формулировку:

«17.V.1922.

г. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного Кодекса. <...> Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черныка: открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого*.

С коммунистическим приветом

Ленин

Вариант 1:

Пропаганда, или агитация, или участие в организации, или содействие организации, действующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает раскопание приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному ее свержению, путем ли интервенции, или блокады, или шпионажа, или финансирования прессы и т. под. средствами,

карается высшей мерой наказания, с заменой, в случае смягчающих одну обстоятельство, лишением свободы или ссылкой за границу.

Вариант 2:

а) Пропаганда или агитация, объективно содействующие* той части международной буржуазии, которая и т. д. до конца.

б) Такому же наказанию подвергаются виновные в участии в организациях или в содействии организациям или лицам, ведущим деятельность, имеющую вышеуказанный характер (деятельность коих имеет вышеуказанный характер.

* вариант 26
содействующие
или способные
содействовать»

(Т. 45. С. 190—191).

Кровь стынёт в жилах от этой проповеди беззакония, когда правосудие подменялось «революционным правосознанием»,

когда за агитацию и пропаганду — расстрел. А чего стоит формулировочка «способные содействовать», с помощью которой можно послать на смерть любого человека в мире, руководствуясь «революционной совестью»?

Чтобы у читателя не создалось впечатления, что взгляды на террор были чужеродными для В. Ульянова, что они были вызваны ожесточением гражданской войны, подчеркнем, что писались эти указания Курскому после ее окончания, причем В. Ульянов не довольствовался только областью политики. Тремя месяцами ранее он давал аналогичные советы Г. Бриллианту, в то время работавшему в комиссариате финансов, карать за экономические проступки в мирное время: «Обдуманы ли формы и способы ответственности членов правлений трестов за неправильную отчетность и за убыточное ведение дела? Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов новой жестокости кар»¹ (Т. 54. С. 160).

При жизни В. Ульянова секретные указания Курскому света не увидели, зато были учтены в разделе УК «О контрреволюционных преступлениях». Характерно, что первое письмо от 15 мая 1922 года впервые было опубликовано как раз в 1937 году, но и тогда не полностью!

Итак, III сессия ВЦИК (12—26 мая 1922 года) утвердила первый советский УК, 1 июня он был введен в действие, а 8 июня являлся суд над эсерами: 12 человек были приговорены к смертной казни.

Какая школа для И. Джугашвили! Почти знаменитая «58-я» зрела у него в голове!

В связи с письмами В. Ульянова Курскому, содержащими обоснование физического уничтожения социалистической оппозиции в стране, возникает еще один вопрос: забыл или нет В. Ульянов о своих обещаниях периода гражданской войны? Впрочем, обещания — не совсем точное слово. Судите сами.

На пленуме Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов он выступал 11 апреля 1919 года с докладом, а потом отвечал на вопросы. Один из них касался забастовки в Туле. Вот что слышали собравшиеся: «Я конкретными материалами относительно Тулы не располагаю (...). Но я знаю политическую

¹ Имея в виду извечную сумятицу в советской экономике, страшно запутанную отчетность, как не вспомнить, в связи с данным указанием В. Ульянова, шахтинское дело, процесс Промпартии?

физиономию газеты „Всегда Вперед!“¹. Это — не что иное, как подстрекательство к стачкам. Это есть попустительство по отношению к нашим врагам — меньшевикам*, которые подстрекают на забастовки. Кем-то мне был задан вопрос: доказано ли это? Я отвечаю, что, если бы я был адвокатом² или стряпчим или парламентарием, я был бы обязан доказывать³. Я ни то, ни другое, ни третье, и этого я делать не стану, и это мне ни к чему. Допустим, что ЦК меньшевиков лучше, чем те меньшевики, которые прямо изобличены в Туле, что они подстрекали⁴, — я даже не сомневаюсь, что часть ближайших членов меньшевистского комитета лучше, — но в политической борьбе, когда вас берут за горло белогвардейцы, разве можно это различать? разве нам до того? (...) Может быть*, через два года, когда мы победим Колчака, мы будем в этом разбираться, но не теперь (...)» (Т. 38. С. 291—292).

«Может быть», сказанное в адрес меньшевика, как видим, закончилось указанием комиссару юстиции Курскому через три года «расширить применение расстрела» «ко всем видам деятельности» членов социалистических партий! Воистину, горе побежденным! Воистину, далеко смотрел один из любимых писателей В. Ульянова, цитатами из которого так любил он оживлять свои статьи. Вспомним к месту и мы одну цитату из сказки (сделаем исключение для великого русского писателя — приведем его псевдоним) М. Е. Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц», которому собиравшийся его съест волк говорил: «Сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

А теперь у нас, не краснея, любят говорить о том, что однопартийная система в СССР сложилась исторически, забыв при этом, что вся история сводится к бесконечному мартирологу расстрелянных, зверски убитых, высланных.

И начиналось это до начала гражданской войны и даже Октябрьской революции, когда В. Ульянов объявлял партии социал-демократов (меньшевиков) и социалистов-революционеров, партии социалистические, ставящие своей конечной целью построение социализма в России

¹ «Всегда Вперед!» — орган социал-демократов (меньшевиков), выходил в Москве: 1918 год — один номер, 1919 год — с 22 янв. по 25 фев., газета закрыта большевиками.

² А ведь были такие времена: В. Ульянов сдал экзамены за юридический факультет Петербургского университета и в молодости зарабатывал себе хлеб тем, что был помощником присяжного поверенного.

³ Воистину, ответ диктатора.

⁴ Да, совсем забыл В. Ульянов свое прошлое периода «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

(и который их едипомышленниками за рубежом уже построен — вспомним Швейцарию, Швейцию, Австрию, Финляндию и так далее), так вот В. Ульянов эти партии объявил мелкобуржуазно-демократическими, «ближайшими противниками», «враждебными» большевикам! Что стоило потом И. Джугашвили, после таких заверений учителя, объявить главным врагами коммунистов в Германии социал-демократов, что в 1933 году позволило прийти к власти национал-социалистам, причем парламентским путем!

Итак, уже при В. Ульянове сложилась структура над рабочим классом, над всем остальным населением России, осуществлявшая диктатуру от имени пролетариата. Диктатуру, не ограниченную никакими законами. На вершине пирамиды находился В. Ульянов, сконцентрировавший необъятную власть.

Отметим, что цезарепализм пришел на Русь еще аж из Византии, где «глава государства, император, обладал несомненным асхервенством над церковью, соединяя в себе светскую власть на территории империи с авторитетом духовного главы не только всех ромеев, но и народов, входивших в диоцезию константинопольского патриарха»¹.

В 1917 году один идеологический догмат — религиозный — заменили другим — марксистским, но традиции, как видим, сохранились, вплоть до того, что поклонение мощам киево-печерских и других старцев было заменено поклонением мощам В. Ульянова и И. Джугашвили. Последнего, правда, все же похоронили.

Эти замечания требуют, пожалуй, маленького дополнения. В. Ульянов, являясь главой партии, стал единоличным главой государства.

(И вот в конце XX века мы решили пойти еще дальше. На XIX партконференции М. Горбачев «неожиданно» выдвинул идею совмещения постов, чего не было даже в царской России, где посты губернатора и митрополита были все-таки разделены.)

Вернемся, однако, к В. Ульянову. Он давал стратегическую линию партии и государству, он указывал идеал. А идеал — коммунизм, основа которого — коммунистический труд. И вот над залитой кровью братоубийственной войны страной, доведенной до людоедства, несется:

«Коммунистический труд (...) есть бес-
платный труд на пользу общества, труд,

¹ Я. Н. Щапов. Государство и церковь в Древней Руси (конец X — первая половина XIII в.). В кн.: Введение христианства на Русь. М., 1987. С. 129. — Ромеями называли себя византийцы; диоцезия (лат.) — в Древнем Риме городской округ или часть провинции.

производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне нормы, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении*, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд, как потребность здорового организма» (Т. 40. С. 315).

Неизвестно, придет ли когда-нибудь человечество к такого рода организации труда и стоило ли ради нее проливать потоки крови, но зато природа создала несколько сообществ, давно живущих коммунистически. Это муравьи, пчелы, термиты и тому подобное.

А как же собирався людей приучать к такому труду В. Ульянов? В той же статье под характерным названием «От разрушения векового уклада к творчеству нового», есть и ответ: «Субботники, трудовые армии, трудовая повинность — вот практическое осуществление в разных формах социалистического и коммунистического труда».

Итак, снова насилие, повинности, трудовые армии... Неужели В. Ульянов не понимал, что насилием и разрушением он ничего не добьется? Что террором можно уничтожить людей, но заставить их производительно работать нельзя? По-видимому, нет, если завершал упомянутую статью так: «И мы возьмемся за эту работу со всей энергией. Выдержка, настойчивость, готовность, решимость и умение сотни раз испробовать, сотни раз исправить и то что бы то ни стало добиться цели» (...).

Как цинично это «во что бы то ни стало добиться цели», лишь немного перефразируемое иезуитское «цель оправдывает средства»!

Итак, абсолютизация классовой диктатуры, насилия, всяческие методы подавления, метод проб и ошибок, черно-белое упрощенное видение мира, когда не признавалось право на существование другого мнения.

Настала пора стереть пыль с иконописного лица и, взглядевшись пристальнее в это трагическое лицо, почувствовать его жуть, ужаснуться содеянному и перестать совершать трагические ошибки. В этом сейчас задача: чтобы не было пути к возврату прошлого, к крови, к страданиям, к диктатуре, замешанной на старых идеологических догмах.

Нельзя экспериментировать на народе! Пора это понять руководству и сойти с непроторенной тропы. Пора это осознать и народу. Слишком велика, как показывается исторический опыт, цена таких экспериментов. Нам и нашим детям уже не

хватит сил и средств расплачиваться за ошибки очередного лидера, счет которым открыл В. Ульянов.

Его главной ошибкой стал насильственный захват власти в стране, впервые за всю свою историю поворачивающейся лицом к демократии. Закачивая «Государство и революцию», перед самым Октябрем, В. Ульянов написал: «(...) приятнее и полезнее опыт революции продвигать, чем о нем писать» (Т. 33. С. 120).

Он считал, что все пойдет по им писанному, однако действительность очень скоро опровергла все его прогнозы, главным из которых был, пожалуй, в том, что война империалистической превратится в войну гражданскую не только в России, но и в Германии, Франции, Англии, и придет помощь с Запада. Этим мессианским пророчеством пестрит его статьи и речи периода гражданской войны, в которых чувствуется страстное желание их осуществления. Вот, например, фрагмент речи 11 (24) января 1918 года на III Всероссийском съезде Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов: «(...) Теперь мы видим, что во всех странах мира социалистическая революция зреет не по дням, а по часам». Мы-то теперь видим другое: в этих словах сквозила поразительная слепота накануне национальной катастрофы, которую большевики энергично инициировали!

Впрочем, В. Ульянов ссылался на авторитет «великих основоположников социализма Маркса и Энгельса», которые «говорили, что в конце XIX века будет так, что „француз начнет, а немец доделает“» (Т. 35. С. 278). А далее В. Ульянов раскрывает процитированное им «пророчество» Маркса из письма Энгельсу от 12 февраля 1870 года: «Француз начнет потому, что в течение десятилетий революции он выработал в себе тот беззаветный почин и революционное действие, который сделал из него авангард социалистической революции». И вот как заканчивает речь В. Ульянов: «Наша социалистическая республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами. Там — драка, война, кровопролитие, жертвы миллионов людей, эксплуатация капитала, здесь — настоящая политика мира и социалистическая республика Советов».

Дела сложились иначе, чем ожидали Маркс и Энгельс, они дали нам, русским трудящимся и эксплуатируемым классам, почетную роль авангарда международной социалистической революции, и мы теперь ясно видим¹, как пойдет далеко

¹ Этот пример показывает, что научная база ленинизма вовсе не безупречна, если включает в себя такого рода «исновидение».

развитие революции; русский начал — немец, француз, англичанин доделает, и социализм победит» (Т. 35. С. 279).

Какая жуткая ошибка, идущая от самоуверенности марксистов, якобы познавших законы истории! «Немец» отнюдь не доделал. Он, наоборот, из всех сил навалился на слабого противника — Россию, армию которой большевики сознательно разваливали и, придя к власти, демобилизовали¹ в слепой надежде на германскую революцию. Итог был немедленный — позорный Брестский мир. Но и после Бреста В. Ульянов упорно продолжал твердить: «(...) насильники приставили револьвер к нашему виску, мы сказали: получите оружие, деньги, мы с вами потом расквитаемся иными средствами. На немецкий империализм мы знаем другого врага, которого слепые люди не замечали, — немецких рабочих» (Т. 38. С. 342—343).

Но только новые жертвы сотен тысяч людей «там», на Западном фронте, на котором Германия с удвоенной силой воювала благодаря ограблению России, только фактически благодаря победе Антанты России смогла аннулировать Брестский мирный договор².

А задумывался ли кто-нибудь о том, что было бы с Россией, если бы тогда победила Германия? Что сделал бы тогда Вильгельм II с В. Ульяновым и его решительными соратниками? А может, учел бы их старания по развалу русской армии?

В связи с унизительным для России Брестским миром следует сказать, что снова В. Ульянова оказался не правым, а правыми оказались «революционные оборонцы», пытавшиеся предотвратить национальную трагедию.

Итак, переоценил В. Ульянов «немцев», не получилось и «Всемирной Советской республики». Все тиготы построении «социализма» обрушились на далеко не передовую страну, на несчастную Россию.

И что же получилось в итоге?

¹ В сущности, это было преступное, безответственное «авось», когда судьба России ставилась в зависимость от положения дел в воюющей с ней Германии.

² Об ожесточенности сражений на Западе в 1918 году свидетельствуют данные о потерях. Германия, например, из 1 773 700 человек, убитых за всю первую мировую войну, в 1918 году потеряла на Западе около 800 000. Для сравнения приведем цифры потерь в войне основных стран Антанты (по данным Британской энциклопедии, 1964. Т. 23. С. 775): Россия — 1 700 000, Франция — 1 357 800, Британская империя — 908 371, Италия — 650 000, США — 126 000, Сербия — 45 000.

После заключения Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года ВЦИК 13 ноября аннулировал Брестский мир. Сепаратный выход России из войны (незавершенность конфликта) стал одной из глубинных причин новой войны с Германией в 1941 году.

абсолютный авторитет главы ордена, взаимный шпионаж членов.

Схожие организации не раз возникали в истории человечества. И каждый раз, когда фанатизм брал на вооружение иезуитчину, результаты были ужасающие. Таким был национал-социализм, таким был ефрейтор Шикльгрубер, сумевший наладить уничтожение людей в первую очередь по национальному признаку. Таким оказался В. Ульянов, наладивший уничтожение людей по признаку классовому. Иезуитчиной же своей глава большевиков ивно бравировал: «Нас упрекают за диктатуру пролетариата, за железную, беспощадную, твердую власть рабочих, которая ни перед чем не останавливается* и которая говорит: кто не с нами — тот против нас*, и малейшее сопротивление против этой власти будет сломлено. А мы этим гордимся* (...)». Мы гордимся этой диктатурой, этой железной властью рабочих, которая сказала: мы свергли капиталистов и мы ляжем все костями при малейшей попытке их снова восстановить свою власть» (Т. 40. С. 295).

Фанатизм В. Ульянова, возглавившего самую кровавую в истории человечества гражданскую войну, просто чудовищен. Ужасно и печально, что несомненно существовавшая историческая перспектива развития России по демократическому пути (февраль 1917 года) не осуществилась. Не прислушалась в свое время Россия к пророческим призывам Льва Толстого. Стихия кровавого бунта, веками копившегося под гнетом российских самодержцев (кому-то теперь, на фоне большевиков, кажущихся образцом нравственности), захлестнула страну. К несчастью, в малограмотной и озлобленной стране, доведенной бездарным Николаем II до трагического взрыва, не хватило внутренних сил для разумного разрешения конфликтов. Ситуацией гениально сумел воспользоваться В. Ульянов, установивший в России бесчеловечную диктатуру. В сознание людей им лично и его последователями была внедрена идея насилия как допустимого способа разрешения конфликтов.

Наше будущее, будущее всего мира (начиненного оружием массового уничтожения) зависит сейчас от того, сумеем ли мы преодолеть синдром насилия, глубоко въевшийся в нас наравне с рабством. Скажем теоретическим багажом шагнет страна в XXI век? Надо откровенно признать, что намечающийся сейчас поворот общественного сознания к общечеловеческим ценностям есть открытый разрыв с ленинизмом. Так смелее вперед, освобождаясь от фанатизма, насилия и рабства.

Довольно крови, довольно насилия!

Июль — август 1989

Саки — Ленинград

Будем честны сами перед собой: большая часть задуманного В. Ульяновым не осуществилась. Не осуществились надежды на Всемирную пролетарскую революцию, не осуществились планы создания в России строй, превосходящего капитализм, ибо нельзя же всерьез встать на успехи государства, где в угоду идее были принесены в жертву несколько поколений людей, где долгие годы осуществлялся настоящий геноцид, где эксплуатация человека человеком замаскирована значительно более тяжелой и изощренной эксплуатацией человека государством, где абсолютное большинство населения — бедные¹, где средний возраст людей низок, не хватает продовольствия, экологическое состояние катастрофично, национальный вопрос обострен до предела, гибнут люди, зато преступность цветет пышным цветом, где социальная несправедливость бросается в глаза, медицинское обслуживание находится почти в первобытном состоянии, просвещение оставляет желать лучшего, где...

Впрочем, список можно продолжать очень долго — по всем социально-экономическим показателям страна попадает в разряд слабых, а величие империи держится только ее размерами да истощающим терпением некогда трудящегося народа.

Необходимо также, наконец, признать, что В. Ульянов был деятелем левозастремистского толка, порвавшего с общечеловеческой моралью. Каковы бы ни были мотивы его поступков, необходимо признать, что он активно способствовал уничтожению миллионов, лично отдавал приказы об убийствах заведомо ни в чем не виновных людей. Пора, наконец, судить об исторических лицах не по замыслам, а по результатам их деятельности.

Как известно, основатель христианства сам пошел на крест, на мучительную смерть, чтобы искупить грехи человеческие. Неудивительно, что память о его самопожертвовании, его учение стали священны и поныне составляют одну из основополагающих частей современной цивилизации. Однако нашлись такие последователи Христа, которые во имя идеи стали сжигать людей на костре, а один из фашистиков — Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов (1534) — провозгласил принцип допустимости любого преступления ради «вышей славы божьей». Кстати, основными организационными принципами иезуитского ордена стали строгая централизация, повиновение младших по положению старшим,

¹ См. интересные данные А. Завяченко, считающего бедным 86,5% населения СССР (Аргументы и факты, 1989, № 27), и А. Попова, относящего к «нижнему» классу 61,6% населения СССР (Там же. 1989, № 42).

ПОЛИТИК
И ЧЕЛОВЕК

Получив из редакции статью А. А. Матышева «Диктатор», я уехал на две недели в Англию. Там мои друзья, которые до этого десять лет безуспешно пытались меня пригласить, подарили мне пару научно-фантастических романов. Это моя слабость, из наших авторов и поклонник братьев Стругацких, а из англоязычных люблю классика — Азимова и Кларка. Среди этих подаренных книг был роман американцев Ларри Нивена и Джерри Пурнелла «Соломинка в божьем око» (использована знаменитая поговорка «а чужом глазу соломинку мы видим, а у себя не видим и бревна»). Сказали: «Это как Азимов!» И вот Матышева я читал пополам с этой «Соломинкой». Добрался и до сцены, когда главный боевой космический корабль Второй империи «Ленин» отправляется для установления контакта с внеземным разумом. Дело происходит в 3017 году! И тут меня прямо в сердце сразил контраст. Вы подумайте! Два американских ученых, математики и инженеры, писатели и футурологи, предлагая в форме научно-фантастического романа свой прогноз развития человечества на тысячу с лишним лет вперед, предвидят конвергенцию и слияние двух потоков мировой цивилизации. Имя Ленина для них священо и вечно. Именно этим именем правительство Второй империи после двух космических войн (оцените юмор — «Великой Отечественной» и «Войн раскола», последние длится почти триста лет) называет свой самый мощный боевой корабль, а наш автор в 1989 году, всего через 72 года после Октябрьской революции, затыкает уши и не желает его слышать! Максимум, на что он согласен, называть этого «диктатора» Ульяновым. Сколько же необъективности и ненависти надо скопить, сколько неуважения иметь к истории собственной страны, к тому, что БЫЛО, чтобы провозгласить программной задачей уничтожение псевдонимов, партийных кличек ради раскрытия «подлинных фамилий и имен». «Так легче расставаться с мифами», — пишет А. А. Матышев. Полноте! В этом ли дело? Под чужими именами вошли в историю и литературу Марк Твен и Льюис Кэрролл, Горький и Ахматова, Гитлер и Сталин. История литературы и общества будет выглядеть по-иному, если мы заменим эти «псевдонимы» на настоящие имена. Что

за претенциозная затея! Но это к слову. Кроме антисемитов, испытывающих физическое наслаждение, когда Троцкого они открыто могут назвать Бронштейном, в Каменева — Розенфельдом, вряд ли кто поддержит «революционное» предложение А. А. Матышева. В свое время частное совещание членов Государственной думы 19 июля 1917 года назвало на своем заседании, а потом и опубликовало подлинными еврейские фамилии около 30 лидеров Петроградского Совета и Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов (р. и с. д. — данное сокращение они тоже «расшифровывали» по-своему — «рачных и собачьих депутатов»), всех — большевиков, меньшевиков, эсеров. И что же из этого получилось? Народ все равно пошел за Советами, за их лидерами, независимо от их национальности, и прогнал от власти представителей истинно русских помещиков и капиталистов, генералов и чиновников. Да еще пошел за самыми левыми экстремистами из них, за большевиками! Поэтому я отношусь к идее А. А. Матышева как к смешной причуде, на которую он в наш век плюрализма, конечно же, имеет право. Но и по-прежнему буду называть Иосифа Джугашвили Сталиным, а Владимира Ульянова — Лениным. Думаю, что это несколько не помешает ни мне, ни читателям расставаться с мифами.

Второе предварительное замечание о «диктаторе». Наш автор не первый называет так В. И. Ленина. Владимиру Ильичу пришлось услышать это от весьма близкого ему человека и соратника уже на шестой день после того, как он стал Председателем Совета Народных Комиссаров. И называл его так А. В. Луначарский (Кстати, отцом «Луначарского» был некто Антонов, который вскоре женился на его матери. Но маленький Толя родился тогда, когда она еще формально была замужем за полтавским помещиком Луначарским. Тот дал свою фамилию родившемуся ребенку. Следуй логике А. А. Матышева, мы должны были бы Луначарского именовать «Антоновым»!). Недавно у нас впервые опубликована «пропавшая грамота» — протокол заседания Петербургского комитета РСДРП(б) от 1 ноября 1917 года, который был вырван из корректуры сборника «Первый легальный Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 г.», изданного в 1927 году, за то, что Ленин там позволил себе назвать Л. Д. Троцкого «лучшим большевиком». Разумеется, это никак не могло быть напечатано в 1927 году, когда по требованию Сталина лидер оппозиции «большевиков-ленинцев» был исключен из большевистской партии. 1 ноября 1917 года — это момент, когда войска Военно-революционного комитета Петроградского Совета только-только добились победы над войсками Керенского — Краснова, заключили перемирие с казаками,

а в Москве еще продолжалась вооруженная борьба. По требованию Всероссийского исполнительного комитета железнодорожников (ВИКЖЕЛЬ), угрожавшего Совнаркому всеобщей железнодорожной забастовкой, были начаты переговоры с меньшевиками, правыми эсерами, меньшевиками-интернационалистами, левыми эсерами и народными социалистами об образовании «однородного социалистического правительства». ЦК большевиков вынужден был согласиться идти на эти переговоры и даже на то, чтобы Ленин и Троцкий в такое правительство не вошли (а вот Луначарского на пост министра народного просвещения меньшевики и правые эсеры охотно соглашались взять). Переговоры вели от имени ЦК РСДРП(б) Л. Б. Каменев и Г. В. Сокольников. Идею отказа от чисто большевистской власти поддерживало в этот момент значительное число большевиков, в том числе В. П. Ногин, А. И. Рыков, Г. Е. Зиновьев, А. В. Луначарский, А. Г. Шляпников, В. П. Милютин, И. А. Теодорович. Луначарский к тому же, узнав о том, что большевики в Москве применяют артиллерию в борьбе с конкерами и уже обстреляли Кремль, в газетах за 1 ноября напечатал свой протест против этого варварского разрушения культурного наследия страны.

Заседание началось с того, что Ленин предложил немедленно исключить Луначарского из партии. Но, как записано в протоколе, «исключение отвергается». Расхрабренный Луначарский в своей речи, защищая принцип разделения власти с другими «советскими партиями», в частности, заявил: «Мы стали очень любить войну, как будто мы не рабочие, а солдаты, военная партия. Надо созидать, а мы ничего не делаем. Мы в партии полемизируем и будем полемизировать дальше, и останется один человек-диктатор» (Вопросы истории, 1989, № 10. С. 122). После этих слов раздался аплодисменты. Кто же защитил Ленина? Другой кандидат в диктаторы, если верить сегодняшней публицистике, Троцкий. «Аплодисменты Луначарскому за фразу о диктатуре одного лица, — сказал Троцкий, — это я с горечью здесь слышал. Почему, на каком основании партия, которая захватила власть в бою, в котором была пролита кровь, они хотят обезглавить, отстранив Ленина?» (Там же. С. 124.)

И вот еще одно свидетельство близкого человека, друга и соратника, принявшего последний вздох Владимира Ильича. Недавно а «Правде» был перепечатан отклик Н. И. Бухарина на смерть Ленина, впервые опубликованный той же газетой 24 января 1924 года. Бухарин подчеркивал простоту Ленина, горячо любимого в то же время своими соратниками.

«И вместе с тем, — откровенно писал Николай Иванович, — Ленин властно вел всю партию, а через нее всех трудящихся. Он был диктатором в лучшем смысле этого слова. Впитывая в себя, точно губка, все токи жизни, перерабатывая в своей изумительной умственной лаборатории опыт сотен и тысяч людей, он в то же время мужественной рукой вел за собой, как власть имеющий, как авторитет, как могучий вождь. Он никогда не подлаживался к отсталости, он никогда пассивно не «регистировал» событий. Он мог идти против течения со всей силой своего бешеного темперамента. Таким и должен быть настоящий массовый вождь» (Прада, 1990, 21 янв.).

Итак, «диктатор» через 6 дней после захвата власти, «диктатор» и через шесть с лишним лет! Идущий против течения, против большинства ЦК, зовавшего сдать власть, 1 ноября 1917 года; и держащий эту власть шесть лет, проводивший своей рукой, «как власть имеющий», страну через четыре года гражданской войны и повернувший ее к миру, к восстановлению, к нормальной хозяйственной жизни. «Диктатор»... Когда употреблял это слово Луначарский, то грозил: мы все уйдем, а Ленин останется в партии один. Что же получилось? Они все остались с Лениным, как бы ни грозили ему, как бы ни расходились с ним по многим вопросам. «Диктатор»... когда говорил это Бухарин, то имел в виду «лучший смысл этого слова». Он был нашим товарищем, но он был и народным вождем, он был диктатором, умевшим перерабатывать волю миллионов в единственно возможное решение и добиваться его выполнения. Сначала это было удержание власти, защита государства Советов, затем переход к миру, восстановление нормальной жизни.

А что же имеет в виду наш автор, употребляя слово «диктатор» в заглавии своей статьи? Для него диктатор В. Ульянов — вождь «хладнокровных, бесчеловечных убийц, во имя догматически воспринятой теории совершивших величайшие преступления в истории человечества». Ленин с небольшой группой «бесчеловечных убийц», будучи злонамеренным догматиком, заранее разработал план порабощения народа России, план проведения догматических экспериментов на его теле, непонятным образом захватил власть, и, упиваясь кровью, заставлял 150 миллионов людей принудительно трудиться. Переход к напугу не уменьшил числа жертв, лишь изменились формы кровавого террора. Джугашвили-Сталин — только способный ученик своего учителя, который воспользовался уже готовой бесчеловечной машиной террора и исправно пускал ее в дело. Надо скорее отказаться от всего прошлого, от Ленина в первую очередь, и вернуться в лоно

социал-демократии, к Каутскому. Такое вот заблуждение от мифов.

Надо сказать, что А. А. Матышев не одинок в высказанном выше взгляде. Не опускаясь слишком глубоко в историю, не упоминая о критике ленинизма со стороны российских меньшевиков и эсеров, судьбу которых столь близко к сердцу принимает наш автор, тем более не тревожа прах давно почивших русских монархистов и черносотенцев, надо сказать, что сходные взгляды высказал в «Архипелаге Гулага» еще в 1974 году А. И. Солженицын. Полтора года назад свою интерпретацию этой точки зрения дал Владимир Солоухин в своем памфлете «Читая Ленина». Наконец, А. Ципко, взгляды которого понравился А. А. Матышеву (он имел в виду серию его статей в журнале «Наука и жизнь» в 1988–1989 гг.), хотя и критиковались им за недостаточную последовательность, теперь вполне может считаться его полным единомышленником. В «Литературной газете» (1990, № 3, 17 янв.) Ципко заявил вполне в духе нашего автора: «Я все же думаю, что главное в том, что для Ленина Россия — это способ реализации, пусть из гуманных соображений, марксистской теории революции. И здесь трудно спорить с Солженицыным». Спасибо, хоть гуманные соображения признал. Впрочем, про гуманизм — это для отвода глаз. Главное для Ципко вот в чем. Обращаясь к весьма популярному публицисту нашей эпохи проф. В. Сироткину, он говорит там же: «Вы, Владлен, не хотите признать, что исходная система ценностей, которой Ленин руководствовался в период гражданской войны, была ошибочной. Вы не хотите признать, что надежда большевиков на мировую пролетарскую революцию, во имя которой они с чистой совестью жертвовали человеческим потенциалом России, была такой же иллюзией, как и их вера в возможность коммунизма. Я не могу не видеть, что борьба Ленина с так называемой буржуазной интеллигенцией, желание быстрее избавиться от тех, кто не разделял его веру в грядущее коммунистическое царство, нанесла невосполнимый урон и нашему народу, и нашему государству».

С поразительной быстротой двигаемся «вперед» в сфере идей. В октябре 1986 года с призывом М. С. Горбачева и Е. К. Лигачева на совещании представителей кафедр общественных наук стереть «белые пятна» в истории и «назвать все имена» началась «гласность». Первым ответом на эти призывы были публикации В. Логинова и М. Шатрова, Ю. Афанасьева в «Московских новостях» в ноябре-декабре того же года. Призыв Логинова и Шатрова в ЦДЛ в Москве реабилитировать «всех соратников» Ленина воспринимался тогда как «контрреволюция».

В ноябре 1987 года М. С. Горбачев в своем докладе назвал впервые имя Бухарина как одного из борцов против «троцкизма». Но вот реабилитирован по государственной и партийной линиям Н. И. Бухарин, признаны невинно убиенными Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, идет «де-факто» реабилитация Л. Д. Троцкого, публикуются некоторые его произведения. Еще ничего толком не разобрано, ничего толком не прочитано, ничего почти не напечатано. Не высказан еще правдивый, цельный, новый взгляд на историю партии, на историю Советского государства, на 72 с лишним года истории России.¹ Но Ципко и Матышев, и десятки других машут руками и кричат нам: «Да ничего этого и не нужно!», «Ведь все 72 года были ошибкой!», «Надо выбросить все это из памяти народной!», «Ленин со всей своей сворой Троцких, Зиновьевых и Бухариных был тираном и палачом во власти пллюзий!», «Сталин порожден Лениным», «За борт всех их!», «Вернемся назад, к естественному пути развития!».

Стоп. Здесь начинаются расхождения. Солженицын зовет нас к монархии; Матышев, ссылаясь на Чингиза Айтматова, к «социалистическому раю» Швейцарии, Швеции и других стран; Ципко — к чему-то непонятному, но коренному, русскому. «Поэтому», — говорит Ципко, — аажно быстрее вернуться к тому, к чему еще можно вернуться, что осталось от старой России, вернуть исконные права православной церкви, возродить народные промыслы, традиционное русское производство, свободного крестьянина, традиции, символы старой России, надо, а конце концов, вернуть Сибирь, ее земли предприимчивому русскому человеку». Полагая, что социализм в этой буколической картинке вообще яе пахнет. Но наш автор за демократический социализм, поэтому и почань общей у нас с ним все-таки больше.

Я попробую остановиться на некоторых чертах концепции Матышева, изложенной в статье, чтобы показать, что автора мало интересует истина, действительные причины событий, соотношения замыслов и результатов. Его интересует осуждение Ленина, осуждение «ленинизированного» марксизма, показ злонамеренности Ульянова, когда «убыль населения в России только за часть периода правления В. Ульянова (1918–1922 гг.) считается большей 15 миллионов человек!» Во имя этой цели все сгодится: и монтаж из цитат, и полное забвение факта гражданской войны (ее же специально вызвали «ульяновцы» для осуществления геноцида!) и пр. и пр.

Насилие и террор в политической жизни России. Эти методы решения обще-

ственных и политических конфликтов в нашей стране были изобретены задолго до большевиков и до рождения «диктатора» Ленина. Не будем углубляться в десять веков ее истории, заглянем только в последний, одиннадцатый век. 1903–1904 годы — убийство эсерами министров аяутренных дел Сипягина и Плеве, убийство финляндскими «активистами» генерал-губернатора Бобркова, десятки удачных и неудачных покушений эсеровских боевиков на губернаторов и вице-губернаторов. 1905 год начался 9 января. В ходе расстрела рабочих демонстрантов погибло свыше двухсот человек. Издание Манифеста 17 октября сопровождалось дикими еврейскими погромами на Украине, убийствами революционеров, организованными черносотенцами. В ходе восстаний в Кронштадте и в Прибалтике убиты десятки офицеров и полицейских. Руководство всеобщей стачки в Москве в декабре 1905 года, состоящее из эсеров, меньшевиков и большевиков, не посоветовавшись со своими центрами, решает перевести стачку в вооруженное восстание. В это время большевики и Ленин, не имея ни малейшего представления о пляжах москвичей (Ленин «планировал» организацию восстания против царской власти на август 1906 года), едут в Таммерфорс, а Финляндию, на свою конференцию. В результате этого неорганизованного и во многом стихийного восстания — тысячи жертв среди рабочих, солдат и мирного населения. Сотни жертв в результате стихийных восстаний по всей стране. Кронштадтские матросы, сами участвовавшие в антиправительственном восстании в конце октября 1905 года, теперь «смыывают кровью позор», зверски подавляя крестьянское восстание в Латавии. Организация отрядов боевиков (в основном под руководством меньшевиков и народников) в Грузии, бои, партизанская война. Сотни убитых русских солдат и грузин.

В 1906 году эскалация насилия и террора продолжается. Русская армия, возвращаясь после проигранной русско-японской войны с Дальнего Востока, расправляется вдоль транссибирской магистрали с участниками восстаний и забастовок, крестьянских мятежей. Опять сотни убитых и раненых. В июле 1906 года произошли восстания моряков и солдат в Свеаборге и Ревеле. Организаторы — эсеры и большевики. Но главное — стихийные взрывы недовольства солдат. Убийства офицеров, расправы, расстрелы, суды. Август 1906 года — эсеры-максималисты устраивают покушение на П. А. Столыпина, взорвав его дачу на Каменном острове в Петербурге. Столыпин не пострадал, ранены его дети, убито около тридцати ни в чем не повинных людей, записавшихся к нему на прием, охрана, швейцар и сами

покушавшиеся. Тогда Столыпин проводит указ о военно-полевых судах. Выбаливается почти вся партия эсеров-максималистов. Вешают почти три тысячи ее членов, казнят также несколько десятков боевиков других партий. 20 апреля 1907 года Вторая Государственная дума отменяет столыпинский указ. Но еще два года судит и вешают по приговору судов обычных. Добавим к этому, что в ходе антипомещичьих крестьянских восстаний и мятежей в период первой русской революции крестьянами было разграблено и сожжено около 15 % всех помещичьих имений. При этом было убито немало помещиков, управляющих и членов их семей, а сотни крестьян были в отместку расстреляны, выпороты, судимы, сосланы. И напомним читателю, что большевики практически не имели связей с крестьянами в это время, большинство этих антипомещичьих выступлений были стихийными, а часть организована партией эсеров. Присовокупим ко всему этому жертвы удачных и неудачных экспроприаций и партизанских действий, совершенных боевиками эсеров, максималистов и большевиков. И получим итог в десятки тысяч убитых. Вину за эти жертвы надо, как минимум, поровну распределить между революционными партиями (эсерами, эсерами-максималистами, анархистами, меньшевиками, большевиками, национальными народническими и марксистскими партиями) и царской властью. Именно негибкость русского правительства, неумение вовремя идти на уступки и компромиссы, рефлекс применения оружия по каждому поводу, эти вечные качества русской государственной власти мпожили число жертв, делали неизбежным насильственный путь решения вопросов революции, проблем общественной жизни. После двух-трех лет затишья — убийство П. А. Столыпина эсером Богровым, имеющим связи и с царской охранкой. Это сентябрь 1911 года. А в апреле 1912-го — расстрел рабочих полиции на приiske «Лена-голдфилдс». Перед самой войной — всеобщая стачка в Петербурге, баррикады, стычки с полицией, снова пролита кровь. Ну, а уж в обстановке войны, когда кровь льется рекой, насильственные способы решения внутренних конфликтов становятся допустимым с моральной стороны для всех участников этой неразрешимой распри.

С осени 1915 года часть руководителей русской либеральной буржуазии планирует проведение дворцового переворота. С осени 1916 года его готовят две параллельные группы. Предусматривается возможность убийства Николая II, если он окажет сопротивление. И это не Я. М. Свердлов и другие, «хладнокровные, бесчеловечные убийцы», а весьма респектабельные — лидер октибристов

¹ Статья написана в январе 1990 г.

А. И. Гучков, инженер и левый кадет Н. И. Некрасов, миллионер М. И. Терещенко, «непротивленец» князь Г. Е. Львов, тифлисский богатей и городской голова А. И. Хатисов. Просчитываются варианты заключения царицы и царской семьи, возможной ликвидации Александры Федоровны в случае сопротивления охраны. Такие мысли роятся и в окружении Председателя Государственной думы октябриста М. В. Родзянко. В его присутствии генерал А. М. Крымов заявляет, что царя надо убить! А в это время сама царица в письмах к Николаю II настаивает на том, чтобы Гучков и Керенский были повешены. На фронте множатся случаи неповиновения, солдаты отказываются идти в наступление. С максимальной нагрузкой работают военные юристы, приговор — расстрелы, стреляют из наганов в головы солдат прапорщики и поручики, полковники ставят пулеметы за наступающими частями.

Военный переворот готовился слишком медленно. На фоне упрямого нежелания власти считаться с угрозой катастрофы, отказа от необходимых уступок на пути превращения России в нормальное конституционное правовое государство начинается забастовка 23 февраля 1917 года в Петрограде. Каков ответ власти? Полиция и войска выходят на улицы. Вид войск, как это всегда бывает, лишь распаляет демонстрантов. Три дня демонстрации военной силы приводят к тому, что забастовка в Петрограде, во время внешней войны, стала всеобщей. Тогда по приказу царя 26 февраля стреляют в народ, вводят чрезвычайное положение. Сотни убитых и раненых! Но в эту же ночь солдаты, стрелявшие в своих братьев, в жен и сестер, решают отказаться от выполнения приказов. Утром 27 февраля 1917 года происходит асостание солдат в Петрограде и соединение их с забастовщиками. Как ни пыжились медные лбы из историков партии 70 лет доказать, что февральская революция была организована большевиками, это не так. Это был стихийный взрыв. Сегодня мы видели копию этой революции — это декабрьская стихийная народная революция 1989 года в Румынии.

Насилие справляет свой праздник. «Фараоны»-полицейские стреляют с крыш, используются пулеметы противовоздушной обороны. Убийства и линчевание полицейских со стороны рабочих, солдат, студентов. Убийства офицеров и генералов. В Кронштадте убит комендант крепости. Свыше сотни офицеров схвачены и посажены в холодное арестное помещение: у них отобраны сапоги, шинели, им дают хлеб и воду. В Гельсингфорсе толпа матросов убивает командующего Балтийским флотом адмирала Напенина. Новые убийства, аресты офицеров, волна

насилия против командного состава прокатывается по тыловым гарнизонам я действующей армии. Убивают командиров, берут штурмом гауптвахты и тюрьмы. Дисциплина в армии рушится. И все это делает не злонамеренный диктатор Ульянов, а миллионы наших простых и хороших русских людей. Революция началась. Волна насилия, самовольств, издевательств над человеческим достоинством, уличных расправ, убийств началась. И началась задолго до создания ЧК, до ленинских телеграмм 1918—1919 годов. Даже в Таврическом дворце, центре февральской революции, резиденции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного комитета Государственной думы, охрана из солдат-преображенцев издевалась над стариками — царскими министрами и генералами, свезенными со всего города, заставляя вставать и садиться по приказу, не пуская в уборную, матеря и покрывая оскорблениями и пинками. И все это задолго до Октября и гражданской войны. Народная жестокость, озверение, насилие и издевательство над «врагом», попавшим в твои руки, началось с февраля 1917 года. Народ вымещал свой страх и затаенную злобу перед сильным, властью имущим, а теперь повергнутым. Не случайно церковь как бы потерялась в 1917 году. Никакая религия не могла сдержать разгулявшийся народный гнев. Надо ясно сознавать, что, если бы тюремный монолит царской власти не рухнул в феврале 1917 года, если бы народные инстинкты не разнуздались после исчезновения с улиц городских и жандармов, никакой Октябрьской революции и гражданской войны не было бы. Вот с чем не хотят считаться А. А. Матышев и сторонники аналогичных взглядов.

Временное правительство оказалось слабым и не способным вернуть возмущенную страну в нормальное состояние. По русской государственной традиции оно затягивало решение вопросов, затрагивающих интересы миллионов. Война была непопулярна, и ее нужно было кончить как можно скорее. Временное правительство не сделало этого. Нужно было докончить разрушение помещичьей собственности на землю, отдать всю землю крестьянам. Временное правительство тоже не сделало этого. А только эти две меры могли создать популярность и поддержку власти. Анархия, слабость центральной и местной власти обнаруживались с каждой неделей. На этом фоне все громче звучали групповые и классовые интересы. Любый акт власти, с которым были не согласны солдаты и рабочие, вызывал немедленный стихийный ответ. А он, в свою очередь, новую кровь. Так 20—21 апреля в ходе стихийной (не организованной ни большевиками, ни Петро-

градским Советом) антиправительственной демонстрации в стычках противников и сторонников Временного правительства получил смертельные ранения 18-летний путиловский рабочий. Десятки людей были ранены и получили травмы. 3 июля 1917 года вопреки призывам большевиков началась июльская антиправительственная демонстрация. Ее организаторами были петроградские анархисты. Грузовики с пулеметами и черными знаменами сеили страх среди двух с половиной миллионов жителей столицы. На знаменах были лозунги: «Берегись капитал, булат и пулемет сокрушат тебя!», «Да погибнет капитализм от наших пулеметов!». Это делали не большевики, хотя им и пришлось присоединиться к движению, чтобы попытаться придать ему мирный и организованный характер. В результате перестрелок, имевших место 3 и 4 июля, было убито 18 человек, еще 6 умерли от ран, получили ранения, увечья и контузии около 700 человек. После июльских дней правительство восстановило смертную казнь на фронте, ввело «военно-революционные суды». Опять были приговоры, расстрелы. Солдаты отвечали бегством с фронта, самосудами, линчеванием командиров. Снаряжая генерала Крымова с отдельной Петроградской армией в столицу, генерал Корнилов в конце августа был уверен, что тот перевешает на фронте весь состав Петроградского Совета. Сам Корнилов рассчитывал заманить Керенского и Савицкого в Могилев, в Ставку, под предлогом обеспечения их безопасностью, а там убить их. Корниловское восстание было подавлено. Но в ходе его окончательно испарилась власть командиров в армии. Солдаты возненавидели Ставку. Прошла новая волна самосудов в армии. В Выборге бесчинствующие солдаты ворвались в крепость, в штаб гарнизона и 42-го армейского корпуса, захватили с десятком генералов и офицеров, сбросили их с крепостного моста в воду и расстреляли их там саерху... Вот на каком фоне появился призыв В. И. Ленина к восстанию.

Ленин о гражданской войне до Октября. В момент выхода из подполья после февральской революции только 23 тысячи человек объявили о своей принадлежности к большевистской партии. Это была маленькая группа по сравнению с быстро росшей массовой партией социалистов-революционеров. Большевики в этот момент не помышляли о большем, чем быть левым флангом единой «революционной демократии». Приезд Ленина привел к кризису в большевистской партии. Его «Апрельские тезисы» были отвергнуты руководством партии в Петрограде. Министр иностранных дел Временного правительства, лидер партии кадетов П. Н. Миллюков благодушно успокаивал

посла Франции Мориса Палеолога: «Ленин не опасен, он провалился в Союсте рабочих депутатов». Лидер партии эсеров В. М. Чернов пытался смягчить общественную неприязнь к Ленину. Он писал, что Ленин субъективно честный человек, но что его идеи настолько не подходят для русских условий, что их можно не бояться. Идея Ленина была в том, что после первого этапа русской революции, который дал власть буржуазии, должен наступить второй. И он должен дать власть представителям пролетариата и беднейшего крестьянства. Под этими «представителями» Ленин прямодушно понимал только большевиков. За границей он полагал, что народ настолько разорвался в империалистическом характере Временного правительства, что готов немедленно свергнуть «гучковско-миллюковское» правительство вооруженным путем. Приехав в Россию, он увидел, что народ еще не дорос до этой идеи. Он доверяет Союзам, руководимым эсеро-меньшевистским большинством, а через них — Временному правительству. Оно же, вопреки марксистским прогнозам, не применит оружия против народа! Но Ленин был уверен: рано или поздно оно скатится к репрессиям! «Пока правительство не начало войну, мы проповедуем мирно», — провозгласил он. И скоро дождался этого...

Правительство возложило ответственность за организацию июльского движения на большевиков, которых оно не отличало от анархистов. Это было неверно и несправедливо. Но это устраивало правительство, которому большевики уже стали причинять беспокойство. Оказалось, что к их простым лозунгам, к их левому радикализму прислушивается все больше и больше людей. И если на I Всероссийском съезде Советов, открывшемся в начале июня 1917 года, большевиков и сочувствующих со всех «градов и весей» было только 10 %, то на проходивших в те же дни в Петрограде всеобщих выборах в районные думы (они занимались примерно тем же кругом мелких хозяйственных вопросов, до которого низведена сегодня деятельность районных Советов), большевики получили 20 процентов голосов! Лидеры большевиков — Ленин и Зиновьев — были обвинены в подготовке антиправительственного заговора, в измене Родине (какое исключительно гуманное и демократическое обхождение!), выданы были ордера на их арест, на квартирах был произведен обыск. Были арестованы Каменев, Троцкий, Луначарский, сотни офицеров-большевиков, участвовавших в событиях 3—5 июля. Вот тут впервые Ленин и заговорил о восстании, о насильственном свержении Временного правительства путем вооруженной борьбы. Ему казалось 8—10 июля, что это

восстание сможет произойти только после конца войны. Но жизнь с каждым днем стала приносить факты о все убаюкивающемся темпе политической борьбы, обострения внутреннего кризиса. В конце июля Ленин уже считал, что новый взрыв недовольства масс, новая стихийная вооруженная демонстрация против правительства может произойти скоро, через несколько недель или дней. И тогда большевики должны дать лозунг изъятия власти этим сотням тысяч вооруженных людей, которые выйдут сами по себе на улицы обеих столиц. Корниловщина убедила его, что момент этот близок. Он расценил корниловское восстание как начало гражданской войны со стороны буржуазии. И это действительно было так! Пусть А. А. Матышев опровергнет это. И только после корниловщины Ленин стал разрабатывать вплотную тему о близкой гражданской войне, о том, что она будет значить для буржуазии и для пролетариата. В работах, о которых идет речь, — они написаны в первой половине сентября 1917 года, до знаменитых ленинских писем о восстании, — Ленин рассматривал гражданскую войну как альтернативу мирному развитию революции. Он считал, что разгром корниловщины создал уникальную возможность замены правительства Керенского (его он считал «буржуазным») однородным социалистическим правительством из меньшевиков и эсеров, без участия большевиков. Этот «лидер хладнокровных палачей» предлагал другим социалистическим партиям составить правительство, передать мирно на местах всю полноту власти Советам, а не комиссарам Временного правительства. От ямени же большевиков он обещал, что они прекратят пропаганду насильственного свержения правительства, пропаганду новой социалистической революции. Это в очередной раз было признано нереальным чудачеством. Компромисс Ленина был высокомерно отвергнут меньшевиками и эсерами. Так все это было перед Октябрем, которого могло и не быть, если бы ЭТИ доктринеры думали о России, о грозной опасности, нависшей над нею, а не о своих партийных амбициях. А ведь большевики стали уже силой! Их ряды росли. В июле — 240 тысяч членов, в начале октября — 400! Партия же меньшевиков дробилась, из них выделялись группы «левых», рост их замедлился. Почему? Потому что Временное правительство при поддержке меньшевиков и эсеров оттягивало решение вопросов о мире и земле. А большевики говорили людям: окажите нам доверие сегодня, а мир будет заключен завтра! Дайте власть Советам сегодня — земля будет у крестьян завтра! Отчаявшись за семь месяцев революции (во время настоящей революции события бегут быстрее, чем во время

«революционной перестройки») получить мир и землю от Временного правительства, от партии эсеров, народ поверил большевикам. Он голосовал за их резолюции, которые еще месяц-другой назад подвергались осмеянию, казались фантастическими и невыполнимыми. 10 миллионов солдат, рабочие, миллионы крестьян увидели в большевиках последний шанс для осуществления своих классовых интересов, и не только классовых (земля, рабочий контроль), но и общечеловеческих — мир, равноправие, свобода, ликвидация привилегий высших сословий. Вот кто вручил власть «узурпаторам» Ленину и Свердлову, вот кто поддержал их поставленное вооруженным путем правительство в первые, самые трудные месяцы, когда их аппарат власти обладал силой недоношенного младенца.

Но А. А. Матышеву и его единомышленникам нет дела до этих фактов, до этой правды. Мы знаем, что 72 года было плохо, были аресты и задержания, насилия и расстрелы. Все за бортом! Нам нужна одна правда — долгие Ульянова! И все же, что именно писал Ленин за месяц с лишним до вооруженного восстания, как рисовалась ему гражданская война задолго до ее начала? А. А. Матышев считает, что Ленин злонамеренно приуменьшил ее масштабы, чтобы склонить на свою сторону товарищей по партии, чтоб, так сказать, грех, который им придется взять на душу, выглядел поскупее. Так ли это? 6—7 сентября в статье «Задачи революции» Ленин пишет о существующей еще возможности мирного развития революции, мирной передачи власти Советам. «Если эта возможность будет упущена, то весь ход развития революции, начиная от движения 20 апреля и кончая корниловщиной, указывает на неизбежность самой острой гражданской войны между буржуазией и пролетариатом. Невинуемая катастрофа приблизит эту войну. Она должна будет кончиться, как показывают все доступные уму человека данные и соображения, полной победой рабочего класса, поддержкой его беднейшим крестьянством, для осуществления изложенной программы, но она может оказаться весьма тяжелой, кровопролитной, стоящей жизни десяткам тысяч помещиков, капиталистов и сочувствующих им офицеров. Пролетариат не остановится ни перед какими жертвами для спасения революции, невозможного вне изложенной программы. Но пролетариат всемерно поддерживал бы Советы, если бы они осуществили последний их шанс на мирное развитие революции» (ПСС. Т. 34. С. 238). Что это? Программа «геноцида», хладнокровный план уничтожения части собственного народа? Конечно, нет! Это научный прогноз развития ближайших событий, результат «всех доступных уму

человека данных и соображений». Ленин «приуменьшал» здесь количество жертв, говорил только о десятках тысяч (но, заметьте, жертвы «пролетариата» он вообще не считал, говорил только, что он не остановится ни перед какими жертвами), а получились миллионы! К кому обращены слова о десятках тысяч? Не к большевикам, к меньшевикам и эсерам, — статья В. И. Ленина была напечатана в «Рабочем пути», центрально-национальном органе большевистской партии 26—27 сентября 1917 года, — если вы не возьмете власть мирно, в ближайшее время, вот какие могут быть последствия, научный анализ говорят, гражданская война тогда неизбежна. Вот и все.

Был ли такой прогноз единственным в России тех дней? Отнюдь нет. Вот знаменитая речь П. П. Рябушинского на Торгово-промышленном съезде 3 августа 1917 года, за месяц до ленинского взгляда в ближайшее будущее. «Настоящая революция — буржуазная, — говорил Рябушинский строго по марксистской догме, — буржуазный строй неизбежен. Пусть делают из этого логические выводы. Управляющее государством должны буржуазно мыслить и буржуазно действовать. В этом нет отрицания коалиционности, нужна работа всех живых сил, но без доктринерства, а в сознании необходимости вывести страну из трудного положения. Сейчас торгово-промышленный класс не может никого убедить, не может повлиять на руководящих лиц. Но естественное развитие жизни идет своим чередом и жестоко наказывает нарушителей экономических законов. Может быть неизбежен для России финансово-экономический провал. И лишь тогда, когда катастрофа станет всем очевидной, поймут, каким неверным был путь. Костлявая рука голода и народной ярости схватит за горло «друзей народа», членов разных комитетов и Советов. Тогда они опомнятся. Стоит русская земля от их товарищеских объятий. Скоро поймет народ и скажет: „Прочь, обманщики народа!“» (Русские ведомости. Москва, 4 августа 1917 г.). К кому обращены эти угрозы? Не к большевикам, их Рябушинский еще и всерьез не принимает, а к тем же меньшевикам и эсерам: уйдите с дороги, дайте власть настоящему хозяину, иначе народ схватит вас за горло, начнется гражданская война!

Но вернемся к Ленину. Вслед за статьей «Задачи революции» он написал еще статью «Русская революция и гражданская война. Пугают гражданской войной», где горячо убеждал своих сторонников, и пролетариат в том, что нам бояться гражданской войны не надо, ибо ждет там пролетариат полная победа. Гражданская война Ленину представлялась меньшим злом для народа, чем продолжение войны империалистической.

Именно из этой статьи А. А. Матышев привел цитату о «потоках крови». Но только надо добавить, что и в этой статье Ленин считал еще возможным мирный путь российской революции. А гражданскую войну рассматривал как нежелательную альтернативу, которой, впрочем, не следовало бояться. Сказал бы еще и это А. А. Матышев, и было бы тогда честное цитирование, верная передача смысла ленинских слов о грядущей гражданской войне.

К статьям, где Ленин еще признавал возможным компромисс с меньшевиками и эсерами и мирное развитие революции, примыкает и брошюра «Грозная катастрофа и как с ней бороться», начатая автором 10 сентября 1917 года. Там, критикуя все тех же меньшевиков и эсеров, «запуганных демократов», Ленин рисует «экономическую» политику настоящего революционно-демократического правительства, каким бы оно должно было быть. «Революционные демократы, если бы они были действительно революционерами и демократами, немедленно издали бы закон, отменяющий торговую тайну, обязывающий поставщиков и торговцев отчетностью, запрещающий им покидать их род деятельности без разрешения власти, вводящий конфискацию имущества и расстрел за утайку и обман народа, организуящий проаерку и контроль снизу, демократически, со стороны самого народа, служащих, рабочих, потребителей и т. д.». К слову «расстрел» Ленин делает такое примечание: «Мне уже случалось указывать в большевистской печати, что правильным доводом против смертной казни можно признать только применение ее к массам трудящихся со стороны эксплуататоров в интересах охраны эксплуататоров. Без смертной казни по отношению к эксплуататорам (то есть помещикам и капиталистам) едва ли обойдется какое ни на есть революционное правительство» (ПСС. Т. 34. С. 174). Все сказано заранее, Ленин ничего не скрывал ни от друзей, ни от врагов. Программа революционной власти, применение насилия и террора к КЛАССУ ЭКСПЛУАТАТОРОВ — все это было провозвещено заранее. Более того, это вытекало из опыта всех революций — английской, французской, — из практики применения насилия и террора властью против массы трудящихся, из опыта политической жизни XX века в России.

Теория и практика. В чем ошибался Ленин? Уже первые восемь дней гражданской войны доказали Ленину, что он был прав по всем пунктам. Большевики одержали победу над юнкерами в Петрограде, яд казаками под Царским Селом и Гатчиной. В Москве бьют советские пушки. Надо еще нажать, и победа в гражданской войне будет выиграна! «Кто же думал, что

мы не встроим саботажа буржуазии? — спрашивал Ленин на заседании ЦК 1 ноября. — Это же младенцу было ясно. И мы должны применить силу: арестовать директоров банков и пр. Даже кратковременные аресты уже давали результаты очень хорошие. Это меня мало удивляет, я знаю, как они мало способны бороться, самое главное для них — сохранить тепленькие местечки. В Париже гильотинировали, а мы лишь лишим продовольственных карточек тех, кто не получает их от профессиональных союзов. Этим мы исполним свой долг». И несколько ниже: «Мы у власти. Переходить теперь в „Новую жизнь“ (газета, издававшаяся Максимом Горьким и осуждавшая захват власти большевиками. В ней сотрудничали Луначарский, Зиновьев, Каменев, Рыков и Ногин, требуя от Ленина и Троцкого сдачи власти «однородному социалистическому правительству».— В. С.), на это кто способен? Слизняки, беспринципные: то с нами, то с меньшевиками. Они говорят, что мы одни не удержим власть и пр. Но мы не одни. Перед нами целая Европа. Мы должны начать. Теперь возможна только социалистическая революция. Все эти колебания, сомнения — это абсурд. Когда я говорил: будем бороться хлебными карточками, лица солдат оживляются. Утверждают, что солдаты не способны к борьбе. Но нам говорят ораторы, что они не видали еще такого энтузиазма. Только мы создадим план революционной работы. Только мы способны бороться и пр. А меньшевики? Они за нами не пойдут. Вот на предстоящей конференции и нужно поставить вопрос о дальнейшем социалистической революции. Перед нами Каледин, мы еще не победили. Когда нам говорят, что „власти нет“, — тогда необходимо арестовывать. И мы будем. И пускай нам на это будут говорить ужасы о диктатуре пролетариата. Вот вижелевцев арестовать — это я понимаю. Пускай вопят об арестах. Тверской делегат на съезде Советов сказал: „Всех их арестуйте“ — вот это я понимаю, вот он имеет понимание того, что такое диктатура пролетариата. Наш лозунг теперь: без соглашений, т. е. за однородное большевистское правительство» (Вопросы истории, 1989. № 10. С. 120, 121). Эти ленинские слова говорят нам лучше о характере человека и его планах, чем десятки страниц рассуждений о злонамеренности «диктатора». Приведем еще слова первого помощника «диктатора», Л. Д. Троцкого. Его намерения и взгляды не отличались в тот момент от ленинских. Выше мы приводили его слова о том, что сторонники соглашения с меньшевиками и правыми эсерами хотят обезглавить партию, удалив из правительства Ленина. Он привел аналогию с Милюковым, когда «пролетариат наступил на грудь кадетам».

«А сейчас? — говорил Троцкий. — Кто нам наступил на грудь? Никто. Мы восемь дней стоим у власти. Мы строим нашу тактику на революционном авангарде масс. Нам говорили в защиту соглашательства, что иначе Балтийский флот не даст ни суденышка. Это не оправдалось. Нас пугали тем, что рабочий не пойдет. Между тем Красная гвардия храбро умирает. Нет, к промежуточной политике, к соглашательству возврата нет. Мы вводим на деле диктатуру пролетариата. Мы заставим работать. Почему же общество существовало и массы работали при прежнем терроре меньшинства? А тут ведь не террор меньшинства, но организация классового насилия рабочих над буржуазией» (Там же. С. 124). Вот вам интервью из первых дней Октября (не прошло даже ридовских «10 дней»). Где злонамеренность вождей большевизма? Где запланированное заранее убийство миллионов? А. А. Матышев и его единомышленники абстрагируются от всего, кроме внешнего подобия репрессий при Ленине и при Сталине. И абстрагируются прежде всего от гражданской войны, от ее реальной истории, от того, как медленно, с перерывами и отливами она начиналась, как вдруг конвульсивно и внезапно разгоралась, как боевое счастье металось от одной к другой стороне. И, пожалуй, самая главная их ошибка в том, что они не видят в этой гражданской войне ВТОРОЙ СТОРОНЫ. Ненависть к Ленину и большевикам застилает им поле зрения. Все жертвы, все миллионы приписываются только одной стороне, вернее, вина за них. Второй словно и не существует.

А разгоралась эта война с большой неохотой. Несмотря на то, что Советская власть «триумфально шествовала» по стране и очаги сопротивления ей были невелики и быстро подавлялись, власть нового правительства была еще эфемерна и ничтожна. На первый взгляд — это было гигантское усиление того безвластия и анархии, которые все увеличивались и при Временном правительстве. ЧК была еще почти беспомощна, трибуналы выносили смехотворные по своей мягкости приговоры, лидеры всех враждебных партий открыто жили и в Петрограде, и в Москве, буржуазную печать невозможно было удушить, ни связи с мостами, ни контроля за исполнением декретов не было налажено. Ленин метал молнии из Смольного. Но кто к ним особенно прислушивался? Старый принцип Козьмы Пруtkова — «не всегда с точностью понимать должно» — царствовал на всей необъятной России.

И именно к этому времени относятся слова Ленина о «каше» вместо Советской власти. Он старался приучить и центральных работников и местных, которые «университетов не кончали», к тому, что-

бы быть властью, осуществлять ее на деле, бороться за революцию, за социализм, за классовые интересы пролетариата. Диктатура пролетариата еще переживала свой утробный период. После заключения Брестского мира Ленину казалось, что гражданская война уже кончена, что одержана победа и на внутреннем и на внешнем фронте. Советская власть выстояла, выжила. Ленин думал о ее «очередных задачах». А вместо этого обрушился голод, крестьянские восстания, недовольство рабочих. Затем чехословацкий мятеж, левозсеровский мятеж, ярослааский мятеж, образование Комитета членов Учредительного собрания в Самаре. За несколько недель от Советской России, простиравшейся от Белоруссии до Дальнего Востока, остался маленький лоскут, еда одна десятая часть бывшей Российской империи. Об этом тоже надо помнить критикам Ленина, о том, что власть «диктатора» не распространялась на всех подданных бывшего огромного государства. На девяти десятых его территории управляли другие большие и малые диктаторы, правительства, комитеты. И каждый имел свою «ЧК», свои лагеря, свои тюрьмы и места казни. А тут еще интервенты: англичане, немцы, американцы, канадцы, японцы. И у них свои контрразведки, свои тюрьмы, свой остров Мудьюг. С лета 1918 года гражданская война пошла всерьез и кровь полилась рекой с обеих сторон. Начались покушения, белый и красный террор. Только с этого времени под влиянием острейшей необходимости, вопроса о том, кто кого, начал формироваться настоящий военнорепрессивный аппарат Советской власти и первая командно-административная система военного коммунизма. Она функционировала два — два с половиной года, в ходе которых ее территория то сокращалась, то ненадолго расширялась. Вместо гильотины, которую в ноябре 1917 года Ленин высокомерно третировал и собирался заменить контролем за выдачей продовольственных карточек, заработали повсеместно чрезвычайки и трибуналы, машина террора пожирала виновных и подозреваемых. Но при всем при том террор этот имел ярко выраженную классовую направленность. И в этом его отличие от сталинского террора, развернутого в МИРНОЕ время и против ВСЕГО НАРОДА, независимо от социального происхождения, от классовой принадлежности а прошлым и настоящим. Мы можем сегодня иметь другое мнение относительно классовой морали, можем обвинять ее приаерженцев в узости, отсутствии гуманизма и прочее. Но отрицать ее существование, начиная с 70-х годов XIX века, нельзя. Несколько поколений революционеров воспитывалось в России на принципе — «нравственно то, что соответствует

интересам пролетариата, делу революции». И большевики здесь были одними из многих. Классовая мораль и нравственность в противоположность общечеловеческой и христианской, диктатура пролетариата в противоположность «буржуазной» демократии, классовый террор в противоположность буржуазному правовому государству — это были реальности большевистской теории и практики. Они поддаются если не оправданию, то объяснению. Сталинский геноцид и террор объяснению не поддаются, они иррациональны.

Но было ли правильно все то, что делал Ленин? Ошибался ли он в своих расчетах и действиях? Вправе ли мы критиковать В. И. Ленина? Да, мы вправе его критиковать. И наше время гласности, небывалой в России с 1917 года, делает такую критику возможной и даже необходимой. Но, на мой взгляд, она должна вестись корректно, с должным уважением не только к «диктатору», но и к главе правительства, занимавшему этот пост на протяжении пяти лет истории нашего государства.

Итак, в чем же Ленин ошибался применительно к прогнозам о гражданской войне между пролетариатом и буржуазией в такой мелкобуржуазной стране, как Россия? (Я высказываю, разумеется, свое личное мнение, и не претендую на окончательные выводы.) Во-первых, В. И. Ленин преуменьшил волю буржуазии и вообще правящих классов страны к борьбе. Он считал, что даже демонстративные акты применения силы быстро сломят сопротивление этих классов. И капиталисты будут продолжать делать свое дело организации производства под контролем рабоче-крестьянской власти. Вместо этого большинство капиталистов свернуло производство, бросило свои предприятия, пытаясь спасти часть капитала и выехать за границу. В результате экономическое положение страны ухудшалось с каждой неделей. И «катастрофа», которую предсказывали Ленин и Рябушинский, наступила. Рябушинский оказался прав в том, что Советская власть не спасет страну от катастрофы, а Ленин оказался прав в том, что народ будет винить в этом капиталистов, а не Советы. К этому надо добавить и то, что расчеты Ленина и большевиков на то, что рабочий класс после экспроприации капиталистов будет работать не хуже, чем он работал на капиталистов, а лучше, не оправдались. Нарушение хозяйственных связей, потеря поставщиков сырья и материалов, безработица — вот что наступило уже в первые месяцы Советской власти вместо предсказывавшегося большевиками удачного социалистического выхода из общенационального экономического кризиса. Никакой действительно экономической программой большевики и Ленин не имели. То, что мы

называем этой программой, на самом деле было программой экспроприации и национализации, программой применения методов прямого насилия в экономике. Мы на своей шкуре за 72 года поняли, что экономикой командовать нельзя, она за это мстит нищетой, регрессом, отставанием.

Во-вторых, Ленин ошибался в том, что считал колебание мелкобуржуазной массы населения России (крестьянства, городского мелкого буржуазного населения и низших отрядов городских средних слоев) в сторону большевиков в октябре 1917 года ПОСЛЕДНИМ. После того как это колебание гигантского большинства мелкой буржуазии России, и, следовательно, большинства народа России вообще, произошло, ему, по Ленину, колебаться больше «не полагалось». Ленин, много раз писавший до Октября о том, что колебания имманентно присущи мелкой буржуазии, отмечавший каждое такое колебание за 8 месяцев революции 1917 года, теперь стал как бы глухим к этим колебаниям. Почему? Потому что уже весной 1918 года гигантское большинство крестьянства (получившего от большевиков помещичью землю), значительная часть рабочих (чья повседневная жизнь резко ухудшилась в результате захвата власти большевиками), часть демобилизованных развращенных солдат и даже красноармейцев-добровольцев из городских люмпенов колебнулись в очередной раз: от большевиков к мелкобуржуазным партиям и буржуазии. Если бы в стране проводились выборы (свободные, разумеется), то большевики потерпели бы сокрушительное поражение, вынуждены были бы отдать власть назад эсерам и навсегда сошли бы с политической арены в стране. Но на то и установлена была диктатура пролетариата, чтобы никаких свободных выборов в этой стране больше не допускать. Ленин признал в 1919 году, что даже результаты выборов в Учредительное собрание, проводившиеся еще 12 ноября 1917 года — а они дали свыше 50 % голосов эсерам, — ПРАВИЛЬНО отражали симпатии народа в тот момент. Конституция 1918 года лишила представителей свергнутых классов права голоса. Тогда же, вслед за царскими законами, представительство крестьянства было уменьшено в несколько раз по сравнению с рабочим классом, как раньше его уменьшали по сравнению с дворянами. Так, уничтожив всеобщее избирательное право, наделив пролетариат преимуществами недемократического характера, большевики обеспечили себе «конституционные подпорки» для диктатуры пролетариата.

Но в обстановке гражданской войны голосовать можно было не только бюллетенями, но и оружием, руками и ногами. Полумиллионные и сотеннотысячные ар-

мии Колчака, Деникина, Врангеля состояли не из одних юнкеров, буржуазных сынков и дворян. Их по всей России не наскести было бы на одну такую армию, а их было до десятка. В этих армиях русское крестьянство, казачество, городское мелкое буржуазное население вместе с узким слоем представителей дворянства, чиновничества и интеллигенции (народной, самой низшей) боролись с оружием в руках против власти большевиков. Этому Ленин не предвидел. Он полагал, что «беднейшее крестьянство», к которому он причислял 3/4 крестьянского населения России, немедленно и НАВСЕГДА поддержит пролетариат и большевистскую власть. Поэтому Ленину никогда (кроме единственного случая в марте 1921 года) не хватало мужества признать эти новые антисоветские колебания мелкой буржуазии. Он всегда объяснял себе и народу дело так, что это все дело кулаков и подкулачников, что это результаты неправильной политики отдельных представителей местных властей. В самые трагические для Советской власти дни Ленин уверял себя, что это временные трудности, пропуск врагов, обман буржуазии и так далее и тому подобное. Воистину, как зло шутили меньшевики по поводу любимого названия Ленина: «Власть легче взять, чем ее удержать» — «Власть легче удержать, чем от нее отказаться!»

Разумеется, колебания мелкой буржуазии продолжались и дальше. В конце 1919 года и в начале 1920 года она вновь колебнулась в сторону большевиков, видя в них избавителей от крутых мер белых армий. Этому способствовало и то, что большевики отказались от комбедов, от раскулачивания конца 1918 года и начала 1919 года, от попыток первой, «ленинской», насильственной коллективизации и «коммунизации». Но продразверстка, сурово введенная на Украине и в Западной Сибири, вновь вызвала восстания крестьян в этих районах, новые колебания. К счастью, для большевиков все эти выступления крестьян, даже вооруженные, были разрозненными, нескоординированными, лишены единого политического руководства. Только изредка, закрепивший право на индивидуальное крестьянское хозяйство и действительно отдавший землю в свободное пользование крестьян-единоличников, окончательно примирил российскую мелкую буржуазию до 1929 года с Советской властью.

Третья ошибка Ленина многим кажется наиболее существенной. Это надежда на скорую мировую революцию. Но ошибка ли это? События конца 1918 года — поражение Германии и Австро-Венгрии в первой мировой войне, революции в Германии, Венгрии — давали основания для таких прогнозов. Небывалого размаха достигло тогда рабочее движение и в других

развитых капиталистических странах. Но отлив движения, поражение конкретной революции предсказать точно никто не может. Разве кто-нибудь в мире в первой половине 1918 года мог предсказать революцию в Восточной Европе, мощную антифашистскую, антисталинскую революцию, охватившую Польшу, Чехословакию, Венгрию, ГДР, Болгарию и даже Румынию?! Никто. Так же никто не мог предсказать поражение европейской революции в 1919 году, а вот успех ее предсказывали многие.

И последнее. Был ли Ленин диктатором? Был, конечно. Но в том смысле, в котором писал о нем Н. И. Бухарин.

Назвав Ленина там диктатором в лучшем смысле слова, Бухарин свои заметки-то назвал «Товарищ». Ленин — это и товарищ для членов партии, и вождь для малограмотных масс народа, и глава правительства для всей Европы, и олицетворение диктатуры пролетариата. Но ни время, ни злобная критика не смогут уменьшить значение этого человека, уменьшить его редкий дар политика и государственного деятеля. И даже ошибки и просчеты, которые мы будем находить в его взглядах и деятельности все больше, не изгладят память о нем ни в нашем народе, ни в народах всего мира.

ТЕХНОСИСТЕМА, НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРИРОДА

1

В этой статье я попытаюсь дать краткое описание и толкование двух явлений, накладывающих отпечаток на развитие современного промышленного общества, в особенности в странах рыночной экономики. Эти явления носят название *интернационализация* и *приватизация* производства. Мною они воспринимаются как тесно связанные друг с другом — и я постараюсь привести доводы в поддержку такого мнения.

Всякий, кто хотя бы поверхностно следит за общественными дискуссиями, может подтвердить тот факт, что эти понятия в высшей степени актуальны и живо комментируются газетной печатью и средствами массовой информации. Тем не менее эти явления — явно в силу своей новизны — пока лишь в довольно незначительной степени подвергались теоретическому анализу. Я имею в виду попытки сопоставить их с другими чертами и тенденциями развития или попытки понять и истолковать их так называемый «смысл».

Моя собственная попытка, несомненно, многим покажется непрофессиональной, может быть, даже слишком оторванной от реальности и спекулятивной. Однако мнение философа здесь вполне уместно, ибо, по-моему, ни экономистам, ни политологам, ни социологам не принадлежит монополия в этих вопросах. Разумеется, это не означает, что именно мое суждение наиболее соответствует истине. Но я буду рад, если оно вызовет дискуссию.

Прежде всего — небольшое замечание по поводу терминологии.

Я нахожу, что термины «интернацио-

Георг Хенрик фон ВРИГТ род. в 1916 году в Хельсинки. Доктор философии, эссеист, активный участник общественной полемики. Ученик, потом соратник Витгенштейна, редактор его трудов. Автор монографии «Объяснение и понимание», 1971, и сборника философских эссе «Гуманизм как отношение к жизни», 1978. В популярных полемических эссе излагает оригинальные философские идеи по актуальным этическим и общественным темам.

нализация» и «мультинациональный» в некотором смысле могут вводить в заблуждение. Если бы речь шла о явлениях, где действующими лицами являются нации или национальные государства — как, например, в ООН, они бы не вызвали возражений. Но это не так: речь идет здесь о процессах, проходящих скорее *над* головами народов и государств, чем *между* ними. Поэтому точнее будет употреблять слово «сверхнациональный», а не «интернациональный», что, собственно, означает «международный». Иногда лучше говорить о *глобализации*, чем об «интернационализации».

2

В чем же, собственно, суть дела? Как мне представляется, происходит следующее: основанная на науке и технологии промышленная форма производства отделяется от национального государства, ее прежние связи с ним слабеют. Промышленные предприятия *вырываются* из своих традиционных политических и социальных рамок. Вместе взятые, они образуют автономную систему, развитие которой идет по ее собственным законам. Этот союз науки, технологии и индустрии я буду здесь называть *техносистемой* или *техносферой*.

Внутри техносистемы предприятия ставят себе задачу жить и развиваться в соперничестве друг с другом, не обязательно в первую очередь заботясь о материальном благосостоянии собственной нации — если таковую вообще можно определить. Ответственность руководства предприятием прежде всего устремлена на обеспечение успеха самого предприятия. Борьба за власть между владельцами — вот тот наивысший интерес, ради которого в случае конфликта можно поступиться как безопасностью рабочих и служащих, так и потребностями и желаниями потребителей.

Обрисованная здесь картина, конечно, чрезвычайно схематична. Она не стремится отразить готовое положение вещей, но пытается схватить тенденцию развития, спроецированную на еще окончательно не сложившееся будущее. Эта тенденция представляется мне как глубоко важная для нашего времени. Поэтому явления интернационализации и приватизации, упомянутые выше, заслуживают внимания в качестве знамения времени, и более других достойны общественно-философских размышлений. Развитие, о котором идет речь, находится пока в своей первоначальной стадии. Его темпы и направление находятся еще в сильной зависимости от давления политической системы. Но если я прав, то это давление постепенно ослабевает.

Многие, без сомнения, захотят подвергнуть сомнению истинность такого взгляда на вещи. Однако возражения, с которы-

ми мне до сих пор приходилось сталкиваться, коренятся, как кажется, отчасти в склонности предпринимателей недооценивать свою фактическую власть над развитием общества, а отчасти в склонности политиков ее переоценивать.

3

Представляется заманчивым поразмыслить как над причинами текущего развития, так и над его влиянием на все то, что остается за пределами техносистемы.

Промышленное производство с первых дней своего существования было нацелено на преодоление национальных границ: на ввоз сырья, подлежащего индустриальной переработке, и на продажу готовых изделий кроме внутреннего рынка, по возможности, и за границей. В этом обстоятельстве заложена основа глубокого противоречия между промышленной системой и политической системой национального государства.

В течение первого столетия «промышленной революции», то есть в XIX веке, это противоречие в основном оставалось подспудным, ибо национальные государства в тот период имели возможность расширить свои территории — явление, известное под названием колониализма. Не только великие европейские державы — Великобритания, Франция, Германия, — но и малые государства, например, Бельгия и Голландия, географически расширились в огромные империи.

Для промышленности это в первую очередь означало доступ к дешевому сырью, которое после обработки продавалось с немалой прибылью, нередко обратно в страну-источник сырья, не затронутую процессом индустриализации. Это привело к созданию в странах центральной и западной Европы неслыханного до того материального благосостояния, хотя на первых порах оно крайне неравномерно распределялось среди населения.

В эпоху колониализма промышленность и национальное государство жили в относительном согласии. Крупная промышленность оставалась национальной. Влияющих на мировую экономику мультинациональных предприятий в то время почти не существовало. Это означает, что борьба индустрий за рынки сбыта в большой мере совпадала с борьбой за власть между странами. В шуточной форме об этом говорят известные слова о причинах первой мировой войны: войну сделала не Германия, а «Сделано в Германии».

Гармония интересов между промышленностью и политикой сильно поколебалась в своих основах в середине нашего века, когда старая колониальная система распалась, и национальные государства вошли в свои прежние границы. Их военный и политический нажим на бывшие

колонии ослаб, что повлекло за собой радикальную перемену в условиях существования промышленных предприятий. Техносистеме пришлось жить «своими средствами». Скрытое прежде противоречие между сферами технологии и политики стало теперь явным. В этом заключается движущая сила «интернационализации».

4

Очевидно, что подобная смена декораций повлияла на внутреннюю и внешнюю политику национальных государств. Ни одна из европейских стран не является сейчас «самостоятельной» в том смысле, как это было до второй мировой войны; единственное, но вряд ли завидное исключение — это Албания. Новая индустриальная динамика порождает опасения и вызывает растерянность прежде всего на внутренних рынках труда. Ведь мультинациональные предприятия могут перемещать производство туда, где рабочая сила дешевле и себестоимость ниже.

В то же время условия труда подвергаются влиянию технического развития, автоматизации и роботизации, постоянно снижающих потребность в рабочей силе при одновременном росте производства товаров. Безработица стала общим бичом индустриальных государств, а занятость населения их общей заботой. Эти постоянные проблемы не разрешимы без серьезных социальных реформ.

Другим следствием интернационализации можно считать *стандартизацию*. Товары потребления, от автомашин до микрокалькуляторов, распространяются по земному шару в виде массовой продукции, в свою очередь создающей единоеобразие привычек, мод и представлений о том, что считать «хорошей жизнью». Подобное униформирование идеалов происходит и там, где относительная нищета день за днем отдаляет практическое достижение идеалов, которые тем самым оказывают все более гнетущее влияние на психику.

Но всего сильнее давление стандартизации и массового производства сказывается, по-видимому, не столько на жизненном стиле, сколько на общественном мнении и образе мыслей, благодаря сверхнациональным средствам массовой информации и развлечений. Этот процесс пока только начался — настоящий варваризм кабельной и спутниковой информации еще впереди. Возможно, здесь кроется зародыш новой глобальной культуры, хотя до сих пор мы наблюдаем скорее ломку старых форм традиционной культуры, нежели создание новых форм глобальной общности. При этом чувство национальной принадлежности, объединявшее людей внутри прежних национальных госу-

дарства и специфически окрашивающее аклад отдельных народов а общую культуру, оказалось теперь под угрозой частичной утраты, если не полного исчезновения.

Национальное самосознание — это не то же самое, что шовинистское самовосхаждение. Его можно определить как сознание длительной принадлежности к общей культурной традиции а ее взаимодействию с другими нациями, стремящимися определить свое самосознание. Иногда оно удачно подкрепляется воспоминаниями о «славе былых времен».

В перспективе ослабление национальной принадлежности не обязательно приводит к катастрофе. Но для индивида ближайшим следствием этого процесса становится дезориентация, ощущение безродности, потеря своей системы ценностей, что губительно отражается на морали и чувстве солидарности. Отдельная личность превращается а нечто асе более самостоятельное, самодовольное, самолюбленное. Не удивительно, что подобная отрешенность приводит к возрождению национализма, ае настоящего имя — ксенофобия, ненависть к представителям другой национальности. Тот, кто не уверен а собственном достоинстве, легко воспринимает асе необычное как угрозу. На политической арене это проявляется в растущем конформизме, в страхе перемен, в новом консерватизме. Здесь иалицо одна из сторон взаимоотношений техносистемы и политической системы национального государства: если первая стремится к динамизму, во второй нарастает застой.

Подобные процессы в моей собственной стране, Финляндия, все более вызывают у меня беспокойство. Страна едва успела, после вековой иностранной зависимости, обрести свое лицо, как ей снова грозит потерять его в пробуждающемся интернационализме или же провалиться в, казалось бы, давно уже преодоленное «патристическое варварство». Не уверен, что такая опасность не угрожает и Швеции, хотя отчасти по другим причинам.

Наконец, вероятным последствием усиления техносистемы за счет политической системы является тот факт, что международные — в прямом смысле этого слова — организации типа ООН и ее побочных органов, прежде всего ЮНЕСКО и ФАО, борются с трудностями, порой угрожающими самому их существованию. Организация Объединенных Наций, как и ее равно почившая предшественница, Лига Наций, основана на идее, что парламент, составленный на принципиально равноправных национальных государств, способен повернуть глобальное развитие в сторону царства мира и справедливости. Мне эта идея представляется иллюзорной, что ничуть

не умаляет ценности конкретной работы, проводимой а рамках ООН. Следует асе же признать, что по мере ослабления политического авторитета этого международного органа усиливается ведущая роль техносистемы а глобальном разитии. А эта система далеко не озабочена обеспечением мира и справедливости в международных отношениях. Если ей ааобще может быть приспана какая-либо цель, это скорее обеспечение акономического прироста и повышение материального благосостояния.

5

К чему же аедут отмеченные мною современные тенденции, которые я попытался кратко охарактеризовать? Допустим, что эти тенденции будут продолжаться, существенно не меняя своего направления. Я не утааждаю, что именно так и будет, но аерю, что мое предсказание достаточно реалистично, чтобы по нему можно было составить сценарий, мало-малыски незааисимый от наших собственных пожеланий и надежд на будущее.

Одна из достойных анимания линий аозможного развития — это постепенное отмирание национального государства. Нигде не указано, что оно является лучшей или окончательной формой политической организации. Первые европейские национальные государства аародились в конце средневековья, а последние из более крупных, Италия и Германия, окончательно оформились немногим более столетия назад. Национальным государствам предшествовал в Европе более универсальный и одновременно более раздробленный порядок. Возможно представить себе, что эпоха национальных государств подходит к концу, и мы стоим на пороге нового «универсализма». Прежний имел своим идеологическим источником идею «теократии», католического божественного государства с папой во главе и с императором а качестве высшего вассала; будущий станет, вероятно, «технократией», управляемой банками и индустрией в обществе и взаимном соревновании.

Мысль об исчезновении национального государства не нова в наши дни. «Отмирание государства» — одно из центральных положений классического марксизма, а общественная философия Маркса, прежде всего, является анализом основанного на науке и технике промышленного производства и его внутренних возможностей, или «противоречий».

Другие мыслители, в том числе Бертран Расселл, мечтали о мировом государстве, ае правительство обладало бы законодательной и исполнительной властью в вопросах общего процветания человечества. Лично я не могу всерьеза принять ни

ту, ни другую версию: мне они кажутся слишком далекими от той политической действительности, а которой мы существуем. Более реальной а таком случае представляется мне космополитическая мечта о мире, управляемом сообща силами науки, технологии и индустриального производства. Под сенью техносистемы человеческая жизнь будет протекать а сильно изменившихся формах политической и социальной организации. Если мы захотим составить себе представление об этих формах, необходимый толчок фантазии может дать изучение европейских средневековых обществ. Разумеется, не может быть и речи о «аозврате» к уже пройденным этапам истории.

И а нашей теперешней действительности заметны признаки переживаемого нациями кризиса. Сигналы тревоги рвдаются с двух противоположных сторон, одна из которых — растущее сопротивление национальных меньшинств против действительного или ааображаемого гнета. Лучшим примером этого будет, аероятно, Испания, где не только свободолубные баски, но и значительная группа каталонцев бросает аызво центральной власти. Подобные проблемы имеются, соответственно, а большинстве европейских стран. Можно сказать, что национальные государства трещат по швам под давлением своих национальных меньшинств. Но не слишком вероятно, тем не менее, что это приведет к созданию новых национальных государств, как при распаде габсбургской империи после первой мировой войны.

Другой признак кризиса национального государства состоит не в дроблении, а в стремлении к интеграции, очевидным примером чего является Европейское Сообщество. Оно явно представляет собой акономическую «общность», и в этом качестве может рассматриваться как проявление интегративной силы, которой обладает техносистема применительно к государствам. Разумеется, можно считать ЕС анаком европейского самоуаверждения в силовом поле между двумя сверхдержавами. Политики предпочитают, по асей аероятности, именно так смотреть на аещи, и я не стану отрицать их право на ато. Сам я придерживаюсь скорее точки зрения, рассматривающей политические реальности как подчиненные стремлению европейской индустрии, пока еще национальной в своей основе, к укреплению и расширению территориальной базы для своей деятельности.

6

Для малонаселенных стран, расположенных на периферии, как Швеция и Финляндия, интегративное развитие влечет аа собой особые проблемы. За некото-

рыми исключениями, предприятия северных стран отличаются малыми размерами по сравнению с американскими, западноевропейскими или японскими гигантами. Сверхнациональная экспансия станет необходимостью, если наши предприятия хотят аажить а глобальной конкуренции. Но она будет служить и национальным интересам защиты собственной страны от акономической и политической аааисимости по отношению к анешним силам.

Если, как мы ежедневно слышим, международная конкуренция продолжает обостряться, то достаточно ли жизнеспособны наши предприятия а этой «аойне асех против асех», определяющей аутериную динамику техносистемы? Задавая этот аопрос, следует учесть, что промышленные фирмы мирового масштаба стремятся стать разносторонними, чтобы защитить себя от перепада аспроса и конъюнктуры. В результате предприятие, даже «лучшее а мире» а одиой какой-либо узкой области, рискует быть проглоченным многоотраслевым гигантом.

Разность а величине представляется мне чреватой опасностями для национальных предприятий, базирующихся на основе малых государств. Опасность таится не только а возможности проигрыша а международном состязании. Риск заключается асе и в том, что тогда иа внутреннем рынке станут командовать иностранные фирмы, и рабочая сила тем самым превратится в товар на международном рынке труда. В этой иовой конкуренции страны с высоким уровнем заработной платы и ааавитой охраной труда непоправимо проигрывают, что неизбежно отразится на тех, кто свои средства на жизнь приобретает трудом на производстве.

Меня могут упрекнуть в преувеличении. Ведь наши северные страны — суверенные государства, способные путем законодательства и правительственных решений предотвратить вредное для национальных интересов развитие. Разве государство не может обеспечить занятость и поддержать производства необходимых товаров — например, на случай кризиса? Упомянем и о том, что большинство индустриальных стран взвалили на свои плечи тяжелое бремя сохранения остатков прежде доминирующих форм производства на своих территориях. Вот почему сельское хозяйство становится все более головоломной проблемой в странах, где индустриализация производства пищевых продуктов идет полным ходом.

Если верно мое утверждение о том, что глобальная экспансия индустрии ведет к фактическому ослаблению правительственной власти, то способность государства брать на себя новые обязанности по обеспечению равновесия в общественном развитии все более сокращается.

В связи с данной проблематикой особый интерес представляет феномен приватизации, а котором, пожалуй, с наибольшей отчетливостью выражается происходящее в наше время ослабление роли государства. Можно различить две основные формы приватизации.

Одна из них затрагивает государственные предприятия. Их более или менее полный переход в частные руки может быть вполне оправдан экономически, и это не обязательно влечет за собой резкое обострение социальных проблем — разумеется, при условии, что приватизированное предприятие жизнеспособно, а не тотчас же попадает обратно в поддерживающие объятия государства.

Более проблематична другая форма приватизации: та, которая касается социальных услуг и государственных учреждений. Сюда относятся, например, больницы и здравоохранение вообще, общественный транспорт, почта, средства массовой коммуникации, полиция, тюрьмы, школы, университеты. Представление о том, что упомянутые выше учреждения должны находиться на содержании у государства, не обязательно подчиняться ему целиком, аходит к само определению так называемого «государства общего благосостояния». Поэтому далеко зашедшая приватизация этих учреждений означает постепенный отход от самой идеи государственной опеки.

До сих пор наиболее смелые шаги в направлении приватизации были предприняты в Англии, Франция идет по тому же пути. В США это явление менее заметно: Соединенные Штаты, собственно, и не имели целью создание «государства общего благосостояния». Зато в США мы видим пример того, до каких пределов может дойти приватизация. Обнадеживает ли опыт США? Это зависит от точки зрения. Если рассматривать этот опыт в перспективе экономической самоокупаемости учреждений и эффективности обслуживания, в целом приватизацию можно расценивать положительно. Зато на обеспечении потребностей среднего гражданина в социальных услугах — в пределах его экономических возможностей — далеко зашедшая приватизация, вероятно, скажется отрицательно.

Подобно тому, как интернационализация ведет к положению, напоминающему средневековый универсализм, приватизация имеет средневековую аналогию — феодализм. Феодальное государство можно рассматривать как приватизацию общественных функций. На своей территории феодальный универсализм, приватизация имел судебную и полицейскую власть и обладал даже известной свободой в разрешении военных конфликтов. В дальнейшем эти права и свободы

были поглощены централизованными органами власти национального государства.

Возрождение некоторых феодальных структур и прав в современном технологическом обществе не может не повлечь за собой ряд труднообозримых и опасных последствий, особенно в Европе, где сама идея национального государства уже подорвана как развитием сверхнациональных техносистем, так и движением многих национальных и региональных меньшинств, с давних пор ставящих под сомнение законность централизованной политической власти.

8

Известный экономист Джон Кеннет Галбрайт в статье под заглавием «Революции в наше время» утверждает, что появление «государства общего благосостояния» спасло капиталистическое производство от предсказанного Марксом кризиса и окончательной гибели. По всей вероятности, его наблюдение справедливо, но к перечисленным в статье факторам следует добавить роль рабочего движения и социал-демократии, «революционной» с точки зрения ортодоксального марксизма, а деле создания «государства благосостояния».

Может возникнуть вопрос: к каким последствиям приведет постепенное ослабление и распад государства этого типа в будущей капиталистической экономике?

Приобретет ли пророчество Маркса о переходе капитализма в социализм новую актуальность, и государство вновь обретет руководящую и контролирующую власть над производством? Однако такой «диалектический прыжок» противоречит предсказанному выше ослаблению государства вследствие роста самостоятельности техносистем. Поэтому развитие в сторону социализма представляется мне маловероятным. Очевидно, нам предстоит длительный период свободной торговли и экономической вседозволенности, когда текущее развитие техносистем, все более свободное от ограничений, будет определяться внутренней игрой независимых рыночных сил. Промышленная конкуренция принимает все более неукротимые и беспощадные формы. В то же время занятые на производстве массы испытывают растущую неуверенность в завтрашнем дне, а незанятые обречены на бессмысленную жизнь.

Не берусь утверждать, что развитие пойдет именно таким путем: уравнение содержит множество неизвестных, здесь сознательно опущенных. Решающим будет, очевидно, отношение двух социалистических гигантов — СССР и Китая, — к рыночной техносистеме. Будут ли они

со временем волеизъявят а ее глобальную сеть — и как а таком случае это повлияет на дальнейшее развитие этой сети? Или же они а основном останутся за ее пределами, продолжая строить свои замкнутые миры, — к чему их побуждает, вероятно, чувство самосохранения? Сегодняшние тенденции указывают скорее а направлении первой альтернативы.

Но все же предлагаемый набросок сценария, даже ограниченный рыночной экономикой, заслуживает серьезного внимания тех национальных государств, которые пытаются прогнозировать свое будущее и формулируют цели своего общественного развития. Лучшим примером страны, где воля к этому еще не угасла, является, по-видимому, Швеция. Оттого, наверное, и нелегко со шведского горизонта обнаружить актуальность а намеченной мною перспективы.

9

Необходимость описываемого здесь развития может показаться неумолимым детерминизмом. Чтобы устоять а условиях конкуренции, предприятие должно прибегать к интернационализации и даже к приватизации, и в отдельных случаях это неизбежно. Но мы редко спрашиваем себя, почему предприятия должны конкурировать и аигрывать а соревновании. Разве это не самоочевидно? Да, если смысл существования предприятия искать внутри самой техносистемы, а развитие техносистемы аидеть как стремление преодолеть все, что затрудняет или останавливает анутреннюю игру рыночных сил.

Тем не менее, существует фактор, силу которого не может игнорировать ни одна созданная человеком система. Эта сила — природа. Разоренная и опустошенная земля, отравленный воздух, мертвые моря и реки не могут быть основой человеческого существования.

По отношению к природе промышленность и техника представляют собой нечто искусственно созданное, абсолютно неестественное, короче говоря: антиприроду. Но материальной базой всего искусственного является все та же природа. Невозможно развить искусственность настолько, чтобы исчезло все естественное.

Эта тривиальная истина слишком хорошо известна всем: не только политически бессильным «зеленым», но и правительствам индустриальных государств, все более аынужденным подчиняться условиям техносистемы и понимающим необходимость мер по охране ресурсов и среды. Мне лично трудно поверить в то, что мы найдем спасение от экологических ката-

строф большего размаха, нежели те, что уже посетили нас. Остается только надеяться, что сама техносистема дойдет до понимания условий аживания и научится более чуткому общению с единственной превосходящей ее силой — с окружающей природой.

Не стану гадать а вероятности такого развития. До тех пор, пока конкуренция играет ведущую роль а действиях предприятий, маловероятно, чтобы техносистема сама осознала свою уязвимость и перестроилась. Следует, однако, учесть, что промышленное производство основано на технологии, исходящей из научных знаний о природе, то есть а конечном счете и оно является продуктом человеческого разума. Если мы не хотим верить а принципиальную неспособность разума сохранить биологически приемлемые условия жизни на земле, будем хотя бы надеяться, что более глубокое понимание этих условий окажет сдерживающее алияние на промышленную технологию.

В современной науке явно не случайно выделяются линии исследований — а физике, биологии, социологии, — подчеркивающие важность баланса между притоком и потреблением энергии а открытых динамических системах. Исследования а этой области являются самым разительным вкладом нашего времени а научную картину мира, и многие ученые характеризуют их как начало следующей великой революции а истории науки. Здесь угадывается зародыш возможного слияния естественной биосферы и созданной разумом техносферы а нечто, по В. Вернадскому и Тейяру де Шардену, называемое ноосферой — от греческого «ноус», разум. Ее можно себе представить как экологическую систему, развитие которой определяется разумом и охраняется принципом равновесия.

Таков, вероятно, залог надежды для человечества. Однако считать, что техносистема сама заинтересуется гармонией с природой, было бы слишком наивно. Подобная заинтересованность предполагает новое поведение человека и новую систему ценностей. Неизвестно, что может вызвать их к жизни. Но весь исторический опыт подсказывает, что осознание более разумных условий существования превращается в действие только тогда, когда человек аынужден поступать по велению разума. И вряд ли это аынужденно разумное поведение возникнет, минуя невыносимые страдания населения или страшную угрозу всеобщей гибели.

Перевела с финского
Е. ХЕЛЛБЕРГ-ХИРН

Евгения
ЩЕГЛОВАОСТАВАТЬСЯ
СОБОЙ

Если бы мне надо было во всей прозе И. Меттера найти слова, самые для него характерные, я бы выбрала, пожалуй, реплику старухи — героини рассказа «Мать». Один ее сын, младший, в колонии, другой, вроде бы благополучный, — под каблук вздорной и скверной жены. К тому же старший стал человеком, что называется, важным, офицером — первым на селе, а имеет брата-заключенного для него — «срамотища». Вот и попрекает он мать, наградившую его таким родственником, — «вы меня, пожалуйста, с ним не равняйте. Я еще пока баладу в колонии не пробовал».

Тут и говорит мать, не вникая, разумеется, в смысл слов старшего: «Гришуна, а из чего ее варят?»

И сразу горестно, безнадежно щемит сердце. И. Меттер не произносит никаких сочувственных слов, — он только на минуту, на секунду приоткрывает дверь в жуткое одиночество. В материнскую жизнь, которую явко, кроме матери, никогда не поймет. И все. Ничего не нужно больше рассказывать о том, как больно и страшно живет старухе, как сердце ее рвется от тоски по тому сыну, которому сейчас тяжело. И думать она не может, не хочет, виновен он или нет. Ему тяжело — и этим для нее все сказано.

Как, помните, у Шукшина: «...Где замаячила боль родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем».

Здесь, в атом лаконизме (в ситуации, где иному писателю понадобилась бы уйма объяснений), — весь И. Меттер. Его лаконизм того же свойства, что и чеховский, о котором Антон Павлович писал брату: «Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев». Но не только в краткости дело. Дело, прежде всего, в безмерном сострадании обиженным — судьбой ли, временем ли, жестокими ли обстоятельствами — сострадании, которое и есть стержень всего, что написано Меттером.

Именно в незаметном, скрытом от равнодушных глаз трагизме обыденных мелочей, быть может, с особой силой сказалось чудовищное неблагополучие нашей жизни. И оно тем страшней, что не миновало абсолютно никого — ни заброшенных старух, ни ученых, ни учителей, ни военных, ни поселковых жителей, ни городских... Вот почему молодой юрист («Практикант») во время обыска думает не о хитрых махинациях вору-завмага, а о его старой, ничего не понимающей матери и маленькой дочке. А судьба знаменитого Мухтара — служебно-розыскной собаки — поражает трагическим сходством с человеческой. Мухтар олицетворяет трагедию неблагодарности, предательства тех, кому он верно служил всю свою собачью жизнь.

А когда читаешь трогательный и грустный рассказ «На коммутаторе» — коротенькую историю знакомства телеграфистки Даши и солдата Пети, — конечно, понимаешь, что, увы, не соединиться им, бедолагам. Слишком нивелированы «поселковой», и не городской и не деревенской, жизнью их естественные чувства, слишком включены они оба в поток стандартных «ритуальных» фраз. Уже как хочется некрасивой, неудачливой Даше походить на подруг — и завякну она сделала, и бусы у Нины взяла, и фразы чужие, тысячи раз слышанные, примеряет на себя, словно те бусы... И так пронзительно жаль делается ее — ведь все у нее, бедняжки, чужое, как и у ее солдата, вырвала их жизнь из родного сельского дома, оторвала от естественного быта, от той работы, что веками деляли их предки!

Безмерная русская жалость к «униженным и оскорбленным» имеет, однако, в наши дни определенную специфику. Л. К. Чуковская записала в своей книге слова, сказанные некогда А. Ахматовой: «Теперь арестованные вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили». Жалеть обиженных без брезгливости к сажавшим, пытавшим, издевавшимся, чувявшим сладостную власть над слабыми у нас невозможно. Неправдоподобно это будет, фальшиво. Но, говоря о эле, снизу доверху пропитавшем жизнь, надо ли рассказывать непременно о следователях либо охранниках? А тот сын, что в рассказе «Мать» попрекает старуху каждым куском, — не зло? Та учительница, что изо дня в день калечит детей с помощью идиотских методик (рассказ «Свободная тема»), не вкладывая в дело ни капли любви, — не зло? Не подлость — спокойное существование (правда, до поры до времени) того егеря-пьяницы, из-за которого погиб ни в чем не повинный парень («Мой друг Антон»)? Не возвращены ли эти образчики бездушия и хамства той самой фальшивой остановкой, при которой бывшим охранникам претворно живется? Они ведь и по сей день чувствуют

себя «на коне» — даром что обрушились на их головы гималаи обвинений в таких злодеяниях, перед которыми бледнеет инквизиция. Об одном из подобных типов — некоем Василии Семеновиче — рассказал Меттер в «Поселковых заметках». Некогда тот был *прикосновенен*, от него *зависело*, работа карателя стала единственным, так сказать, ремеслом, которому его научила жизнь, — и оттого по сей день несет он в себе важность и адскую самоуверенность. Пусть бывших «дел» его мы не знаем — перед нами на редкость красноречивый тип, сформированный эпохой человеконенавистничества. Ублюдочное мировоззрение позволяет ему безапелляционно судить о целых нациях. «У них народ такой. Вся ихняя польская нация. Хитрые, подлецы: за чужой счет жить хотят. Мы их кормим...»

Узнаете? Лютая злоба, проистекающая «от высокой сознательности», — вот вам итог «идеологической» обработки общества!

«Склеротическая атрофия всякого живого человеческого чувства» — так по-медицински квалифицировал когда-то Вересаев подобное духовное омертвление.

Вспоминается тут один из главнейших мотивов толстовской «Смерти Ивана Ильича». Смертельно заболевший прокурор Головин, мучительно думая о прошлой своей жизни, напоминает и то, что все отвратительное в ней — и попойки с приежими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина, и подслуживание начальнику — все это делалось «с чистыми руками» и «в самом высшем обществе, следовательно, с одобрения высоко стоящих людей». Наше общество, конечно, сделало мощный рывок вперед — темные дела, лежащие на «совести» (?) немалого числа смутных людей, чистыми руками уже не делались, однако санкция начальства как была, так и осталась единственным их нравственным кодексом. Толстой, однако, не делает даже малейшей попытки оправдать тем самым никчемность жизни Ивана Ильича: ничто, по его мнению, не снимает с человека личной ответственности за содеянное.

Этот историко-философский вопрос, который ныне занимает умы писателей и ученых, гуманистическая, настоящая русская литература — не казенная, не булгаринско-катковская — решала всегда однозначно. Она уважала личность — и вследствие этого имела право быть требовательной. В романе «Тысяча душ» А. Писемского один из героев в ответ на чьи-то суждения, что, мол, гоголевского Чичикова «среда заела» и из-за этого его нельзя ни в чем обвинять, говорит: «Но что тут общество сделает, когда он сам дрянный человек. Натуришка гадкая! ...В противном случае можно дойти до ужас-

ного заключения, что совесть — дело условное».

Это сказано задолго до трагических катаклизмов, обрушившихся на страну в двадцатом веке. Но, как писала Л. Гинзбург о рассказах Кафки, написанных до фашистского переворота, «современный читатель не может не проецировать на эти произведения все, что он знает о фашизме». Когда в очередной раз всплывает занудливый и, надо сказать, бесконечный спор — люди ли виновны во всем, что с нами произошло, или обстоятельства, вынудившие их стать таковыми, давайте лишний раз вспомним нашу классику. Она, прежде всего, завещала нам не кивать до скончания веков на государство, не оправдывать собственные малопочтенные поступки влиянием «среды» — этак можно в наших условиях оправдать любую низость, — а помнить о совести. Об ответственности перед потомками. О «Боге в душе». О сострадании. О достоинстве. О чести.

И если интеллигентный герой рассказа И. Меттера «Покой» в зрелом возрасте с горечью и страхом обнаруживает, что сын безнадежно отошел от него, что в отношениях Бориса с его глуповатой и пустенькой Аленой есть что-то грубо животное (не случайно «собачья свадьба» в квартире так настойчиво лезет ему в глаза), писатель отнюдь не собирается винить в том зловерную улицу, среду, эпоху, уведшую детей от родителей, и т. д. и т. п. Нет, не эпоха, а сам Владимир Сергеевич прозаично развешивал в глазах маленького сына чудеса жизни, объясняя их «научно» и «правильно», но на диво бездушно; не эпоха, а сам он решил раз и навсегда не вмешиваться в мелкие «домашние подробности» и не посвящать сына в собственные сомнения и раздумья. Работа же Владимира Сергеевича — социология — как-то к непредвзятому отношению с родными не располагала. Берёг, одним словом, он свой покой, свой тихий мирок...

А мы? Разве не берегли многие из нас недавно свой покой, свой мирок, понимая, что нас кругом окружает чудовищная ложь? Я уж не говорю о временах сталинского всевластия: покой ли берегли тогдашние «охранители устоев» или попросту шкуру, вопрос не такой легкий. Однако Н. Мандельштам, не колеблясь, писал — дело не в Сталине, дело в нас. И донныне крепчайшее оцепенение тех лет никак не покинет многих и многих. Так ли хорошо жилось при застое? Да нет, вроде бы — хотя и погуще на прилавках было; зато мертвечина пропитывала почти все журнальные публикации, для «оживляжа» время от времени сдвигавшиеся вялой псевдодискуссионной жвачкой. Это еще, так сказать, на подмостках; а за кулисами — на весь мир прославив-

шие психушки и лагеря постсталинского типа. Правда, В. Солоухин в письме в «Советскую культуру» и сейчас (вспоминая участь Пастернака) полностью оправдывает и себя, и сотоварищей, голосовавших за исключение, элегически восклицая — такие уж были времена (как говорил Глебоз из романа Ю. Трифонова «Дом на набережной»: «Не люди виноваты, а времена»). Превосходно сформулированное кредо «истинно русского» писателя — еще один итог печального развития отечественной словесности.

Нас утешает, что, как написал Б. Сарнов, «все мы немного Солоухины». Однако...

...Вспоминая известную встречу А. Ахматовой и М. Зощенко с английскими студентами, Меттер рассказывает, как после оскорбительных выступлений Вс. Кочетова и К. Симонова Михаил Зощенко попытался в последний раз защитить свое поруганное достоинство. Как в «обморочной тишине» зала звучали слова этого рыцаря русской литературы, который хотел, чтобы все поняли — «брань, которой облил его Жданов, непереносима и для нас». «Его речь», — пишет И. Меттер, — была заряжена силой необычайной мощи: мощью непривычного тогда еще для нас человеческого достоинства и душевной прозрачности и одновременно — твоей детской незащищенности, что, слушая его, невозможно было удержаться от спазма в горле».

В гулкой тишине переполненного зала раздались аплодисменты одного человека — И. Меттера. Он был уверен тогда — весь зал подхватит их. Зал отмолчался. Так что рассказ Меттера о «благоразумии» интеллигенции наводит на вполне конкретные и близкие ассоциации.

Я помню, как на праздновании восьмидесятилетия писателя в 1989 году кто-то преподнес ему цветы со словами — «это вам за ваши аплодисменты».

Так что все-таки не все у нас Солоухины.

Наверное, на протяжении эпохи (изящно именуемой «застоем») сохранились нашей литературе в лучших ее образцах помогла классика. Помогли ее гоголевские, чеховские, толстовские традиции. Им тесновато жило в «застойном» мундире, их укорачивали под «мундирные» размеры, но они выжили, как толстовский чертополох. Сострадание, которым жила проза Меттера, — оттуда.

Мне кажется, что в недавнее время рассказ был единственным жанром прозы, не утратившим человека. Пространство романа волей-неволей облизывало к большим и нежелательным тогда для настоящего писателя обобщениям. Ведь именно романная проза представлена в истекшее двадцатилетие именами Ан. Иванова, П. Проскурина, И. Стаднюка, А. Чаков-

ского. И в то же время что дало нам большее и лучшее представление об изувеченности общества, чем маленькие рассказы В. Шукшина с их трагическим вопросом — «что же с нами происходит?!» И «поселковые» рассказы и заметки И. Меттера вовсе не случайно «поселковые». Полугородской-полудеревенский поселок под Ленинградом — своего рода микромир, в котором, пожалуй, отчетливее, нежели в большом городе, видны трагические несуровости жизни. Вообще «периферийная» русская проза — так уж у нас повелось от Писемского, Лескова, Чехова, — показывая Россию не только вглубь, но и вширь, подробно изучая особенности ее быта и характера, всегда обогащала и питала «большую» литературу (сама становясь при этом «большой»). Есть у нее и еще одна крайняя существенная особенность. Возникая, как правило, не только на территориальной периферии, но и на периферии русской общественной мысли, она порой аккумулировала в себе нечто новое, едва брезжащее, в корне отличное от господствовавших в столицах традиций. Так произошло с А. Чеховым, который возник в период кризиса народнических иллюзий и народнической литературы.

«Поселковые» рассказы и повести И. Меттера показали миру и нам, в каком чудовищно искаженном обществе мы живем и как привыкли к его уродливой форме, словно иной и быть не может.

Вот рассказ «Хворь» — давний, кстати... В поселковое отделение связи приехал новый начальник. Странноватый, нелюдимый. Ничего он как будто особо странного не говорит, — все то же, что слышали мы не так давно по радио. «Перед молодежью все двери открыты»; «рабочий класс у нас доминирует»; «госдоходы идут на удовлетворение нужд трудящихся»... Веет, правда, от него какой-то окаменелостью, стыльностью, — ну, да не больно ли много мы хотим?

Да только оказался тот Петр Васильевич... не вполне нормальным. Врач-психиатр больницы, куда он угодил, спрашивает у оператора Пани — не замечали подчиненные что-либо странное в его поведении? Нет, говорит она. Нормально все было.

Божо мой, да что же это с нами происходит? Ни у одного человека ни на минуту не закралось подозрение, что начальник-то их сумасшедший, что пустые слова, в которых нет ни грамма содержания, слова-автоматы, паразиты, произносятся он лихо и браво потому, что *своих слов* у него нет, ибо душа его больна? Ведь от него иной раз сочувствие требовалось, самое простое человеческое участие — а он, как машина, лозунги выдает! И никто ничего не замечает! Так, может быть, это мы все больны? Все общество?

Бездушный автоматизм слов этого больного напоминает набор непробиваемых трафаретов отставника-рыболова «из органов», о котором Меттер написал в повести «Пятый угол». Помните? Ему рассказчик — про то, как детей отбирали у арестованных родителей, как отдавали их в детдом под номерами, про то, что новорожденных сажали в тюрьму вместе с матерями, — а он про то, что «двадцать пять лет стоял на охране ее (Советской власти. — Е. Щ.) идей... От государства имею полное уважение» (замечу в скобках — вот еще один источник внутреннего трагизма сегодняшней ситуации. «Они» у государства пока что в полном почете. От «них» оно не отрелось).

Вот она, давняя писательская боль. Насколько же точно уловлен именно в таких рассказах трагизм пустой души. Трагизм ситуации, когда этот прискорбный человеческий изъян всемерно поощряется «верхами», упорно не понимающими, что идеологические клише и штампы годны только на то, чтобы прикрывать внутреннее убожество — больной ли души, как у Петра Васильевича, или отсутствия ее, как у того отставника.

Не могу не остановиться на великопечальной картинке, запечатленной Меттером в «Поселковых заметках» (кстати, напечатанной, в отличие от большинства заметок, недавно). Она как раз и говорит, насколько в поселке, на периферии отчетливее видны перекосы, в городе давным-давно ставшие привычными. Первомайская демонстрация на пыльной поселковой площади. Обычное мероприятие, проводимое из года в год. Мы давно уже свыклись с тем, что лозунги, выкликаемые с трибун, к нашей жизни не имеют абсолютно никакого отношения. «Притерпелись». В поселке же масштабы иные. И натужный оптимизм там настолько смешон и противостоит, что читать, право, и горько, и страшно. На чем мы воспитывались с младых ногтей! «На площадь выходят Герои труда!» — выкрикивается в микрофон. «Из-за дома, — комментирует писатель, — выходят два старика: аптекарь и зверовод, им лет по семьдесят, у них красные банты на груди...» «Идет колонна трудящихся!» — и пояснения автора: «Эти поселковые жители работают на единственном в нашем населенном пункте предприятии — фабрике пластмассовых пуговиц и игрушек... Продукция этой фабрики почти тотчас же уходит в ларьки уцененных товаров». «Да здравствует научно-техническая революция!» — и такие же иронично-невозмутимые комментарии: «В поселке нет канализации, нет в домах водопровода — здесь влору провозглашать цивилизацию, самую рядовую цивилизацию...»

В принципе эта сцена — настолько точная и сжатая картина всеобщей нашей заболтанности, что ее можно рассматривать как ключ к массе нелений и проблем. Эта заболтанность — отечественный феномен, возвращенный десятилетиями. Вот уж где мы и впрямь «впереди планеты всей»! Подобная болтовня мало того что кормила и по сей день сытно кормит миллионы удобно устроившихся соотечественников — относительно недавно с ее помощью и ссылали, и пытали, и убивали. А сегодня бывшая трагедия стала комедией. Но и сейчас это далеко не безобидные «идеологические клише», над которыми можно лишь всласть посмеяться! Если мы не поймем, что нужны они были исключительно для того, чтобы маскировать человеконенавистнические планы (не случайно они так поощрялись в государственном масштабе — для их утверждения усердно работала целая армия штатных и сытых борзописцев), что они были *взамен* ума, совести, милосердия, сострадания, — мы легко сможем заменить одни клише другими. А вот это уж не дай Бог!

И. Меттер еще давно, в 50–60-е годы написанных повестей, подчеркивал: приверженность к подобной «шаманской» фразологии есть прикрытые низости. Недаром в его книгах подлецы всех мастей прямо-таки обожают щеголять «политической грамотностью». Читатель ведь преточно видит, например, всю дрянность милиционера Дугова из «Мухтара», антипода Глазычева; но посмотрите, какие на диво правильные мысли высказывает этот мерзавец! Придя с доносом на ветеринарного врача, он не забывает сдобрить свою подлость фразами типа «воспитывать молодежь надо и на мелочах» (кстати, удивительна беспримерная забота отечественных охранителей всех калибров именно о молодежи, так точно уловленная писателем. А. Жданов, помните, поливан грязью М. Зощенко и А. Ахматову, тоже страстно пекся о будущем советской молодежи). Не забывает Дуговец и о народе, — тоже, не правда ли, «очень похоже»? «Кино снимается для народа» — значит, тот, кому, допустим, что-то в фильме не понравилось, «не народ». Исключительно удобная формула, с помощью которой (если отвлечься от повести Меттера) можно отлучить от народа кого угодно. Что, впрочем, и делалось (и делается!). Вспомним знаменитый титул — «враг народа»: знали милые наши идеологи, чем поддеть интеллигенцию, которая чувствовала себя вечно виноватой перед народом! Впрочем, «народ» как такового при тоталитарном режиме не бывает. «По существу, — говорит герой повести «Пятый угол», — титулом народа обладал один человек — Сталин».

Написанный еще во времена «Нового мира» А. Твардовского рассказ «Свободная тема» повествует о том, насколько казенная демагогия, словно ржавчина, разъела общество на всех уровнях. Ловко замаскированная душевная пустота калечит людей со школы. Не зла, не коварна, «как демон», молоденькая учительница литературы Тамара, а посмотрите, как удобно и тепло сумела она расположиться в жизни! «Каждый человек должен на своем месте честно выполнять свой долг»; «тебе доверена судьба будущего поколения»; «нашему поколению дано строить новую жизнь», — и никаких сомнений и проблем. Тамара — человек послушный, и я подозреваю (заглядывая за грань рассказа), что в детстве ее очень расхваливали учителя! Ведь и поныне что прежде всего требуется от учеников — послушание, послушание и послушание, а всякие сомнения и «провокационные» вопросы убиваются в них на корню (о чем не так давно говорил С. Соловейчик). Так что перед нами не заурядный демагог, а своего рода «венец творения».

Между прочим, не имеем ли мы сегодня дело с выросшими учениками Тамары, подгоняющими любое *живое* слово к мертвой фразе? «Это то, что болит», — сказал когда-то о рассказе А. Твардовский, напечатав его в своем журнале.

Орудия лозунгами, как считом, Тамара не замечает — не хочет? не может? не обучена? — что дети со своими проблемами и размышлениями безмерно далеки от нее, что духовная жизнь в ее классе течет помимо заезженных формул, что вырастить по ее методу (который ни на йоту не отстает от рекомендованных методик, и Меттер об этом не забывает) можно разве что еще одного Борьку Калитина — будущего карьериста и делягу. Так что же, виноваты методисты, инспектора? Ведь сюжетом рассказа стала борьба вокруг двух свободных тем, поразивших Колю Охотникова — другого учителя литературы — своим бесстыдством. «Положительные и отрицательные черты моих родителей» и «Мои достоинства и мои недостатки». Изволь-ка в шестнадцать лет искренне написать на такие темы! С их помощью разве только очередного Дугова воспитывать. Самое же любопытное, что Меттер их отнюдь не выдумал — это действительно существовавшие когда-то темы!

Не будем, однако, обличать только методики, хотя от них и впрямь хочется кричать «караул!». Кто же не знает, что дети наши в школе частенько озабочены не тем, как полнее постичь Толстого и Чехова, а тем, как бы полнее распознать, чего от них надобно учителю. Знали бы классики, как с их помощью выращиваются будущие Молчалины! А уж об учениках и методике преподавания *совет-*

ской литературы и говорить нечего — никакая перестройка там и не ночевала, о чем сегодня с болью и ужасом пишут критики и прогрессивные педагоги. Писатель Меттер забил тревогу уже давно, по-писательски точно уловив один из самых болезненных вопросов современности. И то, что никто не вслушивался в голоса наших писателей, стоит нам сегодня невообразимо дорого (хотя — разве только в проблемах школы дело? Школа издавна была точнейшим слепком с общества, и ее беды — прямое производное от бед государства).

Что же противопоставить этой драме, если скрупулезное следование чудовищным методикам охотно поощряется, а самостоятельность, смелость мысли почитаются смертным грехом и караются увольнением? Как, спрашивается, разбить эту стену, возведенную руками миллионов очень послушных и очень старательных *первых учеников*?

Меттер не дает нам рецептов спасения мира. На то он и писатель, чтобы правильно *поставить вопрос*. «Будет и того, — писал М. Лермонтов, — что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!» Но у нас-то ныне куда запущеннее социальные болезни, у нас — продолжу медицинскую терминологию — давно пошли метастазы по всему организму. Упомянутому выше Коле Охотникову тяжело придется в жизни. Потому что у него есть совесть. А наличие ее — вот беда — не предусмотрено было в государственной политике.

Колина судьба — это трагедия русской интеллигенции, родившейся *не вовремя* (а впрочем, когда ей, бедной, было *вовремя* родиться?). Как — помните — Герцен писал о причинах ранней смерти поэта Веневитинова: «...нужен был другой вакал, чтобы вынести воздух этой мрачной эпохи; ...надо было приспособиться к неразрешимым сомнениям, горчайшим истинам, к собственной немогущести, к постоянным оскорблениям каждого дня; надо было с самого нежного детства приобрести навык скрывать все, что волнует душу...»

В давних рассказах Меттера сегодня просматривается масса точно увиденных штрихов, переживших свое время. Рассказу «Свободная тема» четверть века. Но взгляните-ка, насколько точно предугадана и запечатлена в нем прискорбная черта бюрократической мысли — хоть школьной, хоть литературной, хоть номенклатурной! Директриса школы укоряет советливого мальчика, возмущенного бездельем вечно пьяного бригадира, из-за которого накопанная ребятами картошка осталась под снегом, и написавшего об этом заметку в стенгазету. «Написано это казенно и сухо, прости мени, по-канцелярски, — говорит она. — А ведь террито-

рия „Рассвета“ расположена в живописнейших местах! Почему ты не описал природу, восход солнца, лесной массив на горизонте?»

В статье Н. Федя (Наш современник, 1988, № 6), где, в частности, речь идет о романе «Дети Арбата», автор с прискорбием нам поведал, что Саша Панкратов (который отправляется в ссылку без вины) почему-то не видит красот окружающей природы! «Заметил ли он, — укоряет героя, а заодно и автора, природолюб, — что-нибудь интересное, привлекательное в окружающем его мире, в удивительно богатой и прекрасной сибирской природе?»

Не правда ли, любопытное сходство?

Когда в последние годы Меттер выступил с воспоминаниями о писателях, близко ему знакомых, — А. Ахматовой и М. Зощенко, И. Бродском и А. Твардовском, О. Берггольц и Ю. Германе, — в их трагических судьбах он, как, пожалуй, никто из сегодняшних мемуаристов остро и зорко увидел драму мужества и борьбы таланта с давящей на него, убивавшей, но ие убившей посредственностью. Увидел с огромной, страстной *человечностью*.

Мени постоянно удивляет колоссальное количество друзей, обнаруживающихся у великих писателей после очередного реабилитационного. Наши журналы — ярчайший тому пример. Воображаю, как удивлены были бы, случись им воскреснуть, покойные! А Ахматова как-то рассказывала, что, когда она приехала с очередной просьбой о помиловании сына, знакомые не впустили ее в дом. Она, правда, на них не обиделась. Не удивлюсь, если сейчас кто-нибудь из них напишет о ней самые трогательные воспоминания!.. Кто ж, однако, не знает, что любые мемуары есть прежде всего автопортрет мемуариста, даже если он из всех сил старается кое-что скрыть. Но только близкому взору откроется не просто всем известная и ставшая чуть-чуть банальной грусть в улыбке великого нашего сатирика М. Зощенко, а то, что писателю этому была свойственна особая — грустная — отрешенность от жизни. *От той жизни...* Недаром переводчики рассказов М. Зощенко на иностранные языки по сей день удивляются, что мы над ними смеемся, — это же драмы, говорят они, трагедии, а и никакая не сатира! А. нам вот смешно... Над чем, как говорится, смеемся... Не случайно сам Зощенко словно бы удивлялся, слыша в залах громовой хохот. «С годами, — пишет И. Меттер, — эта улыбка стала еще и печальной: а роде бы и иного в ней не переменялось, но, глядя, как Зощенко улыбается, улыбается несмотря ни на что, мне хотелось провалиться от боли и стыда сквозь землю».

Восхищаясь строгой красотой личности прекраснейшего нашего писателя, грубо и страшно вырванного из литературы и

убитого а конце концов *системой*, Меттер словно заново, с той же болью переживает ужас случившегося. И обострен этот ужас тем, что Зощенко был человеком необычайно равным, деликатнейшим, страшившимся причинить другому хоть малейшую обиду. «В крайне редких и скудных выступлениях Зощенко, — пишет мемуарист, — была всегда такая обезоруживающая чистота и даже наивность, ...что обычно после его выступлений наступала какая-то виноватая тишина». И далее: «Мне казалось тогда, что само физическое присутствие Михаила Михайловича как бы создавало вокруг него бактерицидную среду, — этим свойством обладают благородные металлы. Серебро, золото, платина».

Нет, никогда я не поверю, что человек, любящий в других *себя*, смог бы увидеть писателя вот так.

А вспоминая позорный суд над И. Бродским, Меттер рисует незабываемый портрет судьи Савельевой, коей доверено было решать судьбу гениального поэта. «...Природа не стала лукавить. Натура Савельевой была крупно и четко отпечатана на ее лице — настолько четко, что отсутствие специального переводчика не помешало бы любому иностранцу, несведущему в русской речи, синхронно понимать по выражению лица судьи все, что она выталикивала из своих вполне обычных губ. Угрюмым хамством, пещерным невежеством, сладострастием власти сверкали ее глаза... когда она чаще, нежели ежеминутно, перебивала тихие, учтивые, а порой и задумчивые ответы Бродского».

Насильственная отторгнутость Ахматовой от читателей, «вырубленность» ее голоса на десятилетия; искренняя и беззастыдливая доброта Ю. Германа, расправлявшаяся даже на его героев, ибо автор способен был влюбиться в них до самозабвения; строгая требовательность к себе и другим А. Крона; участь А. Твардовского, «совесть которого, — пишет И. Меттер, — предстанет на Страшном суде грядущего измученной, но чистой», — все это, конечно, мог увидеть только тот, кто страстно болеет за горести, что с избытком выпали на долю нашей литературы.

Писателю Меттеру можно верить. Можно — потому что и себя он судит таким же строгим и бескомпромиссным судом. Недавно опубликованная повесть «Пятый угол», конечно, не вполне автобиографична, но, судя по всему, герой ее Борис — это во многом автор. Вглядываясь в даль ушедших лет, он мучительно проворачивает в памяти былое и с болью, с трепетом, беспощадно спрашивает себя: как же все это — все, что с нами было, — могло произойти? Когда это началось? С чего? И кто же во всем этом опять-таки виноват? Пе-

ребирая в мыслях годы юности и молодости, которые — как убежден рассказчик — дают каждому человеку почувствовать себя неповторимой личностью (и признаван это право первейшим, о чем — к величайшему горю нашему — позабыто было целых семьдесят лет), он снова и снова ищет ответа, зная, что не найти его, не найти... Трудно людям этого поколения. Немногие оставшиеся в живых — после испытаний «на прочность» и в 20-е, и в 1937-м, и в военные годы, и в не менее тяжелые послевоенные — идут по этой жизни одиноко, боясь опереться на локоть ровесника... Годы ли виновны во всем — или сами люди сделали эти годы страшными... Конечно, сами. Но вот чем виноват перед миром и людьми погибший на фронте Саша Белявский, умница, талант? Чем виноват исчезнувший в тридцать седьмом другой друг юности Бориса — Толя Зунин, молодой профессор Хврьковского университета? А сам Борис — никогда совесть не позволяла ему словчить, меж тем не он ли наставлял когда-то своих учеников (одно время герой Меттера был учителем): математика — наука, дескать, классовая, есть «математика кулаков и математика рабочих в союзе с беднейшим крестьянством». «Спрос на эту точку зрения был велик», — говорит он, не оправдывая, однако, себя. В одной из сочиненных героев задач, рассказывается в повести, путем мудрой софистики доказывалось не что иное, как предательство убитого впоследствии Ломинадзе. В 1965 году рассказчик встретился в доме отдыха с его вдовой, «немолодой женщиной, у которой в результате допросов трудно поворачивалась голова». И он вспомнил свою задачку. «С помощью нескольких цифр в этой задаче доказывалось, что Ломинадзе — враг народа.

Я доказал — его расстреляли»...

Можно ли простить себе это? Простить сегодня, когда счет идет на миллионы погибших? И имеет ли он право требовать от других, если сам не без греха?

Мы, однако, не пойдем эту повесть, если забудем о Кате. О той Кате, которая ворвалась в жизнь героя, когда ему было семнадцать лет, и заставила на долгие годы «ослепнуть и оглохнуть от любви», испортить жизнь доверчивой Вале Снегиревой, на которой он поспешно, не любя, женился в ослеплении горя от Катиной неверности. Конечно, неверные и ветреные, но безмерно обаятельные Кати встречаются во все времена, и во все времена абсолютно невозможно сказать, за что любят их. И слава Богу, что нет тут объяснений. Но Катя Голованова...

Время, ты ли виновно перед Катей за все ее ошибки, метания, за страшную гибель в тюрьме, или она виновата? Для среды порядочных людей свойствен последний ответ. Но ведь пятый угол — в него загоняли не только Катю, как представляется герою в бессонные ночи. Это его самого жизнь столько раз пыталась загнать туда!

«Что же я делал в это время? Как я смел что-нибудь делать в это время (когда умерла Катя. — Е. Щ.). Все делали, и я делал. Может быть, я в ту минуту, когда она искала в четырехугольной комнате пятый угол, где-нибудь смеялся. Может, я в это время сидел в театре. Может, я в это время жил?»

Пятый угол — пятая категория (самая последняя в нашей, уже, слава Богу, несуществующей «табели о рангах»: сын частника, «капиталиста») — пятый пункт анкеты... Между этими понятиями, за каждым из которых — горе, страх, унижение, поломанные жизни — бьется мучительная мысль рассказчика. Как, оказывается, невероятно тесно человеку, когда бессмертную его душу, неповторимую личность, его «Я» втискивают в жуткую эту клетку!

И на что же можно опереться теперь, после всего пережитого, которое даже снится не могло писателям-классикам? Один из возможных ответов — в книгах Меттера: «Я просто и незамысловато верю в добро»; «я перебрал все, что есть в мире, все, что придумано человечеством. Мне ничего не подходит, кроме того, во что верил с самого начала».

Верил в добро.

В этом Меттер совершенно солидарен со своим героем.

...Встречая частенько соседа по дому, бывшего полковника, десятилетними одержимого странной на посторонний взгляд идеей — отыскать и похоронить погибших своих бойцов, герой-рассказчик повести «Пятый угол» вдруг понимает, что оба они «больны одним безумием».

Мы оба бродим среди неотысканных могил».

Под журнальным вариантом этой повести стоит дата — 1967 год.

Напечатать ее смогли — в полном, неизувеченном виде — только сейчас, спустя двадцать с лишним лет.

Будем же благодарны писателю И. Меттеру за то, что все эти долгие тяжелые годы он помогал каждому из нас оставаться самим собой. Что он в наш «жестокий век» проповедовал Человечность и сострадание.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года. М.: Книга, 1990.

Вот еще книга, к которой, прочитав однажды, хочется возвращаться снова и снова. Не стихи, не рассказы, не роман — письма. Мы говорим как о литературных произведениях о письмах Тургенева и Чехова. Читая переписку трех выдающихся поэтов XX века, ловишь себя на мысли: это — удивительная проза (что безоговорочно относится к неповторимой стилистике Цветасвой, и каким же чувством языка надо обладать, чтобы перевод с немецкого воспринимался как глубоко индивидуальный язык и стиль поэта; К. М. Азадовский-переводчик показал себя в этой работе во всем своем блеске).

Это книга — о Любви. Любви большой и трагической. Это книга — о Поэзии и Поэтах, которых разделяли языки и границы и которые «поверх барьеров» (и не только языковых и государственных) тянулись друг к другу. И в то же время эта книга — не просто публикация, а некое связное повествование, где текст публикаторов (Е. Б. и Е. В. Пастернаков, К. М. Азадовского) переходит в словесную ткань писем и выходит из нее (не случайно оно разделено на главы — как роман, как исследование; собственно, перед нами и есть нечто вроде романа-исследования).

Прекрасная книга! И жаль, конечно, что мы в очередной раз оказались «впереди прогресса» (в 1980—1985 годы она была издана за рубежом на итальянском, французском, немецком, сербском, испанском, английском языках). И тем более жаль, что книга не свободна от огрехов и недоговоренностей (так, не сказано, что повесть «Царевна в зелени», которую Цветаева запомнила со своих шести лет, написал Андре Террье, довольно популярный в России в 1880—1990-х годах; интересно, что в сборнике 1940 года «Из шести книг» Анна Ахматова открыла «Вечер» поэтической цитатой из него).

Кроме переписки с Рильке и Цветаевой, книга содержит также переписку Пастернака с отцом, известным художником, и с сестрами. Что касается основного массива переписки Пастернака с Цветаевой, то мы сможем ознакомиться с ним не раньше начала следующего века, когда кончится срок запрета, наложенного на него дочерью Цветаевой, А. С. Эфрон. Сама же книга смогла появиться только потому, что в 1977 году истек срок «табу»,

наложенный Цветаевой на ее письма к Рильке.

Так что «давайте, ребята, жить...» долго!

М. ЭЛЬЗОН

Кантор В. К. Историческая справка: Повести, рассказы. М.: Советский писатель, 1990.

Насколько верно солиспизинское замечание, что интеллигент — это человек с индивидуальным интеллектом, настолько же справедливо будет сказать, что новый сборник В. Кантора — о псевдоинтеллигенции. Недо- и псевдоинтеллигенты индустриальных и шестидесятых, случайные заботы, заботы, заботы, наполняющие их существование. Истинная, великая цель — она когда-нибудь осуществится, времени еще есть, а пока — пока надо срочно написать заметку в журнал, надо сходить за продуктами, с кем-то встретиться, о чем-то договориться, и надо позвонить в ЖЭК, чтоб прислали наконец водопроводчика... «Он настолько раньше был уверен, что не умрет, пока не создаст то, для чего призван на свет, что не только не боялся тратить время на мелкие халтуры, но и не боялся летать на самолетах. А тут он вдруг почувствовал, что... пропустил свой час, что умрет до срока именно потому, что ничего еще даже не начал такого, что побуждало бы его экономить время и жить...» Была она, есть она у нас — интеллигенция? — или только отдельные интеллигентные люди, а остальное и вправду «образованщина», угрюмая и скоро позабытая толпа?

«Случайные заботы и смерть» — один из рассказов, помещенных в книге, так и озаглавлен. Вся жизнь героев, все внимание автора сосредоточены на случайных заботах — это, пожалуй, и определило языковую тональность повествования: о произительном и раздирающем душу — меланхолично, будто слова тоже увязли в серой повседневности, до тоски однообразной — даже не отделиться от ощущения, что во всех рассказах один и тот же персонаж. И если бы не повесть «Крокодил», одновременно и открывающая сборник и как бы подводящая ему итог, то, наверно, немало нашлось бы читателей, решивших, что одним метким заголовком о «случайных заботах» исчерпывается содержание всей книги, и кто прочел этот рассказ Кантора, тот прочел все его рассказы. В «Крокодиле» — выявленность последнего предела: у погрязшего в пьянстве образованца-шестидесятника тот же интеллект и те же духовные запросы, что и у чинно-благопристойных его двойников-собратьев, притязающих на причастность к интеллигенции.

И. РАК

Элиас Канетти. Человек нашего столетия. Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1990.

Среди западных сочинений, которые в СССР скрывали, были и книги Канетти, одного из крупнейших представителей того жанра, который у нас не мог сложиться по понятным причинам, — фило-софской публицистики. В текстах Канетти и в нем самом — сейчас это актуально — не устарело все: и жанр, и свобода мысли, и содержание, и национальность. «Думать о вещах не новых так, будто они никогда до сих пор не существовали», — эта дневниковая запись (1981) точно передает суть метода Канетти: пройти по утопанной а камени дороге, как по целине.

Нет возможности говорить о воспоминаниях, о портретах... Выделяются, аполнуя изображение, два исследования: «Гитлер по Шпееру» и «Масса и власть» (к сожалению, в виде отрывка).

Первое — размышления над «Воспоминаниями» А. Шпеера, нацистского обер-архитектора; анализ строительных фантазий Гитлера, анализирующийся а исследование психологии диктатора. Канетти демонстрирует различные формы, а которых реализуется маниакальное стремление к превосходству. Примитивность качества этих форм искупается грандиозностью количества (гора трупов, двадцатиметровая высота триумфальной арки, тысячелетний рейх), не только вбирающих все доступное захвату пространство-время, но и переходящих за черту действительности.

Эссе о Гитлере — пример анализа манипулирования массой и ее сознанием. В общем виде проблема рассмотрена а главнои книге Канетти-публициста — «Масса и власть» (1960). За этим исследованием стоит одно из ключевых открытий XX века: массы легче не обучить и поднять (о чем мечтали а нааном XIX века хотя бы некоторые), массами аажнее управлять, «заменяя воспитание пропагандой» (Т. Манн, «Внимание, Европа!», 1935). Для нас, акусивших все плоды такой замены, анализ свойств сплоченного, слипшегося а нерасчленимый ком МЫ представляет не абстрактный интерес, а является необходимым инструментом самоанализа. Ибо по-прежнему нас делают «медленной массой», как выражается Канетти: держат вместе, насильно двигают к потусторонней цели, не дают распасться, из «товарищей» стать индивидуумами. Ведь без массы невозможны ни власть, ни властитель. Не случайно немецкое название — «Masse und Macht» — звуковым подобием сближает смыслы: явления эти возникают и умирают вместе.

М. ЗОЛОТОНОСОВ

Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. Л.: Советский писатель, 1990.

Для университетцев моего поколения этот человек был зримой легендой. Еще не прослушав ни одной его лекции, мы знали, что на них собирается не один факультет и не один институт. И книги его тогда воспринимались нами прежде всего как материализовавшиеся традиции Alma Mater, олицетворение и символ Золотого (или Серебряного?) века блистательной кафедры русской литературы Ленинградского университета 50—60-х. Сегодня же это — классика литературоведения.

Ценно все, что создано большими учеными. Однако, как у больших артистов — лучшие роли, есть у каждого из них — свои вершины. Конечно, часть монографии, посвященная Тургеневу, много даст и школьнику, и филологу, и любителю словесности. Введен а научный оборот немалый материал, в нестандартном ракурсе представлены нам знакомые с детства книги, тонко и неожиданно проанализированы многие их страницы — чуткость Бялого к писательскому слогу, к нюансу, детали была уникальной даже для той уникальной кафедры. Но... апереди для читателя — чеховский раздел, и тут-то ждет нас подлинное литературно-критическое открытие.

В основе творений Чехова, по мысли Бялого, лежит высокий гуманистический идеал нормы человеческой жизни. Соль чеховских смешных и печальных житейских комедий, малых и больших драм повседневного существования — а том, что такую норму мы (не до сих пор ли?) считаем аномалией, а аномалию возводим в норму. Это делают и толстый, и тонкий, и торжествующий победитель. Это с горечью, болью, отчаянием осознают Николай Степанович, Мисаил Полознев, Лаптев, Гуров а Анной Сергеевной. А вот пронзительнейший критик а властитель дум целого поколения Н. К. Михайловский сурово порицал Чехова за несоответствие его творчества высоким идеям времени. Не потому ли пережил а сознании читателей Антон Павлович своего умного и строгого судью, что лишь норма истинно человеческого бытия, а отличие от асех «идей времени», — вечная категория этики? С аистину чеховской грустью аслед за Григорием Абрамовичем Бялым задумываемся мы над атим именно теперь...

А. ХОДОРОВ

СЕДЬМАЯ

ТЕТРАДЬ

Борис ГУСЕВ

РАЗВЕДЧИЦА

Помню тот осенний день — почти четверть века назад, — когда я впервые поднялся на третий этаж Ленинградского Дома книги, где помещалось отделение издательства «Советский писатель», и оказался а уаком коридоре. В конце его была стеклянная дверь а небольшой кабинет, а котором стояло апричуть пять столов, а единственное окно аходило а двор-колодец.

— ...Садитесь!.. Ну что ж, я прочла аашу рукопись. Так аот...

Я апереме увидел ату жеищину. У нее красивое смуглое лицо, черные, слегка вьющиеся аолосы. Живой агляд.

...Начался разговор редактора с начинающим писателем. Я только вступил а союз, работал а журналистике. В газете «Известия» печатались переме главы, или, точнее, отрывки, имеющие аид газетного очерка, полная рукопись книги «За три часа до рассвета» теперь была в ее руках. Книга о разведчиках Кузьме Гнедаше и Кларе Давидчук. Я нашел а архиве асенной разведки закрытое дело нашего старшего резидента а Отечественную войну. И он, и она (его связистка) погибли... Но я разыскал их соратников, собрал большой материал...

Это был долгий процесс редактирования — месяца три, за которые я, по существу, почти переписал повесть. Хотя а то же время ароде ае так и осталось. Иногда она ааорила: «Вот и не аижу этой сцены. Почему он аошел а землинку? Что ей сказал? Это надо мотивировать как-то?» Но а то же время она никогда не праила меня. Вообще она даже не употребляла этого слова «праить». Она ааорила:

— ...Наиболее сложная третья часть: «Четверть века спустя» ваши герои, те, что остались в живых, чувствуют себя как-то неловко... Как вы это объясните? — Они чувствуют свою вину, что ушли, оставив их двоих...

— Это лишь отчасти: они ведь подчинились приказу. Взгляните глубже, что произошло?

— Не случилось? — воскликнул я.

— Вот! И это главное! И ато надо показать, но не в лоб... Конечно же: пред-

ставление о том, какой будет жизнь после войны, не осуществилось, не реализовалось... Не сбылось!

Странно. Обычно редакторы старались слушать наиболее острое. А она наоборот. Она подталкивала к постановке острых проблем. В итоге обычный детектив о разведчиках обретал иной колорит. Она как бы вытягивала у неопытного автора то, что он хоть и знает, но без точно поставленного редакторского вопроса сказать не сможет. У нее был аысокий жизненный тонус, она заряжала своей энергией...

Работали мы без конфликта, я как-то сразу поверил в своего редактора. Кроме чисто деловых, творческих разговоров, ивовльно возникали и человеческие отношения: я уже анал, что у нее есть сын Миша, студент; у меня дочь поступила в вуз — общие интересы, волнения за своих детей. Но кончался этот разговор и начинался другой. Начиналась работа.

Повесть одновременно шла в одном из толстых журналов. Там третью часть совсем отсекали, мотивировав это необходимостью сокращения. Я понимал неизбежность сокращенного журнального варианта, но они аыбросили как раз то, что для меня стало особенно дорого. Ибо я, спустя четверть века после аойны, прошел по следам моих героев, — тех, кто остался жив... Жизнь их а конце шестидесятых была неустрашенной. Кто-то уже отсидел, кто-то маялся с жильем, несмотря на асенные заслуги, и тому подобное. Действительно, многое — не сбылось. В журнале ае ато сократили. Я рассказал об этом своему ленинградскому редактору.

— В каком номере журнала идет ваша аещь? — спросила она.

— В пятом.

— Юбилейный!.. Ну, все ясно. А мы в книге оставим все ати сцены. Но пора уже подумать о художнике. Об оформлении. Я сейчас приглашу Михаила Ефремовича. Давайте поговорим.

У меня были по поводу оформления большие планы, — мои герои, окруженные, сидят в замаскированной землянке; поездки нашего разведчика по оккупированному Киеву в форме штандартенфюрера... Все это выглядело бы очень эффек-

тно. И я рассказал художнику М. Е. Ноаинову об этих планах.

— Я подумаю, кто из наших художников возьмется... Я, лично, график... И вряд ли смогу, — сказал он, кивнул и вышел. Я был удивлен.

— Вы настаиваете на таких иллюстрациях? — спросила редактор.

— А почему — нет?

— Да ведь ваша повесть документальная! Если есть фотографии — пожалуйста! Иллюстрация — это творческая фантазия художника, но не документ. Дело ааше, но я не советовала бы.

— В чем же тогда будут состоять иллюстрации? — угрюмо спросил я.

— Ну, фотографии главных героев, Гнедаша и Давидюк, мы поместим. А затем — шрифты, спуски, главки... Сама обложка! Это же очень важно... И как раз а этом Михаил Ефремович — специалист. Советую, чтобы художником был он.

Вскоре книга вышла. И тут я оценил мастерство Михаила Ефремовича Ноаинова: из слов названия книги он составил как бы монумент; рисунок тотчас привлекал внимание. Хотя иллюстраций, о которых я мечтал, не было, но все оформление было отличным. Пришли письма, отклики, а том числе от бывших однополчан погибших героев. Я дополнил повесть, и спустя год она была переиздана тем же издательством.

— Что ж дальше? — спросила меня редактор.

Я ответил, что пишу и аскоре пришесу повесть.

— Документальную? — спросила она.

— Вообще, да, но... фамилию главного героя я бы хотел изменить...

— Почему, если это документально? — спросила она.

— Конечно, я мог бы поставить и настоящее имя, но... Давайте решим, когда я закончу и покажу вам...

Но над новой повестью о блокадном Ленинграде работа моя затнулась. У меня случилось большое горе — скончалась мать. Это выбило из колеи.

Однажды мне позвонила моя редактор и спросила, как дела с повестью, — договорные сроки истекают...

— Плохо, — ответил я.

— Продлите договор, но надолго не откладывайте: сейчас одно может отвлечь вас от тягостных мыслей — работа.

— В сущности повесть написана: мне не хватает лишь главного поворота — зачем, я сейчас, то есть спустя тридцать лет, возвращаюсь к тем, далеким событиям Отечественной войны, к блокаде, — сказал я. — Тут нужна какая-то идея, ибо просто читать про войну уже неинтересно.

— Знаете, что? Я подумаю вот о чем: в войну мы были одни, сейчас — другие. Попробуйте здесь что-то искать — война и — сегодня, а? — сказала она.

В тот же вечер я перечел повесть и вдруг понял, что надо делать. Повесть автобиографична, и единственный «вымышленный» герой — это я. Она права! Я должен вести диалог с самим собой... И тот шестнадцатилетний мальчишка-солдат судит меня, сегодняшнего. И это делает повесть современной. Я начал писать сказочный диалог, который прошел через асю повесть. Затем я перепечатал асе и отнес а издательство. Но асе-таки не был уверен, то ли?..

Она позвонила мне на следующий же день. И неожиданно веселым, совсем не редакторским голосом сказала:

— Это интересно. Мне нравится. И это знакомо. Я имею а виду те места, которые вы описываете... Шуаалоа, Осинааая Роца, так? Правда, вы назвали Осиную Роцу — Дубовой, но это уже не принципиально, — рассмеялась она.

— Это я а интересах цензуры. Там и СМЕРИ упоминается. Назовешь настоящее месторасположение — начнут придираться, хотя в этом уже нет никакого секрета.

— Пожалуй, вы правы. Ну заходите, поговорим.

— Когда? — спросил я, ибо знал по опыту, что каждая ее минута расписана. Ее постоянно осаждали коллеги, писатели, а самом издательстве даже поговорить было негде. Обычно мы беседовали на аходе из коридора, где стояло старое кресло и стул. (В кабинете редактора всегда был народ, авторы.)

— Завтра. Тинуть нельзя, у нас сроки. Но завтра у меня непростудаанный день... Знаете, приходите ко мне домой: Моховаа, 36. Учтите: аход со двора, налеао...

Идя к ней, я, кажется, аолиновался. Впервые за семь лет редактор сказала: «Мне понравилось». Обычно разговор у нас был чисто профессиональный. Редактор указывала мне на просчеты, или недоработку образа... Она стояла квк бы а стороне, не аысказывая своего отношения. И я невольно задумался, а как она редактировала Анну Ахматову? Под ее редакцией вышел последний прижизненный сборник поэта в середине шестидесятых, когда отношение официальных властей к Ахматовой было более чем сдержанным. И надо было иметь гражданское мужество, чтобы в то время подписать к печати ахматовский «Бег времени». Ведь критики, обругав автора, обычно брались за редактора, — куда смотрел редактор?

Ленинградский литератор, мой тезка, однажды сказал мне: «Тебе повезло, ты нашел стратегического редактора...» Да, конечно, она давала направление... И очень точную оценку.

...Я быстро взошел на четвертый этаж старого дома на Моховой — лифта там не

было. Поавонил, мне открыли, и я оказался в старой петербургской квартире с длинным коридором. В большом кабинете стоял старинный письменный стол; стеллажи с огромным количеством книг уходили к аысокому, воае не соаременно-му потолку с лепным украшением. Хозяйка села за стол, предложила мне сесть рядом. Она перелистывала отмеченные ею страницы...

— Много работы? — спросил я.

— Нет. Совсем немного... Мелочи, чисто редакторские. Быстро сдадим, чтоб не нарушать график. Но вот проблема: кому отдать а рецензию? (В издательствах существует правило: рецензирования рукописи членами редсовета.)

Редактор продолжала:

— За эту аещь я не боюсь... Но время, аремя! Нужно, чтоб кто-то быстро, отложила дела, прочел и написал короткую анутреннюю рецензию. Кто?

Я предложил направить рукопись известному писателю. Она кивнула:

— Да, я уже подумала об этом, но! Но с ним трудно... Он аозьмет, конечно, а этом я уверена, но затянет дело а лучшим случае на месяц. Но вы же знаете... — она назвала известного писателя по имени-отчеству. — А потом уедет а Японию.

— Да, пожалуй, — согласился я.

Наконец, мы остановились на писателе не столь известном, но обязательном. Можно было уговорить его быстро прочесть рукопись. Прогнозы наши сбылись лишь отчасти; писатель прочел мою повесть быстро, за сутки, и позавонил мне, чтоб я приехал за рецензией. Поехал. Рецензия была хорошая, но... он категорически аозражал против сказочного диалога, проходившего через асю повесть.

— А почему? — спросил я.

— Нет-нет, Боря, это лишнее... Ненужные параллели нашего времени с тем, военным... Это опасно. Тебя не поймут.

— Подожди, но уж если редактор не аозражает, давай остааим...

— Я аысказал свое мнение, а там решайте.

Я приехал а издательство с рецензией. Редактор азглянула, быстро пробежала глазами и улыбнулась:

— Испугался Володечка наш — и чего? Впрочем, параллели действительно есть. И не в пользу нашего времени.

Мы разговорились.

Был расцвет эпохи Брежнева. Отводя душу, мы говорили о некомпетентности руководства, беспорядке, равнодушии, охватившем все общество... Потом заговорили о своих детях. Ее сын уже окончил ауз и работал инженером.

— Не женился еще? — спросил я.

— Нет, но, кажется, к этому идет... Впрочем, я не вмешиваюсь, пусть будет так, как хочет он. А у вас дочери — как?

— Старшая собирается замуж...

Потом анов авернулись к работе. Как быть с диалогами? Считаться ли с мнением рецензента? Формально мы не могли полностью его игнорировать, тем более, что мнение было аыражено а категорической форме.

Подумаа, она сказала:

— Мы асе оставим, но... дааайте уберем прямую речь. Поставьте аавычки! Все, аещь текст заключите а аавычки.

— И что? — еще не понимая, спросил я.

— Ничего! Останется асе то же, что было! Мы отааем формально на формальное требование. В конце концов, а книгу отаеаю я. А а случае неприятностей с цензурой рецензент может быть спокоен: его замечание не учли.

Пришел Михаил Ефремович Ноаинов, и мы анов адумали над оформлением книги. Сейчас я с тоской аспоминаю о том времени, хотя теперь мы его окрестили застойным. Но что-то а нем было, а? Несомненно. Приученные к тому, чтобы жить лишь надеждой, мы невольно наделись на то, чего быть не могло. Ибо очеаидно для асех хирело, приходя к полному упадку, наше сельское хозяйство, ну и, естествеино, асе другое. Старан бюрократическая машина работала уже ао многом по инерции. Еще остааались работники. Верхй наши имели лишь одну мудрость: ничего не трогать, ничего не менять. Расхожей была фраза будто бы сказанная самим: «Не колышьте... Доплывем».

...Уже шли чистые листы книги, когда мне позвонила редактор и просила срочно приехать а издательство. «В чем дело?» — спросил я. «Цензор не дает аизы», — отаетила она.

Я ехал с тревогой. Все ясно. Аавычки не помогли, он обнаружил подтекст, а это значит... Плохо, очень плохо. Зарубит книгу, черт побери!

И вот я на Неаском. В том кабинетике с окном ао двора. Редактор сидела и улыбалась.

— Вы знаете, к чему он придрался? У вас там в повести на конвертах стоит номер с тремя нолями впереди — «000», он уверяет, что вы дешифруете секретный документ?!

— С ума сошел! После войны прошло треть века...

— Нет, «сходить» ему явно не с чего!.. Это его единственная претензия. Все-таки иногда некомпетентность бывает полезна. Он мог бы доискаться до того, что настоярожило рецензента! Но в литературе он ни черта не смыслит, а потому — советую: снимите эти три ноля — они никакой смысловой нагрузки не несут... Упоминаются лишь в двух случаях.

— Да, конечно. Я думал о худшем...

— Слава богу, нет!.. А оформление Михаил Ефремович придумал, по-моему, неплохое.

Так мы и работали — редактор, художник и автор. И я думал, что так будет всегда. Постепенно я в разговорах с писателями узнавал, что мой редактор пользуется большим авторитетом в издательстве. Что подписанные ею к печати книги главный редактор визирует, не читая, что ее, ничем не знаменитую женщину, окружают знаменитости. Этому я сам был свидетель.

Чуть не каждый раз, когда я бывал в издательстве, в тот кабинетик весело заглядывал Михаил Дудин или Глеб Горбовский, заходил всегда значительный Граини и уже достигший ступени великих Федор Абрамов... и менее значительные из немногих ленинградских знаменитостей. И различных групп.

Группы, как известно, существуют во всех писательских организациях. Но она была, по-моему, вне групповых интересов. И вела одновременно более десятка книг.

А жизнь шла и даже кажется, проходила... Она стала бабушкой, внука называли Саша, а спустя год у моей дочери родилась дочь и я стал дедом. Уже в этом издательстве вышли четвертая и пятая мои книги под ее редакцией — сборник уже издававшихся повестей и рассказов. В великолепном оформлении М. Е. Новикова.

Приближалось сорокалетие Победы. Я сдал своему редактору шестую книгу — «Выход из окружения» и теперь ждал, как она будет оценена. В весенний день 5 апреля 1985 года я утром вышел на прогулку, прошел свой круг, купил газеты и вернулся домой. В «Ленинградской правде» я еще на стенде заметил большую статью, посвященную грядущему юбилею, — «В строжайшей тайне» полковника Л. Винницкого — старшего научного сотрудника Музея истории Ленинграда. Все, что касалось моего города, меня интересовало, и я принялся читать статью. В ней речь шла об обстрелах Ленинграда в 1941—1943 гг. Об этом я писал — о контрбатарейной борьбе... Но здесь были и новые данные, связанные с радиоразведкой! Гм...

Конечно, нам важно было знать, когда и по какому объекту он начнет бить, то есть вести обстрел!.. Так, это ясно. «Задача разведки вражеской артиллерии продолжала оставаться для нас одной из главных, — читал я. — ...Разведчики сумели проникнуть в тайны управления огнем фашистской дальнбойной артиллерии... Первым удалось выполнить... За обнаружением сети установили постоянное наблюдение опытные радиоразведчики. Лейтенанту М. И. Дикман...» Неужели она? — мелькнуло в мозгу, и тут же

прочел: «(ныне старший редактор издательства „Советский писатель“) ...прекрасно владевшей немецким языком, поручили изучить и проанализировать все элементы скрытого управления. После настойчивых поисков лейтенанту Дикману удалось подобрать ключ к системе управления дальнбойными батареями противника. Она раскрыла код. Это позволило заблаговременно, накануне дня обстрела определить, когда и по какому квадрату города будет произведен иалет, месторасположение командного и наблюдательного пунктов противника и районы огневых позиций его дальнбойных батарей...»

...Я долго сидел задумавшись, размышлял о превратностях жизни. Еще в газете я вел поиск героев войны и особенно героев обороны Ленинграда. Редактировала мои книги — в прошлом разведчица. И первый боевой орден получила в начале сорок третьего года — в то время награды давали скупое. «Генерал Евстигнеев доложил эти результаты... командующему фронтом... Л. А. Говорову. Действия радиоразведчиков... высокую оценку...» Я набрал номер ее домашнего телефона. Трубку сняла она. Я поздравил ее.

— Спасибо, мне уже сказали!.. Но сама я еще не читала... — отвечала она, — дочитываю вашу вещь...

— Я знаю, она не удалась... Не читайте дальше!

— Нет, Борис Сергеевич, надо же поговорить!.. Я вам скажу, вы уже не в первый раз впадаете в ошибку... Там, где документально, у вас все получается. Но! Например, лирическая линия вашего героя и его роман с молодой женщиной — не получилась... Впрочем, что за разговор по телефону? Приезжайте на Моховую часам к пяти, устраивает?

— Да, благодарю вас, — ответил и положил трубку. И задумался: отчего к пяти? Обычно, она назначала дневное время.

И вот я снова на Моховой, в старой петербургской квартире. Беседуем по рукописи. И мне совестно, что я так дурило написал, или, как выражаются критики, — прописал — лирическую линию... Все понятно, потому что я ее выдумал. Да...

— ...Я не понимаю, почему вы стыдитесь документалистики? Это как раз у вас получается. И документалистика сейчас интересует всех... И знаете, почему?

— Потому что нет Льва Толстого, — мрачно отвечал я.

— Ну, можно и так объяснить, — улыбнулась она.

Мы проговорили часа два. Потом она вдруг сказала: «Поужинайте с нами!» Я не знал, как ответить. «Ну, посидите, я сейчас!» — и вышла из комнаты. Потом

вдали я слышал голоса ее, ее мужа. Он — ученый, доктор наук. Потом вошла она и повторила: «Пойдемте поужинаем!» В полустоловой-полукухне был накрыт стол на троих. Здесь же был мальчик лет семи — внук. Молодые были где-то в гостях.

— Юра! — вдруг сказала она значительно мужу, — достань там!..

Он кивнул и достал из холодильника бутылку кубанской водки.

— Ну, что? Мы, наверное, не увидимся до праздника? Давайте выпьем...

Себе она налила немного, а мужу и мне по полной рюмке. Мы выпили.

— Видите, у нас в доме все наоборот, — улыбаясь, сказал муж, — ведь обычно автор понт редактора своих книг, а?

Мы рассмеялись.

— ...А ваша воинская часть, как я поняла еще из той, прежней вещи, стояла на западном берегу озера? Где железная дорога?.. Так?

— Да! А ваша где?

— Рядом, на северном берегу!..

— Погодите, где ж там? Не в бугре?!

— Вот именно в бугре!.. Мы ж были сверхсекретные и скрыты под землей... А наши антенны скрывали сосны, росшие над бугром...

Все правильно, там были сосны! Так не там ли, часто проходя мимо, я видел смуглую девушку в пилотке? Сорок лет назад... Нет, больше, ведь это было в сорок третьем!

— Знали мы, что там, в бугре, находится сверхсекретная часть. Прекрасно знали! Мы, стало быть, с вами почти однополчане?

— И с Юрой тоже. Мы с ним встретились там! Он попал к нам в часть после ранения. Мы были фронтового подчинения.

— Хорошо у вас, — сказал я, оглядывая все кругом.

— Да, но вот приходится уезжать... Отсюда, с Моховой! Нам надоело воевать с соседствующей музыкальной школой: им нужно помещение. Расширяются. Мы сначала подумали так: нас не троют, — тем более, что Юра — инвалид войны. А когда нас не станет? И мы решили уступить, тем более, что новый директор издательства Трофимов принял горячее участие в этом, хлопотал и уверил меня, что нам, взамен этой, дадут не худшее... Признаться, меня это даже удивило: за треть века я не очень-то избалована вниманием администрации, — с юмором закончила она.

Когда что-то должно произойти, то начинается дождь — дождь причин, которые появляются внезапно, чтобы затем объяснить свершившееся. Сперва по капле, потом капли учащаются... В том, что позднее произошло, первой каплей был переезд и все связанные с ним хлопоты.

Хотя, надо отдать справедливость, что ей помогли; издательство хлопотало, и получила квартиру на улице Чайковского, почти у Таврического сада. Чудесное место: она даже не вдруг поверила в это: «Но ведь там дают квартиры лишь генералам!» — удивилась она. «Вы и есть генерал», — сказал директор. Ей даже выхлопотали, — поскольку одна АТС, — чтоб и номер телефона остался прежний!.. Но сам переезд шел на нервах, недаром говорят: два переезда равняются одному пожару.

...Умер автор, книги которого она редактировала много лет; несколько дней ходила мрачная. Между тем прошел юбилей издательства и мой редактор, как старейший работник, получила медаль... К ней пришло и официальное признание. Но поздно, поздно!.. Дождь забот по ремонту новой квартиры — так как, естественно, многое пришлось переделывать — падал на ее плечи. И не потому, что ей не помогали, а потому, что она сильней других воспринимала все события...

Моя повесть уже в переработанном виде лежала у моего редактора.

— Вы предполагаете печатать ее в журнале? — спросила она.

— Да. Такой разговор был.

— Где? В каком журнале?

Я ответил. Она задумалась. Спросила — когда. Но этого я не знал.

— Да, этот журнал стоит того, чтобы пойти даже на сокращения. Однако, если мы выйдем раньше, журнал не будет печатать. Давайте сдвинем сдачу на последний квартал года, а? Согласны? Я так и буду планировать. А вы возьмите пока рукопись назад, посмотрите, я бы советовала сократить чисто бытовые сцены...

Я взял рукопись, последовал ее совету, перепечатал и вновь отдал в издательство. Редактор должна была прочесть ее в окончательном виде и сдать в производство. Сперва читают корректоры, это сложный процесс... Михаил Ефремович уже подготовил оформление. Обложку он сделал прекрасно, я видел ее макет. И поскольку сдача в производство была отнесена на конец года, оставалось ждать. В сентябре я уехал на юг. И вернувшись, позвонил редактору. Телефон не отвечал. Вечером позвонил домой. Трубку взял муж.

— Она не адорва... — озабоченно ответил он.

— Что-то серьезное?

— Нет... Но... Словом, она в больнице. Сердце.

Я просил передать привет и пожелание скорого выздоровления и положил трубку. Хотел было известить своего редактора в больнице, но подумал, что это может быть истолковано так, что я интересуюсь

судьбой рукописи... Зашел в издательство. Теперь оно располагалось в новом, великолепном помещении на Литейном проспекте в доме Некрасова — как раз угол улицы Некрасова. Редакторы получили кабинеты. Все сияло. Вместо драных кресел была новая мебель, мягкая дорожка — в общем все, как полагается.

— Рукопись здесь, — сказал мне главный редактор, — она не подписана вашим редактором. Вы знаете, что она больна... Предынфарктное состояние.

— Да, да... Мне говорили. Что ж, не будем торопиться.

— Да, время есть... Можно сдать в декабрь. Надеюсь, к тому времени редактор ваш уже выйдет на работу.

Прошел месяц. Изменений не произошло. Я зашел в издательство к Михаилу Ефремовичу. Он по обычаю сидел, склонившись над столом. Тоже прошел войну, фронт...

— Видите, как получилось, — грустно сказал он. — Да, сердце... Она всегда все принимала на себя... Она подписала в печать?

— Нет. Но в общем рукопись готова... Просто мы ждали плановый срок.

— А вы узнайте... Может, она даст добро. К ней ездят наши.

— А, ну тогда я, наверное, тоже смогу поехать...

Вечером я позвонил ее мужу. Подумав, он ответил:

— Врачи не рекомендовали расширять круг посетителей. Из издательства у нее бывает лишь один человек, ее давняя приятельница... Вы ее знаете, вероятно... Да, да, она. В отношении рукописи я не в курсе дела.

И я повидался с этой приятельницей и попросил ее узнать, как обстоит дело с рукописью. Но это было позже... Да, точно позже, уже в 1989 году. Болезнь затянулась. Эта приятельница, тоже редактор, обещала узнать. Сказала: «Позвоните мне через несколько дней». За прошедшую неделю я звонил домой моему редактору, желая узнать о ее здоровье. Когда трубка была снята, я услышал лай собаки и уже хотел, было положить трубку, так как у них нет собаки, но услышал голос ее мужа.

— ...Вы знаете, она просила прислать вашу рукопись ей в больницу, — сказал он.

Я стал ждать. Заходил в издательство, в его просторные коридоры. Вот и ее кабинет. Пуст.

— Борис Сергеевич!

Навстречу мне шла та ее приятельница, что бывает в больнице.

— Здравствуйте, как дела там? — спросил я.

— Ну, дела, в общем, я очень... Она просила передать вам, что рукопись еще не готова... Она требует работы.

— Как?

— Рукопись не готова к сдаче. Это мнение редактора. Вашего редактора. Я просто передаю его вам.

Это было сказано строго и непреклонно.

Можно было пойти в больницу, но я же хотел делать это без разрешения родных. И я уехал в командировку.

Когда я вернулся, мой редактор была уже дома, хотя еще и на бюллетене. И она пригласила меня зайти — уже на новую квартиру — на улице Чайковского. Утром, в назначенный день я вошел в дом почти против Таврического сада. Дверь открыл муж.

Моя редактор встретила меня в домашнем платье. Я заметил, что она изменилась, мы не виделись несколько месяцев. На столе лежала моя рукопись.

Я спросил о самочувствии, она ответила, что вполне удовлетворительно.

Начался деловой разговор. Она предложила сократить две главы, мотивируя это их ненужностью. Подумав, я согласился.

Мы еще не закончили разговор, как пришел врач. Хозяйка попросила меня подождать минут пятнадцать, и я вышел в переднюю, уступив место доктору. Когда врач ушел, я вернулся. Взглянул на моего редактора, — лицо ее было совсем темно, она явно была чем-то удручена.

— Что вас так расстроило? — спросил я.

— А, глупости... Врач настаивает на том, чтобы я взяла инвалидность. Зачем? Что мне это даст? Свои сто тридцать два я заработала...

— Так вы не хотите на инвалидность? Чего проще — не ходите на комиссию! Насильно никто вас не заставит... Сухая чепуха... Стоит расстраиваться?!

Потом мы закончили разговор по рукописи и она сказала:

— Ну, так!.. Значит, вы все это сделаете, там работы на полдня. И давайте не тянуть, сдадим завтра, все под Богом ходим, как говорится. Я должна подписать на титульном листе «в набор», и вы тоже. Но это ядро на листе со штампом... Какая досада, что я не предупредила вас!.. Но все равно, завтра, перед тем, как идти ко мне, вы зайдите в издательство, возьмите у наших девочек, знаете, у кого?.. Да, пусть они возьмут чистый лист, поставят на нем штамп издательства, потом заходите ко мне и мы подпишем.

Затем мы невольно заговорили о делах насущных. Все бурлит... Как это не похоже на прежние годы!.. И в то же время — очереди, и чем дальше, тем хуже... Она переживала за Ельцина. («Я прочитала его программу, и что — разумно...») В это время в передней хлопнула дверь, раздался веселый ребячий голос — это вояк вернулся из школы.

Мы, как прежде, поговорили, отводя душу. Раздался звонок в дверь — пришел

курьер из издательства, принес новые рукописи на прочтение.

— Мое издательство полагает, что я буду жить вечно! — воскликнула она, и я почувствовал в ее интонации гордость тем, что ей продолжают слать рукописи на дом. И продолжала: — Это как раз хорошо! А что? Сидеть и предаваться мрачным мыслям?

На следующий день я поехал в издательство, чтобы поставить штамп на титул. Поднялся по мраморной лестнице и увидел в коридоре группы сотрудников.

— ...Вы уже знаете? Она умерла. Сегодня ночью, в больнице, — сказала мне Соня, старшая машинистка. Кругом я ви-

дел грустные лица, знакомые мне десятки лет.

Подошел директор. Были произнесены слова, которые в таких случаях говорят.

— ...А для нас, издательства, это огромная потеря! Ее так ждали авторы. Хорошо хоть вашу рукопись она успела подписать, — сказал он.

— Как? Она не успела!..

— Успела, успела, — повторил он и пошел по коридору.

Было ничего не понятно, но я не стал ни о чем расспрашивать. К чему?

Потом — что? Гражданская панихида в Доме писателя на улице Войнова; цветы, цветы... И строго очерченный профиль покойницы. Умерла она во сне. Легкая смерть. Такую надо заслужить.

Парнас

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ В ОКАЯННЫЕ ДНИ

Кто знает жизнь города лучше, чем редактор местной газеты? Я выдвигаю в архиве ящик-посылку из прошлого, пахнущую клеом и скрывающую время, измеренное жизнью и трудом редактора «Одесского листка» Сергея Федоровича Штерна. Это время называется: фонд Р-156, опись № 1, единица хранения № ... — а дальше дела, дела, различаемые по инвентарным номерам, заголовкам и датам.

Год 1918, декабрь. В это время в Одессе, в доминке, сползающем с обрыва в море, жил Иван Алексеевич Бунин. Усталый и раздраженный. И почерк у него был резкий, с раздраженной буквой «т», словно перечеркнутый знак восклицания.

Открываю дело № 38. На листах 45 и 46, я знаю из путеводителя по архиву, должны быть рукописные стихи Бунина. Листаю. Удивительно и незабываемо бежит по обычной, в голубую линейку, бумаге нервный бунинский почерк с просьбой к редактору: «В том тексте, что Вы мне прислали, я сделал поправки, но думаю, что там их трудно разобрать. Вот вам текст, который и прошу воспроизвести как можно точнее. Ив. Бунин».

Кто, кто уже читал это?! Ко внутреннему сторою обложки подклеен листок использования дела, и я узнаю, что оно просматривалось дважды. Я третья. Жаль, что не первая. Я сразу бы знала, что делать, — проверять! Впрочем, это не поздно.

Кто, когда, где говорил об этих стихах? Одно — «Поэтесса» — вспоминается. Где-то встречала.

Другое стихотворение не знакомо. Постоянно спотыкается на букве «т» — нервное, злое. Отчаянное. Ничего о нем не нахожу. И вдруг в «Окайнных днях»... (Господи, как трудно было их отыскать!) В дневнике, изданном в 1953 году в Лондоне, Канаде, издательством «Заря», на стр. 143 с печальной усмешкой Иван Алексеевич вспоминает: «Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в „Южном рабочем“ (газета меньшевиков, издававшаяся в Одессе до прихода большевиков. — О. И.):

Испуган ты и с похвалой сумбурной
Согнулся вдруг холопски пред варангом...

Это по поводу моих стихов, напечатанных в «Одесском листке» в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов». И это — о стихотворении из дела Штерна, мне повезло! Теперь можно точно продатировать публикацию в «Одесском листке». На листочке, отправленном Буниным Штерну, стоит: декабрь 1918 г. А в «Дневнике» — «...в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов».

Они три дня высаживались, французы, — 27, 28, 29-го. Хорошо бы саму публикацию отыскать. Увы... Многое унес и припрятал этот переломный одесский год.

Надо готовить публикацию. Надо, чтобы строчкой к строчке возвратилась память об этих днях, пусть даже «окайнных», из всех загранич туда, где ей надлежит быть. Если написано в то род-

ным языком, многострадальным — о многом страдании.

Но мне говорят: «Что ты, это непубликабельное стихотворение, и к тому же не лучшее бунинское».

От поэта, покидающего Родину на изломе судьбы, потомки ожидают стихов сателых, а не сомнений, страха и упрека... Вне боли. Чтобы они удобно укладывались в избранные сочинения.

Иван Алексеевич Бунин писал так, как жил и как думал в окоянные свои дни декабря 1918 года в Одессе. Мучаясь. Не принимая. Честно. Ибо лгать не мог.

И боль, и стыд, и радость. Он идет, Великий день, — опить, опить Варягу Вручает обезумевший народ Свою судьбу и темную стагу.

*Довольно слез, что исторгал людей!
Лодь эрмь сжить, равенства и счастья!
Довольно площадных вождей
И мнимого народовластья!*

Ив. Бунин

Письма из прошлого

Вл. КУПЧЕНКО

«А ВСЕ-ТАКИ — СЕВЕР РОДНЕЕ»

Эрих Федорович Голлербах (1895—1942), искусствовед, литературовед и библиофил, был одним из первых, кто мечтал написать отдельную книгу о поэте и художнике Максимилиане Александровиче Волошине (1877—1932). «Я называл бы ее „Pontifex maximus“¹, — писал Голлербах в 1934 году, — потому что освоенным в образе Волошина было нечто жреческое, нечто античное». Еще 21 июля 1920 года Эрих Федорович напечатал в петроградской газете «Жизнь искусства» статью о Волошине «Поэт-ювелир». Личная же встреча произошла только через четыре года...

«Впервые я увидел Волошина весной 1924 года на площади Остроаского, около Публичной библиотеки, — вспоминал Эрих Федорович. — Он шел под руку с женой по направлению к Невскому, по видимому, только что побывав у

Да будет так. Привет тебе, Варяг!
Во имя человечности в Бога,
Сорви с кровавой бойни наглый стиг,
Смири скота, низвергни демагога.

Довольно слез, что исторгал людей!
Под этим стигом «равенства и счастья»!
Довольно площадных вождей
И мнимого народовластья!

Ив. Бунин. 1918 г.

Это, может быть, последнее стихотворение И. А. Бунина, написанное на родной земле. Мы имеем право любить, понимать и знать судьбу и творчество поэта во все времена, а не отредактированный вариант. Судьба и творчество инвариантны.

удалось получить а Госиздате. [...] Я предупредил А. Я. Голованова, что Вы будете а Царском Селе, и он будет ждать Вас а воскресенье, а 12 ч.». 30 апреля Голлербах подарил Волошину — «поэту, художнику, мудрецу — а знак глубокого уважения и любви» — свой портрет работы М. В. Добужинского. А 26 мая, уже после отъезда Волошина в Крым, писал ему вслед: «В Царском часто заходит речь о Вас и Ваших стихах, мы вспоминаем Вас с любовью и благодарностью».

Летом 1924 года Голлербаху не удалось воспользоваться приглашением Волошина посетить Коктебеля. Но в 1925 году такая возможность появилась — и 13 апреля, вместе с Т. И. Хижинской, женой художника, он прибыл туда. 14-го Эрих Федорович написал Волошину только что вышедшие «Воспоминания» А. Г. Достоевской: «Эта книга, сопутствовавшая мне по дороге в Коктебель, пусть войдет в Вашу библиотеку, дорогой Максимилиан Александрович, как малый знак моей большой к Вам привязанности и благодарности»...

В доме Волошина в это время среди гостей находились: Леонид Леонидов с женой, искусствовед А. Г. Габричевский с женой, пианистка М. А. Пазухина с двумя сыновьями. В письмах к мужу в Москву Пазухина упоминала такие события коктебельской жизни: 15 мая Волошин читал гостям свою поэму «Протопоп Авааким», 22 мая — «неизданные стихотворения Вячеслава Иванова»; была общая прогулка к прибрежным гротам Карадага, а затем — на лодке до скалы Золотые ворота. 23 мая Голлербах преподнес Волошину свою книгу «История графюры и литографии в России»: «Максимилиану Александровичу Волошину, вписавшему прекрасные строки в историю русского искусства, с глубоким уважением и любовью». А 26 мая он пишет стихотворение, посвященное Волошину: «Силена стан, апостола осанка...»:

Не аедаю, столетие иль иеделн
Мной прожита в кругу его пенат,
Но память адалеке от Коктебелн
Не раз с тоской оглннется назад,
Чтоб вновь найти, среди киммерийских
кряжей,

На берегу пустынным и нагом,
Как векий храм, хранимый верной стражей,
Наставника гостеприимный дом...

Вернувшись в Ленинград, Голлербах договаривается с И. Г. Лежневым, редактором журнала «Новая Россия», о публикации очерка о Коктебеле. О себе он сообщает 14 июля 1925: «Я „варюсь“ а петербургском зное (который куда менее приятен, чем крымский!), а делах госиздатских и литературных (что — увы — не одно и то же). Редко приходится дышать воздухом леса и полей. А все-таки — север милее, роднее, луч-

ше, — природа благороднее, нежнее, чем а Таариде; простите, если это заучит ие-любезно, — но как мне понятна ялтинская тоска Чехова»...

Волошин отвечает 20 июля: «Дорогой Эрих Федорович, я получил от Вас письмо из Ялты (от 2/VI) и сейчас письмо из СПб от 14/VII и адрес библиофила — и за все горячо благодарю Вас. [...] Ради Бога убедите Лежнева не давать и и к а к о й статьи о Коктебеле, ибо это может быть губительно для всего моего дома и дела. У меня (вернее, у моего имени) слишком много журнальных врагов и всякое упоминание его аызывает газетную травлю».

Опасения Волошина привлечь внимание к летней коммуне, созданной им в своем доме а Коктебеле, были обоснованны. В конце 1923 года журнал «На посту» опубликовал статью Б. Талю «Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина» — политический донос, чреватый серьезными последствиями для поэта. Правда, ответ Волошина Талю был напечатан журналом «Красная новь» (1924, № 1), а его поездка в Москву той же весной и встречи с А. В. Луначарским и Л. Б. Каменевым укрепили его положение. Но попытка отметить в мае 1925-го тридцатилетний литературный юбилей (с той же целью — «укрепить положение Коктебеля и дома») наткнулась на сильное противодействие...

28 июля Голлербах отвечал: «Ваши пожелания я считаю для себя обязательными: если Вы не хотите видеть в печати статью о Коктебеле, она и е появится. Не скрою, что для меня это огорчительно. Статья, кажется, удалась, что случается не часто. Написана она „с размахом“, искренно и горячо. [...] Моя недолгая и горькая романтическая эпопея, кажется, кончилась. Какое блаженное освобождение, — одиночество и тишина! Досуги мои — в зелено-голубом мире царскосельских парков»...

Уезжая из Коктебеля, Голлербах получил от Волошина клише двух экслибрисов, сделанных для него а Париже мексиканским художником Диего Ринарой. 3 сентября 1925 года Эрих Федорович — страстный книголюб, председатель ленинградского Общества библиофилов — послал поэту отпечатки, присовокупляя а письмо: «Я нарочно напечатал их а ограниченном количестве (по 60 экз. кажд., из коих 10 разрешите оставить мне для друзей-коллекционеров, — посылаю всего 100), чтобы сохранить за ними библиофильское значение („редкости!“)».

Только 22 ноября Волошин написал ответное письмо. «Дорогой Эрих Федорович, я не настолько виноват перед Вами, как это может показаться (и самому сейчас кажется) за мое долгое и упорное молчание: не только необычайная люд-

¹ Верховный жрец (лат.).

ность этого лета (400 человек!!) мне мешала, но и болезнь. Я умудрился заболеть в июле полнучим воспалением легких и проболел долго. [...] Празднование моего „юбилея“, не состоявшееся в мае, было приурочено к дню моих именин в августе. Это был как раз день кризиса в моей пневмонии, и я присутствовал в жару и полусознании. Но все прошло очень хорошо»...

В ответном письме от 1 декабря Голлербах писал: «С трепетом читал я Ваши строки о четырехстах пилгирмах: только при Вашем терпеливом, доброжелательном и благодушном отношении к людям можно выдержать такой натиск. [...] Одинокие вечера (в моей петербургской квартире) в окружении книг и эстампов я начинаю предпочитать ненасытной погоде за „короткими и тесными митами“ счастья. Только в одиночестве — „покой и воля“, только в одиночестве — тишина и радость созерцания. Спокойный свет лампы, шуршание книжных листов. Иногда — сумерки театрального зала, завывающий занавес, музыка. Потом — бег сапог по ночным морозным улицам — и снова одиночество и тишина. [...] Вашу записку Иоанну я передал. В Ленгизе у нас сейчас некоторое смятение, ожидается слияние с московским Госиздатом. [...] У меня возникла, как-то „экспромтом“, книга об Алексее Н. Толстом. А. Н. пишет к ней автобиографию». 12 декабря Голлербах писал о намерении поместить во втором сборнике ленинградского Общества библиофилов «воспроизведения четырех адресов» — Волошину, М. А. Кузмину, Академии наук и Русскому обществу друзей книги — и просил прислать волошинский адрес для фотографии.

20 декабря Максимилиан Александрович отвечал: «Дорогой Эрик Федорович, получил оба Ваши письма (1/XII и 12/XII). Последнее — сегодня — и одновременно высылаю Вам просимый адрес заказною бандеролью. [...] „Соблазн одиночества“ имеет большую власть над моей душой. И это не покаянная диета после моих летних человеческих невоздержанностей, а равносильная, очередная потребность. Хотя мы живем с М[арией] С[тепановной] с глазу на глаз и неделями яе видим чужого лица, но все же я мечтаю иногда с завистью о царских казематах Петропавловской крепости, где служители ходили в войлочных туфлях и всегда молча, и при этом прекрасная библиотека! [...] Но все-таки и в Коктебеле нельзя так наслаждаться всею горечью одиночества, как в большом городе. Париж в этом отношении идеален. А Ваши строки заразили меня ядом петербургского одиночества»...

Ваволнованным было письмо Голлербаха от 29 декабря: «Пишу Вам под тяже-

лым впечатлением смерти Есенина, покойнившего самоубийством в ночь с 27-го на 28-е, а номере гостиницы „Интернационал“, где он в последнее время жил. Я только что вернулся из Союза писателей, где происходило прощание с телом Есенина. Никогда не видел я покойника с таким мучительно-трагическим выражением лица, — он похож на древнегреческую маску, выражающую ужас и боль. Он избрал повешение и оттого, вероятно, такое искажение лица (но без синевы и вадутости). Смерть Есенина явилась неожиданностью даже для тех, кто знал все его безумства и буйства последних лет. Особенно потрясены те, кто пестовал его на первых порах, кто адел его а литературу — Клюев, Иванов-Разумник... Сегодня тело Есенина перевозят в Москву. Из письма Вашего усматриваю, что Вы вполне одолели недуг, работаете и, как всегда, исполнены светлой мыслью, окрашенной ласковой иронией. Посылаю Вам крохотную книжечку стихов, в которой Вы найдете и свой портрет, сделанный минувшей весной. По внешности издавне, ао всяком случае, своеобразно: оно сплошь „автографично“ и выполнено цинкографским способом, без набора. К сожалению, по экономическим причинам пришлось ограничиться всего восемью „портретами“ — неизданными. В начале я предполагал поместить а книжке всю серию, включая и напечатанные ранее в различных журналах (напечатаны были: „Белый“, „Розанов“, „Блок“, „Гумилев“, дважды — „Кузмин“ и дважды „Ахматова“).

Голлербах послал Максимилиану Александровичу свою книжечку стихов «Портреты», выпущенную тиражом в сто экземпляров, куда ашло и стихотворение, посвященное Волошину. О своей службе Эрик Федорович сообщал: «В Госиздате, точнее, в Ленгизе, большие перемены, в частности и подомой колеблется почва, не знаю — устою ли... А было бы жалко оставлять любимое дело. Не говоря уже о том, как скверно могут сложиться дела материальные. Чем жить — неизвестно...».

Волошин ответил только через три месяца — 4 апреля 1926 года. Он благодарил за «изящную по изданию и прекрасную по форме книжечку портретов», сожалел, что Голлербах не навестит летом Коктебель, передавал привет Всеволоду Рождественскому. 15 апреля Эрик Федорович пишет в ответ: «Ваша открытка доставила мне большую радость. Часто вспоминаем Вас в нашем кружке (Рождественский, Кривич, Белкин и др.). Кстати, Вы спрашиваете, как отчество Рождественского: Александрович. Адрес его: Рузовская, 2, кв. 6. Л. И. Гирицкий по-прежнему служит в Горсовете; встречаться с ним мне не приходится. А. Я. Головин только что

перенес тяжелую болезнь, у него была водянка, быстро прогрессирующая. Едва удалось спасти его жизнь. С Ленгизом я расстался с большой горечью, потому что любил свою работу. Сейчас Ленгиза уже не существует, он утратил автономию и превратился в Лениотгиз. Работаю сейчас а Производ[ствеиниом] Бюро Академии художеств»...

21 июня Голлербах пишет снова: «Сегодня [...] мы много говорили о Вас с О. Д. Форш, живущей сейчас в Царском, по соседству с нами. Не совсем соглашась с тем портретом Вашим, какой рисует она, я все-таки совершенно поражен „мастерством исполнения“ этого портрета. Другими словами: не совсем то, что в действительности (по-моему), но замечательно похоже».

Волошин не понял, о каком портрете идет речь: «Была ли это устная характеристика или она написала мой литературный портрет?» — спрашивал он в письме от 27 июня. Голлербах отвечал 6 июля: «Портрет был нарисован в беседе, это была блестящая и почти исчерпывающая (насколько возможно „исчерпать“ чужое „я“) характеристика». И рассказывал далее: «В Петербурге — дремота. „Тихо, и будет все тише...“. Приехал на днях из Парижа Бениуа. Но и он не внес оживления в нашу тишу. Был я у него раза два. Несмотря на свой успех у парижан, он настроен как-то

пасмурно. В Царском выдаю Сологуба. Он все время аорчит, ворчит, но по временам озаряется и способен растрогать до глубины души. Рождественский уехал куда-то на юг».

Весной 1927 года Волошин с женой приехал в Ленинград. 2 апреля в его записной книжке появляется пометка: «11. Голлербах ко мне». 14 апреля в Доме печати состоялось открытие выставки волошинских акварелей. На сделанной в тот день фотографии Максимилиан Александрович запечатлен рядом с Голлербахом, А. П. Остроумовой-Лебедевой (сидят) и С. Н. Жарковским, В. А. Рождественским, А. И. Шварцем, Е. С. Кругликовой, Е. И. Замятиным (стоят). В тот же день в «Красной газете» появился отзыв о выставке, написанный Голлербахом, — «Легенда о Тавриде». Он же написал предисловие («Миражи Киммерии») к каталогу.

К осени вышла из печати книжка Голлербаха «Город муз (Детское Село как литературный символ и памятник быта)». Послав ее в Коктебель, Эрик Федорович 21 октября 1927 года запрашивал Волошину о получении. 29-го Максимилиан Александрович отвечал: «Я ее прочел сейчас же, в первый же вечер, и прочел с упоением. Книжки такого рода очень любят и умеют писать французы. Но в русс[кой] литературе это новинка. Ваша тема очень благодарна, и Вы прекрасно использовали все ее выгодные стороны.



Первый ряд: Э. Ф. Голлербах, А. П. Остроумова-Лебедева, М. А. Волошин, Е. И. Васильева; второй ряд: С. Н. Жарковский, В. А. Рождественский, А. И. Шварц, Е. С. Кругликова, Е. И. Замятин. Ленинград, 1927

Портретные абрисы и бытовые черты Вам очень удались»...

К Новому году Волошин послал Голлербаху очередную свою акварель. 19 января 1928 года Эрих Федорович, благодаря за поздравление, писал: «Я сделался почти постоянным жителем Ленинграда. В Царском — пусто, мертво. Кажется, там ничего не осталось, кроме могил и воспоминаний, — по крайней мере, для меня. Головин очень болен, почти не работает, по временам совсем плох. На днях выйдет моя монография о нем, которой я мало доволен — и с внешней стороны (ни одной красочной репродукции!), и со стороны содержания (недостаточно „монументально“). Немножко полемизирую с Вами (по поводу оценки портретных работ Головина)».

Волошин не ответил, лишь через год Голлербах получил от него традиционное поздравление на обороте акварели. В ответ Эрих Федорович благодарил «за прекрасные пейзажи» и задавал ряд вопросов о Головине, чьи воспоминания готовил к печати. Далее — постскриптум: «Вы читали, вероятно, „Дневник“ Блока. Каково Ваше впечатление? Многие мои друзья жестоко разочарованы: „Дневник“ кажется им бессодержательным, даже пошлым. Некоторые считают, что благодаря „Дневнику“, Блок бесповоротно развращен. Я не разделяю этого суждения, но мое впечатление от „Дневника“ тоже довольно безотрадно»... [...] У меня новый адрес (осенью, после женитьбы, я переехал в Ленинграде квартиру): ул. Чайковского (б. Сергиевская), д. 18. кв. 7».

Не дождавшись ответа, Эрих Федорович снова пишет 23 мая 1929 года: «Получили ли Вы весной мое большое письмо с некоторыми вопросами об А. Я. Головине? [...] На днях много говорили о Вас у А. Н. Толстого, ставшего с прошлого года постоянным жителем Ц. Села». Ответа снова нет — и следующее письмо Голлербаха датировано 19 апреля 1930 года: «Дорогой Максимилиан Александрович, — очень давно не имею от Вас „рукописных знаков“: слышал о том, что Вы были больны, что теперь, слава Богу, здоровье вернулось к Вам. В прошлом году был и я очень болен, — три летних месяца навсегда останутся одним из самых кошмарных моих воспоминаний. Сегодня мы похоронили Александра Яковлевича Головина. Вы знаете лучше, чем кто-либо, кого потеряла наша художественная культура. [...] Он похоронен — по мудрой случайности — недалеко от могилы Александра Иванова на Новодевичьем кладбище. Именно Александра Иванова он особенно чтит и ставил его едва ли не выше всех русских художников прошлого века. У нас организуется комитет по увековечению памяти А. Я.; возможно издание сборника, и очень хоте-

лось бы, чтобы Вы приняли в нем участие».

На этот раз ответ не замедлил — а перых числах мая Волошин выражал готовность участвовать в сборнике и пояснял: «Я не писал Вам потому, что в декабре у меня был удар и я 1/2 года не мог писать. Теперь я, кажется, уже совсем оправился». 30 июня Голлербах уведомлял Волошина: «По поводу сборника о Головине все еще ведутся переговоры с Госиздатом, о результатах сообщу. Пошлю Вам свою новую книжку». Возможно, речь тут идет о втором издании «Портретов», но в том же 1930 году в Нью-Йорке вышла еще одна книжка Голлербаха, изданная Марией Бурлюк, — «Искусство Даида Д. Бурлюка».

Без ответа остались последние два письма Голлербаха к Волошину. Одно, от 18 мая 1932 года, он послал с оказией — с В. А. Рождественским и художником С. М. Пожарским. Выражая надежду приехать осенью «в дом отдыха Литфонда», Эрих Федорович подчеркивал: «Две недели, проведенные мною в Коктебеле в 1925 г. — для меня незабываемы». Возвращаясь к доске волошинских акварелей, он писал: «Рад был бы присоединить к этому что-нибудь из моих последних работ, но, к сожалению, среди них нет таких, которые могли бы считаться „самобытным открытием“, т. е. чем-то значительным и характерным для автора: это, большей частью, мелкие „заказы“, сделанные „без божества, без вдохновения“. Ограничиваюсь посему посылкой программы библиофильского вечера памяти Гете и составленного мною (анонимно) альбома сегодняшних архитектурных проектов. Больше всего занят сейчас своим произведением, носящим гордое и ответственное имя — Александр»...

25 мая Голлербах послал Волошину поздравительную открытку ко дню рождения. А 11 августа того же года Максимилиан Александрович скончался... Вскоре, на собрании ленинградских художников, посвященном памяти поэта, Голлербах выступил со «словом» о нем, закончившимся так: «Всегда верный самому себе, неутомимый в творчестве, неистощимый в познании, щедрый в дружбе, бережно хранящий „закон святого ремесла“, — ты шел путем неустанный восхождения над временным и тленным».

28 ноября Эрих Федорович писал А. Н. Толстому в Детское Село: «Дорогой Алексей Николаевич, группа друзей М. А. Волошина затевает сборник памяти покойного. У нас есть статьи Радлова, Остроумовой-Лебедевой, Кругликовой, моя и стихи — Брюсова, Шервинского, Рождественского и др. Нам очень хотелось бы иметь Вашу статью — хотя бы 2—3 страницы»...

К сожалению, задуманный сборник не был осуществлен — как и книга о Волошине, о которой мечтал Голлербах. А вот мечта о поездке в Коктебель осуществилась: в сентябре 1934 года Эрих Федорович навестил Дом поэта и его могилу. Тогда же, по просьбе М. С. Волошиной, он

написал краткие воспоминания о поэте. В собрании Голлербаха был целый ряд портретов Волошина — и сам он запечатлел его в технике силуэта. Этот силуэт был помещен в июньском номере «Невы» за 1986 год.

Перечитывая старые письма

Б. СУРИС

ПРОЩАНИЕ С ТЫРСОЙ

Как-то позвонил мне Иаан Иванович Харкевич — художник еще довоенного поколения:

— Я тут перебираю старые бумаги, нашел письмо ко мне Николая Андреевича Тырсы. Времен начала войны. Не интересно ли вам?

— Конечно! — воскликнул я. — Условимся скорее о встрече.

Я давно занимаюсь Тырсой, опубликовал о нем несколько работ, пишу монографию. Письмо! Это очень важно. Документов, связанных с Тырсой, в общем не так уж мало, а вот собственные его письма редки. Тем более относящиеся к войне — вообще единственное.

И вот оно в моих руках. Не письмо даже, а, скорее, записка.

Поначалу я немного разочаровался, — на первый взгляд оно показалось не Бог весть каким содержательным. Но потом понял, сколько всего стоит за ним, если ачитаться.

Вчитаемся же.

Что касается самого Николая Андреевича Тырсы, то о нем можно говорить нескончаемо.

«Для художника творчества — это вся его жизнь», — произнес однажды Тырса, и это не было фразой, как и в другой раз, когда он, заполняя какую-то из анкет, на вопрос, сколько лет работает художником, ответил: «Всегда».

Творческая личность активная, динамичная, яркая, редкостно разносторонняя — таким был Тырса на всем протяжении своего пути.



Н. А. Тырса в дни блокады. Ноябрь 1941. Фото В. В. Стрекалова. Публикуется впервые

За ним слава одного из первоклассных рисовальщиков своего времени, станкоаниста и иллюстратора. Его имя мы называем среди имен ближайших соратников В. Лебедева, создателей современной художественной книги для детей. Из его рук вышло множество произведений, писанных акварелью и маслом, и их удивительный, специфически «тырсовский» колорит, утонченный и богатый, — непреходящей ценности до-

стояние отечественной живописной культуры. Но во всем этом еще не весь он. В молодости он занимался декоративными росписями интерьеров в петербургских особняках, затем участвовал в оформлении города к первым революционным праздникам. В поздние годы выступил одним из реформаторов нашего художественного стеклотеления, начинателем массового литографского ампла. На протяжении всей жизни преподавал. Кипучей была его деятельность в стенах Ленинградского Союза художников, одним из членов-учредителей которого он являлся...

Однако вернемся к письму.

Предварительное замечание: в письме речь идет о выставке.

Надо сказать, довоенные годы не были щедры на персональные выставки художников. Первая — она осталась и последней при жизни — выставка Тырсы открылась в залах Русского музея роано за неделю до начала войны — 15 июня 1941 года.

Вернисаж собрал массу народа. Не только художников; один из присутствовавших вспоминает среди публики С. Маршака, М. Зощенко, Д. Шостаковича, О. Форш, Г. Уланову.

Открывая выставку, заместитель директора музея Г. Е. Лебедев сказал о «виновнике торжества»:

«Мажорный строй его жизнеутверждающего искусства направлен в будущее»². Искусствовед В. Петров вспоминал позднее: «В залах выставки постоянно была толпа. Даже для тех, кто хорошо знал и любил творчество Тырсы, выставка стала откровением. (...) Мы почувствовали величину масштабов художника и покоряющую силу его таланта».³

Но... Выставка просуществовала всего несколько дней. 23-го музей закрылся, началась подготовка фондов к эвакуации.

Тырса, подобно многим, был уверен, что беда скоро минет, враг будет разбит быстро и «малой кровью».

Он адресуется приятелю, который уже мобилизован и направлен в действующую армию.

И. И. Харкевичу
20 июля 1941 г.

Дорогой Иван Иванович, Ваши работы еще у меня в мастерской, но надеюсь на днях сдать их на хранение в те помещения Русск[ого] музея, где с завтрашнего дня будет сохраняться моя выставка — это нижний этаж Р[усского] м[узея] в том здании, где была моя выставка.

Разумеется, сейчас нет речи о каких бы то ни было выставках.

Свою я подробно переписал, наклеил на каждую работу особый ярлык с моей печаткой и номером, и теперь всю выставку сняли и вещи в рамах, не раскантовывая, оставляют в указанном помещении до того дня, когда снова можно будет открыть выставку. Это мне обещано Р[усским] м[узеем], и в залах даже шнуры остались висеть на своем месте, так что в один день можно будет все восстановить.

Пакет с Вашими работами сдам в Русск[ий] муз[ей] под расписку, и

сможете их получить в сохранности, когда понадобится.

Борис Семенов не в городе, адреса не знаю и кроме того, что он в армии, сообщить ничего не могу.

Вчера взял [в армию] Тамби. «Боевой карандаш» продолжает работать, издательство «Искусство», со своей стороны, печатает плакаты. Некоторые товарищи работают для этикеток и упаковок, которые постепенно принимают вид военного времени, с соответствующими изображениями и лозунгами. Эта работа, как Вам известно, перешла к ЛОСХу из Торговой палаты,⁴ а теперь за нее взялся Хигер,⁵ который всем этим и руководит.

В городе все нормально. Редкие воздушные тревоги не доставляют нам не только хлопот, но даже и развлечения. Все проходит пока очень благополучно.

Разумеется, очень чувствуется сокращение профессиональной работы и перестройка жизни на военный лад.

Самое существенное, конечно, — информации с фронта, которыми и живем. Буду рад, если станете иногда сообщать о себе, как живете. Желаю Вам удачи и здоровья.

Н. Тырса

Особенно впечатляюще тут, пожалуй, пресловутые «шнуры», воспринимающиеся неким символом надежды. Но вошедший в поговорку оптимизм Тырсы, к несчастью, не оправдался. Ни «шнуры», ни, увы, сам художник не дождался конца войны.

Поначалу в осажденном городе Тырса не сбавлял своей активности. Он делал иллюстрации к детским книжкам, тематически созвучным происходящему («1812 год» Дениса Давыдова, «Осада мельницы» Э. Золя), пробовал делать открытки с баталь-

ными сюжетами («Атака торпедных катеров»), свой опыт и энергию принес в «Боевой карандаш», где выпустил два плаката. Один — «Урожай» — привычного сатирически-лубочного характера. Другой — «Тревога» — по стилистике необычен и для «Боевого карандаша», и для Тырсы. Это своего рода героический пейзаж, каких прежде не знало искусство художника. В последний раз предстал тут нежно любимый им Ленинград. Патетичны и сумрачный колорит листа, и торжественная картинность композиционного строя, и обостренные контрасты света и мрака. Новую трагедийную красоту увидел художник в облике города, где даже памятники классического прошлого стали насторожены и грозны. Город-крепость, город-воин дает отпор врагу.

Плакат оказался последним произведением Тырсы; он был отпечатан и выпущен в свет уже посмертно.

Блокадная зима далась Тырсе крайне тяжело.

Осенью, подобно многим представителям ленинградской художественной интеллигенции, он нашел приют в армитажном бомбоубежище.

Приведем отрывок из неопубликованных записок художника М. А. Григорьева⁶. «В подвалах Зимнего дворца устроены бомбоубежища. Там светло, пока еще тепло и дают кипятки. Кроме того, старинные толстые своды поглощают звук, и ничего не слышно: ни sireны, ни зениток, ни разрывов бомб. Получил пропуск в бомбоубежище № 5... Это длинная сводчатая полутруба, похожая на выделенную римскую Сьюса Махима.⁷ Внутри сделаны топчаны, принесены раскладушки, тюфяки, подушки. Отдельные семьи отгородились ванавесками. Что-то вроде бесконечно вытянувшейся

ячлежки из „На дне“ Горького. Электричество часто выключают. Тогда зажигают огарочки и копилки всех систем; лица освещены по-рембрандтовски, на сводах колеблются огромные тени. Много знакомых художников, скульпторов, архитекторов, искусствоведов. Вспоминается Н. Н. Пуния⁸, зеленый, небритый, растерянный и испуганный. И его жена, Марта Андреевна⁹, хрупкая пепельная блондинка, похожая на Гретхен из „Фауста“, которая вывезла из Ленинграда старуху-мать, вернулась в осажденный город под бомбежками, а сейчас тушит пожары и вытаскивает пострадавших из-под обломков в качестве рядового бойца МПВО. Н. А. Тырса рассматривает какой-то фолиант при свете копилки и похож на истощенного постом Пимена».

А вот отрывок из воспоминаний художника В. И. Курдова¹⁰:

«...Начинался голод. Тырса был вместе с нами. Он не жалел себя: дежурил на крыше, работал не покладая рук в холодной литографской мастерской. Мы получали тарелочку дрожжевого супа, прозрачного, как слеза. Тырса похудел, осунулся и ослаб. Но одно было неизменно в нем — душевная сила, твердая вера в победу и будущую мирную жизнь. Он часто говорил о счастье, которое будет после войны: „Только бы дожить!“ — твердил он.

Однако физических сил оставалось с каждым днем все меньше, и Николай Андреевич решил эвакуироваться.

Через Ладогу на Кобону отправлялся последний возможный эшелон. Я простился с Николаем Андреевичем в Союзе за час до его отъезда...

Тырса как-то весь уменьшился. Худенький, в валенках, в завязанной ушанке, с рюкзачком на

плечах. Впервые увидел я его печальным и грустным.

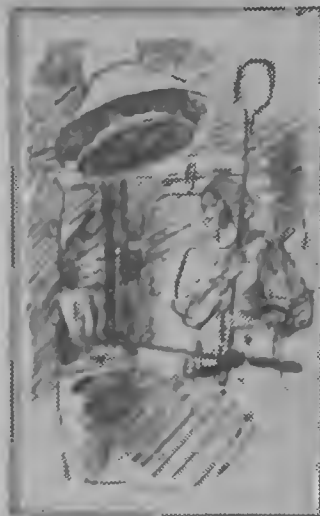
Мы обнялись. Я передал ему письма на Большую землю. Он сказал, что взял с собой краски, захватил и любимый им офорт Пикассо, единственный в России. Вот и все».

Дополнительные штрихи — в блокадных дневниковых записях Г. Е. Лебедева.¹¹ Под 11 апреля 1942 года читаем:

«Сегодня узнал о смерти Николая Андреевича Тырсы. (...) Накануне эвакуации... [он] приходил ко мне прощаться. Ирония его растворилась в дыме „временки“, элегантная грассировка — в 125-граммовом хлебом пайке. Без тени улыбки он уверял меня, что страстно любит сливочное масло и без масла жить не может.

— Это наиболее реальный импульс, побудивший

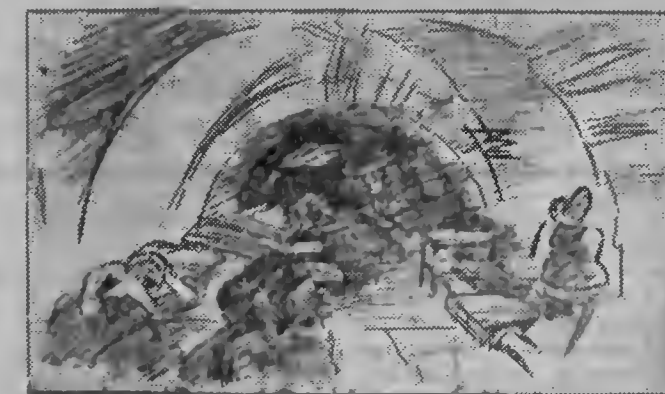
меня к эвакуации. И кроме того, у меня такое желание работаты Везу с собой лучшие краски. Уж вы, Георгий Ефимович, позаботьтесь о моих вещах.



Н. А. Тырса. Ленинградка-литейщица. Рисунок. Осень 1941. Публикуется впервые



Н. А. Тырса. В бомбоубежище. Рисунок. Осень 1941. Публикуется впервые



Н. А. Тырса. В бомбоубежище. Рисунок. Осень 1941. Публикуется впервые

Выставка его работ, которой я был участником инициатором и в которой принимал самое деятельное участие, была прервана войной. Все картины остались у нас в музее. Когда рядом со двором упала фугасная бомба, а выставочный корпус Бенуа раскололся надвое, пришлось а лютый мороз, шатающийся от слабости, переносить все его картины и рисунки в другое крыло здания. Об этом Николай Андреевич не знал: я берег его нервы. (...) Уже стоя у двери, он глухо говорил о том, что его поездка будет не длительной, что хорошо было бы поселиться нам в одной квартире, что общую кухню можно было бы отделать а голландском духе:

— Знаете, такой большой камин, а на стенах — китайский фаянс и старенькие [одно слово а тексте отсутствует. — Б. С.].

На нем были неуклюжие, разбившиеся валенки. Апостольская борода поседела. В фигуре что-то обреченное, жертвенное».

То было начало конца. Измученный перенесенными лишениями, Тырса не выдержал трудностей пути и умер по дороге, в госпитале в Вологде. Это случилось 10 февраля 1942 года.

Вещи, находившиеся с ним, пропали бесследно. Местонахождение могилы установить не удалось.

Что же касается «шнура»... Персональная выставка Тырсы была возобновлена в Ленинграде пять

лет спустя — а мае 1946 года, но не а музее, а а залах Союза художников.

О том, как воспринималось сразу после войны творчество Тырсы, говорит статья Владимира Михайловича Конашевича, напечатанная тогда в «Ленинградской правде»: «Это жизнеутверждение, эта твердость духа — не случайное явление, не личное только качество художника, сказавшееся в его работах: это черта национальная. Это наша сила. С ее помощью мы перенесли все ужасы войны, с ее помощью мы разгромили врага».¹²

Статья была озаглавлена: «Творчество, полное оптимизма».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Семепов Б. Ф. Тырса рядом с нами. — «Нева», 1987, № 10. С. 176.

² Лебедев Г. Е. Блокадные мемуары. Цитир. по экземпляру авторской машинописи, находящемуся а Секторе рукописей Государственного Русского музея, ф. 100, ед. хр. 484.

³ Петров В. И. Из «Книги воспоминаний». — Памятники искусства, вып. 3. М., 1980. С. 129—130.

⁴ В 1939—1941 годах Тырса по поручению ЛОСХа помогал организовывать при Ленинградском отделении Торговой палаты сектор рекламы и торговой пропаганды, агдавший промграфикой, и состоял здесь консультантом художественного совета.

⁵ Хигер Юфим Яковлевич (1899—1955). Занимался книжной иллюстрацией, промграфикой. Перед войной председатель графической секции ЛОСХа.

⁶ Григорьев Михаил Александрович (1899—1960) — художник театра. Рукопись его военных записок — у Л. М. Григорьевой (Ленинград).

⁷ «Большая клоака» — канализационное сооружение Древнего Рима, историческая достопримечательность.

⁸ Пуин Николай Николаевич (1888—1953) — художественный и общественный деятель, критик, историк и теоретик искусства, музейный деятель, преподаватель. Война застала его профессором Всероссийской Академии художеств. В начале 1942 года тяжело больным был эвакуирован а Академией в Самарканд.

⁹ Голубева Марта Андреевна (1909—1963) — искусствовед, преподаватель той же Академии.

¹⁰ Цит. по рукописному варианту воспоминаний В. И. Курдова, входящего у автора настоящей публикации.

¹¹ Цит. по источнику, указанному в примеч. 2.

¹² «Ленинградская правда», 1946, 21 мая.

Петербург. Петроград. Ленинград

А. ИВАНОВ

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

Любой вечерний город несколько загадочен. Ленинград — особенно, он меняет свой облик по самым разнообразным причинам, зависящим не только от времени года и суток, но и от состояния погоды. Еще Козьма Прутков

утверждал: «Некоторые образом непостоянства аставляют мужчину, другие — женщину; но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с тем, ни с другим; ибо всего переменчивее петербургская атмосфе-

ра!». А сколько стихов написано о наших фонарях! И все-таки, наверное, лучше всех знал и любил их Александр Блок. У него они то «мигают», то «мерцают», то «качаются», то бросают «светлый и упорный луч», то выстраиваются в «убегающий ряд», сливаясь в «желтые полосы».

Когда же город на Неве впервые осветил свои улицы? Кто и когда создал те прекрасные фонари, которыми мы любимемся и поныне? Кто зажигал и тушил их в далекие времена и кто это делает сегодня?

История уличного освещения Петербурга начинается 23 ноября 1706 года, когда праздновалась победа русских войск над шведами под Калишем. Вечером по приказу Петра на фасадах домов четырех улиц, выходящих к Петропавловской крепости, были развешаны вынесенные на помещенный фонари. С перенесением а 1712 году столицы в Петербург вопросы строительства и благоустройства города астали особенно остро: Петр I не желал, чтобы его столица уступала а чем-либо европейским. Осенью 1718 года возле его Зимнего дворца, на месте нынешнего Эрмитажного театра, были установлены уже четыре стационарных фонаря, изготовленных по проекту архитектора Ж.-Б. Леблана, а а 1721 году петербургский генерал-полковник А. М. Девьер, в соответствии с приказом Петра «завести а городе регулярное уличное освещение», просил Сенат выделить на освещение улиц 21436 рублей 90 копеек. В эту сумму аходили стоимость 595 фонарей, годичный расход на конопляное масло, фитили и содержание фонарщика. Много это или мало? Судите сами: стекло для фонаря стоило 11 рублей 92 копейки, тогда как фунт ржи — 1 копейку, овца — 35 копеек, теленок — полтора рубля, а строители петровского «Парадиза» за шестнадцатичасовой рабочий день получали три копейки.

С великими трудностями эти 595 фонарей были все же установлены к концу 1723 года на главнейших магистральных новой столицы. Располагались они на расстоянии пятидесяти сажен один от другого и горели не более пяти часов а сутки, «только в темные часы по присылаемым из Академии о темных часах табличкам», — так было сказано в сенатском указе.

Внешний облик тогдашнего фонаря — полосатый деревянный столб, кронштейн, светильник — оставался на протяжении целого века без изменений: на него аозлагалась единственная, чисто утилитарная функция — освещать место вокруг себя. Отсюда — простота и целесообразность. Те фонари, конечно, не сохранились. Но описание их можно найти в книге известного петербургского историка XVIII столетия Г. Георги: «Освещение главней-

ших улиц предписано было Петром Великим; мало-помалу начали также асвещать и прочие улицы. Для сего имеются по оным деревянные голубую и белую краскою выкрашенные столбы, из коих каждый на железном пруте поддерживает шарообразный фонарь, спускаемый на блоке для чистки и наливания масла...». К этому следует добавить, что столб был четырехгранным, а железный прут изогнут а анде латинской буквы «S». К верхней части прута и крепился а помощью простейшего блока шарообразный светильник. Такую форму он имел потому, что в России тогда еще не умели делать плоское стекло.

Изготовление такого стекла возросло к середине XVIII века, а это позволяло делать светильники самых разнообразных форм. И тут зодчие вспомнили древнее искусство русских кузнецов: каркасы для фонарей стали ковать из железа, придавая им от трех до восьми граней. Их ставили только возле некоторых памятников и особняков: освещать улицы фонарями ручной работы было бы асьма накладно. Мы и сегодня любимые шестигранными растреллевскими фонарями-подвесами на цепях в подъездах Эрмитажа, изумительными по рисунку шестигранными бра на кронштейнах, украшающими фасады Никольского морского собора, созданного С. И. Чевачинским, скромными фельетоновскими бра при входе в Старый Эрмитаж.

В конце XVIII века а столице развернулись большие работы по архитектурному благоустройству набережных Невы, многочисленных рек и каналов. Через многие из них перебрасывались мосты. Для их облицовки архитекторы использовали гранит — материал долговечный и красивый. Из него же вырубали и опоры для фонарей. Особое внимание было тогда уделено Фонтанке, Мойке и Екатерининскому каналу (ныне канал Грибоедова). Через них а конце XVIII — начале XIX веков было построено несколько каменных мостов, украшенных красными фонарями, своим внешним видом резко отличающимися от старых.

В 1780—1789 годах на Фонтанке появились семь однотипных мостов с четырьмя гранитными башнями на каждом. Два из них: мост Ломоносова (бывший Чернышев) и Старо-Калинкин служат нам по сей день. Со временем фонари этих мостов пришли а ветхость и были сняты. В 1912 году архитектор И. А. Фомин создал для Чернышева моста новые фонари в стиле конца XVIII столетия. Они так органически слились с архитектурой моста, что теперь только специалисты знают о том, что они отлиты и установлены здесь а начале нынешнего века.

В 1783—1787 годах через Екатерининский канал были построены Мало-Ка-

линии, Аларции и Пикалова мосты — каждый с четырьмя четырехгранными гранитными обелисками, увенчанными бронзовыми золочеными шарами. На металлических кронштейнах к обелискам прикреплены матовые светильники: на Мало-Каликином — шарообразные, на Аларциом и Пикаловом — овальные. После капитального ремонта в 1983—1984 годах на Пикаловом мосту поставили светильники нового типа — матовый опрокинутый усеченный конус с металлической крышкой наверху. Пока что это кошество смотрится несколько необычно — очень уж эти фонари изныли для тяжеловесных гранитных обелисков. Однако уже сейчас видно, что они прекрасно гармонируют со стрельчатой колокольней Никольского собора.



Фонарь на Поцелуевом мосту. 1808—1816.
Автор — инженер В. И. Гесте

Светили масляные фонари тускло, часто гасли, да к тому же были еще и небезопасны для прохожих. Н. В. Гоголь в повести «Невский проспект» остерегал: «Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что ок зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом». Масляные фонари просуществовали в Петербурге более века, их видели Пушкин и Лермонтов, Белинский и Некрасов, Чернышевский и Достоевский... В 1794 году их насчитывалось 3400.

Но вот пришел XIX век. Уже почти столетие с наступлением темноты на центральных магистралях Петербурга зажи-

гались уличные фонари. И хотя садили они плохо, петербуржцы очень ими гордились: не так уж много было тогда в России, да и в Европе, городов с уличным освещением.

Однако на фоне великолепных зданий, воздвигнутых к тому времени в столице, полосатые деревянные столбы уличных фонарей стали восприниматься как нечто изуродованное, портящее «строгий, стройный вид» столицы. Гранитные же опоры были слишком дороги.

По-видимому, последний пример их использования — Красный и Поцелуев мосты через Мойку, сооруженные в 1808—1816 годах по проекту инженера В. И. Гесте: как и на мостах Екатерининского канала, их устои украсились четырехгранными гранитными обелисками с бронзовыми шарами наверху, хотя светильники с матовыми стеклами здесь совсем иные — четырехгранные опрокинутые усеченные пирамиды. Поэтому задумавшись в те годы в Петербурге, пришлось задуматься над тем, как привести уличные фонари в соответствие с коими архитектурными ансамблями. Решение было весьма простым — аконь обратились к искусству русских литейщиков прошлых веков, непревзойденных мастеров отливки пушек, колоколов, решеток.

Сейчас трудно сказать, кто из архитекторов начала XIX столетия первым применил чугун для отливки фонарных столбов. По-видимому, к такому решению одновременно пришли многие. А вот об авторе первых чугунных фонарей, установленных на Невском проспекте в 1820 году, мы знаем из заметки столичного журналиста П. П. Свистункина, опубликованной в журнале «Отечественные записки»: «50 фонарей с рифлеными (рефлекторами. — А. И.), привешенных к чугунным столбам изящной фигуры, — отлитых на заводе г. Кларка по рисункам инженера генерал-майора Базека, — будут разливать яркий свет на всем пространстве улицы (имеется в виду участок от Мойки до Фонтанки. — А. И.). Каждый из сих столбов имеет 3 сажени в высоту и постамент из гранитного пьедестала вышиною около 7 1/2 аршин».

Скажем прямо: утверждение о том, что новые фонари «будут разливать яркий свет», — некое преувеличение. О каком ярком свете могла идти речь, когда в этих новомодных фонарях горело все то же конопляное масло! Однако сам факт появления чугунных опор весьма примечателен — фонари теперь стали произведением искусства, неслучайным элементом архитектурного убранства улицы, площади, набережной, моста, дворца или собора, из предмета сугубо утилитарного они сделались неслучайной деталью архитектурного убранства города, или, как

теперь говорят, архитектурой малых форм.

К сожалению, эти базевские фонари давно утрачены, как, впрочем, и большинство петербургских уличных фонарей прошлого и начала нынешнего веков. Они сохранились в основном только на мостах, возле памятников, дворцов, церквей и особняков.

Познакомимся поближе с фонарями близ Марсова поля, где уже в 1830 году сложился художественно цельный ансамбль мостов, тесно связанных с окружающей природой и архитектурой соседствующих зданий. На юго-западной его окраине в 1828—1829 годах инженеры Е. А. Адам и Г. И. Треттер построили два моста через Мойку и канал Грибоедова — Малый Конюшенный и Театральный. Оба декорированы одинаковыми невысокими чугунными торшерами на прямоугольных гранитных основаниях. Каждый торшер венчает чугунная чаша, в которой лежит матовый шарообразный светильник, закрытый чугунной крышкой. Проект оформления этих мостов выполнил К. И. Росси в 1824 году.

В нескольких сотнях метров вниз по течению Мойки в эти же годы Адам построил Большой Конюшенный мост. Он тоже украшен изящными чугунными торшерами со светильниками, но уже четырехгранными, также созданными под руководством Росси.

Но особенно органична связь архитектурного убранства окружающих зданий с 1 и 2-м Инженерными мостами, сооруженными в 1828—1829 годах в непосредственной близости от Инженерного замка. В те годы в нем размещалось Главное военно-инженерное училище. Эти мосты — своеобразные памятники Отечественной войны 1812 года. Свидетельством тому служат примененные в их оформлении воинские доспехи: щиты, мечи, шлемы, копья, боевые топоры. По мысли их создателей (они проектировались и строились уже упомянутым инженером П. П. Базеком при активном участии К. И. Росси), эти мосты должны были напоминать грядущим поколениям о ратных подвигах русских воинов, «покрытых славой чудесного похода и вечной славой двенадцатого года». Прекрасны на этих мостах и фонари. Их композиция исключительно проста, изящна и оригинальна: на гранитной прямоугольной тумбе — ствол в виде пучка из шести скрещенных копий, схваченных посередине веком, а на верхних концах копий укреплен шестигранный застекленный светильник. Так тема победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года нашла свое выражение не только в сооружении таких величественных памятников военной славы, как Нарвские ворота, Арка Главного штаба, Александровская колон-

на, но и в скромном архитектурном убранстве петербургских мостов.

Возле Инженерного замка есть еще два моста с фонарями и решетками из воинских доспехов: Садовый через Мойку к мосту Пестеля через Фонтанку. По первому впечатлению, они созданы одновременно с Инженерскими — очень уж их фонари похожи на фонари 30-х годов прошлого столетия: основания — гранитный прямоугольник, ствол — санзика из восьми вертикально поставленных копьев с римским штандартом посредине. В центре ствола с лицевой и тыльной сторон на скрещенных коротких мечах укреплен щит с головой Медузы-Горгоны. Шестигранный сужающийся книзу светильник подвешен на стреле, укрепленной перпендикулярно стволу. Это общие элементы композиции. Но есть и различия: на Садовом мосту щит ромбовидный, на мосту Пестеля — овальный; на Садовом — в центре венка, венчающего штандарт, амплитирована пятиконечная звезда, на мосту Пестеля — на вехе сидит двуглавый орел. Ну чем не фонари первой трети XIX века! В действительности же они перестраивались в 1907—1912 годах Л. А. Ильиным (в 1925—1938 годах он был главным архитектором Ленинграда) и тогда же получили это архитектурное оформление: автор последовал примеру П. П. Базена.

А вот еще один пример — пример участия К. И. Росси в создании фонарей. В 1825 году военный инженер Лебедев перестраивал наплавной Троицкий мост, названный после этого Суворовским, потому что в 1818 году по проекту Росси на левом берегу Невы была образована Суворовская площадь с памятником в центре. По совету зодчего капитан Зуев создал проект фонарей для моста с композицией из воинских доспехов. В 1897 году, в связи с началом строительства постоянного Троицкого моста (ныне Кировский) на месте наплавного, десять фонарей перенесли на нынешнюю площадь Революции, где они стоят и поныне. В 1975 году их отреставрировали, а еще раньше, в 1951—1952 годах, копии суворовских фонарей украсили самый первый петербургский мост — Иоанновский, соединяющий площадь Революции с Петропавловской крепостью (авторы проекта А. Л. Ротач и Г. Ф. Перлина). По количеству установленных на нем фонарей этот мост не имеет равных: его длина 75 метров, а на нем стоит 9 пар фонарей двух типов. Основание у них одинаковое — чугунная прямоугольная коробка. Светильники тоже одинаковые — опрокинутая усеченная пирамида, закрытая матовыми стеклами. А вот стволы разные. Ствол первой пары (при въезде с площади) — пучок из восьми копий, в центр которого вставлен римский штандарт, увенчанный двугла-



Фонари на Иоанновском мосту. 1825.
Автор — капитан Зуев

вым орлом. К средней части пучка с лицевой и тыльной сторон прикреплены перекрещивающиеся короткие мечи, а на них наложены щит с головой Медузы-Горгоны. Светильник подвешен на стреле. Таких фонарей шесть пар. Ствол второй пары фонарей — пирамидальный чугунный обелиск, увенчанный металлической каской с высоким шипом. На средней части обелиска, как и на первой паре, укреплены мечи и щиты с головой Медузы-Горгоны. Так же укреплен и светильник.

Сохранились в нашем городе и подлинные российские фонари, спроектированные им самим. Два из них стоят перед фасадом Академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Когда-то их насчитывалось здесь тридцать шесть, и они были вмонтированы в ограду сквера, разбитого К. И. Росси перед театром. Точно такие же фонари стояли и возле Елагина дворца. К сожалению, до наших дней они дошли уже в искаженном виде: на одних утрачены детали, на других стволы, сохранились лишь основания и светильники...

Уличные фонари создавали и скульпторы. Например, академик П. П. Соколов, автор знаменитой «Девушки с разбитым кувшином» в Екатерининском парке города Пушкина. В 1830-х годах он одновременно оформлял три моста: Банковский и Львиный через канал Грибоедова и Египетский через Фонтанку. На Бан-

ковском мосту с помощью специального фигурного кронштейна шарообразный светильник укреплен над головой каждого из четырех грифонов, сидящих попарно на устоях. На Львином только два фонаря в центре — невысокие торшеры, увенчанные восьмигранным расширяющимся кверху светильником. Египетский мост, рухнувший в 1905 году при проходе через него войск, спешивших для расправы с питерским пролетариатом, был восстановлен в 1955 году. Архитекторы П. А. Арешев и В. С. Васильковский в оформлении его использовали отдельные детали, созданные Соколовым. К сожалению, не были восстановлены шестигранные светильники, укрепленные на кронштейнах над головами всех четырех сфинксов, лежащих попарно на устоях моста.

В середине прошлого века в Петербурге был построен первый постоянный мост через Неву — Николаевский (Благовещенский). Фонари для него создал прапорщик Д. Цветков. С 1918 года мост носит имя героя первой русской революции лейтенанта Шмидта. Во время перестройки моста в 1936—1938 годах четыре фонаря перенесли на Марсово поле и установили возле Памятника героям революции и гражданской войны, добавив к ним еще двенадцать, отлитых по их образцу. Сейчас в шестигранных светильниках установлены темно-оранжевые стекла, что придает по вечерам Марсову полю особо торжественный вид.

Говоря об архитектурном убранстве города первой половины XIX века, следует обратить также внимание на фонари Демидова моста через канал Грибоедова. Есть не подтвержденные архивными данными сведения, что автором их является выдающийся русский архитектор В. П. Стасов.

К тому времени улицы Петербурга освещались уже фонарями совершенно новых типов, о каких Петр не мог и мечтать. В 1835 году было создано «Общество освещения газом Санкт-Петербурга», на набережной Обводного канала построившее газовый завод, а на улицах установившее 204 газовых фонаря. Газовое освещение, хоть и обходилось в пять раз дороже масляного (уголь для получения светящего газа привозили морем из Англии), было несомненным шагом вперед — газ горел значительно ярче масла. Неудивительно, что новинку встретили с восторгом. «Когда проезжаешь вечером по Морской (ныне улица Герцена. — А. И.) и Невскому проспекту, освещенным газом, душе как-то весело! Лишь только миновал перекресток, где начинается Литейная и Владимирская, как будто свалился в яму — фонари, кажется, показывают только место, где должно быть освещение», — свидетельствует современник.

Высокая стоимость газового освещения заставила химиков искать горючее дешевле, и в 1849 году в Петербурге появились уличные фонари со спирто-скипидарной смесью. Они излучали не столь яркий свет, как газовые, зато обходились не так дорого, этим и объясняется их сравнительная популярность. В 1858 году в городе было 4426 спирто-скипидарных фонарей, 936 — газовых и 3132 — масляных.

В начале 1860-х годов в Петербурге появился весьма предприимчивый американец, венгр по национальности, по фамилии Шандор. С непостижимой легкостью он получил от городской Думы откуп на освещение столичных улиц керосином, который тогда, кстати сказать, называли минеральным маслом. 1 августа 1863 года на улицах Петербурга зажглись шесть тысяч керосиновых светильников, и с этого времени масляное и спирто-скипидарное освещение стало достоянием истории.

В 1870-х годах в России почти одновременно изобретаются два вида электрических ламп, пригодных для практического освещения, в том числе и уличного. В 1872 году отставной офицер А. Н. Лодыгин подал заявку и два года спустя получил в России патент на лампу накаливания с угольной нитью. Однако в России эти лампы долго не находили применения: развитие техники в стране не позволило в те годы наладить их массовое производство. Лодыгину приходилось делать их в домашней мастерской кустарным способом. Чтобы привлечь к своему изобретению внимание ученых, общественности, промышленников, он решает показать свою лампу прямо на улице. И вот летом 1873 года в петербургских газетах появилось сообщение о том, что «11 июля на Одесской улице, на Песках, будут показаны публике опыты электрического освещения улицы». Как отмечали современники, в тот вечер массы петербуржцев, кто на извозчике, кто пешком отправились на далекую в те времена Одесскую улицу. «Вдруг из темноты, — вспоминает очевидец, — мы попали на улицу с ярким освещением. В двух фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, излучающими яркий белый свет». Собравшиеся с восторгом и удивлением любовались «этим огнем с неба», «светом без огня». Многие принесли с собою газеты и сравнивали расстояние, на котором можно было читать при свете керосинового фонаря и лампы накаливания. Нужно ли говорить, что сравнение было не в пользу керосина!

Изобретение Лодыгина получило высокую оценку русских ученых, в 1874 году Петербургская Академия наук присудила ему Ломоносовскую премию. К сожалению, триумф лампы накаливания на родине на этом и завершился. Не получив

поддержки ни у правительства, ни у промышленников, Лодыгин вынужден был уехать сначала в Европу, а затем в Соединенные Штаты.

Сходная судьба постигла и другого русского изобретателя, П. Н. Яблочкова, создавшего дуговую лампу, которую во всем мире называли «свечой Яблочкова». Ему было отказано не только в инаживании производства этих «свечей», но и в выдаче патента. Изобретатель уехал во Францию. За рубежом «свечи Яблочкова» имели небывалый успех. Они осветили театры и улицы Парижа, развалины римского Колизея, улицы и площади Лондона. «Русский свет» вспыхнул даже во дворце короля Камбоджи и гареме персидского шаха.

Столь блистательный триумф «свечи Яблочкова» вынудил все же царское правительство и русских промышленников обратить на нее свое внимание. Яблочкова пригласили в Петербург, и в начале 1879 года он показал свое изобретение на наплавном Дворцовом мосту через Неву. Весной, во время ледохода, Дворцовый мост разобрали, а фонари перенесли на площадь перед Александринским театром (нынешняя площадь Островского). Газеты того времени писали: «Освещение началось в 9 часов вечера 14 апреля. Первые три дня освещение продолжалось до 12 часов вечера, а с 17 апреля по 2 мая всю ночь... Ежедневно от 10 до 12 часов показывали публике опыт мгновенного тушения и зажигания электрических фонарей, причем публика предвзялась об этом свистками...».

Эффект этих опытов был настолько очевиден, что в 1881 году в Петербурге было создано товарищество «Электротехник», предложившее городским властям на свои средства организовать освещение Невского проспекта «свечами Яблочкова». Незначительным большинством голосов городская Дума приняла это предложение (против него выступали хозяева керосиновых и газовых компаний, имевшие долгосрочные договоры на освещение улиц русской столицы — газом в центре и керосином на окраинах). Товариществу выделили место возле Казанского собора для строительства электростанции. Но неожиданно против электричества выступило духовенство: «святые отцы» посчитали, что такое строительство — не что иное, как осквернение святыни, а следовательно, противно Богу. Спорить с Синодом городские власти не решились, и дело едва не зашло в тупик. Но на выручку пришли энтузиасты во главе с инженером-технологом А. А. Троицким и будущим изобретателем радио А. С. Поповым. Они предложили смонтировать электростанцию на речной барже, поставив ее возле Полицейского (ныне Народного) моста через Мойку. 30 декабря 1883 года

на Невском проспекте от Большой Морской улицы до Фонтанки вперемежку зажглись тридцать две «свечи Яблочкова».

15 января 1884 года «Правительственный вестник» сообщал: «Сила света электрических фонарей, расположенных на Невском проспекте, равняется 1500—2000 свечей. Первая проба электрического освещения Невского проспекта производилась 24 декабря 1883 года, причем были пущены в дело все тридцать два фонаря, расположенные по освещению проспекта. 25 декабря проба освещать только одну половину улицы; оказалось, что и этого половинного количества достаточно для удовлетворительного освещения».

(Сравним: а наши дни суммарная мощность трех ламп, установленных на одной столбе, составляет 1500 ватт, а таких столбов от Адмиралтейства до площади Александра Невского насчитывается более двухсот.)

И все-таки, несмотря на явное преимущество электрического освещения над всеми другими, внедрение его шло поначалу очень медленно: на пороге XX века улицы столицы освещало всего 213 электрических фонарей, а в 1916 году из 15 тысяч уличных фонарей только три тысячи были электрическими.

Сегодня город освещают более 120 тысяч фонарей.

Совсем недавно. Совсем давно

Н. ЖЕРВЭ

ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ ВО СЛАВУ

Если спросить новгородцев, знакомо ли им имя Василия Степановича Передольского, большинство ответит отрицательно. А ведь современники считали его «пионером по исследованию археологии Новгорода» и были убеждены, что «будущий историк города отдаст ему самую почетную страницу». Книжки Василия Степановича «Бытовые остатки населения волховского-ильменского побережья новгородского великодержавства» и «Новгородские древности» давно уже стали библиографической редкостью, а сведения о его жизни и трудах надежно покоятся в архивных папках с документами семьи Передольских.

Сын дьячка, родившийся 26 декабря 1833 года в Передольском погосте Лужского уезда, Василий Степанович должен был тоже стать священником, но случай резко изменил его судьбу. После окончания гимназии Передольский поступил на юридический факультет Петербургского университета. Юрист по образованию, а по призванию — историк, археолог, антрополог,

краевед, он посвятил почти шестьдесят лет жизни изучению древностей новгородского края, поискам древних памятников и созданию музея на основе этой коллекции.

Увлечение историей началось еще в гимназии. В обшаренных подвалах и на затянутах паутиной чердаках — повсюду Василий Степанович обнаруживает старинные рукописи, грамоты, книги. Перед ним открылся удивительный мир прошлого. А равнодушие к прошлому своей земли Передольский всегда считал признаком грубости и необразованности.

В середине XIX века на глазах у изумленных россиян археология превратилась в интереснейшую, увлекательную науку. Открытия Буше де Перта, Эванса, Локбока и других европейских исследователей увлекли Василия Степановича и на эту стезю. Более полутора лет он набирался опыта и знаний во Франции, Германии, Англии, а вскоре по возвращении в Россию оставил службу в Министерстве внутренних дел и переселился в Новгород, где дея-

тельность адвоката соединил с изучением и коллекционированием древностей, отдавая явное предпочтение последним.

В 1888 году произошло событие, ставшее этапным в археологической деятельности Василия Степановича. В шести верстах от Новгорода, в местности Коломцы, почти напротив Перынского скита, им были открыты следы обширного поселения человека каменного века. Только обследование поверхностного слоя дало около двух тысяч различных предметов: осколки костей, черепков посуды, наконечников стрел, кремневых ножей, скребков. Начавшиеся вслед за этим раскопки увеличили за последующие десять лет коллекцию Передольского до шести-десяти тысяч единиц.

В 1889 году была организована первая выставка коломецких находок в Археологическом институте в Петербурге, после чего Василий Степанович избирается его почетным членом, а два года спустя становится сотрудником.

Коломские открытия открыли исследователя, и в 90-е годы он осуще-

ствляет раскопки в черте самого Новгорода. Об интересе к деятельности Передольского и к его коллекции древностей свидетельствует хотя бы то, что в 1888 году на основании его описи директор Археологического института отметил ценность и значительность этого собрания, «единственного не только в России, но и Европе». Но большой успех и широкая известность пришли к Василию Степановичу после его участия в нескольких крупных выставках: в Археологическом институте (1889), на VIII археологическом съезде в Москве (1892), на выставке в Николаевском дворце в Петербурге (1893), на франко-русской выставке Красного Креста в Петербурге (1900).

А в 1894 году по инициативе в при актианом участии Передольского в Новгороде создается общество любителей древностей — с целью изучения памятников старины в пределах Новгородской губернии и наблюдения за их сохранностью, сбора, описания и хранения остатков старины, проведения раскопок, разбора рукописей. Но препятствия местных властей помешали расширению деятельности общества. Особенно возмущали Передольского, его председателя, случаи варварского расхищения и продажи церковниками старинной утвари, «поновление» древних фресок, разрушение старинных зданий (таких, как Евфимиева палата и Ярославова башня, и стены и башни «Детинца»). С болью и негодованием писал он о плачевном состоянии коллекции Земского музея, основанного в 1865 году Н. Г. Богословским, и Публичной библиотеки Новгорода, открытой в 1880 году.

В середине 90-х годов и его собственной коллек-

ции стало явно тесновато в отведенных ей помещениях. Научные учреждения (например, Императорская Археологическая комиссия) не раз предлагали передать экспонаты в их ведение, но «упрямый новгородец» желал видеть их выставленными именно в Новгороде, «а не в столицах или других больших городах, где скучено множество собраний всевозможных блестящих, ласкающих изнеженный глаз зрителя изяществом предметов искусства и художественного творчества». Выделить же казенное помещение в Новгороде для музея Передольского местные власти не считали возможным и, словно в насмешку, предлагали занять одну из башен «Детинца» — грязную, сырую, использовавшуюся как отхожее место.

И тогда в 1900 году собиратель решает на последний шаг: на взятые займы деньги он строит двухэтажный деревянный дом на углу Ильинской и Николаевской улиц, против церкви Филиппа Апостола. Строительство закончилось лишь к следующей зиме. В первом этаже дома разместились коллекция, во втором — жила семья Передольских. Хозяин любил сам встречать посетителей, охотно и обстоятельно показывал, рассказывал. За два только года музей посетило более двух тысяч человек. Свободный доступ к обозрению экспонатов предоставлялся новгородцам по воскресеньям, а приезжим гостям — в любой день, когда хозяин бывал дома. Появление этого музея стало заметным событием в культурной жизни Новгорода.

Долгие часы просиживал Василий Степанович за разборкой и изучением своих экспонатов. В рукописях дошли до нас его труды, посвященные прошлому Новгорода и его памятникам: «Новгородский

„Детинец“, „Ярославово дворище“, „Богатырские века полочного славянства“. Однажды Передольский простудился в плохо отапливаемом помещении первого этажа, где работал, сильный бронхит перешел в воспаление легких, и в марте 1907 года он умер.

О могиле Василия Степановича Передольского помнят лишь немногие старожилы Новгорода да сообщают скудные строки архивных документов: у двух лип в ограде церкви Филиппа Апостола, с северной стороны от алтаря был похоронен «кроавный новгородец», не сдававшийся до последних дней и убежденный, что его работа — на благо любимого города и Отечества!

После смерти Передольского начались споры между его детьми — Надеждой, Ольгой и Владимиром о разделе наследства. Денежного состояния не было — только предметы древности, книги, дом. Основная часть коллекции досталась Владимиру — антропологу, преподававшему в Петербургском университете, но он, в отличие от отца, не стремился сделать коллекцию всеобщим достоянием.

В 1920 году отдел по охране, учету и регистрации памятников искусства и старины Новгородской губернии произвел осмотр собрания Передольского, и ввиду его большой ценности было решено передать его в ведение Новгородского губернского музея. Тогдашний директор Новгородского губернского музея Сергей Михайлович Смирнов вспоминает, что Владимир Васильевич Передольский встретил комиссию крайне нелюбезно, отказался предоставить какие-либо описи коллекции, а когда началась регистрация вещей, обнаружилось отсутствие многих достаточно известных к тому времени ценных экспонатов, например собрания новгородских гривен,

части бумаг из архива графа Аракчеева и других. Основная часть коллекции перешла все же в ведение новгородского Исторического музея, но была в 1941 году вывезена немецкими оккупантами...

Сейчас в фондах Новгородского государственного музея лишь около пятисот

экспонатов из нескольких десятков тысяч, а в составе книжного фонда — более восьмисот книг, принадлежавших Передольскому (судя по архивным данным, библиотека Василия Степановича составляла свыше пяти тысяч томов). Дом Передольского — одна из немногих уцелевших

после войны в Новгороде деревянных построек начала XX века — а плачевном состоянии. Радует, однако, то, что в последнее время дирекция музея проявила серьезный интерес к своему забытому земляку, решен вопрос о восстановлении дома и размещении в нем экспозиций.

Антресоли

Билл САТТОН

СРЕДСТВО ОТ НАРЫВОВ

Предлагаемый вниманию читателей рассказ был опубликован в новозеландском журнале «Ферифаер». В этом журнале публикуются рассказы и очерки на медицинские темы и большие статьи — врачи по специальности. Билл Саттон, написавший этот рассказ, работает в одной из клиник Веллингтона. Печататься начал в начале шестидесятых годов.

И за что на свете не допущу больше ни единого нарыва. Да я лучше на любое испытание соглашусь, готов выиграть в лотерею потерять, только бы сяова яе пройти через все эти муки! И не потому, что я слабак, — совсем нет; ведь нарывы — ерунда. Лечение их — вот что меня докояло.

Первым был дядюшка Джим. Угрозидило же меня сказать ему про свой нарыв и что я собрался в клинику. Дядюшка на это снисходительно улыбнулся; потрогав нарыв на моей руке, он с видом знатока заявил:

— Малыш, нарывы — это как раз то, в чем я разбираюсь: раствори чайную ложку соли в стакане воды и принимай три раза в день. И поверь, твой нарыв умрет естественной смертью.

Конечно, я знал, что дядя — дока по части игры в карты, кегли, разведения цветов; но и подумать не смел, что он отважится вторгнуться в область медицины. Но когда у человека нарывы, он готов на все, лишь бы полегчало! Так вот я и лечился по его методу два дня: в результате — еще один нарыв и страшная жажда.

К тому времени о моих злоключениях прослышала тетка Джоан. Она явилась ко мне и прямо с порога начала:

— Ну и насмешил: поверил этому старому дурню Джиму! Да что он смыслит в нарывах? Он в этом деле полный профан! Младенцу известно, что единственное средство избавиться от нарывов — шесть раз в день натирать их луком.

Не успел я опомниться, как тетка вернулась из кухни с нарезанным луком и провела первый сеанс лечения.

«Ладно, — подумал я, — почему бы не рискнуть. Терять мне ячего — разве что собственную руку».

Луковая терапия длилась всего один день. Вместо того, чтобы лишиться нарывов, я лишился нескольких друзей. Стоило мне приблизиться к кому-нибудь из приятелей, чтобы пригласить на кружку пива или просто перемолвиться словечком, как я ловил на себе выразительный взгляд: «Неужто его лучшие друзья не подскажут ему...» И тут же выяснялось, что друг спешит на важную деловую встречу.

Тетушка признала себя побежденной, только когда число нарывов утроилось.

Появление новых нарывов прибавило мне решимости, и я собрался было идти к врачу, но тут кто-то позвонил. Едва я открыл дверь, как в комнату ворвался Гарри Хокинс по прозвищу Везунчик — конюх с ипподрома. Таких типов, как Везунчик Гарри, вам, думаю, доводилось встречать. Если он ставит дыхание лошадей и лечит их лошадиные болячки, то уже считает себя крупным специалистом и по всем человеческим болезням, ну и нарывам — как в моем случае. Ни слова не говоря, Гарри толкнул меня в кресло.

— Пластырь — то, что надо, — захрипел он мне в ухо. — У меня тут все под рукой. Помнишь ту старую кобылу Ласточку, что пару лет назад отхватила кубок? За два дня до скачек у нее вся шкура была а нарывах. Владелец хотел снять ее с дистанции. Приготовил я смесь — вот эту самую, смазал нарывы, а остальное ты сам знаешь — она за просто всех обошла.

Он говорил и одновременно со знанием дела намазывал нарыва на моей руке смесью, выглядевшей весьма подозрительно. Затем он перебинтовал руку, хлопнул меня по плечу и исчез.

«Ну что ж, — подумал я, — что Ласточке полезно — сгодится и для меня».

Часом позже я понял, почему Ласточка взяла кубок. От такой страшной боли не только человек, но и лошадь помчится быстрее ветра. С таким раздражителем я бы запросто выиграл чемпионат мира по бегу — на любой дистанции. Я торопливо сорвал бинты: нарыва были на месте, а вот приличного куска кожи не хватало.

«Ну теперь-то даже если путь в клинику мне преградит наводнение, пожар, эпидемия чумы — меня ничто не остановит», — сказал я себе.

Но человек существо слабое, и меня остановил не пожар и не наводнение, а огорожник Фред. Его садик был как раз на полпути между моим домом и клиникой. Черт меня дернул ему поклониться.

— Слышал, у вас появились нарывы? — начал он.

Я попытался перевести разговор на другую тему, но не тут-то было.

— Все дело, понимаете ли, в диете, — продолжал он как ни в чем не бывало. — Взять, к примеру, эскимосов. У них диета почти исключительно мясная, а они, представьте, единственная нация, которая никогда не воевала. Я-то, правда, не считаю, что мясная диета поможет избавиться от нарывов. Держу пари, вам нужна тертая морковь. Трижды в день.

И прежде чем успел сообразить, что делаю, я уже с бессмысленным видом шагнул обратно, держа в здоровой руке огромный пучок моркови. Соблюдая морковную диету, я, может, и впрямь избавился бы от нарывов. Правда, неизвестно, что произошло бы раньше — выздоровление или смерть от недоедания.

Поздно ночью, чтобы избежать встречи с назойливыми тетками, дядями, конюхами, морковоедами, я добрался, наконец, до больницы...

Через неделю меня вылечили.

Перевел с английского
Александр БРАНСКИЙ

ДЖОРДЖ С. КАУФМАН

ПОЖАР

Джордж С. Кауфман (1889—1961) — один из самых оригинальных представителей американской бытовой комедии. Он автор нескольких пьес, написанных в содружестве с различными драматургами. Самая знаменитая — первая его комедия «Далси» (1921), написанная в соавторстве с М. Коннелли. Ее сатирическая направленность, как полагают, больше рассчитана на восприятие серьезным зрителем, нежели на посетителей бродвейских залов.

За этой пьесой последовали другие — «Нищий на коне», «О тебе пою», «Кадиллак из чистого золота», тоже быстро завоевавшие популярность. У себя на

родине Дж. Кауфман известен также и как постановщик, и как ведущий телевизионных передач. А его литературная деятельность принесла ему Пулитцеровскую премию 1937 года.

Комедия «Пожар», предлагаемая читателям «Новы», — пожалуй, наиболее характерный образец писательской манеры Дж. Кауфмана. Основанная на фарсовой ситуации, она отмечена незатейливостью развития интриги и своеобразным «кауфманским» юмором. Прочтенная (или сыгранная) так, как того требует автор, пьеса запомнится как весьма необыкновенное происшествие, случившееся при обыкновенных обстоятельствах.

(Существенное замечание: важно, чтобы в продолжение всего действия актеры играли подчеркнуто вежливо и спокойно, как в английской салонной комедии. Никто ни разу не повышает голос; каждая фраза произносится так, будто это приглашение выпить чашку чая. Если этому указанию не следовать, то пьеса теряет всякий смысл.)

Сцена представляет собой гостиничный номер. На заднем плане — два окна и кровать между ними. Рядом с кроватью на столбике телефон; шкаф — с другой стороны кровати. Справа — дверь, ведущая в коридор, около двери стоит стул. Слева — дверь в другую комнату; воле нее — маленький столик и два стула.

На сцене Эд и Боб. Когда занавес поднимается, Эд надевает пальто. Оба стоят у двери, ведущей в коридор.

Эд. Ну что ж, Боб, очень рад был тебя видеть снова.

Боб. И я был рад тебя видеть.

Эд. Ты так редко бываешь в городе, что у меня совсем нет...

Боб. Ну, ты и сам знаешь. Командировка есть командировка.

Эд. В следующий раз обязательно заходи к нам.

Боб. Хотелось бы выразиться. Но в этот раз я был просто привязан к гостинице.

Эд. Понимаю. Ну что ж, кланяйся Эдит.

Б о б (вспоминая что-то). Кстати, Эд. Погоди-ка.
 Э д. Что там у тебя?
 Б о б. Я тут хотел показать тебе кое-что. (Подходит к столу, достает из ящика чертежи.) Ты знаешь, что я собираюсь строить новый дом?
 Э д (подходит к столу). Дом?
 Б о б. Самый настоящий дом! (В дверь стучат.) Войдите! (Разворачивает чертежи.) Я их только что получил.
 Э д (присаживается). Очень интересно! (В дверь снова стучат — на этот раз громче. Мужчины поворачиваются к двери.)
 Б о б. Входите. Да входите же!
 К о р и д о р н ы й (входит). Мистер Барклай?
 Б о б. Да?
 К о р и д о р н ы й. Я должен кое-что передать мистеру Барклаю лично.
 Б о б (подходит к мальчику). Я мистер Барклай. Слушаю.
 К о р и д о р н ы й. Гостиница горит, сэр.
 Б о б. Что, что?
 К о р и д о р н ы й. Гостиница горит.
 Э д. Эта гостиница?
 К о р и д о р н ы й. Да, сэр.
 Б о б. И что — сильно горит?
 К о р и д о р н ы й. Кажется, что да, сэр.
 Э д. Значит, она может сгореть совсем?
 К о р и д о р н ы й. Мы думаем, что да, сэр.
 Б о б (присвистывает от удивления). Да-а! Надо выезжать.
 К о р и д о р н ы й. Да, сэр.
 Б о б. Так, значит, и сгорит, а?
 К о р и д о р н ы й. Да, сэр. Если вы подойдете к окну, то сами можете увидеть.

Боб подходит к окну.

Б о б. Да, сильно горит. Хм. (Эду.) Послушай-ка, на это стоит посмотреть...
 Э д (подходит к окну и выглядывает в него). Огонь добрался уже до этажа, который прямо под нами.
 К о р и д о р н ы й. Да, сэр. Нижняя часть гостиницы уже почти дотла сгорела, сэр.
 Б о б (выглядывает в окно; смотрит вверх). А там, наверху, все в порядке. (Оборачивается к мальчику.) Пожарным уже сообщили?
 К о р и д о р н ы й. Не знаю, сэр. Я всего лишь коридорный.
 Б о б. Нужно непременно вызвать пожарную команду (кивает головой, будто его осенила блестящая мысль). Позвоните им, скажите, как называется эта гостиница...
 Э д. Погоди-ка. Можно сделать лучше. (Коридорному.) Позвони шефу и скажи ему, что тебя просил позвонить Эд Джеемисон. (Бобу.) Мы с ним вместе в школу ходили.
 Б о б. Просто замечательно. (Мальчику.) Смотри, ничего не перепутай. Скажи шефу, что мистер Джеемисон просил тебя позвонить.
 Э д. Эд Джеемисон.
 Б о б. Да, Эд Джеемисон.
 К о р и д о р н ы й. Да, сэр. (Поворачивается, собираясь уходить.)
 Б о б. Да! Мальчик! (Достает из кармана горсть мелочи; отбирает одну монетку.) Вот, возьми.
 К о р и д о р н ы й. Спасибо, сэр. (Уходит.)

Эд садится за стол, закуривает сигарету и бросает спичку на ковер, но потом наступает на нее ногой. Минутная пауза.

Б о б. Да-а! (Подходит к окну и выглядывает в него.) Скоро придется съезжать отсюда.
 Э д (направляясь к окну). Как там, не лучше?
 Б о б. Да, пожалуй, хуже. Скоро огонь и до нас доберется.
 Э д. А какой это этаж?
 Б о б. Одиннадцатый.
 Э д. Одиннадцатый. Отсюда и не выпрыгнешь.
 Б о б. Нет. Ни за что не выпрыгнешь. (Отходит от окна и направляется к шкафу.) Что ж, пора собираться. (Достает чемодан.)
 Э д (разглаживая чертежи). А кто их для тебя сделал?
 Б о б. Один знакомый — его зовут Ролнна. (Складывает рубашку.) Мне надо бы позвонить в какую-нибудь другую гостиницу насчет номера.
 Э д. Я думаю, ты устроишься.
 Б о б. Бывает, что это не просто сделать. (Неожиданно поднимает ногу и внимательно рассматривает подошву ботинка.) Смотри-ка, пол уже совсем горячий.

Э д. В самом деле. Да и в комнате что-то душно. Уф! (Осматривается, будто ищет что-то, и подходит к телефону.) Алло. Принесите воды со льдом в номер одиннадцать-восемнадцать. (Подходит к столу.)

Б о б (стоит около кровати). Вот и хорошо. (Упаковывает вещи.) Знаешь, если я переберусь в другую гостиницу, то не смогу получать почту. Все знают, что я остановился здесь.

Э д (изучая чертежи). А что, неплохо.

Б о б (с радостью). Тебе нравится? (Вспоминая о своих горестях.) А если я остановлюсь в другой гостинице, а там тоже пожар, тогда что?

Э д. Все равно надо попытаться.

Б о б. Знаю, но здесь я чувствую себя как-то увереннее. (Звонит телефон.) Будь добр, Эд, сними, пожалуйста, трубку. (Идет к шкафу и возвращается назад.)

Э д (подходит к телефонному аппарату). Конечно. (В трубку.) Алло... Ну, разумеется. Это будет просто прекрасно. Что? Погодите-ка. (Бобу.) Там внизу пожарники, и они хотят зайти в этот номер.

Б о б. Пусть заходят.

Э д (в трубку). Хорошо. Поднимайтесь. (Вешает трубку, подходит к столу и садится на стул.) Что-то теперь произойдет.

Б о б (выглядывает из окна). Слушай, а народу-то на улице сколько собралось!

Э д (рассеянно, рассматривая чертежи). Может, там что-то произошло?

Б о б (выглядывает снова, в руке держит чемодан). Нет. Скорее всего, они прослышали о пожаре. (Стук в дверь.) Войдите.

К о р и д о р н ы й (входит). Прошу прощения, мистер Барклай, прибыли пожарники.

Б о б. Приглашай их. (Подходит к двери.)

Открывается дверь. Появляются два Пожарника в полной амуниции. Первый Пожарник держит шланг и плащ, в руке второго — скрипка в футляре.

Первый Пожарник (извиняющимся тоном). Мистер Барклай?

Б о б. Да, я мистер Барклай.

Первый Пожарник. Мы пожарники, мистер Барклай. (Снимают шляпы.)

Б о б. Здравствуйте.

Э д. Здравствуйте.

Б о б. Рады вас видеть, весьма. Извините, что в комнате беспорядок, но...

Первый Пожарник. Не беспокойтесь. У вас тут очень домашняя обстановка.

Б о б. Позвольте представить моего друга, мистера Эда Джеемисона...

Первый Пожарник. Очень приятно.

Э д. Очень приятно. (Второй Пожарник кивает.) Я знаю нашего шефа.

Первый Пожарник. Правда? Он знает шефа, нашего распрекрасного шефа. (Второй Пожарник хихикает.)

Б о б (в смущении). Я полагаю, вы, друзья, хотите приступить к работе?

Первый Пожарник. Да, если вы не против. Нам тут нужно немного побрызгать.

Б о б. Вам помочь?

Первый Пожарник. Да, будьте добры. (Боб помогает ему надеть плащ. В это время Второй Пожарник, не говоря ни слова, кладет футляр на кровать, раскрывает его, достает скрипку и начинает ее настраивать.)

Б о б (глядя на него). Я не совсем понимаю.

Первый Пожарник. Видите ли, Сид не может много репетировать дома. Иногда во время пожара, когда мы ждем, что вот-вот обвалится стена или еще что-нибудь в этом духе, случается, что пожарнику совершенно нечего делать, и лично я с удовольствием наблюдаю, как он самосовершенствуется в музыкальном плане. Вы, надеюсь, не против? Вы ведь не антимузыкальны?

Б о б. Разумеется, нет... (Боб и Эд понимающе кивают; Второй Пожарник тем временем канифолирует смычок.)

Первый Пожарник. Простите... (Решительно направляется к окну. Судя по всему, он готов приступить к делу.)

Б о б. Отличные ребята.

Э д (также подходит к окну). Ну как, горит?

Первый Пожарник (доурачивается до стены). Совсем скверно. Стена скоро обвалится, но она упадет туда, поэтому все в порядке. (Выглядывает в окно.) Эту стену можно поддерживать только из соседней комнаты. (Подходит к двери в левой стене. Когда Эд проходит мимо Боба, тот показывает галстуки.)

Э д (рассматривая галстуки). Роскошные галстуки!

Первый Пожарник (Бобу). У вас есть ключ от этой комнаты?

Б о б. Нет, конечно. Она мне не нужна. Мне и этой комнаты достаточно. (Говоря, складывает рубашку.)

Эд. Да, здесь очень уютно.
Первый Пожарник. Ах, черт! Я кое-что задумал, мне бы только попасть туда. А кстати, нельзя ли воспользоваться вашим телефоном?
Боб. Конечно, пожалуйста. (Эду.) Ты не мог бы это поддержать? (Указывает на шланг.)

Эд. Да, но как это сделать?
Первый Пожарник. А вы подлезьте под него. (Показывает, как это делается.) Благодарю вас. (В трубку.) Алло. Администратора, пожалуйста. (Второму Пожарнику.) Сыграй-ка нам ту штучку, которую ты играл, когда сгорело здание суда. (Снова в трубку.) Вы слушаете? Это один из пожарников. А, вы уже знаете, что мы здесь... Я в номере... в-э... (Смотрит на Боба.)

Боб. Одиннадцать-восемнадцать.
Первый Пожарник. Одиннадцать-восемнадцать, и я бы хотел попасть в другую комнату... Ага, отлично. Не могли бы вы прислать кого-нибудь с ключом? Что, никого нет? Ну что ж, отлично! Пока. (Вешает трубку.)

Боб. Вот и прекрасно. (Пожарникам.) Может, вы присядете?

Первый Пожарник. Благодарю вас.

Эд. Сигару?

Первый Пожарник (берет сигару). Премного благодарен.

Боб. Огня?

Первый Пожарник. Да, пожалуйста.

Эд (не находя спичек). Боб, у тебя нет ли спичек?

Боб (подходит к столу). Да где-то тут были. (Ищет в карманах.)

Первый Пожарник. Прошу вас, не беспокойтесь. (Подходит к окну, высматривается из него и появляется снова с дымящейся сигарой. Боб подходит к шкафу; закрывает дверцу. Второй Пожарник стучит смычком по скрипке.)

Первый Пожарник. Мистер Барклай, мне кажется, он готов.

Боб. Извините.

Все садятся. Второй Пожарник выходит на середину сцены; ведет себя как скрипач, готовящийся к выступлению. Гаснет свет; печально поет скрипка.

Перевел с английского И. БОГДАНОВ

Эгон Эраи КИШ

ТАТУИРОВАННЫЙ ПОРТРЕТ

По вечерам, когда все затихало и внешнего налета поверяющего можно было уже не опасаться, я покидал свою одиночку и шел в караульное помещение гауптвахты, где после целого дня сидения в четырех стенах собирались арестанты из разных камер — на людей поглядеть, себя показать, новостями обменяться, а то и в картишки переброситься. Без шума, без драки, все солидно, все пристойно.

Однако стоило появиться среди нас некоему ефрейтору, литографу полковой канцелярии, как настрой наших сборищ резко изменялся. Новый арестант во всеуслышание поносил «старое свиное рыло», которое «за сущий пустяк» завело на него уголовное дело. Под «сущим пустяком» новичок подразумевал свою «невинную» проделку: изготавливая литографию приказа полкового командира, он вписал в него имя своего приятеля и тем собственноручно произвел его на капралов в фельдфебели.

— Подумаешь, дело, — горячился он, — друга своего я назначил! Да он, если хотите знать, в десять раз лучший фельдфебель, чем все, кого назначил сам

полковник, это вонючее свиное рыло!

Литографа бесила не только несправедливость, но и черная неблагодарность полковника.

— А и-то, лопух, сколько я этой свиной харе одолжений сделал!

— Ты делал полковнику одолжения?

— А то нет: квартиру ему размалевал, меню к обеду постоянно разрисовывал, а его жене — увеличил портрет отца. Теперь он висит в рамке в их спальне, а и сижу здесь под арестом — нечего сказать, уважили! Эх, выбраться бы мне только снова на «гражданку», уж я бы сумел ему соли под хвост насыпать, борозу этому жирному.

Арестанты радовались: слушать, как костерят начальство, да еще столь бурно, с угрозами — всегда приятно. Сам я видел полковника лишь дважды. В первый раз — когда нас приводили к присяге. Во второй — я стоял на часах у ворот казармы, а он прошествовал мимо, бросив на меня презрительный взгляд и не ответив на мой лихой бросок винтовкой «на караул». Да и то сказать, кто я был такой — всего лишь одногодичник-вольноопреде-

ляющийся и для него, кадрового офицера, стоял на самой низшей ступени зоологического развития.

Как мы узнали в первые же часы учебных занятий, наш полковник прошел всю службу, начиная с самых малых чинов. Под знаменами фельдмаршала Радецкого восемнадцатилетний капрал Фердинанд Кноп со своим капральством разгромил в словенском городе Унтерхаузен итальянский кавалерийский патруль. За это он был удостоен медали императора Фердинанда — хоть и не самой высшей, однако достаточно высокой награды. Медаль эта была огромная, диаметром с хорошую крышку для горшка, и, может поэтому, больше его уже ничем не награждали. Дворянство, а вместе с ним и почетный титул по названию места этой героической битвы Фердинанд Кноп получил сорок лет спустя, уже в чине полковника. Оберст Кноп фон Унтерхаузен — так официально именовался он теперь. Солдаты же мигом переименовали это звучное имя по-своему и называли его не иначе, как «оберст Кноп фон Унтерхаузен» — верхняя пуговица от подштанников.

Выглядел он довольно карикатурно. Одна знаменитая медаль чего стоила. Из-за нее и весь мундир казался каким-то старозаветным. Низкую каскетку он носил согласно артикулу времен Радецкого: спереди — надвинув на самые брови, сзади — едва прикрывая макушку. Череп под этой каскеткой выглядел, словно оскальпированный. Плюс ко всему, полковник был невероятно толст и совершенно не имел шеи. Подбородок его упирался прямо в пухлую грудь, а грудь безо всяких промежуточных перекосов переходила непосредственно в неохватный живот, чью окружность не в состоянии была сократить хоть на миллиметр никакая верхняя пуговица от подштанникова. Но самым выдающимся в его облике был нос, собственноручно даже и не нос, а багровая, размером с добрый кулак шишка, за коей прятался нос. Шишка эта состояла как бы из отдельных красно-фиолетовых ягодок, так что сердитая кличка «свиное рыло», которую то и дело цедил сквозь зубы наш новый сотоварищ по несчастью, была, честно говоря, не очень-то точна.

Этот самый наш новый арестант без устали поносил «свиное рыло» и за картами, и занимаясь искусством татуировки, где он оказался подлинным мастером. Легкими карандашными штрихами он набрасывал сперва рисунки на бумаге. Орел, скрещенные мечи, красotka с весьма реалистично оттененными деталями, свернувшаяся в клубок и извивающаяся змея, надписи, эмблемы и указующие стрелки для той или иной части тела. Облюбованный заказчиком образец накалывался

сапожным шилом на кожу, краской служили загустевшие чернила, обнаруженные адесь же, в караулке. Кровь, брызжащую на проколов, не впитавшиеся в ранки чернила и струящийся изо всех пор клиента липкий пот он то и дело вытирал неопишимо грязной тряпкой.

Мы, арестанты, обступали мастера и его живой мольберт и изощрялись в комментариях по поводу каждой линии, возникающей перед нашими взорами. Да, это был график высокого класса. Меня, правда, слегка подташнивало от вида пропитанной кровью и чернилами грязной тряпки. Не анаю, пошатнулся я, что ли, или, может, побледнел, только один из зрителей вдруг заорал:

— Гляньте-ка на вольноопера, ишь как дрожит!

А другой тут же подхватил:

— А побледнел-то, побледнел как наш одногодичник!

Внимание зрителей тут же переключилось на меня, все они наперебой иронизировали, сочувствовали, давали советы. Ну и ну, так ведь и опозориться недолго, надо что-то делать, что-то предпринимать. Во имя спасения своей чести, чести звания вольноопера-одногодичника, чести всех интеллигентов, наконец.

— Что за чушь, — сказал я, как можно спокойнее, — вовсе я не дрожу, и не побледнел я совсем. Подумаешь, татуировка! Я, может, и сам хочу сделать наколку.

Кто зааплодировал, кто засомневался.

— Трепотня. Духу у него не хватит.

Солдат, которого как раз сейчас татуировали, самоуверенно буркнул в мою сторону:

— До конца он, уж точно, не продержится. Это чертовски больно.

— Зато по гроб жизни не смоемся, — сказал другой.

— Вы что, и в самом деле хотите татуироваться? — спросил меня литограф.

— Конечно, я же сказал, — пришлось ответить мне.

— Хорошо.

Он предложил мне наколоть кольцо на безымянном пальце или часы с браслетом на запястье. Однако делать татуировку на всеобщее обозрение мне не хотелось.

— Идет, я изображу вам что-нибудь на груди, — сказал он, — или... еще лучше, на спине.

В глазах у него сверкнул какой-то адский огонек, но я не придал этому значения. Меня прельстило то, что — на спине. Кому не следует, тот и не увидит. И я согласился. Безобидный натюрморт? Ладно, давай, действуй.

И он начал свою работу. Но не на плечах, не на лопатках, а гораздо ниже, что меня несколько удивило.

— Зато никто не увидит, будь вы даже в одних плавках.

— Не лишено... — сказал я и предоставил себя в полное его распоряжение.

Было очень больно. Болел каждый укол. Я стиснул зубы и только мысленно повторял себе: ааао — навечно. Еще хуже, чем при уколах, было мне, когда по свежим ранкам проходились мокрой грязной тряпкой. Однако отвращения своего я старался не выказывать: ведь процедура происходила на глазах у всей арестантской компании.

Спустите штаны чуть пониже, — сказал мастер.

— Зачем?

— Я изобразил фрукты, а теперь надо — вазу, в которой они лежат.

Зрители смеялись. Я не представлял, что в моем натюрморте может быть смешного.

— Ах, что за иблочко, так хорошо удалось, прямо само в рот просится! — и снова все хором регочут.

— Еще немного ниже штаны, — командовал мастер.

— Зачем?

— Чтобы виноград свесился через край вазы.

— Так глубоко?

— Вазу я изобразил слишком широкой. Поэтому приходится класть в нее побольше фруктов, а виноградные грозди — свешивать через край.

Спустив штаны до колен, я ощущал, как согласно работают холодная игла и теплая тряпка, а слух мой ловил смешки зрителей. То один пырскинет в кулак, то другой, и вот, наконец, раскатились дружным хохотом все разом.

Но тут, слава богу, сеанс был закончен. Я подтянул штаны, заправил рубаху, поболтался немного приличия ради в караулке и потопал потихоньку в свою одинокую. О сне нечего было и думать. Наколка дьявольски болела, я не мог ни сесть, ни лечь. Железы под мышками вспухли, меня лихорадило. Зато — навечно, — пытался я утешить сам себя.

Наутро я заявил себя больным и был направлен к медикам. В казарменном околотке правил службу мой давний собутыльник старший врач доктор Бём. Первым делом он рассказал мне, что сегодня ночью деацы из кафе «Микадо» атаковали его расспросами, скоро ли я появлюсь там снова. Потом спросил, что у меня болит.

— Поделом тебе! — рассмеялся он, узнав, в чем дело. — С неделю, не меньше, будешь испытывать адскую боль. А спиртного выпьешь — еще сильнее болеть будет. Ну, давай, показывай, что у тебя там.

Я показал.

— Ах, негодяй вы этакий! — как гром с исного неба грянул на меня бас старшего врача Бема. — Скотина вы беззотая!

И самое скверное в этом было не «негодяи» и даже не «скотина», а коротенькое

словечко «вы» — обращение строго официального.

— Фельдфебель! — крикнул он в соседнюю комнату. — Немедленно пишите донесение о воинском преступлении вольноопределяющегося-одногодичника Киша!

Опешивший, сбитый с толку, и жалко лепетал что-то в свое оправдание.

— Господин старший врач, очевидно, шутит. Ну, сделали мне татуировку, так что из того?

— Вы что, дурака из меня строите? Полагаете, я не разобрал, что там у вас наколото? Может, считаете, я должен по вашей милости похерить свою военную карьеру, хотите сделать меня соучастником вашего преступления против военных законов?

Тщетно пытался я уверить его, что не имею ни малейшего представления о сюжете, изображенном на моей спине, — старший врач Бём продолжал диктовать свое донесение, и лишь из его слов я узнал, наконец, в чем же, собственно, меня обвиняют.

Литограф, вот — мерзавец! Теперь-то я понял, что за идея осенила его, когда он предложил мне сделать наколку на спину. Решил без помех совершить акт мести напему полковнику. Вместо безобидного натюрморта коварно и вероломно наколот на моем теле злую карикатуру на полковника, вылитый его портрет: перерезанный каскеткой череп, толстая, без шеи, туша, украшенная огромной медалицей, и знаменитый нос — рыхлая шишка из красно-фиолетовых ягодок.

Всего этого, однако, в соответствии с военно-уголовным правом, для признания преступления было еще недостаточно. Преступление же состояло в том, что полковник на портрете был изображен вниз головой. Из рта этой перевернутой головы высовывался длинный язык, облизывающий ягодицу, заползающий в ложбинку и исчезающий там, в темноте. Ага, значит, этот язык и был той самой «свисающей виноградной гроздь», ради которой мне пришлось спускать штаны. Вот почему так дружно ржали вчера наши ценители искусства, вот почему испугался соучастия в преступлении и написал на меня донос старший врач Бём. Оскорбление начальства, надругательство над высоким чином, над полковым командиром, а может, даже и мятеж — вот что приписывалось мне в этом доносе.

В тот же день после обеда меня привели в комнату военного дознавателя. Комиссия для расследования обстоятельств дела состояла из трех офицеров. Первый, лейтенант из моей роты, был молодым и симпатичным человеком, однако, к сожалению, слишком откровенным и наивным. Едва бросив взгляд на мою татуировку, он сразу заорал, что это — несомненно, вы-

литый господин полковник. Даже император Фердинанд на военной медали — и тот с оригиналом, как две капли воды.

Выложив подобным образом свое от чистого сердца идущее заключение, он с сознанием выполненного долга скромно отошел в сторонку.

Теперь меня осматривал второй член комиссии, юрист, капитан-аудитор. Этот был — хитрая лиса и поостерегся признавать в татуированной карикатуре сходство со своим начальством.

— Ни малейшего сходства, — заявил он, — и утверждать обратное было бы оскорблением господина полковника.

Юный лейтенант побледнел, как мел: он-то по простоте душевной как раз именно это самое и ляпнул.

— И находить в этой дурацкой роже на медали сходство с мудрым ликом его величества покойного императора Фердинанда — это прямое оскорбление монарха.

Бедный лейтенант слушал, дрожа от страха. Иронии, с какой аудитор говорил о мудром лике императора Фердинанда, он не уловил. Император Фердинанд был заведомо слабоумным и выглядел, по честному, именно так, как изобразил его на татуированной медали отчаянный литограф.

Майор, подошедший ко мне третьим, был, должно быть, по натуре своей человеком не очень хитрым. Однако усечь, почему аудитор столь упорно отвергает сходство между оригиналом и изображением, хитрости у него хватило. Не успев даже вздеть на нос пенсне, он заявил:

— Ни малейшего сходства. И вообще, говорить здесь о каком-то сходстве — просто наглость и нарушение субординации.

Лейтенант стоял у стены, как приговоренный к расстрелу.

— Эту харю, — орал майор, — эту отвратительную морду сличать с нашим господином полкоинником! Неслыханно! Да наш господин полковник — статный, красивый мужчина, а здесь — черт знает что намалевано!

Но тут, видно, майору и самому все же показалось, что во лжи он-таки несколько переборщил, а стало быть — надо изобразить, что проверяешь первое впечатление повторным, более детальным рассмотрением, и он склонился над татуировкой да так низко, что я ощущал кожей его дыхания.

— Наш господин полковник... — затынул он снова.

Но тут вдруг распахнулась настежь дверь и в ней появилось не что иное, как сама модель обсуждаемой гравюры. В комнату размахиста и властно ввалился полковник Кноп фон Унтерхаузен. Глаза его сверкали из-под козырька каскетки. Все офицеры щелкнули каблук-

ками, однако полковник не отреагировал на их приветствие.

— Где этот парень с татуировкой? — с места в карьер спросил он.

— Господин полковник, — сказал майор, — осмелюсь заметить, ни малейшего сходства. Просто хулиганская выходка или глупость...

— Так где же он, этот парень, хотел бы я знать, — прервал его полковник.

«Этот парень» стоял тут же рядышком, застывший, как мраморное изваяние. Ни дать ни взять — Венера Милосская мужского пола. Только вместо ниспадающих одежд — приспущенные солдатские штаны.

— Кру-гом! — командовал полковник.

Я послушно повернулся, и в тот же миг, как раскат грома, как звон мечей, как рев шторма, на всю казарму разнеслось:

— Это же я! Клянусь честью, это — я. Экое свинство!

Затем — долгая пауза. В мертвой тишине слышалось только хрипение раненого тигра, скрежет зубовой, стоны ярости и боли. Но вот, чуть отдышавшись, он принялся выступать против чудовищной несправедливости этого пасквильного рисунка.

— Я служил под началом его высокопревосходительства фельдмаршала графа фон Радецкого, — начал он с гордостью и пафосом, и тут же, с меньшей гордостью и пафосом, пояснил, что даже с самим его высокопревосходительством никогда не опускался до того, в чем обвиняет его рисунок.

— Я служил под началом его превосходительства начальника генерального штаба барона фон Бенедэка, — продолжал полковник и заверил присутствующих, что и с ним тоже ничего подобного себе не позволял... Далее он принялся перебирать всех своих начальников, строго по рангам, одного за другим, покуда не добрался до основного вывода своих рассуждений:

— И чтобы я теперь этому одногоди... Он поперхнулся на полуслове. Сама мысль о какой-либо связи его имени с жалким вольнопером-одногодичником была для него столь омерзительна, что даже голос сел. Но он все же собрался с духом и начал сызнова:

— И чтобы я теперь этому одногодичнику-вольноопределяющемуся да лизал з-з-а...

Он снова поперхнулся, так и не выговорив последнего слова. Силы покинули его. Он грохнулся на пол, но все еще надсадно зудел:

— З-з-а... З-з-а... З-з-а...

Все бросились к нему, все наперебой звали полкового врача, ординарца, который должен был разыскать врача, требовали принести лед из офицерского буфета, подушку.

Я тоже хотел было пойти принести что-нибудь, но капитан-аудитор резко пресек мои потуги:

— Вы остаетесь здесь!

Всего несколько минут назад он вынес благоприятное для меня заключение, но теперь дело принимало совсем иной оборот. Полковник сам решил, что на карикатуре изображен именно он, и теперь, стоит взглянуть на него, хрипящего на полу, как сразу же становится ясным, что к преступлению, в коем меня обвиняют, скоро придется сделать приписку: «Со смертельным исходом».

Умирающего полковника унесли в западное крыло казармы, в лазарет; вольнопера-одногодичника, от гнева на которого господина полковника хватил кондрашка, отвели в восточное крыло — на гауптвахту.

Полковник, напутствуемый утешениями полкового капеллана, опочил в тот же вечер; одногодичник-вольнопер, лишенный всяких утешений, всю ночь не мог заснуть. Всю ночь и прошагал взад-вперед по своей камере в такт словам «со смертельным исходом».

Татуировщика-литографа, допросить по моему делу не удалось: еще утром его успели отправить в высшие инстанции. Его обвиняли в изготовлении фальшивых документов, подражывая при этом отнюдь не то, что он-де сфальшивил, изображая полковника на татуировке, а самовольное производство капрала в фельдфебеля.

Новый литограф начал свою деятельность с размножения пригласительных билетов: «Господа офицеры, испытывающие сердечную потребность помянуть в дружеском кругу нашего дорогого покойного, любезно приглашаются на имеющий быть послезавтра (во вторник) в шесть часов пополудни в офицерском собрании торжественный вечер поминовения господина полковника Кнопфа фон Унтерхаузена».

Для тех, кто по какой-либо причине таковой сердечной потребности не испытывал, любезное приглашение содержало примечание: «Отказы не принимаются».

Одногодичник-вольноопределяющийся Кизела, по гражданской профессии художник, получил задание написать для означенного торжественного вечера портрет полковника в полный рост.

— Но я же никогда не видел господина полковника, — сказал Кизела. — Во время принятия присяги я стоял в самом хвосте, в шестнадцатой роте, во второй шеренге. Я и представления-то не имею, как он выглядел.

Он потребовал фотографию, но ни одной не оказалось. Люди с наростами на лице не очень-то любят фотографироваться.

Полковому адъютанту не оставалось ничего другого, как намекнуть Кизеле на мою татуировку. Меня вызвали в караулку, в ту самую, где лишь позавчера вечером возник замысел будущего портрета.

— Ах, — с наигранным ужасом воскликнул Кизела, узрев мою татуировку, — картина-то висит вверх ногами. Как же мне ее срисовать?

Адъютант приказал мне лечь на столе спиной вверх, но Кизела сказал, что это ничего не даст. Вот сделай я стойку на руках, тогда еще, может, что-нибудь у него бы и получилось. Но ведь целый час на руках никому не выстоять...

— А нельзя ли привести картину в желаемое положение с помощью зеркал? — спросил адъютант.

Кизела ответил, что ничего в этом не понимает и вообще сделать заказанную копию в красках сможет только в своей студии.

Это что же, выходит, мне, несмотря на подозрение в совершении военно-уголовного преступления со смертельным исходом, мне, убийце полкового командира или по меньшей мере виновному в его смерти, должны разрешить покинуть мою одиночку и даже уйти за пределы казармы? Так оно и вышло. Я получил увольнительную на целых двадцать четыре часа!

Ах, что это были за сутки! Нормальным образом ни один солдат не может после вечерней зори показаться на улице или, скажем, в каком-нибудь кабачке. Разве что по какому специальному делу задержится, имея на то соответствующую увольнительную до определенного часа. На нас же с Кизелой никакие ограничения не распространялись. Наплевав на предостережение, будто от алкоголя наколка станет болеть еще сильнее, я лихо вливал в себя все, что мне подносили. Потом, на губе, времени и досуга для болезни будет хоть отбавляй.

Дотавившись, наконец, к утру до дома, где у Кизелы была студия, мы здорово перетрухнули. У входа в парадное стояли два солдата. За нами, что ли? На губу уведут или здесь караулить будут? Оказалось, ни то и ни другое. Просто полковой адъютант еще вчера послал Кизеле мундир умершего полковника, чтобы художник воспользовался им при написании портрета. Передать его солдатам было приказано только лично самому мастеру. Но Кизелы дома не оказалось, вот они и проторчали всю ночь под дверью.

Не будь этих солдат, Кизела и не вспомнил бы, что еще сегодня должен написать портрет в полный рост. Мундир — это уже кое-что; Кизела мог его срисовать. На изображение военной формы он истрепил целых три тюбика берлинской лазури. Потребовался бы и чет-

вертый, не оставь Кизела незакрашенным большой круг для медали. Этот круг он покрыл блестящей бронзовой краской. Теперь три четверти полотна были уже закрасены. Весьма выигрышной была и каскетка, закрывающая почти все лицо, художнику ранее не знакомое.

Для лица Кизела взял за образец мою татуировку. Наглости моему приятелю было, как говорится, не занимать, но здесь он долго прицеливался, не отваживаясь перенести на холст грубую реальность этой физиономии — в масле, во весь рост. На красно-фиолетовый нос Кизела лишь слегка намекнул, отчего портрет на его полотне оказался далеко не столь выразительным, как гравюра на моей коже.

Свеженькую, еще не просохшую картину мы оттащили в казарму. Отпуск кончился. Я вернулся обратно в свою камеру, заявил себя больным и с диагнозом приступа лихорадки был переведен на диету.

Обрамленная в золотой багет и повешенная в офицерском казино, картина произвела заслуженный фурор на траурном вечере. Вдова полковника попросила пригласить художника.

— Картина просто великолепна. Вы, должно быть, очень хорошо знали моего мужа, — обласкала она его.

Кизела возразил, что господина полковника прежде никогда не видел.

— Никогда не видели? Как же вам удалось изобразить его таким похожим? Ведь от него не осталось ни одной фотографии.

Кизела ответил, что он скопировал портрет с татуировки у одного человека.

— Что? С татуировки? Но кто же он, этот человек, пожелавший наколоть себе портрет моего мужа?

Кизела сказал, что это одногодичник-вольноопределяющийся по имени Киш.

— Ах, как это трогательно! — госпожа полковница обернулась к обступившим ее офицерам штаба. — Не правда ли, как это прекрасно, господа: солдат татуирует на теле портрет своего полкового командира, чтобы всегда иметь его перед глазами? Такая любовь, такая преданность.

Офицеры кивнули и подтвердили, что это, действительно, редкостная любовь и преданность начальству.

— Мне так хотелось бы увидеть эту татуировку. Пожалуйста, позовите сюда этого вольноопределяющегося. Я хочу поблагодарить его за любезно предоставленный господину Кизеле образец для этой чудесной картины.

При этом пожелании фрау полковницы согласные кивки офицеров прекратились.

Они неуверенно переминались с ноги на ногу и облегченно вздохнули, лишь когда полковой врач заявил, что одногодичник Киш, к сожалению, серьезно болен — лихорадка, температура сорок четыре градуса — и вызвать его невозможно.

— В таком случае, ведите меня к нему, — воскликнула фрау полковница, — это даже лучше, что я сама приду к нему со словами благодарности. Где он лежит, в лазарете?

— Нет, этот парень лежит на гауптвахте.

— На гауптвахте? Ну, хорошо. Господин майор и вы, господин капитан, окажите любезность проводить меня к нему.

Я лежал в своей камере на животе и трясся от лихорадки. Вдруг дверь распахнулась, и в камеру ашли майор-комендант, капитан — полковой адъютант и между ними — дама под черной вуалью.

Она подошла ко мне.

— Я — фрау полковница фон Кнопф. Я хочу поблагодарить вас за татуированный портрет моего мужа, который вы носите на своем теле.

— О, пожалуйста, фрау полковница, — сказал я сконфуженно, — не стоит благодарности... я просто не знаю...

— Мне бы очень хотелось взглянуть на эту татуировку.

Майор с капитаном аж подпрыгнули: уж это-то абсолютно невозможно.

— То есть как это невозможно, если я во что бы то ни стало желаю?

Голос госпожи полковницы звучал раздраженно и даже угрожающе.

— Извините, фрау полковница, — залепетал майор, — я прошу прощения, но татуировка — на таком деликатном месте...

— Пустяки, я — замужняя женщина!

Она повернулась ко мне:

— А ну-ка, покажите мне свою татуировку.

Приказ есть приказ. Я показал свою татуировку. От алкоголя и лихорадки она заиграла всеми красками цветущей жизни. Но этого мало, и одно это никак уж не объясняет того, что произошло дальше. Кто бы мог предвидеть, что грубая казарменная шутка с татуировкой обернется вдруг лирикой и закончится нежным аккордом любви и умиления.

— Фердинанд, — прошептала госпожа полковница, увидев перед собой мужа, — мой Фердль! — выдохнула она самоотреченно и склонилась над портретом, чтобы покрыть его поцелуями.

Перевел с немецкого Л. Ф. МАКОВКИН

Видимо, все так и происходило в действительности, как изобразил это неистовый репортер, замечательный чешско-немецкий писатель, автор книг «Приключения в Праге», «Высадка в Австралии», «Цари, попы, большевики», «Приключения на пяти континентах», «Открытия в Мексике» и других Эгон Эрвин Киш (1885—1948). Киш говорил о литературном труде: писать неизменно тяжело, но... тяжелую работу надо делать легко. У него это получалось.

Письмо в редакцию

В мартовском номере «Невы» за 1990 год опубликована заметка С. Белова «Об одном постановлении ЦК ВКП(б)». Но примерно половина ее посвящена критике некоей недавно вышедшей монографии «Книга в России», название которой указано неточно.

На самом деле речь идет о первом томе большого коллективного труда «Книга в России, 1861—1881», который подготовила Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в рамках деятельности Научного совета по истории мировой культуры АН СССР. Первый том монографии вышел в свет в издательстве «Книга» в 1988-м, второй — в 1990 году.

В 6-й главе 1-го тома имеется раздел об издательской деятельности С. Г. Нечаева. По-видимому, С. Белову не нравится прежде всего сам факт наличия в монографии этого раздела, поскольку Нечаев — фигура одиозная. Но из истории, как из песни, слова не выкинешь: в рамках «прокламационной кампании» Нечаева в 1869—1870 гг. было выпущено 25 листовок и брошюр, которые, как сказано в монографии, «пробили „стену молчания“», казалось, столь прочно воздвигнутую царизмом после разгрома освободительного движения первой половины 60-х гг. XIX в. ...». «С чтения и обсуждения „нечаевских“ листовок и брошюр начинали свою революционную работу многие будущие деятели русского общественно-политического движения второй половины XIX в.» (т. 1, с. 164—165). Именно поэтому, отметив, что значение возглавлявшейся и вдохновлявшейся Нечаевым издательской деятельности неоднозначно, мы все же считаем, что «прокламационная кампания» 1869—1870 гг. носила позитивный характер. Что же касается террористических действий Нечаева, то в исторической науке уже давно им дана негативная оценка, и это нашло отражение в монографии.

Так что критический пафос С. Белова по поводу этого раздела совершенно безоснователен, а форма изложения в соответствующей части заметки некоррек-

тна. Чего стоят, например, такие определения, как «террорист, бандит и уголовник русского революционного движения», «идеологическое словоблудие автора» и обвинение в оправдании насилия, предъявленное Белоым — к тому же в весьма конъюнктурной тональности — авторскому коллективу монографии.

Это оправдание насилия, пишет С. Белов, «получает „научное“ обоснование и в предисловии к этой монографии, где, как в „лучшие“ годы застоя и культа личности, объясняется, что теоретические построения *народовольцев* (подчеркнуто нами. — Авторы «Письма в редакцию») были гораздо слабее их практической деятельности (очевидно, под «сильной» практической деятельностью авторы предисловия имеют в виду убийство Александра II) ...». Но так как в предисловии речь идет о теоретических построениях и практической деятельности народничества в целом, закрадывается подозрение, что С. Белов плохо знает историю русского революционного движения, поскольку отождествляет народовольцев с народняками вообще. Это предположение подкрепляется также содержащимся в заметке утверждением о преемственности в деятельности нечаевской организации и «Большого общества пропаганды».

Фантастически выглядят также обвинения авторского коллектива в подмыве общечеловеческих ценностей классовой борьбой и в стремлении «как бы уничтожить» русскую дореволюционную книгу.

Самое любопытное, на наш взгляд, заключается в том, что С. Белов долгие годы был членом авторского коллектива монографии и в автореферате своей докторской диссертации «Издательское дело в России во второй половине XIX — начале XX в. (Основные проблемы и тенденции развития)», защищенной в феврале 1990 года, весьма высоко оценил значение этой работы.

Сотрудники ГПБ, авторы 1-го тома монографии «Книга в России, 1861—1881»

М. А. БЕНИНА, Ц. И. ГРИН, В. Е. КЕЛЬНЕР,
В. Н. САЖИН, И. И. ФРОЛОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

Мнения о любой книге могут быть различны. Автор статьи в «Неве» дал негативную оценку коллективной работе сотрудников ГПБ — это его право. Естественно и желание авторов последней защитить свой труд. Для соблюдения справедливости мы предоставили возможность высказаться обеим сторонам — пусть их рассудит читатель. Но та же справедливость требует отметить несостоятельность морально-этических претензий к С. В. Белову, содержащихся в последнем разделе коллективного письма.

С авторефератом диссертации Белова в редакции ознакомились. Мы свидетельствуем: никакой высокой оценки коллективной монографии там нет. Констатируется лишь факт ее выхода в свет. Таким образом, о какой-либо двусмысленности научной позиции нашего автора речи вести не приходится.